90 коп. 23-1-14 Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

Философия, экономика, политика.

Судьба социалистических теорий в России; идеи Маркса, Энгельса, Ленина без глянца; Февраль—Октябрь: борьба идей между двумя революциями; от мифотворчества к истории; «необольшевизм»; какое общество мы строим? — темы публицистических работ А. АВТОРХАНОВА, Л. БАТКИНА, Ф. БУРЛАЦКОГО, Ю. БУРТИНА, Г. ВОДОЛАЗОВА, М. ВОСЛЕНСКОГО, М. ГЕФТЕРА, А. НЕКРИЧА.

Рынок — что это такое? Рынок труда, интеллекта, инициативы? Что нас ждет — «бешеные» цены, карточки, безработица или здоровая экономика и изобилие? Почему не «работает» Закон о земле? Кто настоящий хозяин «черного рынка»? От чего зависит деловая активность? — над этими вопросами размышляют И. БИРМАН (США), А. ЗИНОВЬЕВ (ФРГ), Б. ПИНСКЕР, Л. ПИЯШЕВА, А. СТРЕЛЯНЫЙ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО.

Демократия и становление гражданского общества. Многопартийность. КПСС среди других партий. Права чело[illegible]: социальная, правовая защищенность человека — и суверенность ли[illegible]ти от государства. Среди авторов этого раздела правозащитники Л. БО[illegible]ОРАЗ, П. ГРИГОРЕНКО, С. КОВАЛЕВ, Л. ТИМОФЕЕВ.

Продолжим публикацию произведений А. Д. САХАРОВА.

Современный литературный процесс в контексте мировой литературы освещают Л. АННИНСКИЙ, А. БОЧАРОВ, И. ВИНОГРАДОВ, И. ДЕДКОВ, И. ЗОЛОТУССКИЙ, Н. ИВАНОВА, Т. ИВАНОВА, А. ЛАТЫНИНА, В. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, Л. САРАСКИНА.

Под рубрикой «Диалог» — взгляд на современную литературу наших зарубежных соотечественников — писателей, литературоведов, критиков: А. СИНЯВСКОГО и М. РОЗАНОВОЙ, С. ДОВЛАТОВА и В. СОЛОВЬЕВА, Н. ГОРБАНЕВСКОЙ и В. ВОЙНОВИЧА, П. ВАЙЛЯ и А. ГЕНИСА.

Статьи, воспоминания, дневники, письма Г. АДАМОВИЧА, М. БУЛГАКОВА, Н. ГУМИЛЕВА, Б. ЗАЙЦЕВА, Е. ЗАМЯТИНА, В. КОРОЛЕНКО, О. МАНДЕЛЬШТАМА, В. ХОДАСЕВИЧА.

Специально для «Октября» подготовлен сериал «Русская эмиграция в мемуарах и документах» — Иван БУНИН, Зинаида ГИППИУС, Георгий ИВАНОВ, Алексей ТОЛСТОЙ, Марина ЦВЕТАЕВА и др.

Новые материалы о А. ТВАРДОВСКОМ, М. ПРИШВИНЕ, А. СОЛЖЕНИЦЫНЕ, В. ШАЛАМОВЕ, Вс. ИВАНОВЕ, Вл. ВЫСОЦКОМ.

Каждые три месяца реклама будет уточняться и дополняться. Следите за рекламой!

ISSN 0132-0637 Октябрь. 1990.№ 8. 1—208

1990 8 Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

8

1990



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

8

1990

АВГУСТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Первый заместитель главного редактора **Н. К. ЛОШКАРЕВА.**
Заместитель главного редактора **В. Н. МАЛУХИН.**
Редакционная коллегия: **Г. В. БУДНИКОВ, В. В. ДЕМЕНТЬЕВ, Р. Т. КИРЕЕВ, Н. Д. КРЮЧКОВА, А. Н. КУРЧАТКИН, В. М. ЛИТВИНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ, И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь), **В. Д. ПОВОЛЯЕВ, В. Я. САВАТЕЕВ, И. Е. ФИЛОНЕНКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 13.07.90. Подписано к печати 27.07.90. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24
Тираж 335 000 экз. Заказ № 2589. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Давид КУГУЛЬТИНОВ

Убийство в барнаульской церкви

ПОЭМА

И голос был сладок, и звук был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

БЛОК

1

На закате дня, когда свинцово
Сумерки на землю опускались,
Нас, приговоренных к долгим срокам,
Лириков, священников, воров,
Обреченных на этап, собрали
В деревянной церкви в Барнауле.
Не отапливался Божий храм,
Было душно, холодно и шумно,
И в тяжелом шуме мы искали
Тех, с кем познакомиться успели.

В углубленье над высокой дверью,
Арестована в железной клетке,
Тускло, грязно лампочка мерцала.
В этой полумгле своих знакомых,
Напрягая слух свой, мы искали
Не по облику — по голосам.
Согнанные из различных камер,
Мы впервые оказались вместе
После вынесенья приговора
И своих подельников искали.
Мы узнать хотели, как себя
На суде подельники вели
И какие сроки получили.
Тот, кто здесь не находил знакомца,
Спрашивал соседа: где родился,
Как зовут его, и по какому
Делу взят, и по какой статье
Дали срок, — и крепко с ним сближался,
Чтоб не оставаться одному,
Потому что одному остаться
В этом сплошняке многоголовом —
Тяжко, очень тяжко — да и страшно.
Только вор, что много лет в «законе»,

С гордой обособленностью смотрит
И выискивает жестким глазом
Корешей — таких же, как и он,
Связанных «законом», а на прочих
Он пренебрежительно глядит,
Словно волкодав на мелких мосек,
Словно князь — на крепостных бесправных,
И тюрьма ему — родимый дом.

Я, в тюрьме пробывший больше года,
Я, усвоивший ее уклад,
Двадцатитрехлетний офицер,
Не утративший политрука
Хорошо подвешенный язык, —
Никому не уступлю я, сдачи
Дам любому, хоть и ослабел
От безвкусной, скудной, жалкой пайки,
Я пока еще причислен к сильным —
Опытный тюремный старожил.
Обнаружил я пяток солдат.
Стали мы расспрашивать друг друга:
Где, мол, воевал, с какого фронта
Взят в тюрьму, — и каждый называл
Имена известных генералов,
Словно был их другом закадычным.

Сделались мы близкими, как будто
Родились в одной семье, — кто русский,
Кто калмык, не различали мы.
Радовались, что нашли друг друга,
И решили мы держаться вместе.
Ты, читатель, мне поверь, что радость
И в тюрьме бывает, и в тюрьме!..

Стали мы устраиваться в церкви.
Вот и улеглись мы поудобней,
Положив под головы шинельки
Рваные, в каких-то грязных пятнах,
Словно брата брат, обогревая
Теплой кровушкой своей друг друга.
Доносился к нам со всех сторон
Дробный, долгий шепот. Наконец
Все затихло. И хотя до боли
Веки я смыкал, — не мог заснуть.
Видно, место новое, как шило,
В сон вонзалось и его пугало.
Наполняют голову былое,
Нынешнее, будущее... Грозный
Приговор торчит перед глазами:
«Десять лет». Пытаюсь о другом
Думать, но тяжелый приговор,
Крысой обернувшийся церковной,
Нагло, жадно душу мне грызет:
Боже, за какое преступленье
Воину, мне дали десять лет?
Неотступно предо мной стоят
Бедные калмыки. Мой народ
Душу истерзал мою, мой разум.

Год сорок четвертый. Лето. Фронт.
Вдруг приказ армейский: проклят я,
Потому что калмыком родился.
Измерял я в мыслях, проверял
Правоту, неправоту свою.

Усомнился в первый раз тогда
Я в незыблемом вожде народов,
В первый раз о нем подумал худо.
Размышлял в тревоге и в волненье:
«Нет, не Ленина он ученик!»
Кто поймет, кто может согласиться
С тем, что я лишь потому, что был
Матерью калмыцкою рожден,
Должен стать одним из прокаженных,
Человеческих лишиться прав
И важнейшего из прав — свободы.
Здесь, в стране свободы, здесь, в стране
Братства нерушимого народов,
Должен быть судьбою без вины
Я преступника тавром клеймен.
Даже тот, кого я с детских лет
Почитаю, словно божество,
Назовись он даже Карлом Марксом,
Если скажет он, что должен я
Быть в своем отечестве изгоем, —
Даже тот отвергнут будет мной,
Я начну искать другую веру,
Даже если кончу жизнь в аду.

Если бы я кражу совершил
И свое бы опозорил имя,
Мог бы я надеяться на то,
Что исправлюсь, осознав вину,
Снова стану честным человеком.
Если б струсил я в бою, сбежал
И свое бы опозорил имя,
Если бы попал в штрафную роту,
Я сгорел бы на передовой,
Кровью я свое омыл бы имя,
Чтобы солнцу радостно молиться!
Но освободиться я могу ли
От того, что родом я калмык?
Как найду я способ изменить
Цвет моей калмыцкой желтой кожи?
Погоди, поэт, не торопись,
Разве ты, ища другую долю
Хочешь уподобиться козлу,
Что завидовал судьбе верблюда?
И пока метался я без сна
И в душе моей растил надежду,
Что развеет время зло и гнет,
Мною неожиданно, мгновенно
Овладела дрема и закрыла
Полные тоски мои глаза.
В заблудившуюся мысль мою
Ринулась толпа видений смутных,
И одни старались оттолкнуть
Прочих, споря с ними из-за места.

2

Увидал отчетливей, яснее:
Сталин высится на Мавзолее,

Окружен соратниками, вождь
Мне являл величье, славу, мощь.

На него смотрю не понимая:
Это праздник Октября иль Мая?

Кто соратники? Не разберусь.
А внизу, подъемля тяжкий груз,

Ленин возлежит, Ильич любимый.
Он под тяжестью невыносимой

Стонет, обхватив одной рукой
Камни Спасской башни, а другой —

Вечного Блаженного, и строгий
В Боровицкие ворота ноги

Упирает... День звенит, поет.
Сталин свой приветствует народ,

Руки вверх ладонями вздымая...
Из сибирского приехав края,

Рядом с ним, отцом родным, стою.
Я ему открою боль свою,

Расскажу ему о муках наших,
О злодеях, нас в Сибирь угнавших,

Сердце от тоски освобожу,
Обо всем вождю я доложу,

О напастях расскажу великих,
Об уничтожаемых калмыках.

Верю, что известный всей стране
Молотов окажет помощь мне,

Старичок, с своей бородкой клином,
Мне поможет дедушка Калинин,

Берия, что видит все насквозь,
Что другим и видеть не пришлось,

Скажет, удручен моим рассказом:
«Да, ты прав. Мы все исправим разом».

Литераторов сердечный друг
Мне, поэту, улыбнется вдруг

Жданов, не сочтя меня невеждой!
Вижу всех и думаю с надеждой:

«Истинные ленинцы они,
Все стоят за правду искони,

В гневе истребят они напасти,
Возвратят моим калмыкам счастье!»

Мудрый вождь народов мне кивнул
А потом на Берию взглянул.

«Холодно мне», — так ему сказал он,
А сказал, как будто приказал он.

Берия спросил меня: «Мой друг,
Слово Сталина вошло в твой слух?»

Тут его пенсне блеснуло странно,
Острый нож достал он из кармана,

Лезвием, как мастер-брадобрей,
Головы коснулся он моей

И, не тратя времени впустую,
Кожу с головы моей живую

Тщательно и ловко он совлек, —
Так снимает женщина чулок, —

И надел на плечи корифея,
Улыбаясь и благоговея.

Вождь, моею кожей обогрет,
На Калинина, как сердцевед,

Посмотрел, участливое слово
Произнес: «Твоя жена здорова?»

К Молотову, весел и щербат,
Обратил он свой лукавый взгляд,

Я же, происшедшим пораженный,
Даже кожи собственной лишенный,

Так вздохнул, что мнилось: мавзолей
Дрогнул всей громадою своей.

Слыша, как скорбит душа больная,
Чуткий Ленин, мышцы напрягая,

Силился стряхнуть с себя людей,
Попиравших этот мавзолей,

Но его усилья были тщетны, —
Видно, час не наступил заветный.

А себе шептал я: «Погоди,
Правда и победа — впереди».

Вдруг от Сталина, от кучки грозной
На меня нахлынул пар морозный,

И без кожи, голого меня
Он обжег, как вспышкою огня...

3

Я проснулся, ужасом объятый:
Ведь страшней действительность была,
Чем кошмарный сон. Заснувший может
Пробудиться, а в тюрьме как быть?
Лишь покончить может он с собою.
В православной церкви, иноверец,
Я не в первый раз. А в первый раз,
В день, когда из Харькова прогнали
Извергов советские солдаты,
Нам израненный открылся храм
Близ вокзала. И священник русский
По-отцовски нас позвал, рукою
Указал, куда нам лечь. Устали
После боя, сладко прикорнули

На полу. Сквозь дрему видел я,
Как сияли мне чужие боги,
Ласковые, как барханы наши,
Навевая дивные картины...

Вот и пробужденье в пересылке,
Сны друг другу поверяют зеки,
Бережно ведя свои рассказы.
«Предвещает торжество твой сон»,—
Пожилой разгадывал мужчина
Светлый сон соседа молодого,
Будто Книгу Судеб прочитал.
Молодой, разгадкой ободренный,
Верил: скоро выйдет он на волю...

У дверей дубовых и высоких
С двух сторон стояли две параши,
В Божьем храме вонь распространяя.
Люди, мучаясь, дрожа, толпились
В очереди к этим двум парашам,
Пристально друг другу в спины глядя.
Были и такие, что считали:
«Делать это дело в Божьем храме —
Тяжкий грех»,— и утирали слезы.
«Мы теперь не в церкви, а в тюрьме,—
Молодого поучал старик.—
Нет, пред Господом мы не виновны:
Церковь оскверняет то начальство,
Что сюда загнало нас и церковь
Превратило в каторжное место».
Вдруг я слышу страшные слова:
«Значит, две зловонные параши
Наполняет Сталин, а не мы».

Я почувствовал испуг привычный:
Если слово брякнешь, не подумав,
Новый срок ты можешь схлопотать,
Как и первый, без вины. Нередко
Стукачи, из сердца жалких зеков
Вытянув какие-то слова,
Органам доносят, правду с ложью
Смешивая. Сам ты говорил
Или услыхал и не донес —
На тебя опять заводят дело,
А уж коли дело завели —
По законам тех военных лет,
По любой статье (а часть вторая),
Десять лет тебе вторично влепят.

Чудные мечтанья, что возникли
В головах Маздака, Кампанеллы,
Марксом обоснованные прочно,
Развитые их учениками,
Надо было в явь преобразить.
Но, чтоб стал социализм реальным,
Здесь, в одной стране, задумал Сталин
Напитать его живою кровью,
Проволокою оцепить наш Север
И, начав от Соловков недальних,
Вплоть до Беломорского канала
И далеких Колымы, Норильска
Мрачное строительство раскинуть,
По законам классовой борьбы,
Гением-семинаристом нам

Явленным, не исключив из плана
Ни единый город и село,
Ни единый из народов братских,—
Всех за проволокой собирать
Для деяний славных граждан славных,
Чтобы их иссохшие тела
Стали шпалами для длинных рельсов
Социалистических дорог.

А еще была другая польза:
Устрашенного народа рот
Заперт был замком неотвратимым.
Мысль Шевченко в дело воплотилась:
Да, от молдованина до финна
Все молчит, притом на всех язы́ках,
Ибо благоденствует...

Православные из этой церкви
Унести успели те иконы,
Что из поколенья в поколенье
Добрые миряне украшали
Золотом, камнями дорогими,
И укрыли в потайных местах.
Но остались образа на стенах,
И глазами величайшей скорби
На детей своих смотрел Христос.
Все они ему родными были,
И, казалось, говорит он людям,
Утешая нежными словами:
«Все вы те же муки претерпели,
Что и я, терпите их и дальше,
Ибо лишь терпенье даст вам силу
Долгие мученья одолеть».

Высоко у царских врат, где краски
От годов и сырости поблекли,
Отошли от дерева, свернулись,
Божья Матерь смотрит на меня
Ясными, печальными глазами,
И в себя грядущее вобрав,
Мне не говоря,— оно грядет
Или не грядет,— ребенок-ангел
Тайну вечную хранит и смотрит
На весь мир всеведающим взором.
«Он причастен тайнам»,— так сказал
Блок, поэт-пророк, и у меня
В памяти слова не умирают:
«Не придет никто назад».
Те слова страшнее приговора,
Эту правду выстрадал поэт,
И она в душе моей трепещет.
На людей, разбившихся на кучки,
Я гляжу, твержу, себя не слыша,
Тихо: «Не придет никто назад»,
Словно бы возмездье вековое
Возвещают мне слова поэта...

Час настал желанный: загремела
Дверь дубовая, и все мы в церкви
Вздрогнули и уши навострили —
Вот начнут о глиняные миски
Ложки деревянные стучать.
Завтрак. Все мы в повара вперили
Жадный взгляд. А сам, хотя и зек,

Повар, как начальник самовластный,
Свысока глядит, держа половник,
На изголодавшихся и в миску
Скупо наливает он баланду,
Лишь едва просеянную просом.
Если видит: человек-то свой, —
Вычерпнув со дна, ему побольше
Он водички синей наливает.
Поработав, устает. Половник
Он помощнику передает,
Отойдя в сторонку, с неким вором
Он уединяется, руками
Горячо размахивает: вести
Сообщает своему дружку.

4

Те, что были согнаны сюда,
Прежде не молились никогда,

Но лучи таинственного света
Загорались в бывшей церкви этой,

И казалось нам: нездешний свет,
Из давнишних снизошедший лет,

В полумгле сияет темно-серой.
Здесь дышала радостная вера

Посреди заиндевевших стен,
Побеждая горе, муку, тлен.

Веру миллионов мы вдохнули
В деревянной церкви в Барнауле.

Те, что были согнаны сюда
По суду иль даже без суда,

Те, что скучивались, озирая
Адом ставшее подобье рая, —

Поняли внезапно: русский Бог
Ни одним из них не пренебрег,

С каждым по-отцовски он горюет,
Каждому надежду он дарует,

Он жалеет в благости своей
Милосердья жаждущих людей,

Он благословляет их, как равных, —
Мусульман, буддистов, православных,

Русский, иль калмык, или казах
Одинаковы в его глазах,

Как бы говорит он: «Сбросит время
Полное обид и горя бремя,

Те, что нарекли самих себя
Повелителями бытия,

Те, на коих смотрят все со страхом, —
Завтра станут пылью, станут прахом,

Те, что неповинных ввергли в ад,
Лишь мгновению принадлежат!»

И глядят апостолы, жалея
И безгрешного, и лиходея.

Вот баланды маленькую радость
В церкви заключенные вкусили,
Все рассказывают небылицы,
Но с доверьем слушают друг друга:
Не поверишь — значит, и тебе
Не поверят. Каждый утверждает,
Даже тот, кто получил свой срок
Не по пятьдесят восьмой, что здесь
Без вины сидит, по оговору,
По навету злому. А меж тем
Про себя все думают: «Без дыма
Нет огня, навряд ли просто так
Взяли... Вот меня — другое дело».
Только одинаковость смущает
Приговоров: неужели все
Одинаково перед законом
Виноваты?..

В самом дальнем уголке, где выступ
Каменный лоснится, собрались
Те, кто ночкой вьюжною ограбил
Сберегательную кассу. Стали
Выяснять, кто заложил их. С бранью
За грудки хватаются, и каждый
Вор клянется: заложил не он.
Но один из них, видать, пахан,
Коренастый, щурясь темным взглядом,
Приказал, чтоб прекратили гвалт.
Мы услышали, как кто-то крикнул:
«Это все брехня! Брехня! Пустите!» —
Изо рта, откуда выпал кляп,
Хрипло вырывалось оправданье.

Понимали мы: сейчас случится
Нечто страшное. Свою беседу
Прекратили мы. Чутьем звериным
Чувствовали: быть большой беде.
Церковь онемела. А бандиты,
Догадавшись, что мы слышим их,
Притворились, будто веселятся,
Друг на друга падают, сжимаясь
В плотное кольцо. Какую тайну
Прятали они от очевидцев?

Вдруг раздался в деревянной церкви
Вопль нечеловеческий, животный,
Будто под ножом свинья визжала.
Вслушивались мы в испуге. Кучка
Тех воров, как будто по приказу,
Дрогнула, распалась. Вслед за каждым,
Словно бы гналась за ним, бежала,
Широко разлившись, кровь. На шее
Мертвеца пока еще держалась
Голова. Был тряпкой заткнут рот.
Рядом — острая стальная бритва:
Утром передал ее пахану
Повар, и теперь она лежала
Удовлетворенная, что дело
Сделала свое. К нам подошел

С наглою усмешкою бандюга.
Он сказал, уверенный, что мы
Засвидетельствуем: «Наш чувак
Испугался каторжного срока,
Лютого сибирского мороза,
Бритвой он...» И, словно шут, кривляясь,
Крупною рукой провел по горлу,
Не заботясь: верим или нет
Лжи его,— он знал, что мы боимся,
Что его слова мы подтвердим.

Здесь, в родной стране, где стар и мал —
Все объяты страхом волосатым,
Где не слову верим, а ножу,
Где угодливо смеемся там,
Где должны мы были б горько плакать,
Скажем всё, что нам сказать велят,
Хоть на Библии заставят клясться,
Белое мы черным назовем.
Это понимали все бандиты,
Властелины лагерей и тюрем.

Разве тот, кто правил всей державой,
Потерявшей постепенно святость,
Как и эта церковь в Барнауле,—
Разве не был он паханом в маске
Полководца, мудреца, вождя?
Разве ножницы его усов
Не перерезáли горло жертвы,
Чтобы в жадной пасти лагерей
Гнило обезглавленное тело?
Разве не заставил нас, дрожащих,
Руки поднимать одновременно
И одновременно опускать?
Разве, нашим насладясь покорством,
Он народами не управлял
Точно так, как управляли воры
Нами, заключенными?

5

Однако.
Неожиданно для нас сегодня
Вдруг сопротивление возникло.
Тот, кто утром сон растолковал
Своего соседа, белоглавый
С места встал старик, и без боязни
Вору-душегубу он сказал,
Голоса не повышая: «Знаю,
Это ты зарезал человека».
Рядом встал с бесстрашным стариком
Тот, чей сон разгадывал он утром.

Оскорбленным притворясь, ворюга
Старца угрожающе спросил:
«Кто ты? И чего болтаешь, фрайер?»
«Я — священник»,— отвечал старик.
Рассмеялся вор ему в ответ:
«Поглядите на него: вражина
Опиумом отравлял народ,
А теперь клевещет на меня,
Злясь, что я — советский человек».
Свой кулак он поднял здоровенный,
Но тот парень молодой, что рядом

Со священником стоял седым,
Подлого ударил в подбородок.
Вор, подпрыгнув, повалился на пол.
«Грех»,— сказал священник белоглавый.
Парень, оказавшийся боксером,
Ногу приподнял, чтоб вора пнуть,
Но его священник удержал.

Из толпы другой выходит парень:
Комсомолец с детскими глазами,
С головою золотой, как солнце,
После окончания уборки
Собирая хлебные колосья,
Чтобы голодающим братишкам
Зернышки на зубы положить,—
Заработал срок, когда попался.
То, что здесь произошло, увидев,
Он затрясся в ужасе, и, словно
В приступе внезапном малярии,
Стало пепельным его лицо.
Он зубами клацал в забытьи,
И, как бы очнувшись, подбежал
Он к дверям, руками и ногами
Стал он бешено стучать, крича:
«Ой, ратуйте, люди, убивают!»

Двери приоткрылись. Часовой
Показался. Парень, обезумев,
Оттолкнул плечами часового,
Ринулся на Божий свет. Ужели
Он в отчаянье решил бежать?
Или, впрямь рассудок потеряв,
Испугался: так сайгак в степи,
В трепете мистическом дрожа,
Убегает, испугавшись волка.

Но отменно службу исполнял
Часовой, как видно, полагая,
Что поступок смелый совершает,
Как боец на фронте. Пареньку
Безоружному, почти подростку,
Щуплому, как будто по уставу
«Бей, руби, коли», как будто с рослым
Немцем он схватился в рукопашной,
Он прикладом, сделанным из дуба,
По виску нанес такой удар,
Что рассек он череп комсомольцу.
Тот упал. И кровь струею вверх
Из пробоины забила. Церковь
Деревянная завыла гулко.
Часовой позвал солдат на помощь,
Сам в дверном проеме он предстал
Перед заключенными, и трижды
Выстрелил он вверх. В проеме этом
Возвышался часовой, как в раме,
Заслоняя ясный день от зеков,—
Олицетворение судьбы.

«Если двинетесь, я всех на месте
Уложу. Ложись!» — он закричал
В страхе, в исступлении и злобе.
Кровь, разлившись ярко, покрывала
Пол цветным ковром. Упали зеки
На пол. Оказалось, что из трех
Выстрелов один попал в окно,

Два других две дырки просверлили
В голове Христа, как будто Бог
Палачом был предан новым мукам,
Будто, сострадая нам, Христос
Принял эти две безумных пули.
Выстрелы услышав в старой церкви,
Рота караульная поспешно
И победоносно окружила
Церковь. Роту возглавлял майор,
Тыловой вояка. Приказал
Быстро пулемет «Максим» поставить,
Всех способный за одно мгновенье
Уничтожить. Стал давать команды,
Обнаружив мужество, майор...
Я подумал, лежа на полу:
«Многим операция такая,
Несомненно, принесет награды,
Боевые ордена украсят
Грудь нерастерявшихся солдат».

Не они ли темной зимней ночью,
Пред рассветом, смело, без опаски,
Зная, что мужчины на войне,
Окружили ветхие дома,
Покосившиеся, и в бессилье
За свою державшиеся степь,
И калек безногих и безруких,
Стариков, старух, детей и вдов
Оцепили и пошли в атаку
На моих калмыков-бедолаг.
Плачущих, кричащих — всех загнали
В желтые товарняки-вагоны,
Повезли в холодную Сибирь,
Половину мертвыми оставив
Посреди насильственной дороги.
За свое искусство полководца,
За геройство генерал Серов
Не дерьмом пожизненно украсил
Грудь свою, а удостоен был,
Выродок, награды наивысшей...
Памятные, темные года!

Те года, когда, цепляясь крепко
За ничтожное благополучье,
Грязное, ценою в три копейки,
Все святое отвергая, люди
Грубою дубиною расчета
Рассекали совесть, если вдруг
Голову поднять она решалась,
И свою оправдывали низость
Страхом и желанием спастись;

Те года, когда менялись местом
То, что было хорошо сегодня,
С тем, что было издавна дурным;
Те года, когда добро и зло
По значенью своему сравнялись,
И не знали люди, что чему
Предпочесть: бессмертие души
Или краткое мгновенье плоти.
Вечность, как бы суть свою утратив,
Правоту вручив неправой силе,
Но, людей покинуть не желая,
В горе все же реяла над ними...
В вытянутых утвердив руках

Пистолет «ТТ», вошел майор
В церковь и обжег нас беглым взглядом.
Глаз его белки перевернулись,
Лишь убитого увидел тело,
На полу распластанное. Сделав
Шаг назад, майор остановился
И застыл. Глазами за майором
Следуя, наткнулся я на труп,
Что лежал вблизи, — и поразился:
Оказалось, что богаче кровью
Человек, чем самый крупный бык...

6

На войне — я видел — кровь хлестала,
Но земля ее в себя впитала.
Если ж струи красные текли
Не во имя правоты земли,
Их отталкивала твердь земная,
И темнела кровь, не высыхая,
Образ времени — сама красна —
В красный цвет окрасила она.
Мнилось мне, что в легкие солдата
Воздух я вобрал чуть розоватый.
Крови вкус почуял тяжело,
Мне казалось, что меня рвало,
Мне казалось — время, жизнь и разум —
Все от крови заалело разом!
Пулями израненный двумя,
Никого, казалось, не виня,
На меня Христос смотрел в печали,
Ибо люди веру потеряли.
Мне казалось: понимал Христос,
Ибо сам он много перенес, —
То, что в наше время трудно стало
Веровать в разумное начало,
Но, как прежде, призывает нас
К вере в милосердье в этот час,
К вере в свет добра неугасимый,
Потому что быть людьми должны мы.
Так. Но где же церкви благодать?
Муки заключенных как понять?
Как понять не знающих пощады,
Окруживших нас кольцом ограды?
Как понять майора средних лет,
Что на нас наставил пистолет?
Часовые — тоже Божьи дети.
Почему же я в минуты эти
В них друзей и братьев не нашел
И в меня «Максим» нацелил ствол?
Исполняя времени веленье —
А его я чувствую давленье, —
Явь становится кошмарным сном...
Долго ль буду мучиться я в нем?
Не пора ль очнуться, разогнуться, —
О, как страстно я хочу проснуться!
. . . .
Ты узнал, читатель, прочитал,
Сколько лет я пробужденья ждал.

Перевел с калмыцкого Семен ЛИПКИН

Владимир МАКСИМОВ

Семь дней творения

РОМАН

Четверг

ПОЗДНИЙ СВЕТ

I

Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова сможет вернуться сюда. Он считал этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы — последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. «Господи, — мысленно сетовал он, — за что мне все это, за какие грехи?!»

Машина вырвалась из загородного шоссе, мимо окон замелькали ловкие дачки-домики Подмосковья, рассеченные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. Буйный, связанный по рукам и ногам парень, постепенно очухиваясь от наркотиков, натужно замычал, задергался, на искусанных губах выступила пена, а истерзанные видениями кроличьи глаза его, казалось, вот-вот вылезут из орбит.

Эвакуатор — изжеванный жизнью и частым куревом мужичок в изрядно поношенной кожанке — лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом:

— Ишь ведь как его выворачивает! Давно такого не важивал. Видно, не жилец, раз в Троицкую.

И это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении: «Хана тебе, Вадим Викторович, наверняка хана». Долгой ледяной жутью свело сердце, что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал себя, свой голос:

— Что, папаша, дрянь мое дело?

— А то как же? — Нет, он, этот жлоб в кожанке, не дал ему, не подарил надежды. — Думай, куда едешь. — И докончил врастяжку, почти с наслаждением: — В Столбовую.

Больше Вадим и не пытался заговаривать. Какой смысл было ему растравливать себя и свой ужас перед будущим? Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно матерно выругался, добавив в конце к этому: «Сука, сука, сука!»

А тому — нет, не сиделось, не молчалось совсем, его прямо-таки выламывало сладострастным жлобским желанием мытарить и добивать ближнего.

— Раз лекарства не помогли, значит, туда. — И снова с наслаждением, только теперь с особым: — В Столбовую — я. Там таких навалом.

Продолжение. Начало см. «Октябрь» №№ 6—7 с. г.

Жрут, пьют, баб потребляют. Живи — не хочу! — В нем, в полом нутре жлоба, все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь промороженного «рафика». — А я бы их своим манером. Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет, знаешь, какая? Закачаешься! Любо-дорого! Один укол — и ваших нет...

Кажется, еще немного, и Вадим бросился бы на него, но в это мгновение тот неожиданно щедрым жестом выбросил вперед себя едва початую пачку сигарет.

— Кури, малый, а то совсем смерзнешь.

— Не курю. — Исступление сразу схлынуло. — Не привыкал.

— Не воевал, видно, молодой еще. — У жлоба в старой кожанке даже жеваное лицо его обмякло. — Бывало, лежишь в окопе, вша озверела, бабу хочется — в коленках ломит, а затянешься раз-другой, вроде ничего — жить можно. Ты в гражданке кем был?

— Артист.

— Смотри! — Кожанка уважительно заскрипела. — Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала. — И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признакам понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела. — Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадье.

— Да нет у меня никакого барахла!

— Тогда — интриги, — победно объявил эвакуатор, искоса определяя блудливым взглядом произведенный эффект. — Факт, интриги! Выходит, сидеть тебе, малый, в Троицкой — не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные...

Его явно заводило на речь длинную и не менее жлобскую, чем вначале, но в это время машину сильно тряхнуло и после этого не переставало трясти: асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома-дачи сменялись упитанными пятистенниками с телеантеннами над оцинкованной кровлей. Вялая поземка медленно наметала вокруг них пузатенькие сугробы.

Патлатый снова замычал и задергался, изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетливым отчаяньем отметил про себя: «С такими попаду, тогда — лучше в петлю».

Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал быстрыми глазами куда-то в окно и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос «Хотят ли русские войны». И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лености, чем по свойству натуры, что человек он, давно выпотрошенный жизнью да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым.

Жуть под сердцем Вадима притупилась или, вернее, вошла в постоянное, почти неощутимое состояние, и он обрел наконец способность к обычному житейскому размышлению и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один, взаимопроницаемый поток.

Еще в ту ночь, когда последний огонек Узловска исчез за срезом оконного проема и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она — эта встреча — рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которые чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, которого так недоставало ему все эти годы.

Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того — готовился к нему. Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах, оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал — не получается сердечной завязки и возникшее вдруг семейственное его с ними единение — только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретиться в верхней точке которого у них уже не было ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется, можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое, но бес-

смысленность ее — этой попытки — представлялась ему настолько явной, что одна мысль о ней вызвала в нем болезненное томление и протест.

Почти всю сознательную жизнь Вадима окружали посторонние люди: посторонние друзья, посторонние приятельницы, затем посторонняя жена и ее посторонние родственники. Все они имели к нему какое-то отношение или касательство, и порою самое заинтересованное, но никто из них никогда не стал для него больше, чем просто другом, приятелем, женой, жениным родственником. Жизнь их текла сама по себе, никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась.

До тридцати лет в суете и возбуждении актерской маяты Вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось. Но однажды в тусклом номере гостиницы в Казани он, пробужденный тяжким и сумеречным похмельем, вдруг увидел себя со стороны маленьким, затерянным и жалким существом, до которого никому, ну вовсе никому на свете нет дела. И он, сжавшись, как бывало в детдоме, под одеялом в комок, заплакал, вернее, даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведал облегчения. А дома в Москве Вадима ждала записка: «Я у мамы. Приедешь — позвони». И если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их — жены и тещи — нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился: «Дуры!»

Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном угаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время, с тем чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав: «А почему бы и нет?» С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней, слезами замаливала она свои более чем мимолетные измены, в слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу, и он, решаясь наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки. Но стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться.

Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она путалась. Чаще всего людей пустых и никчемных. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но после происходившего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала.

Теперь же, небрежно, ребром ладони отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она — эта записка — здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней — этой запиской, — виделось ему сейчас таким пустячным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшее его в подобных случаях удушливое исступление, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности: «Боже мой, какая, право, блажь все это!»

Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокружительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливо многословным и необязательным. Он чувствовал себя человеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обеим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз, то есть в себя. И он не выдержал этого соблазна. И посмотрел.

Ах, как они легко, без сопротивления подались, эти чудо-клавиши газового божества!

Вадим лег на тахту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, может быть, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в Сокольниках на карусели, и наконец блаженное забытье, как во хмелю, только гораздо полнее и удивительнее.

Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд. Обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он было рванулся из своих пут, но, накрепко прибинтованный к койке, лишь вскрикнул от унизительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал беспрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих наконец, судьба его была решена: во всех входящих и исходящих он уже значился тяжелобольным.

И вот теперь его везли в санитарном «рафике» в загородную больницу, и желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос «Хотят ли русские войны». Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что — нет, не хотят.

Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземистое, казарменного вида здание, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек. Забранные решетками бельма окон слепо вбирали в себя рассеянный свет вьюжного дня, не испуская обратно в мир ни звука, ни проблеска.

— Дома, малый! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор. — Вылезай. Сдам тебя по документу и ступай себе в палату, заваливайся на боковую. Ешь да спи — вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут! — И ясно было — не врал, действительно завидовал, даже раскраснелся слегка от умиления перед такой перспективой. — Нет, ей-Богу! А теперь топай поперед меня. Этого, — он коротко кивнул через плечо, — потом сами примут.

В приемном покое эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком, по-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь, шумно со всеми здоровался, а когда получил наконец сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом...

— Эх, малый, жизнь наша бекова! Солдат лежит — служба идет. Где ни жить, лишь бы с хлебом. Какие твои годы! — Он снисходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца. — Как говорится: от сумы, от тюрьмы! Где наша не пропадала! Век живи, век учись, а помрешь дураком! Кто не был, тот будет, а кто был, тот хрен забудет! В общем, как в песне поется: «Приди, приди ко мне, свобода золотая, я обогрею тебя ласковой душой!»

Он выхватил было из кармана сигареты, но, видно, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменил к выходу и вышел. И обитая войлоком дверь мягонько зашлепнулась за ним. Последняя ниточка, хоть и призрачно, но связывавшая Вадима с *тем* миром, оборвалась, и он остался наедине с *этим*.

Когда Вадима ввели в ординаторскую, врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль от стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной белизны, только подчеркивал вьюжную бесприютность январского дня.

Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие: просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой лежащий сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец он захлопнул скоросшиватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, ласково отрекомендовался:

— Меня зовут Петр Петрович.

— Лашков. — Вадим поперхнулся: уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо: узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами, оно позволяло ему и не поворачиваясь наблюдать собеседника. — Вадим Викторыч...

— Так, Вадим Викторович, так. — Тот говорил тихо, вкрадчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжелобольного и опасного и тем

самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям. — Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович.

Но по мере того, как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, птичье око доктора тускнело, речь обесцвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий.

В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери:

— Нюра!

В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова, решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату.

II

Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячечного сна на новом месте, Вадим как следует осмотрелся. Определение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратной формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь в перерывах между едой шумно колготило нечто вроде клуба: резались во все настольные, обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка.

Вадим потолкался было в общем гомоне, но, видно, еще не принятый вполне за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима по койке — черный, стриженный наголо парень, с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком — поднял на него влажные, цвета сосновой смолы глаза, доброжелательно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком.

Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от Якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке, то являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая, по своему обыкновению, обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и некстати поминая о загубленной жизни дочери, то садился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука...

— Слушай сюда, паря! — Кто-то бесцеремонно расталкивал его. — Проснись, землячок!..

Размытое сонным пробуждением, перед Вадимом выявилось лицо. Лицо все более и более определялось, а определившись уже совершенно, оказало себя улыбчивым удивлением: что, мол, не узнаешь, брат? Все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало в нем индивида дотошного и в жизни весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого: на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом, сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянному племени бродяг. Прежде всего людей, подобных ему, отличает эдакая внутренняя взбудораженность, эдакое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашия одновременно. Они словно бы катятся с горы, но спуск этот, захватывающий сам по себе, стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман, а что там, за этим туманом, не знает даже и сам бес, толкающий их с этой горы. И вот с этим самым вопросом — пан или пропал? — в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, дорог нашего никем не меренного и не считанного Отечества. И куда ни закинь его, в любую Тмутаракань, в медвежий угол любой, в пески, где

и верблюд считает себя ссыльным, он — наш бедолага — семью кровями потами изойдет, а все-таки отвоюет себе место под солнцем. Отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его, и это наверняка, ждет действительно достойная жизнь. Вот и носит такого до седых волос по свету — из конца в конец долгой страны — в поисках все лучшей и лучшей доли. А где она — эта его доля — ведомо, видно, одному Господу Богу.

И сейчас при взгляде на неожиданного собеседника, в памяти Вадима из-под наслоений множества лиц и голосов стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшее воспоминание.

. . . .

Когда после часовой толкотни у кассового окошка Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом: штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй Телегин — щербатый мужик в синей сатиновой рубахе нараспашку, — поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяное разноголосье:

— ... Прихожу, говорю: «Я тебе любой колер наведу. Хочешь — клеевую, хочешь — масляную, хочешь — под дуб разделаю за милую душу. В штукатурке опять же промашки не дам... Оборудую так, что пальчики оближешь. Что же ты, говорю, сукин сын, меня на земляных держишь, распахнуться душе не даешь?» А он мне говорит: «А ты, говорит, сто пятьдесят целковых подъемного харчу получил? Получил. Вот и отрабатывай, говорит, где поставлен. Эдак вы все, говорит, начнете выкобениваться, так я не токмо что план, а по миру пойду».

Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствия, но, занятые своими разговорами, все слушали его вполуха. Маляр безнадежно махнул рукой — чего, мол, с вами зря и язык чесать? — и пошел между койками к двери, истошно выкрикивая на ходу:

— Вербовщик, гаденыш, золотые горы сулил, а вышло по семь бумаг на рыло и — крышка!.. Поди-ка выкинь шесть кубиков, взвоешь!.. Вот-те и заработки! А из деревни пишуть: крыша текеть! А чем я ее залатаю? портками?.. Куда как нехорошо получается...

Митяй, петляя, шел к выходу, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив «Две гитары за стеной жалобно заныли...»:

Дядя Ваня на гармони,
На гармони заиграл.
Заиграл в запретной зоне —
Застрелили наповал.

О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле: стройка газового завода с выдвинутыми вперед наподобие аванпостов общежитскими бараками вплотную примыкала к артельным угодьям. Оттуда тянуло улежавшимся сеном и полынью. Запахи еще не тронутой скреперами земли сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки.

Уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный им мир. Его, выросшего в раздельной бесприютности башкирского юга, угнетала здешняя скученность дорог, строений, людей, вызывавшая в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там, в детдоме, а потом в ФЗО, он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков здешние места рисовались Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостылевшее однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии. Попав на строительство завода, он оказался среди людей, съехавшихся сюда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем, кроме желания заработать на обратную дорогу. Профессия в договоре не указыва-

лась — оргнабору это было невыгодно: вербованный мог потребовать работу по специальности — и Вадиму с его пятым разрядом едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукатура. Так что при всей его трезвенности ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье — разносолами на коротком своем веку он не был избалован, — сколько эта вот ожесточающая душу сутолока, которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лежа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал когда-то без сожаления брошенную им зябкую башкирскую степь с ее блеклыми тонами и коротким летом. И то, что раньше казалось ему скучным и постылым — долгие зимние ночи, стылые ветры по осени, безлюдье, — выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значения...

Где-то совсем рядом зашуршала трава.

— Кто тут живой отсыпается? — Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина. — Принимай в конпанию!.. Никак ты, Вадька.

Вадим не ответил: сейчас ему его одиночество было дороже телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затянулся.

— Эх, ведь какая благодать кругом! — Речь его лилась трезво и благостно. — Хлеба хрустят, тварь всякая стрекочет, земля в духу покоится... И середь всего этого пьяный человек навроде дерьма шалается, святое место поганит... Так все в нутрях и переворачивается. Материться и то лень... В деревню бы сейчас. Да по ранней зорьке, кваском опохмелимшись, косу на плечи...

— И очень просто.

— Просто! А в пачпорте кирпичик: завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю. Мигом в райотдел отправит.

— Не лез бы. — Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет. — Все рубля подлиннее ищете.

— Да мне, друг-человек, — Телегин сразу заерзал на месте, заволновался, — чтоб половину дырок залатать, рупь с версту нужен. Не напечатали еще такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудодень обещанками платят, одна кормежка, что с усадьбы. Много ли с нее прокорму? Вот и разбредается мужик хоть малую деньгу зашибить... Да и деньга-то, ведь сказать, стыд один...

— Пьете вы все.

— Ты вот не пьешь, много ль в сберкассе скопил?.. То-то... Пропивай, не пропивай — все одно в кармане шиш. Так хочь душу повеселить.

— Ничего себе веселье. В прошлую получку троих «Скорая помощь» увезла.

— Усталый народ, — примирительно вздохнул Митяй. — Выпьет, злость — наружу. Вот и режутся... С непривычки оно, конечно, в диковинку... Сам-то ты откуда?

— Из Башкирии...

— Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас?

— Степя, — в тон ему ответил Вадим и еще раз повторил уже мягче: — Степя...

— И ночь, говорят, длинная?

— И ночь... И день...

— Скота много... Опять же нефтя.

— Хватает.

— Чудно!

— Чего ж?

— Уж больно Расея велика. У нас вот, в Тульской области, зайца встретить — редкость... Рыба и та вышла. Стребили. Всю как есть. Так, дурочка иногда попадается, а чтоб по-настоящему — ни в жисть.

— Соскучился, возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть.

— Туда одна дорога во что обойдется, все спусти — не хватит. И опять же от дома далеко... Ребята у меня... Шестеро. — И определил мечтательно: — А ничего бы...

Этим своим «ничего бы» Телегин словно приобщил себя к сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия.

— У нас там широко. Сто километров — вроде как здесь один пролет поездом.

— Ишь ты...
— И народ широкий... Добрый народ...
— Смотри-ка...
— И тишина кругом...
— Дела-а...

. . . .

И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул сивой головой:

— Дела-а... А я и смотрю, быдто знакомый... Ить сколько годов, а признал! — Он по-ребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивая того локтем, стараясь и его приобщить к своему торжеству. — Не всю, значится, память я пропил, осталось чуток!.. Эх, так и текет жись без передыху... А меня поваляло-потрепало, да... Как отбился я тогда от деревни, так досе и замеряю Союз подошвой вдоль и поперек... Жена еще до реформы денежной померла, дети попереженились да и поразъехались кто куда, ищи их теперь... Да и ни к чему, все одно забыли... А я из вербовки в вербовку, как из ярма в ярмо... А сюда, — от напряженного смущения у него даже пот на лбу выступил, — я по пьяному делу попал... Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну, и гульнул здесь проездом по буфету... Ну, и задел одного ненароком... Слыхал, Тюмень-то? — Телегин намеренно переводил разговор в другое русло. — На подсобке и то по триста гребут...

Года два тому, прельстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по заиртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром, в грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым коромыслом, а дорога всякий раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, при одном воспоминании об этой гастроли его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение: «Как он еще там, в аду этом, совсем не озверел, разговаривать не разучился?»

Они проговорили до самого обеда, вернее, говорил один Телегин, а Вадим только слушал, но, слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту.

Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку и, вставая, протянул Вадиму сухую волосатую руку.

— Марк. Крепс. Режиссер. Пошли обедать.

Высказанное соседом с такой веселой краткостью дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, пронизав его к новому знакомцу ответным доверием и приязнью: «Чудак вроде, но славный, светится весь».

III

В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для самого себя. Как-то машинально взял протянутую Марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись, решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клозетного предбанника. Дымил он почти беспрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной.

Рядом с ним, тихо одуряя себя лежалым «Прибоем», два старика торговали друг у друга пальто. Пальто существовало там, в том мире, и, судя по всему, ни одному из них не суждено было его носить, но, убежденные в скором освобождении, они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей.

— Оно у меня на ватине, довоенном еще.— Сизые щеточки бровей над вылинявшими глазами многозначительно сдвигались к переносице.— Еще лет двадцать проносишь. Ты, главное, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова, а там Гавриков проезд спросишь. Дом четыре. Во дворе меня всякий знает. Тебе за шестьдесят пять отдам, дешевле грибов. Не прогадаешь.

— Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг — большие деньги! За шесть-то с половиной нынче и новое можно купить любо-дорого. Скажешь тоже, шесть с половиной! Бери шесть и не мерзни. К тебе добираться — не меньше рубля изведешь...

В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно проявилось тихое лицо Крепса.

— Дымишь?

— Не спится.

За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепсе все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить что ему хотелось и как хотелось, его после очередного выступления в управлении отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение, с каким бывший режиссер воспринимал все случившееся с ним — недоумение перед непробиваемой людской глупостью,— вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства.

— Все думаешь? — засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса.— Химеры одолевают?

— Уж так мы устроены, Вадя.— Крупный профиль Марка четко обозначился на матово блистающем стекле.— Нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там под ней — бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие. Но такое случается редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерваться. И мы мыслим. Неважно о чем. О теории относительности или премиальных. Главное — не прерваться. Спасение — в беспрерывности.

— О чем ты все пишешь, Марк? Если не секрет, конечно...

— О значении врожденного чувства вины в человеке.

— А если яснее?

— Как бы это тебе объяснить, Вадя... Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца: «Разве я еврей?» Он ответил: «Да, мой мальчик. Ты еврей». Но я-то знал, знал доподлинно, что отец мой чистокровный немец, а мать армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее: «Ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком. Человеком, понимаешь?» И я понял, понял навсегда, что, пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка... Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это популярно... Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится?..

— Покурю...

— Смотри...

Вадим завидовал Крепсу и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их вѐщей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле: заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких труппах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим определенно знал, что это самое «потом» обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом.

— Что, не спится? — Вадим знал, что устойчивая бессонница вконец изводила Крепса, и поэтому всякий раз проникался его мукой.— Покури, может, заснешь.

— Бесполезно...

— Пробовал?

— Не помогает.

— Все хочу спросить,— ровное дружелюбие Марка настраивало на откровенность,— только без трепа.

— Попытаюсь.

— Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня?

— Хочешь правду?

— Валяй!

— Нет, не взял бы.

— Спасибо за откровенность... Вот и договорились.

— Видишь ли,— Крепс легонько кончиками пальцев коснулся его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность,— ты слишком жалеешь себя. В моем театре,— он со значением выделил это самое «в моем театре»,— актер должен будет жалеть других, себя же в последнюю очередь... Скорее даже совсем не будет... Цель искусства, наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение... Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле... Но мне понадобятся не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы...

— Так научи!

— Этому нельзя научить, это или приходит само по себе, или не приходит вообще.

— Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло?

— Нужно успокоиться.

— У меня нет времени.

— Время здесь ни при чем.

— Что же «при чем»?

— Наверное, сердце.

— Ему тоже некогда.

— Тогда не жалуйся.

— Иди ты к черту...

— За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить и часто — всем. Одно из двух: или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам...

— Валяй, валяй...

Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие уступает в нем место острой, но еще необъяснимой для него горечи...

— Но в тебе есть немалая толика прекрасного самоедства. И это тебя в конце концов спасет.

— Поздно... Мне уже тридцать пять.

— Самоеды вроде тебя — до старости дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново.

— И жизнь?

— Разумеется! Можно просуществовать век, в котором не наберется и года жизни, и можно прожить год, который вберет в себя целый век... От суеты только надо отряхнуться, от душевной праздности...

— Как?

— Здесь советовать — пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному.

— Вот ты, к примеру?

— Видишь ли, Вадя, есть такая коротенькая притча. Шли двое по лесу. Долго шли. Наконец один не выдержал: «Заблудились»,— кричит. Другой успокаивает: «Пошли дальше. Я дорогу знаю, выведу». Первый поверил и пошел. Шли они шли, но все-таки выбрались. Тогда первый и спрашивает: «Коли ты дорогу знал, что же мы так долго плутали?» А другой ему отвечает: «Важно не дорогу знать, а идти».

— Выходит, и ты не знаешь?

В смущении улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой.

— Нет, Вадя, не знаю... Иди — вот и все, что я могу тебе посоветовать...

— Из моего леса нет выхода.
— И все-таки лучше иди.
— Было бы куда...

В зеркале окна размытые тусклым светом коридорного плафона безмолвно маячили две молчаливые фигуры, затем одна из них растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя: «Некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем!»

IV

Суббота — день свидания. С утра в палатах царило нервное оживление: освобождались от остатков прошлых передач сумки, под наблюдением санитаров сбривалась недельная щетина, затасканным пижамам придавался посильный лоск. Каждый, даже из тех, кого никто не навещал, хотел выглядеть в этот день щеголем и весельчаком.

По отделению расхаживала в своих знаменитых, сорок последнего размера валенках старшая сестра Нюра, прозванная здешними старожилами «тетей Падлой», и, вяло ворочая обвислой челюстью, покрикивала:

— Живей, ребята, живей! Чтобы кровати по ниточке! Как в санатории! Из тумбочек все вон! Прогулка, оправка — и шагом марш на свиданку! Разговорчики!

Первое время Вадим еще втайне надеялся, что однажды дежурный санитар выкликнет и его фамилию, но проходили суббота за субботой, а никто из друзей или знакомых не спешил напомнить ему о себе. И он перестал ждать. Жизнь являла ему наглядное доказательство непрочности застольных дружб. Что же касается жены, то его с нею уже ничто не связывало. Отказавшись взять Вадима из больницы, она сама поставила точку в их недолгих и малопонятных и ей, и ему взаимоотношениях.

Поэтому, когда однажды от входных дверей пошла гулко размножаться по палатам его фамилия, у Вадима удушливо засосало под ложечкой: «Кого еще принесла нелегкая? Отстали бы уж наконец совсем!»

Долгими коридорами его вместе с другими провели в полутемное сводчатое помещение, где за квадратными четырехместными столами уже размещались первые посетители.

И не успел Вадим толком оглядеться, как из-за стола в дальнем углу поднялся и, чуть покачиваясь, пошел к нему навстречу давний его приятель и собутыльник Федя Мороз.

— Дедюк, — белесые глаза его, подернутые хмельной поволокой, любовно увлажнились, — здравствуй!

Он грузно обвис у Вадима на руках.

— Как же это ты, Вадя, а? Даже знать не дал. Выходит, и во мне разуверился? Я тебе друг или нет?

И хотя Вадим особо не заблуждался по поводу пьяных Фединых излияний, на сердце у него стало ровнее, и мир несколько раздвинулся перед глазами вширь и вдаль: «Не все, значит, забыли, помнят».

С Федором Морозом жизнь столкнула его случайно в театральном училище на вечере встречи с литинститутовцами, где тот в очередь с однокурсниками читал свои стихи. И не то чтобы стихи его очень уж пришлись по душе Вадиму — стихи как стихи, ни хороши, ни дурны, расхожего образца средней руки, — нет, просто было в этом лобастом, стриженном под нулевку парне, в его манере держаться — сжатые кулаки в карманах видавшего виды пиджака, ноги широко расставлены, голова боксерски выдвинута вперед — что-то такое, от чего на душе становилось увереннее и тверже.

Потом они вдвоем бродили всю ночь арбатскими переулками, и Федор, вперемежку со стихами, поведал Вадиму тогда еще довольно короткую, но пеструю историю своей жизни.

Мальчишкой, оставшись без родителей, он определился в мореходное училище, откуда ушел в первую кругосветку. Два года проплавал на морских извозчиках, повидал свет и людей. Еще в детстве «ушибленный» литературой парень в свободные от вахты часы изводил бумагу рублеными виршами под Киплинга и Багрицкого. Почти без надежды на успех послал их вместе с заявлением в литинститут и неожиданно для самого себя был принят...

— Вот так, — закончил тогда Федор свою исповедь и скосил в его сторону круглый, блистающий доверчивым озорством глаз, — я и назвался груздем. — И звучно продолжил: — «Ураган матросов не пугает. Нет! Они сжимают кулаки. Судно только крысы покидают. Только крысы, но не моряки».

Сначала они встречались от случая к случаю, но каждая следующая встреча все более их сближала, и вскоре им уже трудно было обойтись друг без друга.

Успех к нему пришел скоро и надолго. Его охотно печатали. От предложений, причем самых лестных, не было отбоя. Но чем громче становилась популярность Федора, чем доступнее давались ему публикации, тем резче обсекалось его когда-то круглое добродушное лицо, заметнее темнели глазницы. Все чаще и чаще он стал запивать вмертвую, пока наконец это не стало его бедой и болезнью. Дружки и приятели потихоньку от него отпадали. Один за другим отпали все. Федор остался в одиночестве.

Тяжелый, с мертвым лицом, он неделями пластом валялся на раскладушке, поднимаясь только затем, чтобы выпить и снова лечь. Болтал какой-то вздор, но и сквозь этот вздор вдруг блаженно прорывалась порой источавшая его боль.

— Не то, не так, Вадя, слова не те... Кристалла во мне не оказалось... Того самого... Чтобы встать однажды и просто произнести: «И зло наскучило ему...» Наскучило!.. Каково?.. А!.. Умели поручики высказываться... А, впрочем, бред... Налей, милый, не ругай меня, ведь я не клубный пижон...

Постепенно он сходил на нет, пока не замолчал совсем. Что-то переводил, что-то печатал из старья, прирабатывая потихоньку около эстрады и рекламных бюро. Последние годы они виделись редко, говорить им было уже не о чем, и каждый из них, занятый своими заботами, тотчас забывал о встрече. Оттого, слушая сейчас гостя, Вадим никак не мог отделаться от ощущения виноватой неловкости перед ним за недавнюю свою отчужденность.

— Понимаешь, — Мороз между тем заметно трезвел и подтягивался, — за что-то мы платимся, Вадя. За тяжкий какой-то грех. Там, внутри нас, пустота. И не залить нам этой пустоты ни спиртом, ни ожесточением. Сами в себе задыхаемся. Потому у нас ничего и не получается. Крик иногда кой у кого выходит, а настоящего, чтобы на века, — нет. Вот и «сублимируемся» потихоньку, кто как может. Кто бабами, кто, так сказать, общественной суетней, кто доносами...

Воспринимая его вполуха, Вадим время от времени поглядывал в сторону соседнего с ними стола, где рядом с аккуратным — реденький и словно бы светящийся нимб седой поросли вокруг розовой макушки — старичком, которого ему мельком уже приходилось замечать где-то в лабиринтах соседних палат, сидела девушка лет двадцати — двадцати двух в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета. Девушка держала в своих остреньких ладошках пухлую руку старика, и они ласково и доверительно о чем-то беседовали. У нее было чистое, не отмеченное какой-либо определенной чертою лицо, но едва она начинала улыбаться среди разговора, узкие, близко сдвинутые к переносице глаза ее заполнялись игольчатым мерцанием и тогда в ней цельным и определенным образом проявлялся характер. Порою девушка, перехватывая взгляд Вадима, на мгновенье замирала, потом, упрямо вскидывая подбородок, стряхивала оцепенение и отворачивалась.

Машинально кивая в такт Фединой речи, Вадим почти не слышал друга в ревнивой боязни избыть, растратить в слове трепетное и все нараставшее в нем предчувствие какой-то скорой и праздничной перемены в своей жизни.

— Не оказалось во мне того самого, магического, Вадя, кристалла, — Мороз уже не замечал ничего вокруг, говорил скорее для себя, чем обращаясь к Вадиму, — а зря бумагу оскорблять не хочу. Без меня хватает. Уж лучше репризы разговорникам сочинять, по крайней мере совесть не мучает. Хочешь, — тяжело усмехнулся он в пространство перед собой, —

байку тебе выдам? — И, не ожидая ответа, невидяще повел глазами вокруг. — В самый голодный год встретил один большой литначальник старую поэтессу в самом что ни на есть плачевном состоянии. Ну, и отдал ей от широкой души, так сказать, со своего барского плеча особую карточку для потребления в столовке самого первого разряда. На, мол, пользуйся и благословляй меня по гроб. Сам-то он, конечно, другую получил. Прошло время эдак подходящее, снова встречает благодетель старуху. «Что ж ты, — говорит, — Ксюша, ни разу я тебя у нас в столовой не видел?» «Ах, — отвечает, — милый, там такие пошлые потолки!» Это в сорок втором-то, Вадя, в том самом... Видно, потому-то у нее и получалось... В единстве внутреннем, в гармонии жила старуха. Из света вышла, а мы все — из тьмы... Тьма-то нас собственная и поедает. Да! — Он вдруг ожил и виновато заулыбался. — Что ж я тебя все баснями да баснями! — Ему, видно, доставляло огромное удовольствие выкладывать перед Вадимом свои небогатые дары. — Ты уж, брат, не привередничай, я по этим заведениям не в первый раз хожу. Здесь разносолы ни к чему. Колбаса, сахар, курево и, главное, побольше. А это вот, — он заговорщицки подмигнул Вадиму, — печеньице к чаю. Смотри не урони, разольется.

В коробке из-под печенья, и это Вадим определил сразу, было упаковано не меньше двух бутылок. И, по достоинству оценив самоотверженность друга, он удивленно выдохнул:

— Ну, ты даешь!

— Однако живем, Вадя! — Феде манны небесной не надо, только похвали. — В такой собачьей жизни да не выпить, совсем с тоски высохнешь. Эх, Вадя, Вадя, жизнь под гору пошла. Уже не переиначишь. — Он вдруг поднялся и заспешил. — Пойду-ка и я где-нибудь по дороге свои сто пятьдесят сглотну. Покуда, Вадя, будь. Прости, если что не так.

Они легонько для порядка помяли друг друга, и Федя вяло отпал от Вадима, двинулся к выходу, и во всей его сразу ссутулившейся фигуре, в походке, в наклоне головы угадывалось усталое облегчение. Безвольная спина его еще помаячила в коридоре, пока ее не размыло светом впереди, и Вадим, благодарно оттаивая, с сочувственной горечью заключил про себя: «Сдает парень, совсем сдает».

Проходя мимо соседнего стола, Вадим коротко скосил взгляд в сторону девушки, с сильно бьющимся сердцем отметил ее ответное внимание и, уже выйдя следом за санитаром в коридор, все не мог унять вдруг охватившее его жаркое и томительное волнение.

И потом, когда он вместе с Крепсом и Телегиным в простенке между двумя угловыми койками допивал принесенное Федей вино, его при одном воспоминании о ней всякий раз обволакивала радостная задумчивость, сквозь которую в его сознание еще пробивался нетвердый голос захмелевшего Митяя:

— Рази тут мороз? Баловство одно. Вот, скажу я вам, в Игарке мороз — это да! Сорок пять по градуснику да еще с минусом. Душу насквозь просекает. Только я крепок тогда был, выдерживал... А теперя у фортки стыну... Сдает машинка. Долго не протяну... Землица зовет на покой. Обида только: в чужой стороне лягу. Без креста... Никого нет, ничего нет. Ни конуры, ни привязи... И рупь мой с версту так и остался в тумане. И кому я задолжал столько, что до сих пор не расквитаюсь?.. Ишь, как сердечишко прыгает! Как овечий хвост. — Он сунул руку под рубаху и начал старательно растирать левую сторону груди. — Пойду я, братцы, лягу... Мерси за угощение... Неможется чтой-то.

Уходил Митяй неуверенно, ноги переставлял с трудом, серое лицо его, подернутое сивой щетиной, болезненно заострилось, и по всему было видно, что доживает он свой век через силу и что отсюда ему предстоит лишь одна дорога — на больничный погост.

— Вот так, Вадя. — Волосатые руки Марка, разливая по кружкам остатки, мелко-мелко тряслись. — Вынули мужику душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки. Вот он, этот мужик, и выгорает изнутри синим пламенем. Все наши российские горе-преобразователи вроде Петра и его марксистских поклонников умерли с чувством выполненного долга, очень себя уважая, умерли, а прожекты ихние нам боком выходят. Нам, не имеющим к ним даже косвенного отношения. В силу какого такого закона за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация? Века платить! И — как! — Хмель почти не сказывался в нем, и только это вот, так не свойственное ему обычно ожесточение выдавало его. — Притом нас еще и клянут все, кому не лень. Весь свет! Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!

Последние слова Крепса пробились к Вадиму уже сквозь полусонное забытье. И виделась ему девушка в легоньком демисезонном пальтеце зеленого цвета, плывущая по утренним снегам ему навстречу. Потом метель размыла ее облик и голос Телегина стал бередить в нем его собственную затаенную боль: «Никого нет, ничего нет... Без креста...» И сразу вслед за этим, словно наяву, обозначился перед ним выпуклый, почти без морщин лоб старичка с венчиком белого пуха вокруг розовой макушки, ласково шелестящего у него над ухом: «Думается мне, вы не правы, Марк Францевич, в данном случае...»

Старичок отвердевал, устаивался, пока не определил себя напротив него в яви. Сидя на краешке Крепсовой кровати, он складывал певучие слова в ровную неторопливую речь.

— ...Да, не правы... Спаситель не жалости к Себе у Отца просил, а любви к распинающим Его... Возненавидеть их страшился. Боялся не снести креста искупления до конца.

— Верую я, отец Георгий, верую! — Таким Вадиму Крепса еще видеть не приходилось: белый, с трясущимися губами, он судорожно цеплялся за отвороты старикова халата. — Только почему допустил Создатель одному только народу телом этого самого искупления стать? Сколько же его распинать можно? Терпим мы, терпим. Терпения у нас хватит. Любовь на исходе. Злоба Россию душит. Если выплеснется, кровь дешевле воды станет. Каким же искуплением тогда оплачивать ее придется?

Злые беззвучные слезы закипали в его выпуклых глазах и, собираясь в уголках век, тихо стекались к подбородку. Марк не замечал их, продолжая тискать лацканы халата, накинутого на плечи старичка, пока тот не взял его руки в свои, не заговорил умиротворенно:

— Всякому народу своя доля тяжести. От нас самих зависит достойно ее снести, помочь Спасителю в строительстве Его божественном. Роптать — значит, не идти, а топтаться на одном месте. У вас в руках, Марк Францевич, дело, святое, нужное, угодное Господу дело, оно и спасет вас и многих спасет. Надо только отринуть от себя страх перед мирской мерзостью и не с обстоятельств начинать, а с самих себя, со своего прямого дела...

Словно завороженный его медлительной речью, Марк стихал, светлел обликом, вновь обретал обычную для себя безмятежную ясность. И, окончательно засыпая, Вадим успел мысленно озадачиться по адресу старичка: «Его-то, одуванчика этого, за что сюда?»

V

Кружение в прогулочном дворе было по обыкновению неспешным и молчаливым. Вырвавшись из каменной коробки отделения, где слова служили единственным средством скрасить друг другу скуку существования, каждый старался сполна вобрать в себя свою долю тишины и одиночества.

Небольшого роста, плотный, с крепко и ладно посаженной на широкие плечи головой, Крепс вымеривал территорию двора уверенной и твердой походкой человека, который определенно знает цену каждому своему шагу и вздоху и у которого нет времени для сует и сомнений. Вадим, стараясь попасть ему в ногу, еле поспевал за ним. Снег тихонько поскрипывал под их подошвами. В безветренном морозном воздухе от окрестных деревень тянуло кисловатым дымком прелой соломы. Над головой, в отвердевших ветвях заснеженных тополей, лениво, и как бы передразнивая друг друга, покрикивали тощие галки. Мир в замкнутом кругу прогулочного двора выглядел таким надежным и предельно устойчивым, что можно было подумать, будто никакая сила извне уже не сможет его поколебать.

— Заметь, — не поворачиваясь к Вадиму, сквозь зубы процедил Крепс, — занятный дед.

Они приближались к скамейке, на которой, зябко кутаясь в халат,

накинутый поверх жиденькой телогрейки, сидел прямой, тщательно выбритый старик с висячими, пуховой белизны усами. Издалека он походил на замерзающего кондора, вынужденного зимовать под чужим для него небом.

Минуя старика, Крепс уважительно ему поклонился. Вместо ответа тот глазами указал режиссеру место рядом с собой. Марк кивнул Вадиму, они сели, после чего усач, порывшись за пазухой, достал и молча протянул сидевшему около него Крепсу сложенный вчетверо листок глянцевитой бумаги.

Читая, тот держал документ на некотором расстоянии от себя, с тем чтобы и Вадим мог хотя бы краем глаза схватить суть написанного. В документе французское посольство уведомляло господина Ткаченко Валерьяна Семеновича о том, что по ходатайству его супруги, проживающей в Париже, оно готово содействовать выезду вышеозначенного на постоянное место жительства во Францию.

— И как вы решили, Валерьян Семеныч? — Возвращая ему бумагу, Крепс глядел прямо перед собой. — Поедете?

— Наверное, нет. — Смутная полуулыбка обрамила ровный ряд нетронутых временем зубов. — Мне уже восьмой десяток. Каждый день для меня — подарок. Больше половины жизни скитался по чужбине. Теперь я хочу умереть здесь, на родине. Если уж выбирать, то лучше желтый дом в России, чем любая европейская богадельня... Жаль, конечно, Аннет, с ней мы многое перенесли вместе, но она, верно, поймет меня.

— Тогда, может быть, вы все-таки выпишетесь? — Рука Марка легла поверх ладони старика. — Негоже вам, Валерьян Семеныч, больничным приживалой жизнь кончать.

— А куда я пойду, Марк Францевич? — Даже выражение беспомощности не размягчало его скульптурно четкого лица. — У меня там, — он кивнул в сторону забора, — никого нет. Да и что я там буду делать? За сорок-то с лишним лет все переменилось. Не приживусь я теперь на воле. А здесь у меня по крайней мере есть крыша и постоянный хлеб. Нет уж, Марк Францевич, поздно мне снова начинать.

— Как знаете, Валерьян Семеныч, как знаете. — Поднимаясь, Крепс устало поморщился. — Пошли, Вадя.

После разговора со стариком Марк заметно сбавил шаг, поскучнел, шел, то и дело озябливо поводя плечами. В нем явно проступало нетерпение высказаться, но, лишь удалившись на порядочное от усача расстояние, он разразился горячечным шепотом:

— Что же это делается с людьми, Вадя! Полный генерал, первый командующий русской авиацией, кавалер трех Георгиев считает за счастье скоротать последние свои дни в сумасшедшем доме! Мир взбесился! Ты только посмотри на него, ведь он доволен! Доволен! Уж эта мне российская ностальгия! Рабом, побирушкой, бездомным псом — лишь бы на родине. Слышишь, «на родине»! А то, что эта самая «родина» сначала отказалась от него, потом гоняла по всем своим лагерям от Колымы до Потьмы и наконец в виде особой милости разрешила перекантоваться до похорон в дурдоме, это не в счет. А властям на руку. Они даже культивируют такого рода гнусности в людях. Как же — патриотизм! Так ведь патриотизм-то героев должен рождать, а не лакеев! Что с нами будет, Вадя, что будет? На глазах вырождаемся!

— Как он к нам-то попал? — От всего услышанного Вадим слегка растерялся. — Каким образом?

— В сорок пятом в Югославии взяли. Он там латынь в русской гимназии преподавал.

— А потом?

— Потом? Потом — лагерь. Освободился, идти некуда. Стал хлопотать о выезде — заперли сюда. Теперь, как видишь, сам не хочет. Конечно, за двенадцать лет в эдаком содоме кого хочешь сломает, но все-таки не умещается это у меня в голове.

— Может быть, он прав, Марк. Если уж мы с тобою не смогли приспособиться, то ему ведь еще труднее. Мы хоть родились и выросли в этой выгребной яме.

— Но у него в отличие от нас есть сейчас свобода выбора.

— Там ведь тоже хлеб даром не дают, Маркуша, а ему уже вон сколько накачало!

— И ты туда же!

— Но ведь правда.

Тот лишь рукой махнул: иди ты, мол, к чертовой матери. И направился в отделение. Прежде чем последовать за приятелем, Вадим не выдержал искушения, обернулся. Старик все так же сидел на скамейке, глубоко вобрав голову в плечи, отчего сходство его с больной, заброшенной птицей казалось еще более разительным.

VI

Едва они успели раздеться, как появился гость из соседней палаты. Сияя во все стороны выпуклыми, цементного оттенка глазами и победно поводя вокруг себя кирпичной бороденкой клинышком, он торжественно потрясал развернутой газетой.

— Поздравляю вас, товарищи! — Его прямо-таки распирало от восторга. — Братская ГЭС дала первый ток! Представляете, товарищи, какой удар по нашим злопыхателям из-за рубежа?

Гость этот — фамилия его была Бочкарев — считался здесь коренным старожилом. Помещенный сюда, по его собственному определению, за активную борьбу с религиозными пережитками, выразившуюся в том, что он изъял у своей соседки и ухитрился сжечь на газовой конфорке образ Иоанна Крестителя, Бочкарев и тут остался верен себе и своим убеждениям. Имея право свободного выхода, он с утра отправлялся в село за газетами. Затем с карандашом в руках прочитывал их от корки до корки, старательно подчеркивая наиболее, по его мнению, значительные места, после чего садился писать одобрительные реляции в самые высокие адреса. В своих посланиях Бочкарев «горячо одобрял», «с энтузиазмом поддерживал», «безусловно санкционировал» все последние меры и постановления вышестоящих инстанций. Письма его начинались с обычного «в нашем здоровом коллективе больных» и заканчивались традиционным «коммунистическим приветом». Периодика и почтовые расходы целиком поглощали бочкаревскую пенсию, что лишь воодушевляло его бескорыстную деятельность. Получая вежливые ответы в маркированных конвертах, он поглядывал на окружающих таинственно и горделиво. Казалось, не было такой силы в мире, которая могла бы выбить Бочкарева из его раз и навсегда взятой колеи.

— Но это еще не все, товарищи. — Его праздничное сияние становилось почти нестерпимым. — В Тюменской области забил новый мощный фонтан нефти! Ученые утверждают, что запасы черного золота в этом районе практически неисчерпаемы!

Для Крепса это было слишком. У него даже кровь отлила от лица, и белые губы вытянулись в змеящуюся ниточку.

— Слушай, ты, поросенок, — цепляясь за край койки, он весь, словно стреноженный конь, яростно подрагивал, — если ты сию минуту не слиняешь отсюда, я буду делать из тебя клоуна. Ну!

Бочкарева уговаривать не приходилось. Полтора десятка лет, проведенных в отделении для социально опасных, научили его спасительной осторожности. Мгновенно ретировавшись, он все-таки не утерпел — поминтинговал в коридоре:

— Теряете классовое чутье, товарищ Крепс! Не радуетесь успехам своего государства! Скатываетесь в болото ревизионизма! Льете воду на мельницу!.. И потом у меня поручение к товарищу Лашкову! Его просил зайти товарищ Телегин! Товарищ Телегин серьезно болен!

Известие о болезни Митяя лишний раз напомнило Вадиму, что в последнее время тот, обычно шумный и общительный, не появлялся ни в столовой, ни на прогулке. «Друг, называется, — укорял он себя, устремляясь в телегинскую палату, — совесть иметь надо».

Митяй истощался на глазах. И без того худое лицо Телегина заострилось, сквозь недельную щетину отечно поблескивала кожа, сухое и короткое тело его под одеялом, натянутым до самого подбородка, время от времени судорожно дергалось. Рядом с койкой, сложив тяжелые руки на ко-

ленях, сидела старшая сестра, и не было в ней сейчас ничего от той тети Падлы, одно появление которой в палате нагоняло на окружающих тоску и оторопь. В нескладном ее облике сейчас явственно проступало горе, неуловимо сообщавшее ее унылым чертам подобие доброты и женственности.

— Ты посиди с ним, милок, пока не заснет. — Вставая, она старалась не глядеть в его сторону. — Сделаю дела, приду сменю.

Грузные шаги Нюры затихли в коридоре, и Вадим, опускаясь на еще теплый после нее табурет, мысленно озадачился: «Поди угадай, кого клясть, на кого молиться!»

— Переживает. — Часто и прерывисто дыша, Митяй болезненно усмехался из-под полуопущенных век. — Баба — она баба и есть. Хлебом не корми, пожалеть дай... А что пришел, спасибочка... Совсем развороши ло меня, прямо страсть... Пропил машинку свою дочиста... Не тянет...

— Пить тебе не надо, Дмитрий Палыч. — У Вадима тягостно засосало под ложечкой. — Совсем не надо.

— Видать, не надо, — миролюбиво согласился тот. — Слякотно на душе, Вадюха, а выпьешь, вроде глаза прорезаются: птахи поют, в листках запах разный, жить хочется! — От возбуждения он даже приподнялся на локтях. — Так бы и не протрезвлялся совсем.

— Лежи, Палыч, лежи, не раскрывайся.

— Боюсь я, Вадюха, смерти боюсь. — Перегнувшись через кровать, Митяй уткнул ему взлохмаченную голову в колени. — Как одна секунда, вроде и не жил еще... Спину холодит — так страшно... Завязать было хотел бродяжество свое. С Нюркой вот договорился: выйду — сойдусь. По закону сойдусь, а не как сейчас... Неужто не выберусь, Вадюха? Обида-то какая.

Неожиданно резко Телегин откинулся на спину, мгновенно обессилел и затих. Спасительный сон снизошел к нему, и он тревожно заснул, но и у спящего у него нетерпеливо шевелились губы, будто в последнюю минуту он не успел досказать Вадиму чего-то самого главного, самого обязательного.

VII

Среди ночи Вадима разбудил Бочкарев.

— Товарищ Лашков, товарищ Лашков, — шепотно шелестел он над его ухом, — вас зовет товарищ Телегин. — В полутьме едва освещенной палаты желтые зрачки Бочкарева мерцали вещей торжественностью. — Только, пожалуйста, поскорее. Ему, кажется, очень плохо...

Когда он с гулко бьющимся сердцем очутился у кровати Митяя, тому было уже ни до кого. Отвисшая челюсть его безжизненно касалась плеча, жиденькая фигурка под одеялом вытянулась и отвердела, в холодных пальцах остывала скомканная простыня.

Так близко, так непосредственно Вадим видел смерть во второй раз в жизни, но снова, как и в тот день, когда ему пришлось столкнуться с нею впервые, она не столько испугала, сколько заворожила его своим немотным умиротворением. Казалось, человек, перейдя смертную черту, приобщился там — за этой чертой — к чему-то такому, что наконец примиряло его со всем и со всеми.

Перезимовав тогда на Хантайской перевалочной базе в качестве полурабочего, полусчетовода, Вадим ранней весной решил на свой страх и риск пешком добраться до Игарки. Предупреждения о том, что этим временем года даже бывалые охотники остерегаются выбираться в тайгу, не остановили его, и он, побросав в рюкзак кое-что из еды и бельишка, двинулся по прибрежной хляби лесотундры в сторону Енисея. Многочисленные ручейки, из тех, что летом просто перешагивают, в эту пору разбухли до размеров речек средней руки, и каждую из них приходилось преодолевать по всем правилам саперного искусства.

Когда, использовав вместо веревок исподнее и единственную запасную рубашку, Вадиму удалось соорудить из двух коряг нечто вроде плота и с горем пополам переправиться через первый поток, он понял, что поход этот оборачивается для него авантюрой, причем безо всякой надежды на

успех. Тусклые облака плыли над головой, почти задевая верхушки ржавых лиственниц. Река еще пестрела кое-где медленно скользящими льдинами. Топь под ногами сочилась и пружинила так, что каждый новый шаг давался все тяжелее. Но самым мучительным и невыносимым было ощущение собственной затерянности среди всего этого свинцового безмолвия.

Очередной поток Вадиму удалось миновать, поднявшись до его верховья, вброд. Но возвращение отняло у него последние силы, и поэтому, когда перед ним после трех с лишним часов выматывающего душу хода возникла, как наваждение, новая водная полоса, он уже утратил способность к сопротивлению. И он упал плашмя, вниз лицом на береговой галечник и заплакал, завыл в голос от своего бессилия перед этой — всего каких-нибудь десять — двенадцать метров в ширину — лентой тягуче-мутной речонки. Но вдруг уже чуть ли не в полубреду им властно овладело ощущение близости жилья. А некое подсознательное постижение яви, когда в человеке предельно обостряется вся его жизнеспособность, укрепило в нем эту спасительную уверенность.

И тогда Вадим последним, почти нечеловеческим усилием воли заставил себя подняться и дойти до самой кромки потока. И здесь со вздохом веры и облегчения он увидел слева от себя, метрах в пятидесяти выше по течению, огромную льдину, выброшенную, видно, сюда ранним половодьем и перегородившую собой весенний сток. По ней, как по мосту, он и перешел на другой берег, откуда на гребне ближнего распадка перед ним возникло, судя по усадебному запустению, безлюдное зимовье.

Но стоило ему лишь потянуть на себя дверь, как тотчас вялый, с болезненной хрипотцой бас заполнил едва освещенное крошечным оконцем логово:

— Закривай бистро... Холодно... Вьетер...

Еще и не обвыкнув в царившем здесь сумраке, Вадим по знакомому всему хантайскому побережью акценту узнал Каспара Силиса — промысловика из латышей-спецпоселенцев. Высланный в эти края в сорок пятом, Каспар с его цепкой крестьянской хваткой быстро обжился в новых и неласковых для себя местах, и вскоре аборигены только руками разводили, сравнивая Каспаровы заработки со своими. На зависть удачливо промышлял он рыбой и дичью, в песцовый же сезон там, где матерые старожилы считали десяток шкурок в неделю за счастливый фарт, Силис в один только суточный обход брал, как правило, до пяти штук, не менее. И сколько Вадим ни пытался выследить хитрого латыша, чтобы засечь систему его секретов, тот без особого труда, как бы даже играючи, неизменно ускользал от слежки. А потом, с богатой добычей заворачивая на базу передохнуть и обогреться, только посмеивался в сторону Вадима:

— Не добыть тебе писець, Вадья. Не ндьет в твой капкан... Мой хочьет... Мой ему лутче...

Теперь же Каспар лежал перед Вадимом на старом своем овчинном полушубке весь в крупной испарине, и распоротый от самого носка вдоль голенища пим валялся у его ног. Правая ступня была наспех закутана случайным тряпьем.

— Зажигай печка, Вадья, гриеться будьем. — Лихорадочная воспаленность не погасила привычной усмешки в его глазах, скорее наоборот, только обострила ее и сделала еще более вызывающей. — Пьесець капкан ловиль, тьеперь сам капкан попаль...

Когда в давно нетопленной печке весело и гулко вспыхнул огонь и Вадим, буквально содрав с ноги Каспара скоробившийся от засохшей крови носок, осмотрел его раздробленную зубцами волчьего капкана ступню, он полностью осознал всю безнадежность ситуации, в которой тот оказался. Жухлая,в чешуйчатой коросте кожа уже исходила темно-бурыми, расплывчатой формы пятнами. Не надо было быть большим спецом, чтобы безошибочно определить все признаки газовой гангрены. От ближайшего немецкого спецпоселения Плахино их отделяло не менее сорока километров, густо пересеченных осатаневшими из-за такого напора ручьями. И если в одиночку Вадим едва-едва осилил чуть больше половины этого расстояния, то, чтобы двинуться дальше вдвоем с обессилевшим Каспаром, — нечего было и думать.

Оставалось одно: сидеть и ждать. Ждать, когда смерть довершит свое

дело. И оттого, что он обречен быть свидетелем ее медленной, но неотвратимой работы, Вадиму становилось не по себе.

— Грейся, Вадья.— Каспар, наверное, угадывал страх Вадима, колючая насмешливость в нем оттаивала снисходительным добродушием.— вода дольго будьет... Риба есть, пшенка есть, сидьи грейся... Менья помогаит уже не можно... Плохо не Латвия... Ты биль Латвия, Вадья? Ай-ай-ай, Вадья, Латвия не биль!.. Аурумциес деревнья... Рибаки все... Морье окно видно...

Пять нескончаемо долгих суток, то впадая в бредовое забытье, то снова приходя в себя, выдубленный горем и стужами могучий организм Силиса отвоевывал свою жизнь у подползающей к его сердцу гибельной порчи. На шестой день, когда незаходящее июньское солнце, едва коснувшись горизонта, медленно потянулось к зениту и зимовье залило его ровным багровым отсветом, заострившееся, в бурой щетине лицо Каспара вдруг просветленно обмякло, и он с прежним своим озорством взглянул в сторону Вадима.

— На лижня, на лижня виставляй капкан, Вадья... Пьисецъ бьегает на снег... Бьегает. Снег мягки... Лижня твьердый... Пьисецъ бежаль на лижня... Твьердо хорошо. Бежать бистро, бистро можьет... Не уйдет с лижня... Ставь капкан на лижня, Вадья. Много-много пьисецъ тебе будьет... Денег много будьет, Латвия поедьешь... Аурумциес глядеть будьешь... Морье...

Еще какое-то время запекшиеся губы Силиса беззвучно шевелились, но грузное тело его уже облегченно вытягивалось, и наконец он окончательно затих, и солнечный блик из окошка, коснувшийся в этот момент Каспарова лба, только с недвусмысленной резкостью обозначил его безжизненную сухость. Перед Вадимом, тяжело распростершись на овчинном своем полушубке, лежал старый латыш, выброшенный с родной земли на самый край самого бесприютного угла земли, но даже смерть не могла стереть со всего его облика выражение покойной уверенности человека, достойно прожившего свою жизнь...

И сейчас, в оцепенении глядя на остывшую плоть Митяя, на его вялые, раскинутые в стороны руки, он впервые в жизни проникся пронзительным отчаяньем: «Неужели и мне вот так придется? Вот так?»

VIII

Крепс метался из угла в угол опустевшей курилки, и дымок его сигареты голубым шлейфом кружил следом за ним. В последнее время бессонница частенько сводила их здесь по ночам, и бывший режиссер убивал время, развивая перед Вадимом свое видение мирового репертуара. В эту ночь его одолевало Гамлетом.

— Видишь ли, у всех датчанин обвиняет, у меня он будет обвинять тоже, но обвинять, сознавая, что, будучи духовно выше окружающих, он не вправе с них спрашивать, а тем более опускаться до мщения. Гамлет — как бы существо инопланетное. И чем тоньше организован звездный пришелец, тем осторожнее должен вмешиваться он в земной правопорядок. А уж коли вмешался, то будь добр платить собственной пыткой — жалостью... Отсюда и ключ мой не в «быть или не быть», а в «из жалости я должен быть суровым». Пусть он прощения просит за свою нетерпимость и заранее знает, что кровь, пролитая во имя справедливости, не приносит в мир ничего, кроме крови. Его не враги, его собственная раненая совесть распинает... Вот смотри...

Легким взмахом руки он перекинул халат через плечо и замер посреди курилки: «Один. Наконец-то...» И случилось чудо. Перед Вадимом на цементном полу больничной уборной погибал, плача от гнева и жалости, истинный сын своего века в затасканном халате из дешевой байки. И не принц датский шепотом вопрошал у темноты за окном: «Быть или не быть?» И не наследник королевского престола, устало опираясь о косяк обшарпанной двери, взывал к миру, но более всего к себе: «Достойно ль?» Это заживо хоронил себя сосед Вадима по койке, стране, земному шару. Но вот он, словно сдаваясь на милость победителя, поднимал у самого уровня плеч руки и так — ладони вперед — двигался к нему из глубины уборной. «Вот два изображения: вот и вот». И волшебство сопереживания начинало колотить Вадима мелкой дрожью. А когда принц, почти обуглившийся от сострадания, раненно простонал, сползая к ногам матери-отравительницы: «Из жалости я должен быть суровым», Вадим, сглатывая судорожные спазмы, только и смог мысленно заключить: «Черт бы тебя побрал, Крепс!» Начиная с «Прости тебя Господь», где Гамлет уже чувствует приближение скорого конца, Крепс провел всю сцену до финала, держась за воображаемые настенные мечи. Так он и умер распятой птицей — между дверью и ближайшим к выходу унитазом.

— Ну как? — Марк сел и сразу же возбужденно заблистал желтым оком в его сторону.— Годится?

— Годится! — Вадим боднул его головой в плечо.— Высший класс.

— Знаешь,— тот с пристальным вниманием оглядел его,— теперь я бы тебя взял.

— Что так вдруг? У меня другая школа.

— В тебе появилось что-то такое, чего я жду от актера. Ты стал слышать.

— Поздно, Марк, я хочу завязать с этим делом.

— И давно это ты?

— Давно. Воли только не хватало.

— Знаешь,— в пристальном его внимании сквозила откровенная зависть,— а ты больше, чем я думал.

— Спасибо...

Еще в день приезда, прежде чем отправиться домой, он завернул в управление с твердым намерением окончательно рассчитаться с эстрадой. Решение тогда еще только вызревало в нем, только набирало силу, но предчувствие близкой и крутой перемены в жизни уже властно захватило его, и он, форсируя события, двинулся прямо в орготдел.

После крикливой сутолоки коридоров кабинет Вилкова мог показаться непосвященному обителью тишины и безмятежности. Но кто-кто, а Вадим-то определенно знал, что не у высокого начальства, а именно здесь сходятся все хитросплетения самого на первый взгляд безалаберного учреждения в стране. С педантичностью счетной машины Илья Николаевич Вилков сортировал свои кадры по бригадам, которые затем колесили по всему Союзу, забираясь подчас в самые медвежьи его уголки. Хозяин кабинета держал в лысеющей своей голове сотни фамилий и полную меру того, что стояло за каждой из них. Людям же «с красной строки», к разряду которых принадлежал и Вадим Лашков, он вел особый, не предусмотренный никакими инструкциями учет. Поэтому, когда тот молча положил перед ним заявление об уходе, Вилков лишь брезгливо поморщился и, не читая, отодвинул бумагу в сторону.

— Прибалтику хочешь?

— Нет.

— Закавказье?

— Тоже — нет.

— Как у тебя с жильем?

— Порядок.

— Баланс?

— Полная норма.

Холодноватый взгляд выпуклых, немного навыкате глаз Вилкова тронула удивленная заинтересованность.

— Так чего же ты хочешь?

— Уйти.

— В театр?

— Нет, совсем.

— Как это совсем?

— Сменить профессию.

— Не смешно.

— Мне тоже.

— А если конкретнее?

— Считаю, что занимаюсь не своим делом.

— Ну знаешь, если бы каждый так рассуждал...

— Надо же кому-то начать.

— Послушай, Лашков, я тебе не враг...
— Я себе тоже.
— Давай серьезно.
— Я без шуток.
— Чего это ты вдруг?
— Хочу начать сначала.
— Что начать-то?
— Жить.
— Тебе тридцать пять.
— Начать никогда не поздно.
— А ты представляешь себе, — обычно невозмутимое, выбритое до синевы лицо его вдруг утратило начальственную медлительность, упругие плечи обмякли и ссутулились, — представляешь, что значит сначала?

История Вилкова была известна Вадиму, как, впрочем, и большинству эстрадников. Работая в одной высокой организации, тот в свое время отказался свидетельствовать против друга военной молодости. Суд был неправым, но коротким. Генеральскую форму Вилкову пришлось сменить на куда более скромное одеяние. Много лет прошло, но прежде чем бывшего генерала вернули из мест не столь отдаленных и, памятуя о том, что по характеру возглавлявшегося им ведомства он и раньше соприкасался с областью культуры, вручили ему концертные кадры для укомплектования и руководства. Вадим недолюбливал Вилкова, как и всех подчеркнуто аккуратных людей вообще, считал его сухарем и педантом и потому обращался к нему только в случае крайней необходимости.

— Чтобы представить, наверное, нужно начать. — Вадим спешил прекратить и без того затянувшийся разговор. — Я ведь не школьник.

— Дали мне тогда Рязань для местожительства. — Отрешенно глядя в окно, тот словно раздумывал вслух. — Пойти не к кому. Родня у меня еще до войны вымерла. Жена, сам понимаешь, уже давно замужем. Да я и не виню, не было у нее другого выхода. Друзей подводить своим визитом не смел... Так и приехал в чем есть, то есть в старой форме своей, только окантовку спорол... Снял я там уголок у старушки «божьего одуванчика» и с утра пошел наниматься в товарную контору. Был я тогда еще мужик крепкий. Взяли. Грузчиком. Пришел, помню, первый раз со смены, живого места нет, ломит всего с непривычки. Я же ведь не в лагере — в тюрьме срок отбывал. Зато уж и сон был, как у новорожденного. И хлеб ел утренний со щами вчерашними — за уши не оттащишь. Думал, снова жизнь начинаю... Да друзья не дали. Разыскали, восстановили, вознесли... И пошел я опять по кабинетам, как по рукам. — Он сожалеюще вздохнул и вопросительно оборотился к Вадиму: — И куда же?

— Еще не знаю.
— Не раздумаешь?
— Нет.
— Так. — Вилков тронул пуговичку звонка. Мгновенно у порога возникло услужливое диво во всеоружии своего косметического сияния. — Оформляй Лашкову «собственное желание». И скажи там: сегодня уже никого не приму. — Та бесшумно растворилась за дверью. — Чаю хочешь?
— Не потребляю.
— Знаю, знаю... Ты у меня в этом смысле давно на заметке. Были сигналы. Меру, Вадим Викторович, меру надо знать... А впрочем, это твое личное хозяйство. Умный проспится... На-ка вот взгляни, — он вынул из-под настольного стекла и протянул Вадиму фотографию, — это мои теперешние...

Две русоволосые девчушки со смешливой доверчивостью глядели оттуда в мир, еще не подозревая, что самим своим существованием они делают жизнь вокруг себя осмысленной и надежной. И, поддаваясь вдруг пронзившей его откровенности, Вадим спросил:

— Значит, можно сначала?
— Можно, но трудно.
— Тогда попробую.
— В добрый час.

За окном тихим золотом опадали сентябрьские тополя, сквозь которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением

этих многооконных коробок, уже стоит в ожидании его, Вадима, нетерпеливо подразнивая его белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился:

— Пойду, пожалуй.

Тот против ожидания не обиделся бесцеремонной торопливостью гостя: встал, вытянулся во весь свой почти двухметровый рост, снова по-спортивному подтянутый и прямой, вышел из-за стола, порывисто полуобнял Вадима и тут же легонько оттолкнул от себя.

— Разговор наш между нами. Так что, если не осилишь, возвращайся... Будь.

Тем памятным для него разговором Вадим как бы подвел тогда черту под всей своей предыдущей жизнью, и поэтому сейчас, откровенничая с Крепсом в ночной курилке, он лишь укрепился в своем решении.

— Понимаешь, — Вадима неожиданно для самого себя прорвало, — не мое это дело. Все не то, не так. Чего-то во мне главного не хватает. Не хуже, конечно, чем у других, но и не лучше. Так себе, расхожая серединка. Хочу все заново, с чистого, как говорится, листа попробовать. Обратно мне теперь дороги нет. Сам свою суть отыскать хочу. В чем она — не знаю, не отыщу, или нету мне жизни...

На последнем слове Вадим испуганно осекся. В проеме двери внезапно, будто в кино следом за резким монтажным стыком, показалась фигура заведующего отделением.

— Ты мне нужен, Марк. — Близко сдвинутые к переносице веки его тревожно вспорхнули в сторону Вадима. — Дело касается лично тебя.

Странное появление Петра Петровича ночью да еще и в курилке и это его приятельское «ты» по отношению к Марку несколько обескуражили Вадима, хотя, уже догадываясь о многом, он уступчиво повернул к выходу, но Крепс резко остановил его:

— Не уходи, Вадя. — У него даже щеки ввалились от волнения. — При нем можно. Говори.

— Есть предписание, — не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием, — отправить тебя в Казань.

— Меня одного?
— И попа тоже.
— Не попа, Петя, а священника.
— А, — устало махнул рукой тот. — Какая разница!
— Большая, Петр Петрович, — бешено взвился Крепс, — очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуй же наконец глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жалованье у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать. Только зря стараются! Мы ведь и в Казани останемся теми же. С нашим миром нас уже не разъять. И в Казани — люди, а значит, и благодать Создателя.

О Казанской, тюремного типа больнице Вадиму уже приходилось слышать немало. Туда отправляли неизлечимых убийц и всех тех, о ком в высоких сферах считалось полезным забыть. Обратной дороги оттуда не было. Менялись вожди и правительства, гремели войны и совершались тихие перевороты, и только законы Казанского специзолятора оставались неизменными: человек, раз перешагнувший его порог, исчезал, стирался в людской памяти. Поэтому, едва услышав о Казани, Вадим понял, что Крепсу уже нечего терять.

— Ты успокойся, Марк. — Острые скулы доктора напряглись до предела. — Если хочешь, ты можешь уйти.

— Каким образом?

— В чем есть. Остальное меня не интересует.
— Но это интересует меня.
— Я поплачусь работой. И только. Больше ничего, честное слово.
— Значит, побег. Без паспорта и средств к существованию. То есть рано или поздно опять-таки Казань, но уже без твоего участия? Нет, Петя, не посодействую я твоему душевному комфорту. Будь добр, за свое плати сам. Может быть, когда-нибудь тебе это надоест и ты очнешься. К тому же ни за какие коврижки я не оставлю старика. Так что считай, что ты мне ничего не предлагал, а я ничем не жертвовал. И мы ничего друг другу не должны. Спи спокойно, дорогой товарищ.
— И это все, что ты мне можешь сказать?
— Все. И ни копейки больше.
— Дело твое.

Он еще постоял, этот доктор, покачался с носков на пятки в своих тупоносых лодочках, будто в беспамятстве закрыв глаза и судорожно двигая скулами. Потом бесшумно развернулся и пропал, словно его и не было здесь вовсе.

— Ну что же, Вадя, — после недолгого молчания с веселым отчаяньем оборотился к нему Крепс, — вот и пришла моя очередь.
— Я бы ушел.
— Куда, Вадя?
— Все равно куда, я ушел бы.
— Это не по мне, дорогой. — Крепс пристроился сбоку и положил ему руку на плечо. — Я долго не выдержу такой жизни. Да, кстати, я и не умею ничего делать, кроме той бессмысленной ерунды, которой меня обучили в институте... И запомни, Вадя, если это вздумаешь предпринять ты, они будут тебя старательно, очень старательно искать. И найдут. Обязательно найдут. Причем уже совсем не потому, что ты опасен сам по себе. Нет! Просто ты теперь узнал немножко больше, чем полагается простому смертному. Так что прежде хорошенько подумай. — И, помогая Вадиму уяснить себе смысл только что происшедшего тут, он насмешливо покосился в сторону двери. — Мы с ним Суворовское вместе кончали, а потом служили вместе... Себе на уме... Из нынешних.

В эту ночь они не сказали друг другу больше ни слова. Слова были бессильны сейчас вобрать в себя всю обнаженность мысли и чувства, какая объединяла друзей в их красноречивом молчании. Сквозь подернутое стужей стекло фрамуги в сумрак курилки заглядывала одинокая звезда, окрашивая это молчаливое бдение своим вещим мерцанием.

IX

Уж кого Вадим не ожидал теперь увидеть, так это деда. После той последней, узловской встречи он и предположить не мог, что они когда-нибудь еще увидятся. Слушая старика, Вадим не в состоянии был отделаться от чувства вины перед ним и поэтому всякое его слово воспринимал как упрек и напоминание.

— Опеки мне над тобой не дают. Стар, считают, уже очень. Но я еще постучусь, Вадя, похожу. Ты только потерпи, не бесись.

Дед говорил, не глядя на Вадима, куда-то в пространство перед собой, и пергаментные, в старческих веснушках кулаки его на столе по привычке были выдвинуты далеко вперед. Таким дед и помнился Вадиму все годы его скитаний с того самого дня, когда известное в Узловске своей монолитностью лашковское семейство дало первую, но уже непоправимую трещину. А ведь казалось, им — Лашковым — век сносу не будет.

Не забыть Вадиму того почти неправдоподобно прозрачного утра в Узловске, когда в распахнутый настежь пятистенник деда Петра съехались все его сыновья и дочери вместе со своими благоприобретенными половинами и первой порослью.

Сам дед Петр, в новой сатиновой косоворотке со щегольски отстегнутым воротом, сидел во главе стола и с горделивым довольством оглядывал свой клан, среди которого особо выделялся осанкой и статью первенец его — Виктор.

А тот — и это у Вадима четко запечатлелось — явно чувствовал всеобщее внимание и, чтобы скрыть смущение, все посмеивался, все посмеивался, оглаживая одной рукой стриженую голову сына, а ребром другой рубил воздух, как бы подсекал каждую произнесенную фразу:

— Ну, рабочий уже наелся, даже, как видите, — тыльной стороной ладони он поддел и небрежно вскинул вверх конец своего галстука, — бантик прицепил к шелковой рубашке. А дальше что? Согнали лучшую часть крестьянства с земли, отправили за Урал, а сами в частушки ударились, чтобы ушн от мирового шума законопатить: «Вдоль деревни, от избы и до избы...» А что в колхозах творится, до того нам вроде и дела нет? Что, папаня, посмурнел? Неувязка выходит с вашей генеральной линией?

И не успел враз потемневший дед рта открыть, как из-за стола встал муж Варвары, Анатолий Тихонович, сухощавый интендант со шпалой в петлице, и, едва разжимая и без того тонкие губы, тихо выцедил в сторону отца:

— Рано пташечка запела...
— Уж не ты ли кошечка? — насмешливо перебил его тот. — Не коротки ли коготки?
— Мы с такими на Хасане, — острые скулы капитана пошли пятнами, — много не разговаривали.
— А что ты там делал, на Хасане? — уже открыто издевался над ним отец. — Сухари в обозе пересчитывал?

Растерянность, наступившая было вначале, сменилась всеобщим, особенно среди женской половины, криком:

— В кои-то веки собрались.
— Нашли время!
— Хлебом их, мужиков, не корми: как соберутся, так все про политику.
— Нет посидеть по-людски.

Все говорили разом, каждый старался оставить последнее слово за собой, отчего накал разговора постепенно возрастал, грозовые нотки нет-нет да и прорывались уже то в одном, то в другом конце застолья, и неизвестно, чем бы все это кончилось, а кончилось бы все это скорее всего дракой, если бы дед Петр не встал и не стукнул кулаком по столу.

— Что ж, спасибо и на этом, Витек. Откровенность твою ценю и уважаю. Тем же рублем и ты получай. Хоть и сын ты мне единокровный, но помни: не дрогнет у меня рука, коли надобность для партии в том будет. А теперь собирай-ка ты свои манатки и вот тебе порог...

Внезапно возникшую тишину мерно отсчитывали ходики над комодом. Младший из братьев — хрупкий и застенчивый, словно девушка, — Митек, жалобно пошарив по лицам близорукими глазами, умоляюще воззвал было:

— Ну что вы, мужики, ей-Богу... Так все было по-хорошему...

Но мать Вадима, непримиримая ко всяким поползновениям на авторитет своего законного мужа, тем более со стороны такого прямого противника их супружества, как ее свекор, подсекла деверевы излияния в самом истоке.

— Вот что, папанечка, — серые, калмыцкого сечения глаза ее светились нескрываемой яростью, — спасибочки тебе за хлеб, за соль, только хвост тебе поднимать против моего Витьки кишка тонка. Кто ты есть такой, Лашков? Полжизни наганом промахал, а теперь: «Ваши билетики, граждане!» А Витька мой мастер-лекальщик первой руки, не тебе, папаня, чета. Языком вы много понапороли, только сами-то ничего делать не умеете. Все за народ орете, а вы бы лучше специальность какую путевую заимели бы да и работали. Вот тогда и было бы «за народ». Много вас нынче, командиров, развелось, работать только некому... А вас, — она обернулась к свояку, и скуластое лицо ее презрительно отвердело и вытянулось, — Полыниных, я вот с этих годков знаю. Брательник твой раскулачивал нас. После нашего же хлеба раскулачивал. Где он теперь, брательник-то твой? Думал на чужом горбу в рай въехать. От своих жен и награду получил — десять лет. А я с двенадцати годков с зарей вставала, со звездой ложилась, и все семейство наше так. А вы — Полынины — из кабака от Мокеича не вылезали, а теперь нас — в грязь, а сами — в князь. Так вот я вам что скажу напоследок: нас переведете, дети останутся. Детей изничтожите, внуки вырастут. Но переживем мы вас, хлебоедов, переживем.

Не такое терпели, перетерпим и вас. Только так думаю, что вы раньше сами друг дружку перегрызете... Поехали, Виктор... Собирай парня...

— Вот она, сущность кулацкая, себя и показывает! — кричал Полынин, отрывая от себя молча виснущую на нем Варвару. — Говорил я вам, Петр Васильевич, предупреждал... Где же чутье ваше классовое, партийная зоркость, наконец, где? Спасли змею от выселения, пригрели, а она жалит нас где только возможно.

— Это у тебя-то, интендант, классовое чутье! Бога побойся. Ты хоть один мозоль за жизнь свою сволочную нажил? Женька, — отнесся отец к брату, — ты не молчи, не отворачивайся, ты же мастеровой, скажи свое слово!

Но тот, уткнув голову в локоть сестре Федосье, тихо плакал и лишь бормотал в горячечном беспамятстве:

— И за что только нас... И за что только нас обидели так... В родне же и то не сойдемся...

Федосья легонько оглаживала его голову и смотрела на всех недоумевающими, полными слез глазами.

Никто бы так и не заметил в общей суматохе бессловесно жавшуюся к печи бабку Марию, если бы она как раз в тот момент, когда отец подхватил Вадима на руки и, сопровождаемый женой, двинулся к выходу, не выступила вперед и не опустилась перед ним на колени.

— Витенька... Прости ты их всех ради Господа нашего Спасителя. — Голос бабки звучал тихо и ясно, и худое, уже отмеченное гибелью лицо ее было высвечено каким-то заветным знанием, что доступно лишь новорожденным и почившим. — Не видать ведь мне тебя больше, отжила я. Не держи сердца, останься. Тебе это зачтется, сынок...

И впервые увидел тогда Вадим, как в полурыдании задрожали отцовские губы:

— Что вы, маманя, что вы... Так это мы... по-братски... Поцапались малость... Сошло уже...

Жиденькое бабкино тело утонуло в его руках, и он понес ее через расступившуюся по обе стороны родню в смежную половину, и положил ее там на прадедовском еще сундуке, и бережно укрыл старую праздничным своим пиджаком, и остался сидеть с ней, и они о чем-то долго и доверительно там перешептывались.

Но если временное облегчение и коснулось кого, то лишь не деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что все, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненной памятной встречи.

Внешне дед оставался тем же властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком. Но от глаз Вадима не могло укрыться и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на выбоинах, когда-то чистого металла басок, и то наконец, как не свойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому самому близкому для него на земле человеку.

— Да ты не беспокой себя понапрасну, — у него сорвалось дыхание, — не век же меня здесь держать будут.

— Век не век, — тот впервые взглянул на него прямо и настороженно, — а скоро не отпустят.

— Думаешь?

— Знаю.

Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка вся как бы заострялась изнутри, словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Исподтишка наблюдая за ними, Вадим привлек к ним и внимание деда.

— Кто такие?

— Священник один... С дочерью. — Добавил неожиданно для себя самого: — Натащей зовут...

— Наталья? — Дед не отличался деликатностью. — Хорошее имя. И лицо хорошее. Не твоей кукле чета.

— Хоть бы не напоминал!

Из угла их внимание было замечено: девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, слегка поклонился. Дед так же церемонно ответил; знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, старики нашли о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу.

— Меня Вадим зовут. — Слабея дыханием, он еле выговаривал слова. — Здравствуйте.

— Здравствуйте. — В ее смущении было что-то беззащитное. — А меня — Наташа.

— Я знаю.

— Вы с папой дружите?

— Почти.

— Что так?

— Я здесь недавно. Не привык еще.

— И не надо.

— Что не надо?

— Привыкать.

— Не буду...

Возникшее между ними сразу вслед за этим неловкое молчание прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной.

— Да, да, это так. — Голос отца Георгия звучал почти страдальчески. — И все-таки с такими решениями не следует спешить... Впрочем, во всем Промысел Божий... Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся... Но вам труднее, вы — атеист. У вас нет духовного убежища. Вы идете против своей природы. Мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной... Самое прискорбное для меня — это то, что я не сумел их убедить...

— В чем?

— Я пытался доказать им, что мистика Церкви, имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую Церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилие мирской праздности и суесловия. Меня обвинили в гордыне... И вот я здесь...

— Попугать хотят?

— Едва ли.

— Чего же еще?

— Избыть.

— Как это?

— Насовсем избыть. Из мира.

— А права какие? — Дед явно начинал кипятиться, его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе. — Какие такие права есть?

— Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу. — Сказано это было безо всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику. — Перед вами наглядный его объект. Так что уж какие там у меня могут быть возражения!

В коридоре людской поток растекался надвое: одни к выходу, другие в сопровождении санитаров в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него.

— Ты тут не раскисай. — Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом, какая-то новая тревога вошла ему в душу, и он уже весь

источался в ней, в этой тревоге. — Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступиться. Достучусь.

Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая сутулая фигура долго еще маячила в глубине коридора, и, если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян.

Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий как бы невзначай обронил в сторону удаляющегося Лашкова старшего:

— Не снесет себя этот человек, коли не поверует. Только вера его и спасет.

X

Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойче. Что-то стронулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая подслеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони.

— Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а? В графстве Кент, к примеру! Сплошная весна и цветение вереска.

Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Горемыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, с закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств и прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться.

— Знаете, Вадим Викторович, — продолжал он улыбаться и потирать руки, — весна в большой степени очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот смог прямо-таки бич...

Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом Крепс неожиданно напрягся, и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько, кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и, вплотную приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил:

— Сегодня, Марк. — И, уходя от искательной муки того, перешел и совсем уже на шепот: — Сейчас.

Дорого бы дал Вадим, чтобы не видеть в это мгновение истлевших ужасом глаз Крепса. Но это длилось только мгновение. Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед, он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги.

— Пошли.

Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним, птичьим оком своим упреждающе покосившись в сторону Лашкова. Но того уже не могла удержать никакая сила: он пойдет за Крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их.

Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами под присмотром мокрогубого санитара из приемного покоя. Марк вошел, старик поднялся ему навстречу, они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обнявшись. Потом, все так и не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы.

Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и внушительно, валенок, и тот натягивал, будто действо творил. Оттого, когда он наконец собрался, любой бы мог, не раздумывая, сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же — в случайной одежонке: цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку да импортный плащишко выше колен — выглядел рядом со стариком будто залетная пичужка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя Падла выдала ему на свой страх и риск больничную. Надо очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие: вислоухие, неопределенного цвета, с болтающимся, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима, и за беглого одновременно.

Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил, потом сказал тихо, но внятно:

— Жить будем, Вадя. — Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге не движением — словом. — Везде жить будем. Надо жить.

Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил:

— Храни вас Бог!.. К вам от меня придут, не удивляйтесь...

Их никто не торопил. Даже санитар из приемного покоя. Видно, все если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя да и невозможно помешать. Они двинулись к выходу сами и, как-то не сговариваясь, разом. И в этом опять-таки проявилась их пусть мимолетная, но власть над окружающим.

Дежурный санитар дядя Вася — мосластый, бритый наголо мужик из местных — пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь. И они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся.

Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, как снаружи в отделение, сияя улыбкой, которой только уши мешали раздвинуться шире, рыжим бесом скользнул Бочкарев. Размахивая над головой пачкой свежих газет, злополучный богоборец упоенно возопил:

— Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореновского района Кубани на три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!..

Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон, и он, постигая непоправимое, осекся и затравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот, побагровев, отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из круга не выступил старожил отделения, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и не разрядил в слове готовую взорваться злобу.

— Сука ты сука, Бочкарев, и другого названия тебе нету. И как только земля тебя по себе носит, Бочкарев? Каких людей на золу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь... Тьфу!..

Плевок у Пал Палыча получился смачный, мастерской. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь закуску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе, в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце не могло вытянуть людей из-под их одеял.

XI

В тот же день к вечеру тетя Падла привела в палату нового для Вадима соседа.

— Вот, — хмуро подтолкнула она того вперед себя, — лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий. И работящий опять же. Принимай. Горшков — фамилия. Остальное сам обскажет.

Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем — выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высеченная по лицу мягонькая растительность — было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застилая койку, он певуче гудел себе под нос:

— Ново место, как невеста: не уластишь, не согреет. По суседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря: твое-мое и мое-мое, заживем лучше некуда. А уж мастер я — на все остер. Из ветоши сапоги валяю, в баранках дырки гвоздем долблю. Только держись.

Действовал Горшков с деловитой твердостью человека, привыкшего в любой работе находить особое, одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруго, без единой морщинки, вытягивается под

его рукой простыня, облегает вдоль матраца по всем правилам казарменной выучки одеяло, взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел в конце концов, съязвил добродушно:

— Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался.

— Оно так и есть, браток,— словоохотливо оборотился к нему тот.— С тридцатого года, почитай, как с земли согнали, по вербовкам пошел. Опосля война— опять на нарах. А в пленту,— он так и произносил: «пленту»,— само собой, в бараке. В свой лагерь попал, сам знаешь, там во всем порядок начальство требоват. Теперичи вот по больницам восьмой годок. Коечка— мать родная, ты только оборудуй ее соответственно.

Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках, так что через несколько минут линолеумный пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамуг. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось что выбросить, как она вскоре приобрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибауткой, будто бы каждое движение его требовало выхода в звуке, в слове, иначе оно— это движение— теряло для Горшкова свой смысл и законченность.

— Эх, мать моя, мамочка, бросила бы ты меня камушком во чисто полюшко, не было бы горюшка... Как у нас на фронту старшой говаривал: «Магазин не чищен, в канале ствола копоть, отсюда и вша»... Чистота— залог здоровья... Эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть!..

«Что держит таких людей?— следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим.— Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого? Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!»

В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь которые ему только предстояло. Но об одном он мог уже сейчас судить определенно: пройди Горшков еще три раза по стольку, все его останется прн нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути.

В палату снова заглянула тетя Падла, удовлетворенно хмыкнула:

— Говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает. К его бы рукам да еще и голову!

— Не скажи, кума,— весело огрызнулся тот,— голова голове— рознь. Вот и прикидывай, что— к чему.

— Мели, Емеля!— Она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и оборотилась к Вадиму:— К Петру Петровичу вас. Зовет.— И уже строже:— Со мной и пойдемте.

Вызовы такого рода случались здесь редко, чаще всего по делам, отлагательства не терпящим, а потому Вадима дважды уговаривать не пришлось. В следующую минуту он уже чуть не бегом несся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове: «Деду разрешили опеку? Или, может, жена смилостивилась? А вдруг?..» Об этом «вдруг» даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось.

Тетя Падла нагнала его по дороге, тяжело задышала у плеча:

— Вы с ним поосторожнее нынче... Не в себе он малость... Он у нас всякий бывает... Попадет вожжа под хвост, не удержишь... Ну,— она отперла дверь, впустив его,— с Богом!

Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него нераскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опустясь на стул около двери, Вадим приготовился к худшему.

— Послушайте,— все так же не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий,— вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем?.. Вполне возможно... Но, может быть,— он резко, всем корпусом вывернулся в сторону гостя, и лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матеро пьян,— вы мне скажете, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для него?.. Я не баррикадный боец, увольте! В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним сметали эти самые баррикады с лица земли... Тогда его не мучила совесть, и он не вспоминал о Спасителе... Раненых добивали на месте... Мальчишек добивали... Им по пятнадцати-то едва ли

было... А теперь один я кругом сволочь... А он агнец с терновым венцом вокруг макушки... Аскезу принял, а мирского суда боится... Хочет на казенных харчах крест нести да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе... Комфортабельного мученничества жаждет! Ладно.— Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав ее, высвободил из нее пачку документов.— Вот здесь все ваше: паспорт, военный бнлет, трудовая книжка, удостоверение личности... С завтрашнего дня я записываю вам в журнал свободный выход для свиданий... Куда и когда вы уйдете, меня не интересует... Хочу только предупредить: искать вас будут. И основательно искать...

— А вы как?

— А это не ваша забота, Вадим Викторович.— В совиных глазах его на мгновение засквозила колючая трезвость.— О себе я позабочусь сам.— Он ладонью придвинул документы на самый край стола.— Берите свои цацки... Или, может быть, вы тоже по святости стосковались?

— Дело не в этом, но покупать свободу за чужой счет...

— Ох уж эти мне творческие особы! Слова в простоте не скажут... Пусть вас не мучит совесть. Илн, как выражается Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ... Берите...

Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться, избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерения. Будь что будет! Рано сдаваться на мнлость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему устроят узаконенное заклание.

Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решился, что назад ему пути нет и что это его единственный шанс выбраться отсюда.

Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул:

— Я, может, тоже скоро сбегу... В пространство...

Вадиму не пришлось ответить, дверь захлопнулась за ним, и он оказался лицом к лнцу с тетей Падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолнла:

— Ты уж не звони слишком... С кем не бывает...

— Не маленький...

Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал Горшков, старательно выскребая замызганные унитазы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвения и словоохотливости.

— На хрусталь блеск наводим, чтоб опорожнялся— сердце радовалось... Из отхожего места кабинет оборудуем. Сиди— не хочу!

— Не надоело?

— От безделья думы разные, а от думы человека вошь ест. А в деле, как в запое, самые паршивые тебе роднее матери.

— На таких, как ты, воду возят.

— Так-то оно, может, и так. Да ведь и сам напьешься...

Вадим глубоко затянулся и, с наслаждением выпуская дым, подумал обескураженно: «И сколько их еще в России, чудаков этих, тьма!»

XII

Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков ноздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки.

Петр Петрович исполнил-таки обещанное: в день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между нними.

И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно с этим та себя и повела.

— Что ж,— оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение

защите,— этого мне надо было ожидать. При твоем образе существования... Попойки, случайные связи... Исковеркать жизнь человеку — это в твоем стиле. А я-то жду! — У нее была удивительная особенность верить тому, что она говорила.— Лучшие годы, молодость отдала... Жила, словно монахиня... Но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь... Ты ни на что не имеешь права... Ты недееспособен, милый. Ни один суд не станет на твою сторону.

— Ты можешь слушать?

— Тебя — нет.

— И все-таки я прошу.

— Ты снова хочешь, чтобы я терпела твое пьянство и твои сумасшедшие выходки в квартире, я хочу хоть какое-то подобие порядка.

— Успокойся.— Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой.— Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку.

— Значит, рай в шалаше? — Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность.— Не поздно ли, Вадим Викторович?.. И что же, молода, красива? — Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку: предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания.— Видно, с приданым? — Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения.— Дача? Машина?

Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало-равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему удавалось чуть не десять лет терпеть эту женщину рядом с собой, мирясь с въевшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью. Фальшиво в ней было все: голос, походка, речь; казалось, стоит ей сделать хоть одно естественное движение, как она исчезнет, растворится, изойдет в этом движении полностью, без остатка, до того предельно немыслимым выглядело для нее всякое человеческое проявление.

— Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня.

— Ну, конечно, где мне, ты же профессионал.

— Ты неисправима.

— Влияние близких?

— Я отдал тебе не худшую свою часть.

— На тебе, Боже...

— Мы прожили с тобой несколько лет.— Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к ее сознанию.— Прямо скажем — лишних лет. Но вот сейчас, когда все кончается, можем вести себя друг с другом по-людски.

— Вот и объясни мне по-людски, без фантазий свои фокусы.

— Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь...

— С другой бабой?

— Таня! — Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания, но решимость не оставлять здесь после себя ничего недоговоренного взяла верх.— Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом не прав, но ведь и ты не всегда поступала правильно. Поэтому не будем сводить счеты, а расстанемся людьми... Я клянусь тебе, что это не блажь... Неужели меня так трудно понять?

Ожесточенная настороженность в ее темных, гремучей желтизны глазах оттаивала, уступая место растерянному недоумению.

— Ты сумасшедший,— она медленно приближалась к нему, пристально, словно впервые, узнавая, разглядывала его,— да, да, ты, видно, и вправду сумасшедший... И как я не замечала этого до сих пор! Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой?

— По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И прошу тебя, помоги мне...

— Я никогда не могла понять тебя.

— Тебе было некогда.

— При твоем образе жизни...

— Эх, Таня, при любом образе жизни за десять лет можно успеть понять друг друга.

— Слова — твоя профессия.

— Не мои — чужие, Таня, чужие слова...

— Хорошо,— неуверенно пообещала она,— я посоветуюсь с мамой.

Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел ее, как жалеют калек и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счета обуздает этот ее благой полупорыв. Так неужели у него нет выхода? Неужели и ему выпадет та же участь, что и тем, которых он уже встречал на Байкале?

В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бригадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета повел заезжих артистов вдоль просторных, но небогатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегало деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесых улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обежав полупустой в это время года рыбозавод, они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними по гребню берегового взгорья выявились источенные временем стены заброшенного монастыря. Председатель — вялый мужичок, с лицом, тронутым зеленью пороховой сыпи,— перехватив не запланированное им внимание гостей, тревожно засуетился:

— Пустяк — дело! Психколония тут у нас с летошнего года. Никакого интересу, одни адноты. Зато в чайной у нас,— без перехода заторопил он,— омуль прямо из сети. Закусь — перьвый сорт.

Актерская братия следом за председателем потянулась в сторону чайной. Что-то, Вадим еще не мог определить, что именно,— предчувствие, зов ли — остановило его, и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть, но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался.

Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной, и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый поверху ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь с двумя угрюмого вида жилыми строениями и часовенкой около входа. Из часовенки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане внакидку и вместо приветствия безапелляционно утвердил:

— Корреспондент? Завхоз Бабийчук. Пошли.

Бывшие кельи, в которых размещалось по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей кое-как закрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполья, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучное дребезжание. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой.

Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения:

— Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топлива. Калорийность питания по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок.

В церкви, приспособленной под столовую, обедало несколько человек.

— Ведем набор,— с готовностью удовлетворил его вопросительное недоумение завхоз,— ждем еще одну партию. К зиме полностью укомплектуем контингент.

Никто из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим — тупые, отрешенные и как бы полые изнутри: природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов.

И, лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном профилем к нему неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою необозримую для него одного даль внутри себя, и она — эта даль — виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления.

— Здравствуйте. — Сразу же располагаясь к нему, остановился против него Вадим. — Давно вы здесь?

Тот лишь бесцеремонно посветил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул:

— Без пользы. Молчун. По истории пятый год молчит.

Во дворе завхоз без обиняков предложил:

— Может, погреемся, корреспондент? У меня есть. И омулек найдется.

— Я не корреспондент, — жестко разочаровал его Вадим, — я артист.

Бабийчук тут же потерял к нему всякий интерес. Подаваясь к часовенке, он пренебрежительно пробурчал в бороду:

— Тогда и ходить нечего. Тут не ярманка, а лечебное заведение. Ишь, артист!

Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовила Вадиму ту же участь, он вдруг понял, что ему, как и тому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не моглн услышать друг друга.

— Прощай.

— Прощай.

Возникшее сразу вслед за этим молчание, помимо их воли, растворило недавнюю их враждебность, и, когда Вадим, уходя в отделение, замешкался на пороге, она порывисто приникла к нему, горестно прошептав:

— Видно, я все-таки любила тебя... Легкий ты человек...

Татьяна даже вроде бы потянулась за ним через порог, и в этом ее инстинктивном движении Вадиму открылась какая-то закономерность, черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходился в эти дни, — доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз, — прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его спокойствии собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь: «Духу, духу не хватает привычный круг разорвать!»

И, словно бы соглашаясь с ним, галки над прогулочным двором неожиданно умолкли, и, лишь сделав шаг от порога, он осознал, что птицы здесь нн при чем: просто за ним захлопнулась дверь.

XIII

Суматоха среди персонала началась исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов: то вязали впавшего в буйство, то требовалась помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу. Не коснулась бы она никого и на этот раз, если бы в отделении не появился сам главный врач больницы Тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала. Минуя палаты, высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего. И в этой их торжественной поспешности чувствовалось что-то предостерегающее.

Отделение взволнованно загудело:

— Комиссия!

— Актировать будут!

— Конференция у них, кого-нибудь выдернут для показа.

— Может, сбежал кто?

— Да нет, вроде все на месте.

— Не иначе, как «чепе».

— Надо думать, если такая орава пожаловала.

Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил:

— Товарищи, без паники! Всем оставаться на своих местах! Враги социализма во всем мире не дремлют! Сплотим ряды. В единстве наша сила! Пусть заокеанские воротилы помнят, что на каждый удар мы ответим двойным ударом! Возмездие...

В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия, но резкий, с неожиданным надрывом голос тети Падлы прервал его:

— А ну по палатам!.. Все по палатам!.. Чтобы ни одного в коридоре не было! Дядя Вася, загоняй! Марь Васильна, держи своих!

Когда стараниями санитаров коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней нетрудно было узнать Петра Петровича. Пола его халата свисала с боковой опоры, и где-то на полпути к выходу оттуда выпала, чуть слышно шлепнувшись об пол, та самая записная книжка доктора, с которой тот никогда не расставался. В общей суматохе этого никто не заметил. И лишь Вадим, с обостренным вниманием следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее — с этой книжечки — глаз.

Как только процессия следом за носилками стекла в двери и в коридор отделения, изо всех палат хлынули его взволнованные случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима.

Все в коридоре гудело н перемешалось. Предположения возникали одно за другим.

— Сердце, видать, не сработало!

— Попивал, говорят.

— Опился!

— Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор.

— Доктор, так святой, что ли?

— Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову!

— Свято место пусто не бывает.

— И то правда...

Первым благодаря своей дружбе с обслугой обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотом скороговоркой сообщил:

— Доктор-то... Петр Петрович... Того... Сам себя порешил. Вот какие дела... Порошками...

Несвойственная ему ранее растерянность буквально преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек с пепельно-серым, опутанным частой паутиной морщин лицом.

— Надо думать... — искренне посочувствовал ему Вадим. — Не впервой тебе?

— Да было... Видал... Не единожды... Только кажинный раз все муторнее... Уж коли такие, чего ж тогда мне-то делать? Хоть сейчас в петлю.

Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек к окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной.

В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевенькой сигареты.

— Удивляетесь? — Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем. — В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более что я, кажется, решился. — Впалые щеки его, втягивая дым, ходили ходуном. — От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мною рядом будет родная душа... И кто знает, может быть, ее можно унести на подошве своих башмаков... эту самую родину. Слишком мало от нее осталось.

— Я рад за вас.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— Спасибо. Только еще выпустят ли?

— Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу?

— Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство! — Поднимаясь, старик аккуратно погасил окурок, бросил его в мусорницу и шагнул через порог. — Обещали! Они много чего вам всем обещали. Вам! А я так для них вообще не в счет...

Мимо курилки, еле двигая валенками, прошла тетя Падла, и каждый шаг ее был отмечен тяжестью н апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед:

— Переживает.
Голоса из разных углов поддержали:
— Сломалась баба.
— Еще после Телегина.
— А теперь совсем.
Поздним вечером, забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось: все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты: «Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощанье камушек из-за пазухи!»

XIV

В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда, вскоре после обеда, из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя Падла, хмуро понапутствовав его с порога:
— Особо не разгуливай. Время позднее.
Ломкие листья тополей, оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога.
Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему в самом углу сада, и ветер, устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, взял из нее что-то летящее и невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже зовуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула: «Я — здесь».
— Я ждал вас, Наташа, — от волнения он еле выговаривал слова, — знал, что вы придете.
— Вас папа предупредил?
— Он не сказал кто, но я верил, что это будете вы.
— Меня папа просил.
— Спасибо.
— Я к вам по делу.
— Все равно спасибо.
Куцее дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и осторожно позевывала. И все в ней, от дешевых «лодочек» до легонькой косынки над упрямой челкой, вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть ли не обморочной жалости. Но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила, продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто.
— Замерзли? — трепетно коснулся он ее локтя. — Может, походим?
Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила:
— Уйти вам надо отсюда.
— Куда, Наташа?
— У папы еще живы родители. И отец, и мать. — В ее деловитости было что-то трогательное. — Под Москвой живут. Почти в самом лесу. У них и отсидитесь, пока искать перестанут.
— Это что же, Егор Николаевич придумал?
— Да, он.
— В моей униформе дальше первого встречного не уйдешь.
— Нюра поможет. У нее дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра...
— Тетя Падла! — Его даже в жар бросило. — Сама тетя Падла?
— Нюра! — строго повторила девушка и осуждающе посмотрела на него. — Нюра вас и выпустит ночью.
— Не заблудиться бы, — его уже била лихорадка предстоящего побега, — село большое.

— Нюрин дом прямо на повороте к шоссе, окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут... Только не забудьте: Кривоколенный, шестнадцать, квартира шесть...
И, словно боясь, что он сможет удержать ее, она почти побежала наискосок через двор к калитке, ведущей в отделение. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней и долго еще смотрел вслед маячившей сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурке девушки, какую — что там скрывать! — он уже любил тихо и благодарно.

Время текло с мучительной медлительностью. О сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот, с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке Горшков. Вот едва слышно — раз, два, три — перекликнулись выключатели. Матовые контрольные лампочки сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты.
— Лашков! — скорее выдохнула, чем сказала старшая сестра, легонько теребя его за плечо. — Пошли.
Мимо спящего на лавочке санитара, по едва освещенному коридору тетя Падла провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свету потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым. Но большие темные глаза ее были тронуты горькой и неизбывной грустью, и, раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его.
— Прощай, Нюра, — растроганно потянулся он к ней. — Спасибо тебе.
— Дома не перепутай, — без выражения ответила она. — У меня еще конек на крыше и калитка не закрывается. Огонек в сенцах горит. Ждут тебя.
Звездная ночь приняла Вадима, и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и, наверное, волновался...
На стук ему открыла старуха с зажженной керосиновой лампой в руке. Зоркими, не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу, осветив ему табурет в углу, на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда. Она молча светила ему во время его переодевания, молча сунула пятерку в карман пиджака, молча проводила до двери и, лишь закрывая за ним, глухо прошелестела беззубым ртом:
— С Богом...
Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная «Волга», надрывно взвизгнув тормозами, замерла у самых его подошв. Свет приборов осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницы глазами.
— Садись... Только сзади, с хозяином.
Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась, и крепкий настой круто замешенного винного перегара повеял в его сторону.
— Я, брат, человек широкий, добрый... Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвезти... С дорогой душой... А я ведь, брат, не хер собачий... Комендантом Берлина был... Да и сейчас не в последних хожу... Но простоты не теряю... С народом держу связь... Народ меня любит... Вот на рыбалку в рыбхоз ездил... Как отца родного встретили... Птичьего молока только не было... А ведь, бывало, с Гессом, как с тобой... Четыре раза в год... По положению... Прост тоже очень, даже жалко... Все свое партии завещал... Хоть и сукин сын, а человек порядочный...
Язык у него все более заплетался, и наконец он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы, видно, излияния эти были ему не впервой. И, только миновав городскую черту, слегка полуобернулся:
— Тебе где?
— Да все равно. Если можно, то поближе к Трубной.

— Довезу.
Больше он до самой Трубной площади не вымолвил ни слова. На деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места.
— Самому пригодятся.
Ранним, чуть зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, исхоженный вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно: вывески, автоматы, будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливей, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным.

XV

Она словно ждала его, не отходя от двери, до того мгновенным было ее появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам, Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога. И девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой:
— Здравствуйте, Вадим.
— Здравствуйте, Наташа...— Ему все еще не хватало воздуха.— Вот... Решился... Будь что будет...
Опаляющая истома мгновенно обессилила его, ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакенщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту Вадима по-настоящему постигла сладостная боль последнего шепота Егоровой зазнобы: «Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...» И так-то ему захотелось вдруг, так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой завалящей речонки с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике, что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу, и он рванулся бы к ней, подхватил ее на руки да уж и не опустил бы до самого последнего своего дня.
Но девушка отступила в глубь коридора, тихо выдохнув:
— Сюда...
В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась нестарая, но дельная. В книжном же царстве, властвовавшем здесь, Вадим, как ни вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка.
— Это папина комната. Я все оставила, как есть.— Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой.— Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась: не будет ли хуже... Вот дурочка... Может ли быть хуже?
Комната ее была полной противоположностью отцовской. Тахта, укрытая пледом, видавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькое креслице составляли всю ее меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости, и только. Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда случается с людьми впечатлительными, до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то, именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью.
— У вас, как в келье, Натали.— С усилием освобождаясь от наваждения, он опустился в кресло.— Ничего девичьего.
— Не люблю лишнего хлама,— брезгливо поморщилась она,— возни много. Вам не нравится?
— Наоборот. У меня просто времени не было привыкать к барахлу. Всегда на перекладных.
— Теперь все будет по-другому.
— Вывезет ли?
— Должно вывезти.
— У вас в отличие от меня много времени впереди.
— Каждый отсчитывает время по-своему.
Было в ней — в ее скупых движениях, взгляде без улыбки, манере

говорить медленно и отрывисто — что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость.
— У меня к вам просьба, Натали,— мысль обожгла его внезапно, но ему уже казалось, что он думал об этом с самой первой их встречи,— будьте со мной в день отъезда.
— Я сама довезу вас до места.
— Знали бы вы, как я вам благодарен.
— Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь.
В домашнем ситчике в сумерках она казалась тихой бабочкой, устало сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение — взять ее на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет.
Она вздохнула:
— Если бы у вас все состоялось!
— Я буду стараться. Я буду очень стараться.
— Для меня, наверное, это еще важнее, чем для вас.
— Значит, мне придется стараться вдвойне.
— Я — серьезно.
— И я.
Они еще не сказали друг другу самых главных, самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой.
— Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали.
— Разве это важно?
— Для меня — нет.
— Для меня — тоже.
— А если меня все же найдут?
— Это еще не конец.
— А что же это?
— Можно попытаться еще раз.
— Будет уже поздно.
— Разве когда-нибудь бывает поздно?
— Вы мне — как подарок...
— Еще пожалеете.
— Никогда.
— Не зарекайтесь.
— Я все же зарекаюсь.
— Вот как?
— Да.— И еще тверже:— Да.
Темь холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, и они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся ее плеча, и оно обмякло под его рукой и подалось к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами, и он, почти задохнувшись от волнения, привлек девушку к себе.
— Милая...
— Зачем я тебе?
— Жизнь моя...
— Боюсь я.
— Чего?
— Ненадолго это.
— Навсегда!
— Это тебе сейчас кажется.
— Всегда будет казаться.
— Смотри.
— Люблю тебя.
— И я... Сразу... Как увидела...

Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленью светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезилось, что там, за нагромождением этих многоканальных коробок, уже стоит в ожидании его — Вадима, нетерпеливо подразнивая белоснежными боками, вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это

с такой внезапностью все в нем стронуло, воспламенило, что он не выдержал, заторопился.

— Подъем, Ната! Смотри, утро-то какое!

Не поднимая век, она улыбчиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо.

— Еще немного. Успеем...

Но вскоре она уже громыхала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак и одеваясь, Вадим все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены: «Будто во сне, ей-Богу!»

Пронизанное зябким солнцем раннее утро высветило перед ним овеянную первым тополиным пухом пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам.

XVI

Когда после вокзальной сутолоки они, сев в электричку, оказались друг против друга и наконец встретились глазами, в них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг: давка, ругань, смех, плач,—не существовало для них. В мире сейчас были только они двое. Только они двое — и никого больше.

Потом они шли через лес. Одуряющий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам, стряхивая под ноги свои первые росы. На ум им приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов онн вкладывали свой, понятный только им двоим смысл.

— Давно я в лесу не был.

— И я.

— Смотри, какой нарост на березе! Будто львиная грива.

— Скорее черепаха под панцирем.

— У тебя есть глаз.

— Я способная.

— Скромничаешь?

Сквозь рябой частокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска, и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега.

— Ну вот,—облегченно вздохнула она и заспешила вниз,—переедем, а там совсем близко.

— Как снег на голову.

— Они привыкли. Даже рады будут.

Около пивного ларька на берегу их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами.

— Вижу, только поженившись, дай, думаю, попрошу двугривенный.—Его радушная откровенность обезоруживала.—А для ровного счету,—подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман,— двадцать две. Точь-в-точь на целую.

Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимающе взмахнул сухонькой ладошкой: гуляешь, мол, парень, одобряю, мол. Затем вежливенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный смуток у ларька.

Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый с головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем непростым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кой-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробнлся, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и ругани продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем:

— На все!

Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение перед ошеломленным Вадимом красовался «малый джентльменскнй набор» во всем своем неповторимом великолепии: две бутылки белой головки, две банки шпрот и плитка шоколада «Золотой ярлык». С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала.

Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил костерок ее косынки, и сердце его учащенно, с обморочными провалами забилось: «И за что только тебе этот подарок, старый черт?» Она же, в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала. И вндно было, что игра эта ей нравилась, и он подыграл: опустившись на прнбрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу, радуясь своей ребячьей выдумке, до того самого мгновения, пока кто-то, еще неведомо кто, не сел рядом с ним. И тут вроде бы еще н без причины все в нем захолодело и оборвалось. Сосед еще только молча и натужно сопел рядом, а Вадим уже чувствовал—да какое там чувствовал!—знал, что это—конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав: ему уже теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей. И тогда, даже не поворачнвая головы, он намеренно грубо спросил:

— Можно, я выпью, начальник?

Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбия почему-то сразу закололо в кончиках пальцев.

— Пей, Лашков.

Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда, с парома, Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем нешуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его, лишь добавила ожесточения. И тогда Вадим снова спросил со злым вызовом:

— Можно, вторую добью, начальник?

Ответ прозвучал еще дружелюбнее:

— Добивай, Лашков.

Ах, сколько выпил он ее на своем веку, но никогда еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним!

На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы бился желтенький костерок Наташиной косынки, и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, и тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно.

Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону рекн. Паром уже причаливал к противоположному берегу, и едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему, но в эту мннуту он хотел в это верить и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И, прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею: «До свидания, Натали! Живи, родимая. Надо жить!»

Их отъезд от берега сопровождал залихватский наигрыш гармони, перекрытый пьяно-отчаянным тенорком:

По реке плывет топор
Из села Неверова.
И куда ж тебя несет,
Железяка херова?

(Продолжение следует)

Как призрак возврата...

* * *

Между тем сама
не душа — сама природа
наша — за год? за три года? —
изменилась — ба! —
Перевоплотились мы же!
И душа тоскует, иже
хорошо кому
не в своем дому?

* * *

Как и всяка речка льется своим следом,
всякий зверь лесной он рыщет своей тропкой,
всяка птица держит путь свой перелетный,
так и всяка речь течет своею кровью.
Коль скудеет кровь — и речь в ней убывает.
Пролилася кровь — речь каплет пословéчно:
истекает с ней говорюшка людская,
истекает с кровью той и Слово Божье.
Со той скудости, с того ли кроволитья,
коли кровь до немоты обезъязычит —
всякий лей ее без имени и меры:
вопиет людская кровь — да нет отзыва.

* * *

М. Ростроповичу

Средь крыловского оркестра,
где идет борьба за место
и за унисон
(отческий закон), —
лишь одной виолончели
звук извечно чист —
так, как если б вдруг запели
тысячи отчизн.

1980

* * *

Прячется за косогоры
сей простор — в леса.
На водоразделе голом
озирается.

К ночи жмется вороватo
на задах у изб.
И претит ему заката
гиперреализм.

* * *

Знать теснее извне, чем внутри,
храмы псковские, но до поры
в этот их первозданный секрет
нету входа и выхода нет —
не войдет, не воскликнет позор:
«В тесноте Ты давал мне простор»,
до пределов небесной красы
«в скорби распространил мя еси».

* * *

Прибрежные сосны
малы, узловаты —
к ним море несется,
как призрак возврата,

к ним ветер примчался,
к ним дюны сползлись,
их видит печально
небесная высь.

* * *

В Божий час, в Господне время,
как нашлет Господь насланье —
что нам грядый гром ни грянет,
ворон что ни проязычит,
что орел нам ни прорлит —
глухо наше беспечалье,
как в глухом лесу колода:
несмышленые не смыслят,
а смышленые — не верят.

* * *

Как на росстани на Божьей
у Господнего предела
не хотела душа с телом —
птица с гнёздом — расставаться:
расставаньице не нá год,
не на век — на всю извечность, —
то-то жалко, то-то трудно,
то-то зябко, то-то стыдно.

* * *

Соотечественник чаек,
соприродный твердым рифам
и забывчивым песчаным
дюнам — волн беспечным рифмам,

будешь слышать все нервозней,
незапамятней и чаще
дактилические возгласы
чаек в воздухе палящем.

Балтика

Воспоминаниям
здесь полная свобода —
легко, невнятно им.
Как волн бросок,

несутся облака.
Изменчива погода.
Вода здесь далека.
Песок далек.

* * *

Вот изнанка взрывов грозных:
в узкий берег моря ширь
ткнется, и. взлетев на воздух,
море лопнет, как пузырь.

Волн разгладится неволя —
вот волнения итог:
пены перекати-поле
и беспочвенный песок.

* * *

Печь из мела и из сажи.
Кочерга. Ухват.
Мозг горазд. Душа горазже,
хоть мудрей стократ.

Мозг — изба. Душа — в оконце
поле без конца.
...Но гремят дверные кольца,
гнется матица.

* * *

Красота, как пропасть, та, что
вечностью голубоватой
полнится, и небу трудно
различить ее черты:

смесь кромешного паденья
с самым горним порываньем —
красота и есть условность
безусловной красоты.

* * *

А может быть, премудрый Боже,
душа и смерть — одно и то же —
один-единственный, но миг
в подушках влажных, чуть живых.

* * *

Совсем вблизи она походит на
ту предотъездную не суету пустую,
а пустоту, что тупо стеснена
в подвздошье где-то. И пока ты всуе

одно и то же тщишься в сотый раз
не позабыть — но что? — вот в чем загвоздка,
она стоит, как позабытый класс
на фотоснимке вкруг тебя — подростка.

Вблизи она походит на пробел
в подспудной памяти иль в знании ответа.
Как будто «на дорожку» ты присел
и нету сил подняться, Лизавета.

* * *

В нашей плоти провал и прорубь
кануть оной Прообразу вдруг? —
не во плоть Он облекся, а в муку,
в корчи наших разбойничьих мук.

* * *

То-то зима натекла:
ни холода, ни тепла,
ни тепла, ни холода,
ни коня, ни повода,

ни повода, ни узды,
ни постоя, ни езды,
ни езды, ни ездока —
лишь дорога глубока.

* * *

Отнерестился тополь. Лип
цветение отпахло.
Цикорий светится, раскрыв
полдневный серый глаз.

И сорняки так велики:
на них, как на деревья,
садятся воробьи, едва
покачивая их.

* * *

Как у солнца бела́ —
зорька алая,
как у неба синя́ —
ночка черная,

как у синей воды —
пена белая,
так у добрых людей —
зло раскаянье.

* * *

В век аббревиатур
объятия короче,
короче дни и ночи,
веревочка и шнур.

И над тобой, земля,
над прорвою финалов,
мы как инициалов
сплетались вензеля.

Татьяна НАБАТНИКОВА

Баптистка

РАССКАЗ

Влипли мы. И выкручивайся кто как знает.

Жить в этой стране—да и не только в ней—да и вообще: жить... Стыдно, конечно.

Но, так уж исторически сложилось, ты живешь.

(НАШ оборот).

Челябинск выплавляет в год семь миллионов тонн стали (счастливое число). Зачем, когда другие, равновеликие страны насыщают все потребности двумя миллионами тонн нержавейки,—это вопрос другой. А вот на культуру в этом городе расходуется 0,23 процента бюджета — супротив семи-восьми, обычных в мире. Во всей России только Колыма и остров Сахалин чуть приотстали от Челябинска по культуре.

Это лишь полприсказки.

Есть тем не менее и опера, и ТЮЗ (без помещения), и драма, и кукольный театр, и есть отделения творческих союзов: художников, писателей и даже композиторов. Что поделаешь, продолжает всех этих невтонов российская земля рождать. А родятся — выставки им подавай, зрителя-слушателя, участие в событиях, просто, наконец, работу. А оно все для удобства сосредоточено в Москве. Исторически сложилось такое разделение: все семь миллионов тонн стали — в Челябинске, а все семьсот семьдесят семь точек приложения культуры — в Москве.

(Не злиться, не злиться, не злиться!)

Ну вот присказку и одолели.

Итак, жил-был художник...

Стоп, еще забыли: Москва получает в год на жителя 160 кг мяса, районы Крайнего Севера — 70, промышленные центры Сибири и Урала — 50—65, Черноземье — 48, прочая Расея — 37. Видите.

А у художника дети. Двое. Большой и маленький. Большой уже вырос, а маленький еще не вырос. Он плохо растет, его бы подкормить. Апельсины и лимоны только на рынке, по десять, яблоки по четыре, сыру не бывает в принципе ни-ког-да. Ни-где. Художник летит из Москвы — везет...

Он уже дал в Банном переулке объявление, что его четырехкомнатная квартира в центре, вся из себя полнометражная (местные власти, кстати, художника ценят, но все, что сложилось исторически, они изменить не могут), меняется на квартиру в Москве. Дал объявление и ждет. И вскоре убеждается, что до тех пор, пока Москва—столица нашей Родины, оттуда не выманишь ни одного жителя.

Нет, бывает, конечно, иногда случается... Например, какой-нибудь дедушка в однокомнатной квартире в Бирюлеве перед тем, как помереть, решается осчастливить челябинских родственников и выменивает для них на свое Бирюлево трехкомнатную квартиру.

И вот однажды вечером в доме художника раздается телефонный звонок. (Наконец-то с присказкой покончено.) Уютный голос старушки спрашивает: объявление давали? Давали — художник задрожал, потому что даже если последует самое несусветное предложение, все же процесс хоть как-то сдвинулся. И старушка малограмотно сообщает ему: «У нас в Москве четырехкомнатна».

Понимаете? Понимаете ли, как вам объяснить. Вообще-то ведь он ненавидит эту Москву не меньше вашего. За ее перенаселенность, озлобленность

и громадность. Так жизнь ненавидят за боль и неудобства, какие она причиняет. Тоже мне, радость — жить!.. Но альтернатива-то какая?

Он художник, понимаете, не тот великий, который уже превыше места и времени, который нуждается только в покое, холстах и красках, он обыкновенный, средний, очень работоспособный, книги он любит оформлять, ему работодатели нужны, ему эта Москва нужна для жизни.

И вот дремотным вечером гнилого марта, когда в убежище домашнего тепла он читал сыну сказку, зазвонил телефон, и на другом конце провода зародилась неслыханная надежда — зыбкая, как жизнь старушки, ненадежная, как телефонная связь. Любую сумму — в долги залезет — отдаст этой бабуле за ее «четырехкомнатну», зато въедет и сразу станет жить и работать нормально, не тратя годы и силы на дальнейшее кочевье.

Вот сейчас оборвется связь, в трубке загудит ду-ду-ду, и старушка исчезнет, как шамаханская царица, «будто вовсе не бывало». Или захихикает, как старушка Шапокляк, своей удачной шутке.

И нейтральным тоном, с осторожностью охотника, чтобы не спугнуть дичь, художник произносит:

— Что ж, приходите, посмотрите квартиру. Вам когда удобнее: сейчас или завтра? — потому что, как уже сказано, дело было затемно, отважится ли бабушка?

Но бабушка покладисто и добродушно отвечает: когда удобно ему.

Ну, тогда сейчас. (А то еще окочурится до завтра, под сосульку с крыши попадет, нет уж, знаем мы подлые повадки жизни. Храни тебя Бог, бабуля, и откуда такая в Москве взялась? «У нас четырехкомнатна...»)

Художник продолжил чтение сказки, жене ничего не сказал — сам волновался, один. Тоже из предосторожности. Есть правила метафизической гигиены, всякий наблюдательный человек их быстро усваивает из уроков жизни: не болтай прежде дела, не гордись удачей, нашел — молчи и потерял — молчи.

Дикую птицу судьбы не спугни.

И когда она явилась — низенькая круглая старушка, вся так и светится улыбкой (приложив всю проницательную силу первого взгляда почему-то не к квартире, а к хозяину),— жена не обратила на ее приход никакого внимания. Мало ли шляется к художнику людей — натурщики, черт его знает кто вообще...

Он показывал бабушке комнату за комнатой, у младшего сына был устроен настоящий спортзал, на зависть всем мальчишкам во дворе. Одаривая заранее будущих жильцов, художник спросил:

— У вас дети есть?

— У меня пятнадцать детей! — неправильно поняла его старушка.— Чем-чем, а детьми богата. Деньгами — нет, а уж детьми... Внуков и правнуков тоже полно.

Художник поддакнул: действительно, уж это так — богат или детьми, или деньгами, вместе не выходит. Он давал понять, что ради ее бедности не поскупится.

Он вел ее по дому, она рассеянно кивала, как бы не совсем понимая, зачем ей все это смотреть, но раз надо... Потом усадил ее в кресло и устремил ожидающий взор:

— Ну, рассказывайте ваши обстоятельства.

Бывает: военного направят на службу. Бывает: семья бежит от суда и следствия. Бывает: беспутного сына увозят подальше от дурной компании. Но все это бывает редко.

Появился из ванны весь сияющий, распаренный сынок, уже переодетый ко сну. Любопытно ему: гостья. Одной жене не любопытно, она на кухне проводит ежевечерний досмотр: не оставил ли кто на ноч грязную посуду тараканам, не забыл ли кто убрать кастрюлю с супо` ` холодильник. Морозвоевода дозором...

— Эта квартира в Москве вообще-то была раньше моего сына, он военный, начальник секретного отдел и уехал во Владивосток, а в квартире прописал нас с дедом, и хозяйка теперь я...— Она сделала паузу перед тем, как решиться на свое сообщение. Метнула испытующий взгляд: как художник отнесется к этому? — Дело в том, что мой другой сын закончил семинарию и его направляют в ваш город...

Ах вон оно что...

Ну что ж, очень реальный сл`чай. Поскольку так уж исторически сложилось, что священнослужитель у нас заведомо обречен на гражданскую отверженность и презрительное недоумение невежд, а уж невежд у нас!..— и всякий норовит объяснить ему с высоты своего высшего образования, что Бога нет, это давно установлено, и что его жестоко надули. И он должен это сносить. То есть мученичество — как у первохристиан. И уж тут, верно, не до земных сует.

Поэтому художник просиял:

— Да?! Так у меня есть в нашем храме знакомые!

А старушка тотчас: нет.

— Он — не в церковь. Бактисты мы,— так она произнесла.— У нас молельный дом.

— Но разве семинария таких готовит? — неуверенно удивился художник.

— Да, там есть...— так же неуверенно уклонилась старушка. Впрочем, откуда ей знать: старый человек.— Мы ведь уж было сговорились тут с одной, Галиной Семеновной, уж начали обмен, она и приезжала к нам, четыре дня жила, я, говорит, все сделаю, гараж у нас купить пообещала, гараж у нас с подвалом, от дома пятьсот метров, и задаток за дом, вы, говорит, не беспокойтесь, ну, задаток она внесла, шестьсот рублей, дом тут в Полетаеве для сына: там уж служить, там и жить ему, а квартира-то для нас, да странников чтоб было где принять и разместить, да еще внучок у нас один больной, четырнадцать лет, не разговариват, не ходит, и вот я к Галине-то Семеновной приехала и напалась в аккурат на день рождения: она сама пьяная, гости пьяные, а по нашей вере это нельзя: ни пить, ни курить, мы даже газировку не пьем, потому: бутылочное. И давай она меня срамить перед гостями: дескать, глядите, бактиска, у ней пятнадцать детей, она их украла. Зачем так, у нас того нельзя, чтоб веру оскорблять, у меня муж как услышит «Бога нет», так он сразу убегат и сколько-то дней его нет, молится, вот мы какие люди, а она давай меня страмить, говорит, я этих детей украла. А откуда у меня тогда медаль за материнство? Нет, мы этого не любим, я сразу так и сказала: мы от обмена отказываемся, а сын-то у меня как знал — он мне ваш адрес дал, говорит: «Мама, я чувствую, что с Галиной-то Семеновной у нас ничего не получится, а вот с этими людьми, я чувствую, должно получиться». Ага. Он у меня всегда, как важно дело, так молится, и в молитве ему Бог открыват, и он всегда заранее знат, что получится, что нет. Он у меня, знаете, молится — плачет...

И старушка, расчувствовавшись, с материнской гордостью прикивнула головой: вот, дескать, сына какого Бог дал...

Художник пополз по всем швам. Если копнуть, ну какой интеллигентный человек признает себя чуждым высшей причастности? Слепым и глухим к незримым крепям, которыми только и держится утлый этот мир. Сомнения, конечно, на всякого находят, сомнения духа, и отчаяние, и уныние, но нет-нет да и откроется человеку недвусмысленное свидетельство — такое, что никаким причинно-следственным связям не по зубам.

Художник вспомнил, как вчера ему позвонили из Свердловска и спросили, стоит ли доверить заказ Байрашову, надежен ли. И он победил искушение сказать, что Байрашов человек способный, но непредсказуемый, иной раз и сорвет сроки... Победил искушение и поставил точку на «способный», хотя сам-то Байрашов, подлец, ни разу случая не упустил мазнуть его дегтем.

А он устоял. И вот, пожалуйста, вознаграждение.

А два месяца назад, если вспомнить? Вспоминать тяжело, жуть, что было. Жизнь летела с обрыва. «Ты — бездарность!» — с каким наслаждением она это произнесла. о, эти слова приберегались, конечно, на самый последок, все долгие годы копился яд для единственного, непоправимого ужала, с которым пчела теряет жизнь, и всякий человек лелеет с детства и до смерти это упоение: когда-нибудь непоправимо истребить!.. И ради полноты необратимости она не ночевала дома — все, сожжены все, ну до последнего, мосты! И кто бы мог подумать, что все еще можно поправить... «Ты только ни о чем меня не спрашивай»,— попросила, и он великодушно (нет, не сыщется такого слова, которое бы выразило степень его душевного подвига) принял это условие, подавил в себе все животные эгоистические импульсы — ради детей,— и никаких упреков, никаких вопросов, мало того — никаких даже мыслей в себе! — ну святой, нимб над головой свищет — и вот Господь тебе в награду посылает случай!

Не замедлил.

Раз в тысячу лет. И случай такой, что уже во всю жизнь не дерзнешь усомниться. Чудо явленное! Видение отрока Варфоломея.

А не искушение ли святого Антония?..— тотчас и дерзнуло сомнение. Изыди, дьявол!!! — с негодованием отвергла подозрение душа.

А старушка тем временем произносит монолог. Мол, ни о какой доплате и речи не должно идти, у них это означает продавать Бога. Квартира ей подходит, очень, дом на удобном месте, всякий приезжий без труда найдет, у них, баптистов, это святое дело: дать кров страннику независимо от веры, кто ни попросился — ночуй, вот тебе постель, вот тебе еда, никакой платы — грех великий! Вообще вся их община держится только на доверии и взаимовыручке, все друг другу братья и сестры, так и зовут, им иначе было бы не выжить, у них ведь грех аборты делать, убийство, поэтому детей у всех помногу, вот и у ее сына, пресвитера, уже пятеро. И братья, какие побогаче — например, шахтеры Кузбасса,— всегда давали деньги на поддержку других общин. А то б не выжить, нет. Когда ее дети подрастали, сварит она, бывало, два ведра картошки, поставит на стол, и, пока они с мужем, закрыв глаза, творят молитву перед ужином, от той картошки только чистое место останется. Вот так они жили! А сколько ссылок она перенесла! Она родом из чувашской деревни, космонавт Николаев тоже из их деревни, он с ее сыном дружит — ох, он так одинок, с Терешковой-то разошлись, она все по заграницам, а ему и душу некуда приклонить, толку-то от всех его богатств да от прислуги, когда нет рядом преданной женщины! Приедет, бывало, к ее сыну, только и отведет душу. Две тысячи дал ей в долг, потому что ей, как матери-героине, дали машину, «пяту модель», она вообще-то восемь тысяч стоит, но ей как заслуженной цена вдвое меньше, это льгота такая есть, она заплатила за эту машину четыре тысячи, две у нее было, а две дал Николаев, так теперь, может, рассчитается она с ним, хоть он и не требоват, ну да ее душа тяжести долга не выдярживат, и лучше продать машину, тем более раз переезжать, она нова, неезжена, и сосед, профессор, говорит ей: «Ивановна, если вы гараж никому не продадите, так я у вас его куплю», и вот та обменщица, Галина та Степановна (путает старушка, отметил художник: то Семеновна, то Степановна. Старенькая, что с нее взять), с которой обмен распался из-за ее пьянства и богохульства, обещала купить у нее этот гараж и машину, а теперь что же...

— А сколько стоит гараж? — приспросился художник. Машины у него не было. Пока...

— Да сколько-сколько,— пожимала плечами бабуля. Вся такая чистенькая, обстиранная. Носочки беленькие шерстяные самовязаные.—Не знаю, но надо так, чтобы люди потом худым словом не поминали. Много не возьмем.

Погреб у них в гараже, они там капусту держат, картошку, да и в самом доме имеется хозяйственный подвал.

— У нас, к сожалению, подвала нет,— огорчался художник, но бабушку это ничуть не беспокоило, на нет и суда нет, она все одно не пропадет, ни Бог, ни люди не дадут пропасть, ведь сын-то у нее будет в Полетаеве жить, где молельный дом, и у сына есть машина, уж он свою мать обеспечит всем, да и община всячески поможет, такие у них порядки, вот только за дом она должна снова внести задаток, потому что те деньги, что внесла за нее Галина Степановна, бабуля сегодня у хозяина забрала и вернула этой нехорошей женщине, чтоб уж окончательно с ней расстаться, и завтра с утра поэтому ей снова надо ехать в Полетаево, просить у братьев и сестер денег и улаживать дела с домом. Пока что она оставила там в залог все свои документы. Она еще сегодня хотела там перехватить денег, да брат, на которого она рассчитывала, оказался в отъезде, но завтра, возможно, он уже будет дома и выручит ее, вот ведь, как понадеялась она крепко на свою обменщицу, даже денег из Москвы с собой не прихватила, вот видите, как получается...

Конечно, художнику не очень нравилось положение, в котором он должен — видимо — предложить ей деньги. Она, конечно, не просит. Но попробуй тут не предложи. Тебе дают так много... Такая набожная старушка... Тем более что и не просит. Она только доверчиво объясняет свои обстоятельства. А там уж твое дело. Если ты достоин этого подарка судьбы, если ты достоин святого господнего имени, если ты способен встать вровень с этими людьми по степени доверия и бескорыстия — то получишь и московскую квартиру. Иначе ее получит достойнейший. Если тебя чему-нибудь научил печальный пример бедной Галины Степановны-Семеновны. Вот тут и проверят тебя на вшивость, дорогой интеллигент. Ибо все от Бога, ничего от людей.

Разумеется, это не было сказано. Это было оставлено в умолчании. Да вряд ли бабуля все это имела в виду — такая простодушная! Но художник мигом облетел своей резвой мыслью все эти щекотливые закоулки. Неприятно, да. Но придется бабуле простить. Как прощаешь девушке кривые ноги ради смертельно ранивших тебя ее красивых глаз. Или прощаешь ей невзрачные глаза ради смертельно ранивших тебя ее стройных ног. Короче, мир несовершенен, приходится то и дело что-нибудь ему прощать. Иначе твое существование в нем стало бы окончательно невозможным. Этой бабуле можно все простить за ее голодное прошлое и (особенно) за ее московскую четырехкомнатную квартиру.

— Так вы, значит, в городе нигде не остановились? — Художник пока обходил неприятную тему задатка.— Может, вы тогда у нас переночуете?

— Я остановилась у одной сестры,— замялась старушка.— Да что-то у нее муж сегодня пьяный, не знаю прямо... Что-то у них как-то подозрительно... Да и муж ли он?

Похоже, бабуле тоже многое приходится прощать миру. И есть надежда выиграть в ее глазах на общем фоне. Чтоб она выбрала тебя, хоть ей и не понравилось обилие картин по стенам. Она сразу сказала, что им, баптистам, всякие изображения враждебны. Не полагается у них изображать, и никаких икон, и в театр они не ходят, и в концерты им нельзя (художник порадовался, как удачно сломался у них телевизор и теперь в ремонте. Вот ведь, не знаешь, где найдешь, где потеряешь).

А вот книги у них есть. Книг у них много, сказала бабуля, глядя на полки. Тоже, видимо, радовалась всякому совпадению, как знаку одобрения свыше. И она даже пошла в коридор, где оставила на полу донельзя трогательный узелок из головного платка. Достала книжку, принесла показать: самиздатовский сборник молитв. Полистал: какие-то придурочные стихи, насильно вогнанный в рифму религиозный экстаз. Наподобие: Боже праведный, всевышний, никого тебя нет выше, одари меня, аминь, милосердием своим. Художнику пришло в голову «никого так не люблю, только партию одну», и он рассердился на себя за то подлое хихиканье и насмешливую возню, какую черти учинили в его мыслях. Вот Бог-то сейчас увидит, что у него внутри, и ужо покажет ему! И он быстренько навел в себе благоговейный порядок.

— Так вы все-таки оставайтесь у нас! — настойчиво приглашал.

Скорее обротать бабулю.

— Не знаю,— колебалась скромная старушка.— Как ваша жена скажет, надо вам у нее спросить.

— О чем вы говорите, конечно, она согласится! — воскликнул художник, со страхом думая про сложный ее характер: уж если шлея под хвост попадет, она и себе навредит, и семье, только бы настроению своему угодить. И как раз сегодня она не в духе...— Сейчас я вас с ней познакомлю!

Он пошел к жене, она стелила себе постель.

— Прекрати это пошлое занятие,— грозно прошептал он,— идем, я тебя с бабушкой познакомлю.

— Чего ради я с ней буду знакомиться!—возмутилась жена.

— Бедная, оставь этот тон,—сдерживая брыкающееся счастье, предвкушая эффект.— Во-первых, бабушка остается у нас ночевать, а во-вторых, она баптистка.

Жена просто сатанеет:

— Ну и что, что она баптистка, и почему это она вдруг должна у нас ночевать! — И назло раздевается, и ложится, и укрывается одеялом, дура, ну где же ее чутье, хваленая бабья интуиция, неужели не видит по его лицу: происходит нечто из ряда вон!

Ну сейчас он ей покажет! Ну сейчас она взлетит со своей постели, как поджаренная!

— У этой бабушки четырехкомнатная квартира в Москве, и она хочет с нами меняться, потому что ее сына, священника, переводят сюда!

— Ну?!! Да ты что! — сразу поверила. Подскочила с подушки.— Так не бывает!

— А вот бывает!

Проворно одеваясь, говорила с усмешечкой:

— Это что же, Бог, что ли, услышал твои молитвы?

Магический дикарский ритуал: чтобы не спугнуть удачу, делай вид, что ты ее всерьез не принимаешь.

Там-там-там барабаны, мечутся костровые тени по стенам пещеры.

— Видимо, не так уж сильно ты нагрешила, вот тебе Бог и простил.— Художник и сам в это тотчас поверил: а действительно, может, не так уж и сильно?..

Он вернулся к бабушке, издалека обласкивая ее улыбкой, окутывая любовью,—пусть ей будет тут хорошо, и пусть она поверит этому знаку.

Тут и жена вошла, приглядываясь пристально, и бабуля ощетинилась, глаза настороженно напряглись, погас медоточивый свет. Художник застонал про себя: ой, ну счас все испортит, чуткий бабушкин индикатор отрицательно сработал на внесенное поле подозрительности, а ведь тут важно угодить душевно! А не квартирно.

Он срочно стал вводить жену в контакт с бабулей:

— Вот моя жена, а это Александра Ивановна. Александра Ивановна баптистской веры, и у нее пятнадцать детей,— внушая жене нужный тон.

— Пятнадцать детей? — изумилась жена, художник бдил, чтоб бабуле не послышалось в ее восклицании насмешки. Но жена справилась, молодец. Бог помог.

— Да! — У бабушки отлегло от сердца, у художника соответственно.— И все сыновья, ни одной дочери. И внучки только две, а правнучки опять же ни одной!

Ах, ах, ах, как это удивительно! И какое совпадение, у нас вот тоже сыновья! — Вот и жена прицельно бьет в ту же точку: неотвратимость судьбы.

Бабушка пустилась рассказывать про своего пятилетнего внука, какой хитрец: послали его за хлебом, а он по дороге якобы спросил у Бога: ничего, если он купит вместо хлеба мороженое? И Бог ему дал на то позволение. Ну, дома его, конечно, поставили коленками на горох, есть у них такое наказание, а вот бить детей у них нельзя, не полагается. А однажды в молельном доме после собрания, когда пресвитер по обыкновению спросил, у кого какие есть обращения к братьям и сестрам, этот пятилетний внук выступил и обратился: «Простите меня, братья и сестры! Очень тортика хочется!» И как ему после этого целый торт испекла одна женщина из общины. А вообще-то хороший мальчик, разумный, сам на ночь умоется, наденет длинную рубашечку и идет в кровать.

Бабушка потом и сама вышла из ванны, чистенькая и порозовевшая, как ангел безвинный, и всех благословила на ночь. Умиление одно.

Но это потом, еще не скоро.

А пока жена объявила, что поставит чай.

Бабушка продолжала: а вот с другим внуком их Бог наказал за великие их грехи: мальчику четырнадцать лет — не разговаривает, не ходит, хоть все понимает. Уже все средства перепробовали и пост по всей общине объявляли, чтоб все братья и сестры молились о его здоровье — так у них заведено: если попал человек в беду, ему в помощь мобилизуют духовную силу всех братьев и сестер. А календарного поста, как у православных, у них нет. Да, и врачам показывали, среди ее сыновей есть и врачи, есть и военные, и партийные.

— Как партийные? — обернулась жена, уходившая на кухню.— Как это может совмещаться, ведь партийность предполагает полный атеизм?

— А как же, приходится нам и с мирской жизнью соприкасаться, нам и партийные нужны,— миролюбиво кивала бабушка,— а как же, мы в стране живем, мы не отстраняемся, и в армию сыновья идут, сын у меня военный, начальник секретного отдела.

— А я слышала, у баптистов великий грех взять в руки оружие.

Впрочем, она утомилась стоять вполоборота и, не дожидаясь ответа, ушла ставить чай.

— Нет, мы отдаем в армию, отдаем! — бормотала старушка, потом впала в задумчивость, и вскоре Господь ее осенил догадкой: — Да ведь мы почему переезжам: он у нас один, верующий-то сын! Один всего в вере! Вот мы и должны его держаться.

Очень обрадовалась, что вовремя вспомнила. Художник тоже обрадовался: выпуталась, слава Богу, бабуля. Он за нее болел. Он желал ей успеха.

Жена вернулась с кухни, уселась на прежнее место.

Конечно, им не терпелось побольше узнать про квартиру в Москве. Но бабуля про квартиру забывала, говорила про веру — что с нее взять, чокнутая на служении старушка. Приходилось выискивать промежутки в ее религиозной пропаганде, чтобы втиснуть вопрос. Квартира в Измайлове. «Пята Паркова у нас»,— с полным равнодушием отвечала бабуля (и даже с недоумением: разве это важно?), и супруги, стыдясь, все же не смогли сдержаться, расстелили на полу карту Москвы и искали на ней «Пяту Паркову». Унимая дрожь и слюноотделение, прикидывали, к какой станции метро ближе: к «Измайловской» или «Измайловскому парку»? И ждали: бабушка подскажет, но она, наверное, не слышала. Она безучастно пережидала, когда снова сможет вернуться к рассуждениям, которые одни, на ее взгляд, имели значение в жизни.

— Там и школа рядом, и магазины, и парк,— рассеянно проговорила, глубоко задумавшись о чем-то своем.

Супругам было стыдно за свое дрожащее ничтожество.

Чайник на кухне запел.

Старший сын, десятиклассник, вышел к столу, но не проронил ни слова. Отец злился: ну погоди, мерзавец! Эгоист! Все, все обязаны постараться понравиться старушке! Чтоб она их выбрала! А он?..

— Уж такой у них возраст,— извинился за него перед старушкой, а сын сердито фыркнул, встал и ушел, не прощая отцу, что предает его старухе за квартиру!..

Потом бабулю уложили спать, отдали ей комнату (жена по такому случаю ночевала у мужа) и остались наконец одни.

Слов произносили мало, осторожно, чтоб не заболтать такое чудо. Чтоб уцелело.

— Она говорит,— полушепотом сказал художник,— что машину может продать не дороже, чем купила сама, то есть за полцены! У них устав запрещает продавать с наживой...

Сказал и замер.

Глаза у обоих горели адским огнем, тщетно старались унять его, сами себя стыдились.

— А какая площадь? — спросила жена.

— Какая тебе разница, четыре отдельные комнаты, да пусть они будут хоть по десять метров! — Художник укоряюще выкатывал глаза.

И снова они сладко морщились и стонали от предвкушений. Единым махом — Москва, машина, гараж, скачок в иное существование, в собственных глазах вырастаешь (раз получил, значит: достоин!), не лопнуть бы, а в глазах других и вовсе, онемеют от зависти, даже и сами москвичи! Столичный независимый художник, приезжающий к работодателям на своем авто, живущий в четырехкомнатной квартире вблизи Измайловского парка — ой, я не могу, не могу!..

— Я помню Измайлово,— с суеверным испугом шептала жена.— Старый район, не бездарные эти новостройки!..

— Да что ты! — болезненно охал художник, приседая под грузом везения.

Боже, Боже, Боже, Господи, царю небесный, за какие заслуги? Но каждый в глубине души чувствовал, что достоин, давно заслужил, и так оно в конце концов и должно было случиться. И в Писании сказано: «Придут и сами дадут!» Или вот еще: молочные реки, кисельные берега, прямо пойдешь — счастье найдешь. И вот, во исполнение пророков... Существует же на свете справедливость, елки-палки, или нет, в конце концов!

— Я так и знал, так и знал,— бормотал художник.— Это могло быть или именно так, или уж никак!

А тем людям, которые предлагали ему однокомнатную в Москве,— они уже не раз звонили: не надумал ли, они снова позвонят, а он им с коварным сожалением ответит, что уже, ах, уже. На четырехкомнатную. Нет, без доплаты. Да. В Измайлове...

Впрочем, он стыдился этого мстительного предвкушения, он отгонял его от себя подальше. На душе должно быть чисто, чисто! Чтобы не погубить святое чудо отравой душевных отходов, как заводы губят народ.

Попытался от избытка чувств приставать к жене, но она с ходу пресекла:

— Нельзя! Пост...

И он сразу принял этот довод. Вблизи везения надо держаться осторож-

но, как вблизи шаровой молнии. От преждевременного ликования — сами знаете, что будет. Замри и жди. И постись. Приноси благоговейные жертвы. Это они оба понимали. В напряженные моменты жизни они умели действовать согласно и заодно, забыв междоусобные распри. В трудную, по-настоящему трудную минуту они могли друг на друга рассчитывать, и кто им не позавидует в этом?

Жена уже засыпала, он растолкал ее:

— А может, это нам дьявол ее подослал?

— Такую-то Божью старушку? — пристыдила жена.

— Действительно...— тотчас признал художник, но спать еще долго не мог. Ему блазнились картины московской жизни, доступность работы, и чертов тот автомобиль, и респектабельность, ах, и как он уведомит знакомых об изменении адреса, и враги поперхнутся от зависти — о, он гнал эти подлые картинки, а они лезли, одолевали его, как орды нечистой силы, и он то и дело повторял молитву, единственную, какую знал: «Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя, грешного!» — и всякий раз трижды крестился, но снова наваждения наползали в новую атаку.

Под конец ночи этот святой Антоний наконец заснул больным сном, и его будили кошмары: комнаты, комнаты, двери, его присутствие там всегда оказывалось абсурдным. Просыпаясь, вспоминал, что произошло, боялся верить и тоскливо молил: скорее бы осуществилось, если только это правда, о Господи! «Что делаешь, делай скорее!»

Завидовал жене: спит! Уже знал: завтра целый день болеть — бессонницы обходились ему все дороже.

Утром все рассосались: на работу, в школу, в садик. И только тогда появилась из своей комнаты бабуля, тактично переждав утреннюю суматоху.

Теперь они были вдвоем. Чай. Вот лимон (остатки последней поездки в Москву), вот сливки (ну, это здешние), а вот булочки, попробуйте ванильные, в самой Москве таких нет.

Бабуля, безгрешная душа, намазывала масло тонко-тонко — за бедную жизнь привыкнешь так, что по-другому уже и не нравится. Мать у художника тоже: так долго доставались ей от кур только крылышки, а от рыбы только головы, что потом и в достатке и в старости ела только это.

Бабуля продолжала между тем свои вдохновенные проповеди. Понятно, ее долг при всякой возможности вербовать в свою веру, но художник уже так утомился делать благоговейную морду, ему бы к делу перейти скорее, а она тут еще в хвастовство ударилась, расковавшись от родственного доверия: ей, мол, доводится иногда самой проводить религиозные собрания в молельном доме, так приходят даже неверующие и после говорят: «Я давно мечтал послушать эту женщину». Как бы ни хотел художник переехать в Москву, как бы искренне ни старался полюбить эту бабку — ну не мог он себе представить того неверующего, на которого произвели бы впечатление ее убогие восклицания, хоть убей, не мог, ему было смешно, а старушка тут возьми да и прочитай духовный стих, который она когда-то в юности, в ссылке услышала от своего наставника, и он ей велел запомнить с одного раза. Слушать этот беспомощный стих было стыдно, но приходилось терпеть. Художник кашлянул:

— Такая память! С одного раза запомнили!

Очень мучился.

— Да, с одного раза! У нас не полагается ничего два раза повторять, ни духовные стихи, никакие просьбы тоже, если человек один раз попросил и ему не дали, то второй раз просить не надо: значит, ему не хотят дать, у нас так.

Конечно, намек про задаток за дом у художника тлел в мозгу, тлел...

Завтрак уже закончился, но бабушка не торопилась в свое Полетаево.

Ежедневная привычка по утрам, когда все разойдутся, сразу приниматься за работу усугублялась срочностью заказа, и подспудное раздражение художника капля по капле нарастало.

Проклятая старуха без умолку рассказывала про свою жизнь, про работу на ферме, и как они все друг друга выручают и всю картошку, выращенную на даче,— ну, дача у них, дом, всего в десяти километрах от Москвы, есть даже горячая вода и газовое отопление, а так домик небольшой, два этажа, внизу комнатка и кухонька и наверху две комнатки, участок шесть соток, придется теперь искать покупателя, продаст она, конечно, задешево, но все равно заботы, хлопоты, ну так вот, всю картошку они еще с осени раз-

дают братьям и сестрам. А сын ее, который пресвитер-то, он вообще-то инженер, ведь в общине у него работа бесплатная, духовный долг, ради этого духовного долга мы идем на все, на все! (Временами речь ее становилась страстной, резкие выкрики сопровождались сухим и почти хищным огнем глаз.) Он таксистам проповеди читает, чтоб не были алчными и всю сдачу отдавали, так эти таксисты, бывало, подъедут к дому и зовут: «Алексей Петрович, где ты там, поучи-ка нас!»

Художник успел вставить насчет дачи, что они купят у нее все, что она сочтет нужным продать! Раздражение копилось, становилось угрожающим. Она в какой-то момент почувствовала это и смолкла, съежилась.

— Итак, займемся нашими делами,— решительно воспользовался тишиной художник. Улыбок у него уже не было, кончились его улыбки, вчера за вечер месячную норму перебрал, мозоли натер на челюстях.— Вы сейчас поедете, как я понял, в Полетаево, а я схожу в бюро обмена и начну оформлять разрешение. Мне для этого нужны ваши данные.— Он принес ручку и бумагу.

Бабуля слегка растерялась:

— Так ведь я документы все оставила под залог, дом-то мне нельзя упустить, дома редко продаются, хозяин только до сегодняшнего вечера отсрочку дал.

— Я и не прошу документы, просто скажите мне адрес и другие данные.

Конечно, художник понимал, что как ни отодвигай вопрос задатка, рано или поздно придется в него упереться. Конечно же, вопрос его страшил. Ужасная его неотвратимость состояла в том, что он сам должен будет завести об этом речь. Он знал, что она не попросит. Он предложит сам. И она это знала. Но, наверное, не до конца.

— Пята Паркова у нас... Дом сто.—Неохотно, с сопротивлением диктовала: — Квартира двенадцать. Третий этаж.

— Площадь,—нетерпеливо подгонял художник. Он устал. Он хотел работать. Он уже знал, что не потащится в бюро обмена раньше, чем старуха вернется из Полетаева с документами, чтоб не выставлять себя на посмешище.

— Площадь? — озадачилась старушка.

— Площадь!

Уж эта цифра должна от зубов у бабуси отскакивать, ведь с той дамой, Галиной Семеновной-Степановной, обмен уже оформлялся, и должна была бабуся в ордер-то свой заглянуть!

Надо было доигрывать представление до конца, не отступая от роли. По ходу действия было уже столько сказано о доверии и бескорыстной помощи, что на этом фоне усомниться в старушке и квартире — выглядело бы нарушением драматургии. Натура художника была болезненно отзывчива на дисгармонию.

— Так,— старушка сделала жест, призывающий не паниковать.— Я вам сейчас по комнатам скажу.—И начала вспоминать:—Одна восемнадцать, вторая девятнадцать с половиной, еще одна семнадцать и... и еще девятнадцать.

Художник насчитал больше семидесяти трех метров. Его полнометражная квартира была шестьдесят три... Он поднял на старушку злые глаза, злые не от недоверия, а от раздражения артиста против партнера, который путает роль и делает игру недостоверной.

— Как же так? — сказал он холодно.— Вы говорили, дом новой планировки. 55 метров — вот нормальная площадь современной квартиры.

— Нет! — испуганно вскрикнула старушка.— Сколько я сказала.

Ну правильно. Уж если врать, так до конца. И как можно наглей.

И нет никакой радости изобличать ее. Это почему-то стыдней, чем притвориться поверившим.

Еще лучше не притвориться поверившим, а — поверить.

— Но наша квартира всего шестьдесят три,— сказал он уже обессиленным голосом.

Бабуля принялась отчаянно выкрикивать:

— Ну и что! Да нам с мужем по семьдесят лет, куда уж нам выбирать да присматриваться к квартирам, нам много ли осталось! Мы должны следовать за сыном, куда его долг ведет, и на нас внук-калека, его не бросишь, он должен вблизи отца-матери быть, на наших руках, на чьих же еще!

Действительно. Художнику даже совестно стало за сомнения. Семьдесят лет! Подозревать такую старушку в мошенничестве!.. Да если вынужден человек, на смерть глядя, таким способом добывать свой хлеб — врагу не по-

желаешь,— каким подлецом немилосердным надо быть, чтоб отказать ей в этом куске! Просящему у тебя дай! — сказано. Вон у нее узелочек какой...

Но поскольку он медлил и заторможенно молчал...

— Да у меня уже два инфаркта было, каково мне пришлось, у меня внука судили — за воровство, каково было мне, в самые голодные годы я на зернышко чужое не позарилась, а тут такое пережить! Как вы думаете? Шапку украл, отдали и шапку, и деньги, но все равно был суд. А у меня инфаркт. Это, вы думаете, как?

Художник измучен был поединком, в котором он не имел морального права побеждать. Стыдно, стыдно быть тут победителем. А побежденным этой убогой проклятой старухой — еще стыднее...

Изуверство какое-то.

А если представить, что хоть на полпроцента проклятая не врет. Если допустить, что она действительно... и подвергает его проверке на вшивость, испытывает его душевные качества, достоин ли он московской квартиры площадью 73 метра (примем, что бывают и такие площади) с машиной за четыре тысячи, гаражом в пятистах метрах от дома и с дачей в десяти километрах с горячей водой и газовым отоплением. Уж обладатель всех этих сказочных благ должен их заслужить душевными качествами, или как вы считаете? А? Не мелочным оказаться, не подозрительным, не богохульником, не жмотом.

А только представить — вот он скажет сейчас бабулечке: ступай себе, бабуля, с богом в Полетаево, там вашей братвы до черта, твой сын туда приезжает пресвитером, и уж они не дадут вам пропасть, снабдят деньгами для задатка. И она встает и уходит — и больше не появляется. Да, она пойдет по чужим людям и денег добудет, но дела с ним иметь больше не захочет. Он ее потом разыщет в Москве, а она ему смирнехонько скажет: что ты, мил человек, мы других людей себе подыскали для обмена.

И простит он себе тогда свою лютую осторожность?

Раз в тысячу лет, и — плюнуть в лицо судьбе, протянувшей тебе на раскрытой ладони подарок!..

Какой, должно быть, кайф был старухе наблюдать мучительную битву чувств на его измочаленной роже! Она, впрочем, смилостивилась и облегчила условия испытания. Вздохнув, сказала вслух сама себе:

— Ну ладно, пора ехать... Триста рублей у меня есть, сестра мне вчера дала, у которой я ночевать собиралась. У нее пенсия сорок рублей, так она себе на смерть собрала денег, вот смертные деньги мне и отдала. А остальные уж я найду. Поеду.

Но забыла подняться. В задумчивость впала.

Триста рублей — это уже не шестьсот. Правильно бабуля рассудила. Триста рублей не сделают ни его беднее, ни ее богаче.

Впрочем, он ведь еще не все выяснил про квартиру, вспомнил художник и снова стал записывать:

— Так, кто прописан в вашей квартире и сколько человек?

— Мухамедовы мы,— ответила из задумчивости бабка.

— Так, Мухамедовы. Александра Ивановна. Дальше?

— Ну, муж тоже Мухамедов. Александр Петрович,— запнувшись, сказала бабушка и вдруг заулыбалась, удивляясь совпадению: — Тоже он Александр, видите?

Видеть-то художник видел. Действительно совпадение. Но он предпочел бы, чтоб совпало лучше имя отца с отчеством сына, которого, как известно, таксисты величают Алексеем Петровичем. Эх, бабуля-бабуля... Хваленая твоя память.

— Так, еще кто? — устало торопил ее.

— Ну и внуки,— оборонялась бабка.— Дима и этот... Сережа. Все мы Мухамедовы.

— Кому принадлежит дом? Исполкому, ведомству?

— Ведомству, военному ведомству,— поспешно откликнулась старушка, потом заробела, помедлила да и брякнула: — Вы знаете, я вчера вам не сказала, я побоялась говорить, потому что как скажешь: дом кооперативный, так сразу от обмена отказываются, но вы не бойтесь! Квартира вся выплаченная, и она ваша! Вам ничего не придется платить, только вот за это, за услуги: газ да этот, телефон, за горячую воду, только вы, наверное, за телефон платите два пятьдесят, а у нас пополам.

— На блокираторе, значит! — уточнил художник, уже не реагируя на «выплаченный кооператив».

— Да, с соседями.

Только вот номер телефона позабыла старая, ну что с нее возьмешь.

Между прочим, как ни безумно звучал этот «кооператив», за который художнику ничего не придется платить, но именно это прояснило кой-какие предыдущие нелепости: и наличие такой большой площади, и прописку внуков.

— Сколько стоит квартира? — равнодушно спросил.

— Что вы, что вы! — Бабуся замахала руками.— Я об этом даже не хочу говорить, за квартиру заплатил сын, он сам, как начальник секретного отдела, получил себе другую квартиру от государства, и ни копейки мы не станем с вас брать, ведь мы же видим, какие люди, для нас, если вы хотите знать, дорого, какие люди, вы что, думаете, мне негде было переночевать? Э, мне важно было, что вы меня приняли, как дорогую гостью, знаете, как другие, бывает, встречают? Не знаете, а я всякого навидалась на своем веку, мы умеем человеческую душу различить, я давно уже так крепко и спокойно не спала, как в вашем доме сегодня, ваш дом Господом Богом благословленный, и никакой другой квартиры нам не надо! И никаких денег, у нас это — все равно что Бога продавать.

Ну ладно, хватит. Вот посюда уже ему эти речи, само слово «Бога» звучало у бабки как мат. Он ненавидел ее полностью и окончательно. Скорее, скорее, чтоб все кончилось, и забыть позор тысячи благоговейных кивков, которыми он угодливо поддакивал ей тут полсуток.

— Хорошо!—Он встал.—Сейчас идем в сберкассу, я снимаю деньги, и вы едете улаживать дела с вашим домом.

Ее безотчетная счастливая болтовня, когда она резво одевалась в прихожей, повязывая цветастый платок: как они, чуваши, любят цветное, их «хлебом не корми, дай в цветно вырядиться, а пальто мне невестка свое отдала» — боже мой, он и не думал, что такого старого человека можно т а к осчастливить, сам-то он давно отрадовался, а ему еще жить да жить. Морщеное ее личико смущенно рдело, полубеззубый рот слагался в девичью улыбку, какая возникает только от взаимных признаний, Христова невеста, елки-палки...

Шли по улице — она чуть не вприпрыжку. Когда-то в девушках, наверное, в такие минуты кружилась, подол пузырем, и с хохотом гасила его руками.

Художник поневоле улыбался.

— Квартира — ваша, вы не сомневайтесь даже, вот съезжу сейчас, с домом улажу, помолюсь и вернусь, вы днем-то дома? Часам к четырем и вернусь, я управлюсь, и сразу поедем в Москву, оформлять-то все в Москве будем!

Приходилось ее слегка окорачивать:

— Прежде я должен оформить разрешение на обмен здесь, на это уйдет не один день.

Бабушка покладисто соглашалась:

— Сколько надо будет, столько и подождем, а потом поедем, вы у нас поживете, у нас в Измайлове любую шестилетку на улице спроси, где тут бактиска живет — и все покажут...

— У меня в Москве есть где,— уклонялся художник от приглашения.

— Нет, нет и нет, и речи быть не может, у нас так положено, чтоб вы у нас пожили, в нашем доме! У нас и чужие-то всякий день ночуют, а то и неделями живут, кому негде, а уж вы-то, свои люди, грех, нет, уж мы вас и на дачу свозим, покажем, мы вас угостим, космонавт Николаев приедет, вызовем его из Звездного Городка, он всегда икру привозит, деликатесы эти...

С Пушкиным на дружеской ноге, тридцать тыщ одних курьеров.

Художник усмехнулся, все это было равно отвратительно, как и неотвратимо. Он все еще придерживался роли: показывал бабуле, где остановки транспорта, где магазины, рынок, бабуля скакала сорокой сбоку от него, кивала, вертела головой, нетерпеливо поддакивала:

— Это хорошо, это хорошо, но мне важнее, что квартира перейдет в хорошие руки, вот это главное, это нам дороже всего. Вы мне так понравились, и ваша жена, и...

И самое интересное: он видел, старуха, правда, привязалась к нему, как к родному. Ну как не полюбить хорошего человека!

Сберкасса была уже вот она.

В пустом зале бабка сидела одна на стульчике, художник у стойки старался на нее не смотреть, но не уберегся, мельком глянул, а взгляд — дело

жестокое, все ему открыто, чего и знать-то сроду не хотел. Старуха сидела нахохлившись, как хищная птица, зоркие глазки настороженно посверкивали.

Кассирша выдала ему пачку трешек — сто штук. Он понес эту пачку в вытянутой руке, издалека протягивая старухе.

Она испуганно оглянулась, достала платочек:

— Никогда голые деньги не давай, даже если пять рублей, надо завернуть, вот я тебя научу, тогда они к тебе всегда вернутся!

«Вернутся!» — насмешливо подумал художник. Вслух сказал:

— Это не деньги.— С отвращением, будто давно мечтал избавиться от них. Чтоб она поняла: он не одурачен. Он п о д а е т.

Старуха возбужденно лопотала:

— Я отдам, я сразу же отдам. Или пойдет в зачет за гараж, за дачу... Я обязательно отдам.

На остановке он оторвал ей несколько талончиков, она одобрительно кивала, ценя его заботу, и без передышки болтала. И это, дескать, тебе зачтется, доверчивый человек Богу угоден, и она теперь во всех общинах расскажет, все будут знать: живет такой хороший человек на свете, и все за него помолятся, и удача уже больше никогда не отступится от него. А он брезгливо подсаживал ее под локоток в троллейбус, было пасмурно, холодно, грязно, и снег пополам с дождем бессильно падал с неба.

Плелся по мокроте домой и думал: а мальчик-калека в самом деле есть. И они знают, что это им за подлость их великую, знают, но с о г л а с и л и с ь... Отдали мальчика в жертву. Бог жертвы любит и за мальчика дает им возможность успешно заниматься их ремеслом: мошенничеством. И, пожалуй, они в самом деле верующие. Верующие мошенники. И перед каждым выходом на дело творят молитву или даже постятся, чтобы Бог им послал удачу. И через молитву им действительно открывается: «С той женщиной не получится, а вот с этими должно получиться...» Правильно им Бог открыл. Бог — он все видит, все ему известно. Они заплатили Богу, мальчика отдали, мальчиком рассчитались за услуги. И Бог у них теперь наводчиком. Всевышнюю власть уступил сатане, а сам перебивается наводкой. Во жизнь!

А Галина Степановна-Семеновна, видимо, бабулю расколола, не позволила размазывать все эти религиозные сопли, а спросила документы. Да и насмеялась над бабушкой, несправедливо обидела. Всякий человек неудачу в своем деле понимает как несправедливую обиду.

А может, она одна с мальчиком-калекой, и нет у них больше никого, а жить надо.

А может...

Впрочем, она, может быть, еще и вернется. Как она сказала ему, садясь в троллейбус: «Картошечки мне сегодня сварите! Я вчера постеснялась попросить, а я без картошки не могу, привыкла всю жизнь картошку одну есть...»

Картошку одну есть... А как она радовалась деньгам! Так только в детстве Деду-Морозу радуешься. А потом уже ничему и никогда.

И тебе жалко этих денег! — стыдил себя.

Он загадал: зайдет сейчас в бухгалтерию худфонда — если уже перевели ему деньги из Свердловска в оплату заказа, то все правда.

Он зашел, и деньги поступили буквально сегодня...

Он безотказно проработал весь день, заперев воображение. Несколько раз звонила жена: ну,— спрашивала,— не приехала еще? Дело в том, что художник ей сразу сознался в трехстах рублях. И, явившись вечером с работы, она первым делом зырк по вешалке: цветастый платок, кримпленовое пальто, старушечьи сапоги и тот се узелок — ?..

Вскакивали оба на каждый телефонный звонок...

И только сын-десятиклассник с усталым превосходством удивлялся:

— А вы ее ждете? Ну молодцы... Да ты на руки ее посмотрел, художник, знаток жизни? Она же ни-ког-да не работала на ферме!..

И ушел к себе в комнату: уж эти ему престарелые романтики!..

А престарелый романтик поздней ночью — семья уже давно спала — на каждую въезжавшую во двор машину все думал: не бабушка ли на такси подъехала? — и вставал, и выглядывал в окно. Но там не то что бабушки, а и машины никакой не оказывалось. Галлюцинации, что ли? — пугался он, страшась сумасшедшего дома и старости.

●

Владимир КОРМЕР

Наследство

РОМАН

XXIX. Крестный путь

Они никак не могли расстаться. Уже в подъезде ее дома, на узкой лестнице они, обтирая стены, долго целовались. Таня взбегала на несколько ступенек, но, чуть отпустив ее, он тут же ловил ее снова, они заключали друг друга в объятия, он умолял ее забыть о родителях и пойти назад — к нему. Так они поднялись до ее этажа. Еще обнимая его, она зазвенела ключами, и тотчас же навстречу ей изнутри квартиры стали открывать засовы, и Мелик должен был стыдливо укрыться на нижней площадке за поворотом и уже оттуда наблюдать, как, послав ему прощальный воздушный поцелуй, Таня проскользнула в дверь.

Он возвращался к себе пьяный по ночной опустелой Москве, смеялся, разговаривал сам с собой, вдыхая сквозь рассеивающийся городской чад летучие весенние запахи.

— Значит, врал Лев Владимирович! — торжествуя, вслух повторял он себе.— Говорил, что если смолоду с женщиной не переспишь, то и никогда уж с ней ничего не выйдет! Нет, врешь, Лев Владимирович! Плохо ты знаешь жизнь, плохо!.. Так,— сказал он немного погодя, намереваясь разом покончить с ними со всеми.— ...А что такое врал сумасшедший?.. Миллионщик, убили миллионщика... дочь... деньги в банке. Ну и что? Собачатина какая-то! Бред!.. А что ему нужно было от меня?.. Я, Таня, Лев Владимирович... Сынок, искал меня всю жизнь... Он не может жениться, я должен за него жениться!.. Стоп... стоп... А уж не думает ли он, что Таня — дочь миллионщика?! Ха-ха-ха! Вот это да! Танька — дочь миллионщика!.. Ба-а,— сообразил он,— да ведь это же в символическом смысле!..

Ему на мгновение показалось удивительным: мог ли этот обормот возвыситься до символики? — затем он вспомнил рассуждения старика насчет «Утренней звезды» и всего прочего и решил, что в этом больном сознании и Таня могла преобразиться черт знает во что. «Ну да! — обрадовался он.— Символика! Стихи о Прекрасной Даме. Прекрасная Дама — дочь миллионщика! Ура! А этот, значит, был следователем, и Гри-Гри напомнил ему кого-то, кого он в свое время шлепнул. Явился к нему как п р и з р а к. Ну да, ведь Гри-Гри прибыл сюда якобы разыскивать следы отца! А может, мстить за своего отца? Как Гамлет! Гри-Гри — Гамлет! Ха-ха-ха!!! А Лев Владимирович тогда кто же?» — Мелик остановился, не в силах сейчас сообразить, почему опять всплыл Лев Владимирович. Все мысли его перепутались совершенно, знакомые лица кружились пред ним и говорили ему что-то многозначительно, а он не мог сосредоточиться ни на одном из них, они тотчас же дробились и уплывали прочь, но он и не пытался удержать их, зная, что все равно они, п о с у т и, в его власти и что далеко они не уйдут, и лишь время от времени, чтобы попугать их, рывком ускорял шаг, делая вид, что гонится за ними, и тут же останавливался и хохотал сам над собой и над ними.

Так он добрался домой, к неописуемой радости своей обнаружив, что

Окончание. Начало см. «Октябрь», №№ 5—7 с. г.

бутылка водки еще почти совсем цела, сел за стол и отхлебнул немного, понимая это так, что вот теперь он наедине с самим собой празднует свою победу. Затем оглядел постель, улыбнувшись тому, сколько народу перебывало на ней сегодня (вернее, уже вчера), подумал, что не будет сегодня ложиться спать вообще — спать не хотелось, — и отпил еще. Ни с того ни с сего у него внезапно началась икота. Чтоб умерить ее, он прилег и тут же уснул.

Наутро он был опять весел и дико пьян, и все вертелось по-прежнему — Гри-Гри, Лев Владимирович, Таня, Вирхов, кто-то еще. Голова трещала. Он выпил водки, собираясь рассудить, что же ему надлежит делать. Почему-то снова казалось необходимо обзвонить всех и что-то выяснить. «Да, надо пойти ко Льву Владимировичу, — понял он через минуту. — Он единственный разумный человек во всей этой компании. Не напиваться ни в коем случае. В тот раз все получилось очень глупо. Надо поговорить с ним по-человечески. Все станет на место. Потом, может, он и впрямь в тяжелом положении? Надо помочь старику. Да, конечно, тот раз он был очень плох. Что-то с ним происходит».

Он вышел в коридор, набрал номер. Трубку взял сосед Льва Владимировича, шофер, злой спросонок (видно, было еще очень рано).

— Нету его, — сказал шофер.

— Как нету?!

— Так, нету. Я вернулся из рейса, а его нету. Уехал.

— Куда уехал?!

— Я почем знаю, куда. Нету, и все.

— Врешь ты все! Я же знаю, он там около тебя стоит, зови его, зови!

— Говорю тебе, нету! Поди проверь, если хочешь. Уехал.

— Куда?!

— Куда, куда, не велел сказывать куда, — сорвался шофер. — Уехал, книгу писать будет, чтоб всякая пьянь вроде тебя ему не мешала. Тоже приятель выискался! Он ученый человек, а ты пристаешь к нему попусту. За город поехал. В у е д и н е н и е. Особенно, говорит, е м у не говори. Понял?! Вот так.

— Ах, за город, — ошеломленный всем этим, сказал Мелик. — И чтоб мне не говорить! Вот оно что! Ты как, сам его отвозил?

— А хоть бы и сам, тебе-то что!

— Уж не в Покровское ли?! — отчаянно закричал Мелик.

По тому, как шофер принялся материться, ожесточенно, но с долей некоторой неуверенности, Мелик смекнул, что, пожалуй, попал в точку. Он послушал еще, выуживая из сумбурных шоферских восклицаний дополнительную информацию, и повесил трубку.

Через два часа он был в Покровском. От мостков через ручей он взял вправо, через лес, чтобы выйти на место распадком, вынырнуть перед самым домом, как можно долее оставаясь незамеченным. Голова была ясной, прозрачной. За всю дорогу он не сделал ни одного лишнего движения, не подумал ни о чем постороннем. Он вообще ни о чем не думал, не старался вообразить себе, как войдет и что скажет Льву Владимировичу, не старался предвидеть, как тот поведет себя, не старался понять, какую цель он преследует во всем этом, но чувствовал, что впервые в жизни так внутренне собран.

Лишь на самом краю ложбины что-то заставило его замедлить шаги. Он вскарабкался вверх по откосу и лег в весеннюю прель за кустом — рассмотреть, что творится в доме. Позиция, однако, была неудачной, густые ветви мешали наблюдению, а выползти подальше Мелик опасался, боясь быть обнаруженным и попасть в дурацкое положение. Колени его быстро промокли, но он уже не мог заставить себя подняться, начал зачем-то вспоминать, как хорошо бывало тут летом, повернулся на локте, вглядываясь в лес по ту сторону овражка, потом все-таки поборол свой страх, распрямился во весь рост и вышел из кустов на открытое место.

Дом стоял пуст, это было ясно с первого взгляда. Над трубой не вился утренний дымок, в той половине, в которой прежде жили ребята, ближайшие окна были забраны ставнями, на двери висел замок. Мелик бросился к калитке, ведшей на теткину половину, и, уже огибая клетушку, где когда-то держали кур, увидел, что выходившее сюда окно теткиной кухоньки заколочено досками. На двери и здесь красовался замок. Мелик все равно подергал старую кованую ручку, но убедился, что дверь зашита еще здоровенными гвоздями. Он обошел вокруг дома, окна с тыльной стороны были забиты тоже. Он приподнялся на цыпочки к щели между горбылинами, закрывающими окно в большой теткиной комнате, но толком ничего не разглядел; как будто все было по-прежнему, хотя у тетки и прежде-то было скудновато. Он несколько раз обошел вокруг дома, заглянул еще в другие окна, постоял на крыльце, присел на ступеньки; не просидев трех минут, опять встал и пошел к калитке еще раз посмотреть на дом со стороны. Тут он увидел отпечатки протекторов; был ли то грузовик соседа Льва Владимировича, он определить не сумел и в конце концов усомнился, свежие это следы или прошлогодние.

Дом был пуст. Мелик подумал, что теперь хочется, не хочется, а следует зайти в деревню к кому-нибудь из знакомых разузнать, в чем дело. Тетка в деревне почти ни с кем не общалась, но двух ее подружек он знал.

Он застал их обеих сразу: одна из них только что пришла ко второй в гости. Они кинулись на него чуть не с кулаками.

— Сукин сын! — заорала хозяйка. — Сволочь! Родную тетку выселил! Сперва жидов навел, житья не было, а теперь совсем дома лишить задумал?! Помереть спокойно не дашь! Мало она горя хлебнула?! У-у, сатана проклятая, вот уж истинно б... отродье, оно и есть!

Мелик оторопело стоял, согнувшись, в проеме. Вторая, видя меликову растерянность, смягчилась:

— Ладно, Шурка, он-то сам ни при чем остался. Уехала твоя тетка, уехала. К своим на Украину поехала. Поеду, говорит, навещу. Может, там и останусь. Здесь, говорит, все одно нет спокою.

— А что случилось-то? — недоумевал Мелик. — Почему так, вдруг?

— А это уж тебе лучше знать, — сызнова подхватилась хозяйка. — Твои дружки ее выжили, твои. Ты привел, ты подстроил. Сперва полдома, ну, ладно, говорит, продам, деньги сгодятся. А теперь что же это такое делается, люди добрые?! Весь дом, говорят, продавай, а то совсем выселим! Соглашайся, говорит, старая ведьма, пока квартиру даем, а то совсем ни хрена не получишь, в дом престарелых отправим. Беззащитную-то старуху! Ах, ты б...! Твою мать! Твоя рука, вижу!

— Да вы погодите, кто говорит-то?

— Кто да кто! Твой дружок. Ты привозил. Б... плешивого, старого козла вонючего! Ему уж на погост пора, а не по девкам шустрить! Ни стыда, ни совести. Да я-то вижу, вы все заодно!

— Так это все-таки Лев Владимирович? — прошептал Мелик.

— Нехорошо, милай, нехорошо, — сказала более разумная вторая. — Хоть и неродная она тебе тетка, а нехорошо. Померла бы, все тебе отошло бы, какой ни на есть, а все же дом. Его подлемонтировать, подлатать, глядишь, и хорошие бы деньги за него взял, а то сам бы стал жить. А теперь что получишь, шиш с маслом. Надо уметь себе пантнера выбирать, чтоб в дураках не оставили. Люди-то нынче вон какие лихие. В един миг оберут.

Мелик еще долго пытался добиться от них толку: что же реально произошло, кто конкретно вел переговоры с теткой, уже продала она дом или сбежала-таки, обманув шантажистов, — но достиг немногого: Лев Владимирович (если это действительно был он) будто бы плясал там, в доме, с девками нагишом, а коровье стадо, которое об эту пору перегоняли через деревню, собралось вокруг дома, привлеченное шумом и грохотом, и смотрело.

Он вновь вернулся к дому, походил по участку; неизвестно на что надеясь, заглянул в сараи, потом едва волоча ноги поплелся к станции. Состояние было такое, что ему казалось — он упадет, если хоть на секунду потеряет контроль над собою. В лесу у ручья он остановился, нашел пенек посуше и сел, подперев голову руками.

Ему вдруг отчетливо представилось, что в с е н а ч а л о с ь и м е н н о о т с ю д а, с этого самого места, у ручья.

Ему тогда только что исполнилось двенадцать лет. Шел второй год

войны. Мать умерла еще перед войною. Мелик жил вдвоем с отчимом. Отчим был человек неплохой, добрый, но одинокая их с Меликом жизнь не задалась. В финскую кампанию отчим на фронте отморозил ногу, отморозил несильно, так что через неделю забыл об этом и думать, но полтора года спустя, случайно где-то зацепивши ногой за пенек или порожек, обнаружил затем, что ушиб не проходит, нога болит все сильнее. Врачи определили спонтанную гангрену, в отличие от газовой — болезнь будто бы не такую уж страшную, помочь от которой должно было лечение целебными грязями да какими-то нехитрыми уколами. До войны отчим однажды съездил на эти самые грязи, но помогли они ему мало, он собирался поехать и на другой год, как началась война и, конечно, всякую надежду на грязи пришлось оставить. В армию отчима не взяли, он работал на станции десятником, работать ему было все труднее, он уже еле таскал свою забинтованную ногу с примотанным снизу тапочком. Чтоб вовремя поспеть на работу, ему надо было даже летом вставать затемно, дорога отнимала у него два часа. Последнее время он уже почти не приходил домой, оставался ночевать в каптерке на станции.

Стояла ранняя осень. Мелик отнес отчиму на станцию узелок — пайку хлеба и немного картошки с их участка — и здесь, на обратном пути, пониже мостков, остановился посмотреть, как ловят рыбу маленькие ребятишки. Похоже, ловили они ее не для себя — на том берегу сидел и ждал добычи соседский Витек, малый года на два постарше Мелика. Витек был известен в округе всем; незадолго до войны он сделался шпаной, его взяли вместе с бандой, орудовавшей на железной дороге. Никто не знал доподлинно, какие там у них были дела, рассказывали самое разное и страшное; точно было известно лишь, что старших расстреляли, а Витек по малолетству угодил в колонию. Этой зимою то ли с войной распустили колонию, то ли еще что-то, но Витек появился в деревне снова. В колонии он будто бы исправился, «перековался», возвратясь, поступил в «ремеслуху» при местных железнодорожных мастерских, которые в этом году стали именоваться уже «ремонтным заводом». На днях в очереди Мелик слышал, как мать Витька говорила бабам, что Витька ее на ремонтном «ценют» и что он получил «повышение» — стал учетчиком в токарном цеху.

Мелик перешел на тот берег, нерешительно поздоровался с Витьком, почтительно спросил, правда ли, что того сделали начальником.

— А как же, — сказал польщенный Витек. — Оказали доверие. Кругом одни пацаны, девки, бабы да калеки. Ты, говорят, парень смекалистый. Учитывай, говорят, кто как работает, кто не так делает, кто чего сказал. Поработаешь, рекомендацию дадим.

— Куда, в комсомол?!

— Я и в партию вступлю! Пойду в школу кремлевских курсантов.

— Здо̀рово! Военным будешь?

— Нет, я по этой линии после войны не пойду. Я буду секретарь райкома.

— Военным лучше.

— У нас партия главнее. У нас все партии подчиняются, понял? Секретарь райкома может кого хочешь в тюрьму посадить!

Они умолкли, увидя, как по дороге со станции к Покровскому через мостки торопятся-идут одетые по-городскому старушка и девочка. Девочка была примерно ровесница Мелику, красивая, полная, с толстой косой и вела старушку под руку.

Когда они скрылись в лесу на этом берегу, Витек сказал:

— А ведь это они к твоим пошли, на хутор.

Дом на отшибе близ оврага назывался тогда у деревенских хутором. Там жили тетка Мелика с материнской стороны, ее муж и недавно приехавшая к ним свояченица.

— Откуда ты знаешь, что к моим? — поразился Мелик.

— А это все знают. Лечится старуха, а девчонка ее водит. У ваших колдун живет эвакуированный, столовер. По ночам на луну молится. От любой болезни вылечить может. А захочет, нашлет на тебя болезнь, враз сыпью покроешься! В деревне потому и не говорят никому, боятся его. Эх, и влипнут они! За недоносительство знаешь что бывает! Твой-то отчим тоже ходит к нему. Тоже лечится. Потому и ногу не дает отрезать.

Доктора-то враз оттяпают! А старик ему пошепчет над ногой, ему и легче.

— Врешь!

— Я тебе, падло, дам врешь! Мне мать сказала, мать врать не будет!

Вечером, будто почуяв что-то, приковылял с работы отчим, и Мелик передал ему этот разговор. Отчим, перематывая грязные бинты на ноге, выругался:

— Брешут они все, ты их не слушай. Бабья брехня.

— Правда, там никто не живет?

— Я тебе точно говорю, — сказал отчим, подвязывая свою тапочку и со стоном подымаясь.

— А вы куда в такую темь собрались?

— Да так, надо, по делу тут... заглянуть... — не нашелся отчим. — Ты вот что, — остановился он уже в дверях, опершись на свою клюку. — Вот что. Если кто будет еще так говорить или спрашивать, отвечай, что, мол, приезжает иногда из Москвы родственник, а так, мол, постоянно никто не живет. Понял? Все, мол, враки, темные, мол, бабки брешут.

— Понял.

— Теперь вот что, — задумался отчим. — Меня в госпиталь кладут. Не знаю, сколько проваляюсь, не знаю, выйду ли. Ты один остаешься. Я тетке сказал, чтоб за тобой присматривала. Слушайся ее во всем. Слышишь?.. Как ты жить будешь, не знаю... Зарплату мою по бюллетеню она будет получать, паек, все такое прочее. Тебе будет часть отдавать на пропитание, кормить тебя будет. На станции я поговорил с кем надо, они тебя возьмут учеником, если захочешь. Но ты учись, это главное. Говорят, школа попозже опять откроется. От неграмотности все зло в жизни, все безбожие...

Охая и постанывая, он потащился во тьму по рытвинам и колдобинам.

Через месяц отчима не стало. На кладбище было много народу, деревенских и со станции. Тетка устроила немудреные поминки — в Покровском, а под вечер повела Мелика к себе.

Тут Мелик снова увидел тех самых старушку и девочку и еще нескольких незнакомых городских. Все стояли посреди комнаты и чего-то ждали. Затем наверху раздались шаги, заскрипела лестница и вошел человек в расшитой золотом до полу одежде. «Колдун!» — догадался Мелик.

Колдун стал быстро-быстро говорить что-то, чего Мелик разобрать совершенно не мог, хотя некоторые слова казались знакомы, потом запел, остальные тихонько подтягивали ему. В комнате было почти совсем темно, лишь в углу горела слабая керосиновая лампа да в другом две свечечки, приторно чем-то пахло, откуда-то — Мелик не видел откуда — подымался дымок. Вновь вступил хор, как будто все разом вздохнули. Мелику сделалось страшно. Он подумал о том, что, значит, Витек был прав: здесь творились нехорошие, запрещенные дела, и его, меликова, родня причастна к этому, и отчим, наверное, был причастен тоже. Мелик подумал: а что будет, если сейчас сюда войдут и заберут их всех и его вместе с ними? Только присутствие девочки немного помогало ему: при ней он должен был держаться и не выдавать своего испуга. Но как он ни заставлял себя, все же не мог стоять спокойно, поминутно прислушивался, стараясь различить за голосами певших то, что происходило снаружи, под окнами, и оборачивался к двери, ожидая, что она вот-вот откроется и кто-нибудь войдет. Городская старушка, стоявшая с ним рядом, тихонько обернулась к нему и шепнула, чтоб он стоял смирно и слушал.

— Стань поближе, — приказала шепотом старушка. — Слушай, что я тебе буду говорить. «Житейское море» сейчас будет, слушай меня.

Мелик был возмущен тем, что старуха распоряжается им и велит ему слушать их тайные песни, вообще тем, что тетка притащила его сюда. Со злорадством он сказал себе, что при отчиме-то она на это не решалась, а сам отчим, конечно, не бывал на этих сборищах, разве что лечил у колдуна ногу. Он вспомнил, что мать с теткой тоже скорей всего не очень-то ладили, вспомнил, как тетка однажды ругала его мать и как го-

ворила, когда мать уже лежала в гробу, установленном на двух табуретках, что это она, тетка, сама во всем виновата. Он ощутил уже не страх и не возмущение, а негодование. И опять мысль о девочке останавливала его; он видел лишь ее затылок, когда стоявшие меж ними кланялись колдуну, но чувствовал ее присутствие каждое мгновение, ему казалось, что она чувствует его присутствие тоже и украдкой смотрит на него.

Меж тем старуха, крепко взявши его за руку, запела ему в самое ухо:

— На кресте пригвождаем, мученические лики к Тебе собрал еси, подражающие страсть Твою блаже. Темже Тя молим: к Тебе преставльшагося ныне упокой. Неизреченнюю славою Твоею, егда придеши страшно судити миру всему, на облацех, благоволи избавительно светло стрести Тебе, его же от земли приял еси, верного раба твоего...

Теперь, по прошествии многих лет, ему мерещилось порою, что именно тогда, слушая старушку Леторослеву, он постиг смысл этих слов и слету запомнил их. Но вряд ли это было так: он помнил и то, как упрямо и злобно освобождался он от цепкой старухиной руки, так что в конце концов привлек к себе общее внимание, и тетка бесшумно прошла меж поющих и стала около него с другого боку.

— Еще молимся об упокоении души усопшего раба божия Василия,— пропел колдун,— и о еще простится ему всякому прегрешению вольному же и невольному-у-у...

Мелик еще раз попытался вырваться. «Или стой спокойно, или совсем уходи»,— сказала тетка.

— Боже духов и всякая плоти,— зашептала старушка,— смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру твоему даровавый, сам Господи, упокой душу усопшего раба твоего Василия в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отвеже болезнь, печаль и всякое воздыхание, всякое согрешение, содеянное им, словом, или делом, или помышлением...

Вдруг он с ужасом увидел, что все опускаются на колени, и старуха, и тетка, и девочка. Старуха тянула его к себе, вниз. Он уже не смел противиться. Стоять на коленях было неудобно, жестко, больно и, главное, унизительно. Старуха почти легла на пол и должна была отпустить его руку. Воспользовавшись этим, он поскорее встал, глядя на стройную девочкину спину. Он был недоволен, когда и остальные поднялись и опять загородили от него девочку.

Наконец колдун перестал бормотать и петь и заговорил по-человечески, снова не совсем понятно, но все же по-русски. Он говорил о том, какой хороший человек был отчим, это Мелик понял.

— ...Это была одна из тех встреч, когда в таинственных недрах беспредельности встретились около Него два дотоле незнакомых друг другу человека и стали родными. Иногда люди сами ищут встреч, добиваются их, повинуясь велению зародившегося чувства или с какою-либо определенной целью, но здесь все было, по-видимому, как говорится, случайно. Но эта случайность была необходима для обоих, чтобы друг через друга и не где-то даже около, а в себе самих увидеть этот дивный Лик, который уже никогда не забудется. Бывают такие минуты, когда чьи-то всевидящие очи с бесконечной лаской любви заглянут тебе в душу и все заулыбается им навстречу, засветятся самые темные бездны неразгаданного и смутного, смолкнут вихри земного и преисподнего, и все твое существо как-то разом войдет в область сверхвременного и неизмеримого, где все просто и ясно, где такой светлый и блаженный покой...

Слушая колдуна, Мелик вначале истолковал это так, что тот говорит о встрече отчима с его (Мелика) матерью, об их любви друг к другу. Ему было приятно, что тот так красиво говорит о них; он удивился: он и не знал, что у них была такая любовь. Лик, который никогда не забудется,— он догадался!— это могло быть сказано про него самого, хотя тут не все было ясно. На всякий случай, он даже улыбнулся, ища взгляда говорившего, но говоривший смотрел почему-то не на него, а на отчимова сослуживца, наладчика из мастерских, квартировавшего тут же, в Покровском, и все остальные тоже поглядывали в ту сторону. Мелик знал о нем только то, что они с отчимом иногда пили водку и что у мастера была «бронь». Он заподозрил, что все-таки ошибся, речь шла не о нем,

Мелике. Уязвленный, он стал вслушиваться, все меньше соображая, однако, о чем же рассказывает колдун.

— ...Дни, проведенные с ним,— говорил тот,— принесли нам всем столько светлой радости, что тесное и скорбное, более удручающее тело, чем душу, только ярче оттенило и углубило ее живительную силу, укрепляющую веру и дающую уразуметь и ощутить радость Креста. Слава и благодарение Господу. Вы правы, когда говорите, что смысл жизни в несении всего посланного нам... Когда близко придвигаются устрашающие душу испытания, мы должны молиться так, как молился Он в Гефсимании, склоняясь под Его высокую и всегда милостивую волю...

Потом опять были поминки, но Мелик почти ничего не ел, кусок не лез ему в горло, он смотрел лишь на колдуна, который был теперь в обыкновенной косоворотке, и на девочку. Тетка сказала: «Ну, дети, пойдите поиграйте во дворе, погуляйте». Девочка, скромно потупясь, тут же послушно встала, Мелик сам не свой от смущения вышел за нею.

Во дворе они сели на крылечко. Мелик не знал, что сказать ей. Она молчала, загадочно улыбаясь.

— А тебе сколько лет? — решился Мелик.

— Четырнадцать. А тебе?

— Мне тоже, в аккурат,— соврал он.— А ты что же, значит, с ними?

— С кем «с ними»?

— Ну, с этими,— показал он.— С колдуном!

— С каким колдуном?!

— Ну, с этим, ...в золоте.

— Боже мой, Боже мой!— запищала она, делая вид, будто давится от смеха.— Какой же он колдун? Что ты говоришь? Он же священник, свя-щенник!

Он был растерян:

— Какой же священник? Поп, что ли? Их ведь давно нет, в религию одни старухи верят. Поп — это в церкви, а у нас и церкви нигде нет. Вон в Покровском одни стены остались. До войны все взорвать хотели, магазин строить, да не успели.

Она посерьезнела, нахмурила брови.

— Ты ничего, ничего не понимаешь! Так нельзя. И запомни прежде всего, что Церковь не вне нас, а внутри нас. И вообще сейчас монашеский подвиг как бы слился с миром, то есть мирской подвиг все более приобретает черты аскетизма и строгости.

Он захлопал глазами:

— Ты что же, и в Бога веруешь?

— Конечно!— горячо сказала она.— А про колдунов глупостей не смей повторять! Он святой человек!

— Как это святой?

— Так. Он с Богом говорит. На нем греха нет.

— Чего?

— Не понимаешь? Греха нет, это значит, что он живет по Заветам Христовым, праведно.

— Как же это — правильно?!— внезапно нашел он в себе силы к бунту.— Сейчас война! Отечество в опасности! А он на чердаке сидит! Все работают, воюют... Значит, он дезертир, а не святой!

— А ты работаешь?

— Я?! Я вон всю зиму за больным ухаживал. Весь дом на мне был. За дровами, за водой. Сготовить, перевязку сделать, все я! За хлебом с ночи постой-ка! А вы тут песни поете! Что, помогли отчиму ваши песни? Эх, вот взять бы да сказать про вас кому следует! Тогда узнаете!

— Ты предатель!— крикнула она, вскакивая.

— Это не предательство, а долг каждого гражданина! А за недоносительство знаешь что бывает!

Со слезами она кинулась в дом. Он не ожидал, что все так получится, как дурак, потоптался на крыльце, плюнул и пошел туда же.

По лицам сидевших за столом он догадался, что она, безусловно, все им рассказала, но никто из них не попрекал его. Неприкаянно он слонялся по дому. Они старались не смотреть на него. Тихо выйдя в сени,

он услыхал, как на лестнице священник говорит тетке: «Ничего, ничего, не надо торопиться. Нехорошо, конечно, что упустили мальчонку, оставили его одного, ему трудно одному. У Василия Гавриловича сил-то уж недоставало на это...» Тетка подхватила: «Вот-вот, у него-то уж сил не было, а сестра-то моя, покойница, ведь не подпускала меня к нему. «Дурман все это!» — кричала, все иконы в печке сожгла, окрестить не дала. Тоже ведь больная была. Как уж я ее увещевала...» «Обидно, обидно, — согласился священник. — Будем молиться за него...»

Той осенью и зимой он проводил у тетки чуть ли не все дни и всякий раз виделся с отцом Иваном, который взялся наверстывать с ним упущенное по школьной программе, школы в ближайшей округе все еще были закрыты. Они занимались арифметикой, русским языком, писали диктанты; отец Иван рассказывал то, что сам помнил, из русской истории, подходящей книги все никак не могли достать, учили они и немецкий, но не слишком прилежно, не хватало времени, много было забыто первоочередного. Зато, чтобы сделать отцу Ивану приятное, Мелик учил наизусть молитвы, пробовал читать Евангелие, расспрашивал про Иисуса Христа, Богоматерь, про жизнь святых. С Таней он тоже виделся теперь часто, она приезжала с бабушкой почти каждую неделю и иногда даже вела какой-нибудь урок вместо отца Ивана.

В марте месяце он был крещен. Дело было утром, а к обеду понаехало из города много народу, и настроение у Мелика испортилось. Прежние страхи ожили в нем, он подумал: вот, он теперь в л е з в это дело, а вдруг все, что говорят про религию, — правда?! Что это «отжившая форма», а нынче «эпоха разума»! Ведь Бог действительно не помогает. Разве помог он отчиму? Или самому отцу Ивану? Или кому-нибудь еще?..

После обеда они отправились с Таней гулять. Он был мрачен, хотя ему и хотелось побыть с ней вдвоем. Они медленно брели вдоль опушки леса. Слева за заснеженным бугром виднелись крыши Покровского, остов колокольни. Мелик сказал:

— А как же говорят: «Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Прейди!» — он показал на бугор, — то гора прейдет». Чего же она не преходит? Есть ли такие люди, от веры которых она прейдет? Мы что-то не больно много видим вокруг таких, которые двигают горами!

— Нет, нет, ты не прав! — горячо воскликнула она. — Я знаю, есть люди, которые двигают горами!

— Да?!

— Да. Вот, например, отец Иван. Это человек, который может двигать горами. Его жизнь — чудо, настоящее чудо! И таких много, очень много!

— Вот как? Где же он движет горами? Я не понимаю. Он живет как в норе. Прячется от людей, и все, кто вместе с ним... прячутся и боятся. Он, как крот, скоро ослепнет.

— Он отшельник! — закричала она. — Отшельники всегда жили в пещерах!

— Никакой он не отшельник! Он сам говорил, что ему это не нужно. Я слышал. Что это только так случилось, а он не хотел этого. Такая жизнь не по нем, она мучит его.

— Нет, ты не понимаешь, потому что ты заражен этим миром, погружен в этот мир. Ты — этого мира!

— А ты понимаешь?!

— Я — да!

— А-а, ты, значит, «не от мира сего»? — язвительно запел он. — Тогда почему же все эти платьица? И... и потом... — он не знал, как уколоть ее посильнее, — ты клала мою руку себе на груды!

— Я не помню этого!

— Не помнишь?! Ты врешь!.. И ты живешь обеспеченно, у тебя все есть!!

— У меня все есть?! — Глаза ее наполнились слезами.

Ему стало жалко ее, он испугался, что она сейчас убежит. Он схватил ее за руку, остановил, погладил ватное плечо ее шубейки.

— Я не люблю тебя такого, — сказала она. — Ты должен быть скромным. Ты должен не поддаваться соблазнам этого мира.

Он все не отпускал ее плеча...

— Смотри, как красиво кругом, — сказала она, наконец высвобождаясь. — А ты чуть было все не испортил.

— Вот видишь, — обрадовался он, — а ты говорила: «Мир сей во зле лежит».

— Ах, ты опять ничего не понял! — рассердилась она. — Это Божий мир, его надо любить. Но он может стать для тебя миром дьявольским, если ты не будешь видеть красоту его как Божьего мира.

— Так вот я и хотел сказать, что, может быть, Бог и наказывает отца Ивана за то, что он лишил себя этой красоты. Он же не видит всего этого!

— Нет, он видит!

— Как же он видит, когда выходит только по ночам?

— Ты совсем-совсем ничего не понял! Можно даже не видеть эту красоту глазами, но нужно всегда видеть ее внутренним взором. Нужно носить это прекрасное в себе, жить им.

— Да разве отец Иван живет прекрасным?

— Да, да!

— Нет, неправда, он мучается и страдает. Он сам говорил. Я слышал.

— Он мучается и страдает, но во имя Христа. И он радуется этому. Христиане всегда страдали, всегда были мучениками, но добровольно шли на это. И радостно принимали мучения. Об этом написано. Ты мог бы прочесть это и сам.

— Да разве отец Иван радуется, разве он хочет этого? — упорствовал Мелик. — Давай, если не веришь, пойдем и спросим. Я спрашивал. Он сказал, что нет. Ему кажется иногда, что он сходит с ума.

— Ну и что же! Неужели ты не знаешь, что это священное безумие? Это безумие перед Господом. Нас всегда считали безумцами, сумасшедшими, во все времена.

— Разве ты сумасшедшая?

— Да, я близка к безумию. Ты не знаешь, а у меня иногда бывают видения. Мне чудится вдруг, что я сказочно богата. И я вижу своего отца, которого я никогда не видела даже на фотографии. И я рядом с ним в белом платье. А потом я просыпаюсь и понимаю, что это дьявол приходит искушать меня.

В лесу хрустнул сучок, осыпался снег с ветвей ели, порхнула птица. Мелик вздрогнул: ему показалось, что в лесу кто-то есть, кто-то смотрит на них из кустов. Последнее время ему вообще часто мерещилось, что кто-то смотрит на него из кустов или неслышно пробирается параллельно ему лесом. Но у него ни разу не хватило духу пойти и проверить: округа была полна слухами о вновь появившихся бандах дезертиров и уголовников. Сейчас он испугался, конечно, больше всего не за себя, а за Таню. Она, видно, тоже что-то почувствовала, его страх передался ей. Не произнесши ни слова, они согласно повернули назад, пошли быстрее, потом побежали сколько было сил, в отчаянии не соображая, есть на самом деле за ними погоня или нет.

К вечеру он пошел провожать гостей на станцию. Идти со всеми было весело и покойно, но, когда, посадив их в поезд, он остался один, давешние страхи поднялись в нем снова. Он опять почти побежал. Стук сапог по промерзлой дороге, свое же хриплое дыхание, грохот леса, метавшегося под ветром, — все смешалось в его голове; черная тень по-волчьи заскользила следом, шагах в двадцати от тропы, сначала будто бы справа, затем слева. Мелик уже боялся оглядываться, смотрел только под ноги, чтоб не упасть, и вперед, надеясь нагнать или встретить кого-нибудь из Покровского. В сгустившейся мгле он скоро увидел, что впереди, и точно, маячит чья-то фигура, он не мог только различить, к нему или от него она движется. У самой развилки, за мостками, он нагнал этого человека, который, впрочем, просто стоял и никуда не двигался: верно, ждал кого-то или просто остановился посмотреть, кто это так торопится за

ним следом. Собравши все свое мужество, потому что это мог быть кто-нибудь вовсе не из Покровского, Мелик сделал несколько робких шагов. Тот равнодушно обернулся к нему. Это был Витек.

— А, это ты,— сказал Витек.— Ну а эту-то ты е...шь? — спросил он так, словно они лишь на минуту прервали начатый разговор.

Мелик затрепетал, хотел как-нибудь резко оборвать его, но не осмелился.

— А отчим-то твой помер,—так же ровно продолжал Витек.

— Он в госпитале помер,— сказал Мелик, радуясь, что тема сменилась.— Врачам что, давай, режь! Врачи сейчас знаешь какие. Да и работать им трудно, больные, раненые.

— Что ж он к врачам-то пошел?—усмехнулся Витек.—Не помог колдун, значит.

— Он не колдун,—не утерпел Мелик.—Колдунов нет. Бабьи сплетни все это.

— А кто же он?

— Кто о н?

— Да ты не виляй, падло! Что ты как б...!

— Иди-и, иди,—решился Мелик, подражая старшим.—Нашелся тоже. Падлом обзываешься. Сам падло!

— Чьто-о?!—затянул тот, приседая.—Я тебя зарежу, б..., падло, сука рваная!

Мелик попятился, чтоб бежать, но не успел. Ноги его разъехались на обледенелой тропке, и в тот же миг от резкого удара искры посыпались у него из глаз, он упал навзничь, хлопнувшись затылком о лед, шапка отлетела куда-то в сторону. Витек ударил еще дважды или трижды ногой—один раз попал в лицо, потом сам потерял равновесие, зашатался и соскочил в снег пониже тропы.

Рыдая, Мелик поднялся. Кровь лила у него из носу ручьем, так сильно, как не лила никогда. Витек, став к ветру спиной, раскурил сигарету.

— Пускай тебе твой колдун тоже поможет.

Сквозь слезы и кровь Мелик крикнул:

— Он милосердию учит! Тебе этого никогда не понять!

— Ах ты, су-ука!—заорал тот.—И и с у с и к!

Зажимая нос рукой, Мелик бросился бежать. Тот затопал за ним, но больше для вида.

Утром тетка послала его на станцию за керосином. Мелик не смел отказаться, потому что не смел рассказать правды насчет вчерашнего. Его колотила дрожь, он сам теперь крался по лесу, боясь выйти на дорогу, и ревел от стыда и обиды. Несколько раз он останавливался и, чтобы скрыть следы слез, тер себе лицо зернистым весенним снегом. Слезы тут же текли снова. Он хотел перейти ручей по льду, минуя мостки, но ручей уже взбух, лед не держал, Мелик мгновенно провалился по колено в воду и, цепляясь за кусты, на карачках стал поспешно выбираться обратно.

Уже на тропе, распрямляясь, он поднял глаза: к нему шел незнакомый человек в армейской шапке-ушанке со снятой звездой, в офицерских хромовых сапогах и штатском пальто. Мелик посторонился, чтобы они могли разойтись на узкой тропинке. Незнакомец сделал еще шаг, и сразу же Мелик увидел, что за спиной того торчит Витек. Мелик рванулся назад. Там появился еще один, и Мелик издали узнал его. На «ремонтном» новый цех строили этой зимой заключенные. Строительство было обнесено колючей проволокой, по углам стояли вышки, упираясь ногами в чьи-то огороды, у въезда был самодельный шлагбаум с привязанными кирпичами и будка. Мелик, как и многие здешние ребята, иногда сиживал возле этой будки, беседуя со скучавшими охранниками, любуясь оружием, наблюдая несложный распорядок маленькой вахты. Начальник в чине капитана как-то увидел Мелика с ребятами на бревнах у шлагбаума и, передавая свой револьвер часовому (они всегда так делали, чтобы в зоне на них не напали и не отняли оружия), мимоходом сказал: «Гоняйте ребят. Не́чего!» На том посиделки прекратились.

Сейчас этот капитан, тоже в штатском, шел вдоль ручья со стороны хутора. Мелик бросился к нему:

— Товарищ капитан!!!

Кажется, он прибавил: «Помогите!»

— Тихо, тихо, мальчик,—сказал капитан, беря его за руку повыше кисти.

Мелик видел: так однажды на станции милиционер вел вора. Незнакомец подошел сзади, ощупал полы меликова пальто, заглянул в бидон, постуча по донышку, понюхал и выбросил бидон в снег.

В Москву они ехали поездом. Мелик уже не плакал, только дрожал, скорчившись между капитаном и незнакомцем. Витек сидел напротив, бдительно и гордо щурясь.

XXX. Вечное возвращение

Сжавшись, совсем как тогда, в комочек, дрожа, он возвращался в Москву. Сердце было сдавлено невыносимой тоской и тревогой, до боли. Ему казалось, он вот-вот закричит, упадет, забьется в припадке, распугивая соседей по вагону, и тогда его снимут с поезда на промежуточной станции, и он будет валяться в местной поселковой больнице, когда он должен быть там, в Москве, чтобы действовать, чтобы бороться! Нет, он умрет, он умрет в этой сырой и холодной больнице, сердце его разорвется, он умрет один, без друзей, без... причастия, как умер отчим. Он закрывал глаза, делая вид, что спит,—соседи уже приглядывались к нему,—и думал: отчего, отчего такая тоска, что случилось, что случилось такого страшного?

«Это из-за ахинеи с домом, которую затеял мерзавец Лев Владимирович,—думал он.—Когда я привел ребят в этот дом, я хотел, чтобы дом жил по-прежнему, духом, чтобы не прерывалась та ниточка, та т р а д и ц и я. Я надеялся на них. Ладно, у них ничего не вышло. Сорвалось. Они оказались слабы. Не выдержали. Но когда они там (когда мы все вместе там—поправился он) устраивали пьянки, я смотрел на это сквозь пальцы. Это было нехорошо, но все-таки это было общение, за этим был порыв к духовному, поиск, метания. Несмотря ни на что, мы стремились к высокому. Несмотря на все тяготы жизни. Да, да, мы чувствовали, что монашеский подвиг сливается теперь с миром... Мы были слабы, но мы жили надеждой и верой... Но сейчас то, что выкинул Левка,—нет, это невозможно! Выселять несчастную старуху, покупать дом, чтобы устраивать там бардаки?! Нет, нет!..

А что, собственно, произошло?—попытался усмирить он себя, рассеянно глядя на мелькавшие за окном подмосковные склады, вагонные депо, покосившиеся заборы, хибарки железнодорожных служб и огороды в полосе отчуждения.—Что, осквернили храм? Но не такой уж это был храм. Сколько настоящих храмов осквернено! А здесь жили тетка с дядькой, эта тетка—свояченица. Какой уж тут храм... Да, случилось вот что. Я вспомнил о другом—о т о м, о капитане, о Витьке́, вот в чем дело. Но ведь этого я никогда не забывал. И это... и все, что началось позже... как я вел себя... как рассказывал им,—это всегда со мною. Да, я сказал им все. Не сказал только про Таню и бабушку. Наглухо, ничего. Я, впрочем, тогда и не знал о них ничего, даже их фамилий. Но это меня не оправдывает, конечно. Я знаю, что грешен. Я всею жизнью моей отмаливаю этот грех... Так что же случилось? Ничего. Так, минутное настроение. Пустые хлопоты...»

Но жуткая тоска не отпускала его. Лишь на перроне, когда он проталкивался, хлюпая по грязи, в вокзальной толпе, блеснул луч надежды.

«Таня!—с нежностью прошептал он.—В ней одной спасение... Женюсь. Дом, новый дом. Дети. Не быть одному—это главное. Дети учат нас смирению и любви. Все несчастья мои оттого, что у меня нет детей. У всех есть, а у меня нет. От этого всегдашнее унижение. Почему ни у одной бабы от меня не было детей? Я сам не хотел, вот почему. А теперь хочу. Пусть родит. Буду отцом семейства. Буду воспитывать их. А потом уйду в монастырь. Я им буду уже не нужен. Уеду по еврейской линии в Израиль, оттуда во Францию и там в монастырь, католический. Тот же Гри-Гри поможет...»

Он стал прикидывать, через сколько же лет это будет, через пятнадцать, через двадцать, сбился с мысли, сказал себе, что загадывать, что

будет тогда, еще рано, и тут вспомнил, что и с самим Гри-Гри еще далеко не все ясно.

«Странная история! — воскликнул он.— И этот псих еще на мою голову! Таня — дочь миллионщика! Надо же сплести такое! Откуда вообще все это могло взяться? Он лежал в клинике с Натальей Михайловной, да. Там, видимо, пошли какие-то слухи. Бывшая графиня, ее история... Три карты, три карты, три карты! Где это я слышал недавно? Ага, у Левки!.. Господи Боже мой, а вдруг, а если... это правда?!!»

Он был уже у себя дома и, сидя в пальто у стола, уронив голову на свои бумаги, все повторял: «А если это правда? А если это правда?» Перед ним всплыло вдруг Танино: «Мне чудится, что я сказочно богата. И я вижу своего отца, которого я никогда не видела, даже на фотографии. И я рядом с ним в белом платье...»

«Если бы это было правдой, то как все стало бы просто! — еще не вполне уверенно произнес он, но тут же ободрил себя: — Да, стало бы просто. Мы настолько нищи, что и впрямь готовы тешить себя иллюзией, что деньги не имеют для нас никакого значения. И они действительно не имеют для нас никакого значения, потому что у нас их нет! Ах, даже не понимаем, что есть такая форма жизни. Это не значит, что мы бессребреники, нет, однако мы ставим на что угодно, но только не на деньги. А все так просто. И те, кто понимает это, те, разумеется, денег из рук не выпускают!..

...А ведь э т о может быть правдой! — сказал он еще через минуту.— Может! Тогда все странности их семейства легко объяснились бы. Они все сумасшедшие — это Лев Владимирович сказал правильно. Но почему? Вот вопрос! Та же Наталья Михайловна, например, такая ровная, благовоспитанная дама, столько повидала на своем веку. С чего бы, спрашивается, ей на старости лет спятить и, как заурядной истеричке, пытаться покончить с собой? Если это правда, то тогда все понятно. Она знает о деньгах тоже, она юрист, более того, нити у нее в руках! Это ясно. Оттого и сошла с ума. Когда стали в ы п у с к а т ь, дверца открылась, она и заволновалась. Наконец-то можно выехать! И сразу — бац! С катушек! Всю жизнь крепилась, а теперь не выдержала. Сдали нервы. Крушение в момент успеха. У Фрейда есть об этом статейка. Как леди Макбет. В последний момент все ломается. Кажется, что теперь-то уж все в порядке, ан психика-то и отказывает. Провал! Я уж не говорю о матушке, о Катерине Михайловне. Ей давно место в психушке. А сама Татьяна, прости Господи! А Сергей Леторослев? Здоров как бык, на нем пахать можно, и папаша, судя по фотографиям, был такой же, а что в результате? Людоеда людоед помнил с юношеских лет, так, что ли? Великий талант, нигде проработать больше трех месяцев не может. Как же мне раньше не приходило в голову, что за всем этим что-то есть?!!»

Он оторвал голову от стола, кинул пальто на кровать и стал думать д а л ь ш е.

«Лев Владимирович, — раскладывал он дальше словно пасьянс.— Этот, конечно, все время что-то чувствовал, а сейчас явно ситуация сгустилась. Потому и занервничал. Но как точно сумасшедший меня вывел на него. Почему же я не мог сопоставить все факты прежде?! И Таня, Таня какова! Всю жизнь носить это в себе, таить, ни разу никому не обмолвиться ни полсловом. Нет, Льву Владимировичу-то она, безусловно, намекала, но, умница, не сказала всего! Кстати, откуда у него деньги?!

...Погоди, — прервал он себя.— Так нельзя. Я говорю об этом уже как о чем-то решенном. А на самом деле? Вдруг ничего нет?! Надо спросить у н е е. Теперь-то... — и он мысленно подчеркнул это т е п е р ь-т о, — теперь-то я вправе. Сказать, что хочу жениться, и спросить. Слушай-ка, а что там такое? — изобразил он.— Нет, так нельзя. Может испугаться. Это слишком глубоко было запрятано. Еще вообразит, что собираюсь жениться из-за денег. Все сорвется. Да, можно себе представить ее реакцию. Нет, с ней надо осторожней, максимально осторожно...»

Он заволновался, чувствуя, что приближается к решающей точке, и вскочил, ощутив при этом неслыханную слабость в ногах и едва ли не во всем теле.

«Надо проверить, — от внезапной слабости он не мог даже выпрямиться в полный рост и ковылял по комнате.— А как проверишь? Спросить нельзя, она уйдет. Она-то ведь бессребреница.— Он язвительно усмехнулся.— Надо подловить ее на чем-нибудь. Надо исподволь. А на чем подловишь? Проще всего, конечно, было бы на... м и л о с е р д и и. Вот-вот! Это уж как пить дать. На благотворительности! Это без осечки. Сказать, что кому-то очень нужны деньги, и немалые. Кому-то бедненькому, несчастненькому. Да, да, кого-то нужно пожалеть. Да, но кому бедненькому и несчастненькому могут понадобиться такие деньги? Ну, положим, не два миллиона, а хотя бы несколько десятков тысяч. Не на кооператив же и не на дачу они ему должны понадобиться. Ерунда какая-то. Нет ли у тебя тысячи долларов несчастному? Ерунда... Нет, не ерунда... — Он замер, пригнувшись, как перед прыжком.— Предположим... да, предположим, что кто-то попал в нехорошую историю... скажем, сидит в тюрьме... или ждет суда... Да, да, именно так, ждет суда... И нужны деньги, дать кому-то на лапу, дать взятку, нет, купить с потрохами весь суд. Это, очевидно, должен быть кто-то невинно пострадавший, не уголовник, нет, а какой-нибудь, допустим, диссидент или кто-нибудь из наших, церковных. Да, но кто? Сидит полно̀ и тех и других, на кого-то, я помню, скидывались, давала и она, но не больше, чем все, так — копейки. Основной к а п и т а л не трогала! Так как же тогда? — Он надолго задумался. Неясная идея брезжила в его уме.— А что если, — задал он вопрос самому себе, — что если сказать ей, что это я влип в нехорошую историю, что это м н е грозит суд, что м н е нужны деньги? Это уже лучше, лучше! Но, с другой стороны, она легко может проверить, начнет бегать по знакомым, куковать, что мне нужно помочь, что я в страшной опасности, а все будут лишь таращить глаза и говорить, что первый раз об этом слышат и что скорей всего я сам все это выдумал. Не дай Бог еще скажет, что мне требуются деньги. Вот уж тогда начнется! Уж тогда косточки мне перемоют!..

Нет, выдумывать нельзя, нужно сесть по-настоящему, — понял он.— Я должен сесть по-настоящему и, перед тем как меня возьмут, успеть сказать ей, что мне нужна помощь... Так? Так. Но как сесть? Вот в чем вопрос. Хотя сесть еще как-то можно, можно выкинуть что-нибудь эдакое... В этом случае, однако, меня могут взять прежде, чем я успею договориться с ней. Стало быть, операцию нужно готовить тщательней и вообще... лучше, если это буду не я, а кто-то другой, — быстро сказал он, — чтобы мне не выпускать события из-под контроля. Да! Пусть это будет кто-то из близких, тот же Леторослев, например. Вот! Это хорошая к а н д и д а т у р а! А подловить его на нарушении режима секретности, верно? С его секретными тетрадочками да секретными разработочками. У него наверняка дома этого барахла довольно. С прежних своих работ, я думаю, он натащил немало. Какие-нибудь инструкции, копии докладных записок, «для служебного пользования» что-нибудь. Это правильно. Его возьмут, потом, конечно, выпустят, но пока разберутся, пока назначат экспертизу, пока то да се. Татьяна перепугается так, что не открыться уже не сможет. Скажу, что знаю человека, которому следует дать некоторую сумму, и все будет в порядке. Это у меня будет «киднаппинг». Плохо только, что блеф может обнаружиться чересчур скоро, я еще не успею ничего добиться. У них ведь там тоже свое начальство, могут не поверить. Надо припутать сюда еще кого-нибудь. Чтоб было р е а л ь н е й. Хорошо бы ввести политический аспект. Чтоб была «амальгама»[1]. Верно, верно! Того же Вирхова сюда с его романом, Хазина, еще парочку б л и з к и х...»

— Боже мой, Боже мой! — закричал он, валясь на колени и хватаясь за голову.— Что я говорю?!! Что я говорю?!! Я сошел с ума! Я сошел с ума! Что мне делать?! Изыди, сатана! Господи! Спаси и помилуй по великой милости Твоей.— Он трижды перекрестился и припал лбом к полу, шепча благоговейно слова псалма: — ...и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих... Се бо в беззаконии зачат есть, и во гресех роди мя мати моя...

[1] Во времена Французской революции «амальгамой» назывался сфабрикованный судебный процесс, в котором к политическому делу обвинение припутывало спекулянтов, бандитов и проч.

Он дочитал почти до конца, сбившись лишь несколько раз, но почувствовал, что бешеное волнение внутри не улеглось, на коленях дополз до стола, под грудой бумаг нащупал старый Требник и открыл на «Молебном последовании о избавлении от духов нечистых».

«Божественное же, и святое, и великое, и страшное, и нестерпимое наименование и призывание, — начал читать он молитву, которая всегда изумляла его, — творим на твое прогнание отступниче, такожде и на твое погубление диаволе. Бог Святый, безначальный, страшный, невидимый существом, неприкладный силою и непостижимый божеством, Царь славы и Вседержитель Владыка, запрещает тебе диаволе, от несущих, во еже быти вся благолепно словом составимый, ходяй на крилу ветренню. Запрещает тебе Господь, диаволе, призываяй воду морскую и изливай сию на лице земли, Господь сил имя ему. Запрещает тебе Господь, диаволе, от бесчисленных небесных чинов огненных...»

Вдруг он кожей ощутил, что за спиной кто-то есть. «Не ушел, не помогла молитва!» — Он в ужасе обернулся. Но это был всего лишь сосед-слесарь, вдребезину пьяный, который незнамо как успел пропереться уже до середины комнаты и теперь качался рядом, взирая в тупом удивлении на коленопреклоненного хозяина.

— Вчера я тебя угостил, сегодня ты меня угостить должо̀н! — едва выговорил слесарь. — Отблагодарить должо̀н! Как я тебе есть кореш, др-р-руг! Весь день сегодня, весь день! Я рабочий человек, я отдыхать должо̀н! А я весь день, весь день!..

Мелик, обмякнув, обессилев, не поднялся, а только сел на полу, прислонясь к кровати, и покорно показал на стол, где стояла початая бутылка водки.

— Что весь день? — глухо спросил он.

— Что?! — поразился сосед, дрожащими руками наливая себе в чашку. — Телефон оборвали! Трык, к ...й матери! Я грю: нету его, нету! Е... вашу мать! Давай в дверь долбить! Сюда его! Врешь! Я грю: нету! Нет, обратно давай! Прибежал, прыг, прыг, чисто бегемот! Я грю: нету! Нету яво, твою мать! Он грит: канал с шу́мами! Я грю: завтра! Завтра! Сегодня занят! Завтра приходи, а щас не прыгай! Приходи, ставь бутыль, все сделаем, прокладку поставим, засорил — прочистим. Понл? А сегодня нету яво, и я не пойду! Вот так. Хужей всех это крышка от консервов, проволокой тычь — не тычь, не достанешь. А я руку засуну, мне г... — не г..., р-раз, и готово!

«Это был Леторослев», — сообразил Мелик.

— А еще кто-нибудь приходил? — с замиранием в голосе спросил он.

— А я про что?! — оскорбился слесарь. — Грю тебе: телефон оборвали, замок спортили... Ну, эту-то я сам пустил... — Он расплылся в похабной улыбке. — Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Звоночек — динь-динь-динь. Она! Это я, значит, думаю. Х-х-хе! Точно! Глазки опустила, Валерия Лександрыча, грит, нельзя ли видеть? От, ети иху мать, бабы! — в восторге он хлопнул себя по ляжками. — Слышь, а эту-то ты е...шь? А?! Точно, вижу, вижу!!!

— Так что она? — по-прежнему с пола, в ознобной слабости, откинувшись головою на свою койку, еле разжав губы, поинтересовался Мелик.

— Нет, грю, не-ту. Резервуар, парле-франце! — Подражая Тане, он попробовал поклониться и рухнул на закачавшийся и загремевший шкаф. — Я, грю, заместо яво сегодня! — продолжал он, подымаясь. — Хе-хе-хе. Не, не захотела. Ну, правильно, чего ей... Ушла. Проводил, все, клянусь честью! Замок поправил... Х-х-х... як. Кто-о-о?! Нету яво!.. А, Лева, дрогой, заходи! Сколько лет, сколько зим. Извиняюсь, Лев Владимыч, етит твою мать! Давай, у мня портвей, огнетушитель. Взяли, Васька не допил... Е... твою мать, куда?! Куда-а-а?! — горестно завыл он, показывая, в какое положение поставил его уход Льва Владимировича.

— Дальше, — глухо потребовал Мелик.

— Ой-ой-ой, — схватился за голову сосед. — О-о-о-о-о... Сижу, портвей добрал, Клавдия грит: дверь, грит, настежь, а там, грит, иностранец, немец, грит, истинный немец. Шпион! И с ним второй, етот твой, краса́вец!

— Вирхов?

— Он, он! И так и чешет, так и чешет! Нет, грю, выпить нечего. Уходи! Затоптались, ушли, е... на мать. По лесенке шлеп-шлеп в ботиночках, а лифт вж-ж-жик! Ну, эту уж я знаю, — расцвел он. — Оленька, заходи, заходи, сичас рюмочку, для тебя завсегда есть. Давай, милая, ты не смотри, что я маленький, я сам тут у одной в ванне ремонт делал... Мал, да удал! Верно?! А она села так на край ванны в халате, распахнула, что, грит, не ндравлюсь я тебе? А я грю: отчего же, мол, давай... Ну, она ето... бутылку поставила, закусочку, селедочку там... все такое... А сама баба видная, жирная. Я, конечно, все сделал, она грит: ну, спасибо тебе, пощекотал, и на том спасибо... Вот так...

В этот момент Мелик заметил, что они обретаются уже в комнате соседа. Мелик твердо знал, что не пил, но не понимал, как очутился здесь. Он и здесь лежал на полу, только теперь на ковре, потому что в комнате всюду были ковры; со стен смотрели на него покупные выжженные по дереву березки, грузинская чеканка, приколотые веером портреты киноактеров и большие свадебные фотографии хозяев. Слесарь тоже лежал, но развалясь на кровати, поперек белого пикейного одеяла, разорив горку подушек.

— ...Опосля эти два. — Кривляясь, вихляя плечами, он стал передразнивать светского юношу и с ним молодого человека с бороденкой. Опосля, б... Папочка, папочка... Нет?! Для тебя нету! Почему? А потому что ты рубль у меня брал?! Брал. Нет, брал! Мне рубля не жалко, а совесь, совесь есть у чловека? Нету, грю, сичас нету. Ни полстакана. Нету-у. Ты чловек или ты прокурор, етит твою мать? Было бы, дал, а так нету. Когда самому нечего, что я тебе налью? Ты видал таких? Вишь, грит, папочка, нас здесь не уважают. А папочка только зенки щурит. Что ты на меня, грю, зенки щуришь? Понл?! У нас тут собрание было в жэке, лектор лекцию делал. Я грю: до каких, грю, пор будем терпеть дециденцев?! Хе-хе-хе. Твою мать! Это я так грю, я-то знаю, но мне надо, расчет у меня есть... — Он, хоть и пьяный, вероятно, все же смекнул, что о расчете распространяться не стоит, и после запинки продолжал: — А он грит: а у нас их нету. У нас их только трое. Одного мы, грит, уже «выдворили». А?! Сука, ети его мать! Врешь, сволочь! Мозги е...шь! Вы все заодно! Народ обманываешь! Ты нас не трожь, понл?! Не трожь! Хе-хе-хе, хе-хе-хе... А третий с ними грит: вы-годился гусский нагод. Я грю: чьто-о?! Я тебе дам вы-годился! А папочка: ну его на х... Я грю: и ты за явреев?! Хе-хе-хе, хе-хе-хе!!! — Схватившись от смеха за живот, он начал кататься по кровати.

Мелик, как в летаргическом сне, слышал все, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни приподнять голову.

— Что-нибудь еще было? — запекшимися губами прошелестел он.

Сосед разобрал вопрос, и тотчас же в нем что-то будто подломилось; он замычал, замотал головой, шатаясь, добежал до серванта — бутыль стояла теперь там, среди хрусталя, выпил почти до дна, пролив на себя половину, и затем раскорякой навис над Меликом, норовя оторвать его от пола. Мелик толкал его прочь ватными руками, сосед слюнявым ртом старался достать до его лица. Наконец сосед сам обессилел и упал рядом, ударившись головой о батарею.

— Из ваших приходили-и-и, — завыл сосед. — Из ва-а-а-ших... Эх, эх, пропадай моя головушка, ети ее мать! Страх-то какой!..

— Из каких наших?

— Точно, точно, из ваших, врать не буду... Я ему сразу грю: нету, нету яво, товарищ капитан, клянусь честью, нету. Уехал, грю, в село Покровское, ети его мать...

Мелик рванулся, чтоб схватить его за шиворот и спросить, откуда слесарь знает, куда он поехал, но не дотянулся и лишь застонал:

— Не томи душу, кто был, белоголовый, что ли? Или с золотыми зубами?

— Он, о-он! — заголосил слесарь. — Голова белая, зу́бища золотые! А с ним страшный, как зве-р-ры! Бокс, чемпион! С левой! С правой! А ты меня не пугай, я не из пужливых! Я б... этим кулаком! На мне не заржавеет! Ты меня не тронь, я с вашей системой имел дело, знаю! И мокрым полотенцем били, и суставы вынимали! А он грит: мы тебя не

трогаем, ты, грит, ему только передай, что если он, грит, еще раз туда нос сунет, мы, грит, ему, ети его мать, ...оторвем! Понл?! А я грю: а ты его не тронь, ты своей красной книжкой не грози, у него самого, может, такая книжка есть!!!

Откуда-то в комнате появилась слесарева жена, Клавдия, сверху вниз она смотрела на Мелика, физиономия ее была искажена негодованием.

— Встань с полу! — завизжала она. — Встань! Ковер выпачкали! Полировку поцарапали! Опять напились, собаки, пи...рванцы х...вы! Вставай, б...!

— Ты его не тронь! Не тронь! — надсадно орал в ответ слесарь. — Ты ему не пара! Сучье вымя! Е... твою мать! Это он здесь такой, а там он — орел!!! У него, может, красная книжка есть! Я знаю, я видел, меня не проведешь! Он тебя враз засодит! Пять лет баланду хлебать будешь! У него, может, работа такая! У него, может, на улице Горького квартира — два сортира, три комнаты! Жена в стеганом халате! Деточки. Тю-тю-тю. Шапка пыжиковая! Он, может, три дня дома сидит, на четвертый в худой костюмчик оделся и сюда, с нами пить-выпивать! Штаб-квартира, не х... собачий! Он, может, две академии кончил — школу КГБ и духовную семинарию! Ничего не сделаешь — договорчик! Договорчик подписал, хана тебе, хочешь — не хочешь, служи! Во как! Договорчик, верно я грю?! Он, может, министр с теневого кабинету, верно?! Сичас его в ссылку, в емиграцию на пятнадцать лет, а через пятнадцать лет вернулся — первый человек для народу, для партии, для государства! Все при ем! «Чайка», дача, и лет еще не так много! Шейсят лет — орел! И бабу еще, и кого хошь! А ты б... — дура, б... — дурой останешься! В грязи валяться будешь! У ног его, верно я грю, товарищ капитан?! Верно?! На колени, сучья морда! На колени!!!

Мелик в это время почему-то уже сидел за столом с хозяйкой в обнимку, запустив руку ей в вырез платья. Теперь она стала выскальзывать из его объятий и по приказу мужа брякнулась-таки возле на колени.

— Ты что? Встань сейчас же! — закричал Мелик.

Муж и жена на коленях лишь воздевали к нему руки.

— Хватит!!! — что было мочи завопил он и трахнул кулаком по столу, угодив в хрустальный фужер.

Кровь брызнула из рассеченной артерии на скатерть, на слесаря и на его жену.

Мелик увидел Покровское, мостки через ручей. И в ту же секунду ему было дано узреть, что такое Ад, в чем суть адских мучений. Ему нарисовалась жизнь вечная — бесконечная череда рождений, и в каждом из них человеку предлагают опять прожить ту жизнь, которую он уже прожил однажды. Он помнит все свои грехи, все свои ошибки, все неудачи. Всякий раз он свободен, он волен избежать их, жить другой жизнью. Он знает: в такие-то дни, в такие-то часы он должен будет действовать иначе, не то все завертится, все повторится снова. И вот этот день, этот час, ближе, ближе, ближе. Человек думает: нет! не хочу! Уж на сей-то раз этого не случится! Я не сделаю этого!.. Но час подходит, настает то неуловимое роковое мгновение... Не хочу-у-у! Не буду-у-у! И... все-таки поступает по-прежнему... И жизнь его вновь проваливается в ту же колею, вновь начинается старое, знакомое наизусть... И так без конца... Сперва человек еще надеется: ладно, в этот раз сорвался опять, в следующий уж ни за что. Но подходит следующий раз, человек родился, растет, воспитывает себя... и вновь провал за провалом! И постепенно надежда испаряется. До человека доходит, что он обречен. Он изведал свои возможности до крайнего предела, он убедился, что у него нет сил перебороть свою натуру, что в последний миг его благие намеренья будут преданы. Он уже согласен быть хуже, чем был, если у него не получается быть лучше, но и этого ему не дано. Никогда, никогда ему не вырваться из кольца. Он наконец исполнил завет: познал самого себя, и это знание оборачивается жуткой, безысходной тоской. С нею он кружится в вечности.

Кровь хлестала не переставая. Хозяева с колен глядели и, кажется, находили удовольствие в этом зрелище.

— Хватит, — жалобно попросил он. — Довольно, хватит. Я уже и так отрекаюсь. От-ре-ка-юсь от Бога! — заорал он, подымая окровавленный кулак. — Подписываю ваш договорчик!!! Кровью подписываю! Черную мессу служить буду! Отрекаюсь! Давай бумагу!!!

Они в самом деле сорвались с места и забегали по комнате, ища бумагу. Бумаги не было, пера тоже.

— Крест ставь, крест! — вертелась хозяйка, подсовывая то бумажную салфетку, то обрывок газеты.

— Нельзя, нельзя, — твердил Мелик.

Тут слесарь, который был теперь уже вовсе не слесарь, а белоголовый приятель Льва Владимировича и даже не белоголовый, а самый настоящий черт, с рогами и хвостом (видно, заслуженный — со шкурой дорогого серебряного химического отлива и с золотыми зубами) подал ему что-то как будто более подходящее.

— Это что, бланк?! — вскричал Мелик, поднося листок к глазам.

— А ты как думал?! — галдел подавший. — Я наряд закрыть должòн, етит твою мать, или нет?!! Никакой самодеятельности! Пил?! Чтоб меня рублем за ето наказывали, да?!

У бабы его тоже вдруг обнаружились чудовищно волосатые ноги; вообще похоже, что она вся, от самого подбородка, была покрыта коричневатой шерстью.

Мелик потряс рукою, чтобы кровь стекла с ладони к пальцам, пальцем в несколько приемов коряво поставил подпись и... грохнулся без сознания.

XXXI. Агония

Он опомнился далеко от своего дома, на лестничной площадке перед дверью Таниной квартиры. Открыв ему, Танина мать остолбенела: как смел он появиться на пороге их дома?!

— Ах, это по делу! — запищала Таня, выбегая из кухоньки. — Прости, мама, это по важному делу! Прости!

Та медленно, с шуршанием исчезла — как змея, кольцо за кольцом.

В комнате Таня бросилась к нему на шею. Мелик долго стоял, поначалу вяло обнимая ее, затем собрался с духом и легонько подтолкнул ее к кушетке.

— Что ты делаешь, нельзя! — увернулась она. — Нельзя, ты сошел с ума! Здесь же мама!

— К черту маму! Слушай, мы уже не маленькие! Скажи маме, что мы женимся! Скажи сейчас же! Пойди и скажи, и пусть убирается к... Слышишь, иди, — неуверенно попросил он.

Зажимая ему рот ладонью, она счастливо смеялась.

— Что ты смеешься? Ты что, не хочешь, чтоб мы поженились?! У тебя что, другие планы?! — Он чувствовал, что имитация выходит слабой.

— Нет, нет, — ничего не замечая, влюбленно ворковала она. — У меня один план — быть с тобою, всегда! Но так нельзя, мы должны все обдумать. Надо подготовить маму... А ты сам, твое решение твердо?

— Да, да, да! Я шел к тебе всю мою жизнь! Ты же знаешь, — упрекнул он.

— Ах нет, не всегда, — опечалилась она. — Иногда ты ускользал как раз тогда, когда я думала, что мы с тобой уже нераздельны, когда я ждала тебя... Вот и вчера, где ты был вчера? Ты был мне так нужен! Я искала тебя, я заходила к тебе! Неужели ты... после того, что... ты мог быть настолько нечуток... я не говорю — бессердечен, нет, извини меня — невежлив! Чтобы хотя бы не позвонить мне?..

— Прости меня, прости, прости! — Речь давалась ему с трудом. — Вчера с утра я не решался звонить, чтоб не разбудить тебя прежде времени... («Я не сомкнула глаз», — откликнулась она), а потом... возникло одно непредвиденное дело... пришел один человек... а потом... я сидел в библиотеке!.. Прости, надо было экстренно... закончить одну вещь... Посмотреть кое-какие книги, материалы. Так, одна давнишняя моя идейка. Ничего особенного, доморощенное богословие, но все же мне дорого. — Он сам удивился тому, что сказал, но тут же ему стало ясно, что действительно он в один из этих дней что-то такое писал; он даже нащупал

какие-то листочки в кармане.— Называется,— продолжал он,— впрочем, не суть важно, как называется... Все откладывал, а теперь приспичило доделать. Есть канал, по которому можно переправить... туда. Он завтра уже закроется, а я хочу, чтобы экземпляр был там, на всякий пожарный случай, мало ли что здесь может произойти...

— Я ничего не понимаю, но я чувствую, что-то случилось, да? Не обманывай меня. Ты чего-то опасаешься?! Тебе что-нибудь угрожает?!

Он растерянно молчал.

— Да-а... пожалуй... Знаешь, кажется, начинают бить по нашему квадрату...

— Что-что?

— Я говорю: по нашему квадрату!

— Ты шутишь?

— Какие там шутки!—наконец-то встряхнулся он.—Никаких шуток!.. Мне тут... сказали... Только ты ни слова... Слышишь? Это страшный секрет!.. Я не могу тебе сказать, кто... Короче говоря, оттуда.— Он показал пальцем наверх.— Только ты не беспокойся, пожалуйста. Выслушай все до конца. И никому ни полслова! Ни одного намека, в том числе и заинтересованным лицам, разумеется. Иначе все сгорят, и мы, и они! Понимаешь?! Только ты не волнуйся, видишь, я сам волнуюсь... Короче... меня просили предупредить, что вашего Сергея, Леторослева, ждут крупные неприятности!!! Понимаешь, он, оказывается, с тех, прежних своих служб натащил огромное количество секретных бумаг... Всяких там документов, инструкций... На тех предприятиях, где он работал, знаешь ведь какой порядок?—идешь, извини, пописать, клади бумаги в специальный чемодан, чемодан бери с собой, в сортире над умывальником вешай на гвоздик!.. Вот. А он не только не клал и не вешал, но половину этих бумаг упер с собой! Я уж не знаю как—с тех-то предприятий, наверное, в копиях, а с последних, где не такой строгий режим, наверное, и в натуральном виде. А сейчас это вскрылось. Я так понял, что у него дома тайком уже шерстили в его отсутствие, был шмон то есть, и кое-что уже нашли. Если он сейчас даже спрячет остатки, его это все равно не спасет...

Она слушала его, ломая руки.

— Боже мой, Боже мой,—воскликнула она.—Я так и знала! Я так и знала! Я предупреждала его. Ты думаешь, я этого не делала?! Сколько раз я говорила ему, что нужно бросить эту дурацкую игру в секретность, что это погубит его!.. И вот теперь... Боже мой! Бедная Наташа, это убьет ее!

— Это еще не все,—задрожал Мелик.—Он связался и с Хазиным, и с остальной компанией... У них там целый подпольный Центр! Теневой кабинет! В прошлый вторник уже было «Пещерное совещание» [1]... Распределяли портфели! Составляли списки!.. Хазина—премьером! Вирхова—министром по печати!

Таня закусила губу, чтоб не закричать от горя.

— ...Ивана,— теперь уже неумолимо гнул он свое,— военным министром!.. Решили привлечь и из других течений. Чтоб была коалиция. Из славянофилов кого-то. Там у одного прабабка была деревенская, читать-писать не умела, а в Бога не верила, с Емельяном Ярославским дружила... Так вот, правнука министром сельского хозяйства! Пусть подымает! Колхозы, конечно, распустить. Продолжить столыпинскую реформу!.. Министром финансов Целлариуса... Представляешь себе!!! А твой Леторослев разрабатывает для них математическую модель захвата власти. Система «ПЕРТ»! Фид-бэк фьюить! Три «К», как в учебнике,—коммуникации, контроль, командование! Я забыл тебе сказать: я говорил с Хазиным, тот утверждает, что Сергей уже собрал много данных. Один научно-исследовательский институт, с которым он раньше был связан, выразил согласие помочь. Хоздоговорчик! Предоставят программисточек, просчитают на электронных машинах, и...

Таня была потрясена. Мелик даже не ожидал, что сказанное произ-

[1] На «Пещерном совещании» (пещера в районе Минвод) летом 1923 года антисталинское крыло ЦК распределяло портфели.

ведет на нее такое впечатление. Она тяжело дышала, удушье терзало ее, лицо ее посинело.

— А ты?! А тебя?!—не проговорила, а прохрипела она.

— Меня — обер-прокурором Синода!... Каково, а?! Вот сволочи! А?!—Он внезапно по-настоящему вошел в раж.—Я сказал Хазину, что я в гробу видал их списки! Хороши, голубчики, нечего сказать! И это люди, на которых я надеялся!.. Ведь в конце концов это я их сделал людьми, они все вышли из меня! Ведь верно?! Они—мое порождение, в духовном плане, конечно! Все их идеи—это мои идеи! А они хотят кинуть мне кость, чтоб заткнуть мне глотку?! Не выйдет! Не выйдет!!! Мне не нужна демократическая республика, где вы будете у власти!.. Я говорю о том,—пояснил он, видя, что она сидит с выпученными глазами,—что единственная форма правления, которую я признаю, это свободная теократия... Понимаешь?! Чтоб митру на голову и на осле вокруг Кремля!!!

— Да, да, я тебя понимаю,—прошептала она.

— Да слушай ты! Не плачь, не плачь! Я говорю не о том!—с досадой закричал он.—Не о том, понимаешь! Все вздор! Все это игрушки! Мальчики играют в войну! Но из этого могут выйти серьезные неприятности, вот в чем дело! Вот о чем надо думать! Их могут сцапать, вот это сейчас страшно, а не то, что у кого-то из них мания величия!.. И... слушай меня внимательно... Я знаю, что нужно, чтобы их выручить... Дело могут прикрыть в один момент! Я знаю человека! Понимаешь?! Он готов, он согласен. Но, конечно... не за просто так, не за спасибо, не за здорово живешь!.. Короче, нужны деньги. Я знаю, он возьмет, он намекал, но ясно, что немалые! Надо будет собрать. Только в абсолютной тайне... Никому ни слова!

— Ах, что же мне делать?!—вдруг привскочила она.—У меня как раз были деньги, но пришел Митя Каган, ему нужно было для отъезда, выкупить визу, билеты на самолет до Вены, и я все что было у меня, полторы тысячи, отдала ему...

Она виновато заглянула ему в глаза.

В меликовой логике ее известие нарушило какую-то связь, и он некоторое время беспомощно соображал: значит это что-нибудь для него реально или нет, есть ли за этим еще некий сокровенный смысл.

— Митенька Каган? — рассеянно спрашивал он между тем.— Разве он уже уезжает? Разве это возможно так скоро?

— Нет, нет,—отвечала она.—Конечно, это не так скоро. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем ему разрешат. Но он упомянул о деньгах, сказал, что у него будет много расходов, и я решила, если уж они у меня есть, а он в таком тяжелом положении, то почему бы мне их ему не дать?!

— Да, безусловно, ты права,—машинально приговаривал он.— В народе говорят: еврей еще не родился, а ему уже пианино покупают... А что же ты отдала ему все деньги? Не оставила себе ничего на жизнь?

— Остальные деньги я отдала маме, как всегда. Моими деньгами всегда распоряжается мама. А мне, мне не так уж много нужно. Зачем мне деньги? Ты же живешь почти без денег и не страдаешь от этого...

— Да-да, ты права,—тихонько повторял он.

Смутная мысль мелькнула пред ним и исчезла, затем появилась снова, он ощущал, что она присутствует, мечется где-то в сознании, но не мог еще выразить ее словами. Он вспомнил, что вчера (или не вчера, а сегодня?—окна были зашторены, на улице темно,—сколько времени прошло, как он вернулся из Покровского?—пусть будет вчера—стало быть, прошли сутки), итак, вчера было похоже; ему тоже брезжила некая смутная мысль, но тогда она кристаллизовалась скорее. О чем размышлял он тогда? О деньгах? О том, как их быстрее вымозжить у нее? Да. А что его донимало сейчас? Он не ведал. Пока что лишь странное безразличие к тому, о чем он только что говорил, чего только что добивался, охватило его, и было ему удивительным. «Неужели, и правда, я хочу этого? — подумал он.— Неужели и правда, я прожил такую жизнь, чтобы провести остаток дней с нею?! Пусть при деньгах, в сытости, в довольстве, с детьми, своими и чужими, в своем доме, здесь или в Европе,

зачем мне это? Разве я стремился к этому?! Так в чем же моя мысль? — переспросил он себя. — Что мне вдруг сию минуту пригрезилось? Что я не хочу жить с нею? Нет, не то...»

— Видишь ли... — с остановками медленно начал он, чтобы в потоке произнесенных слов, может быть, нащупать то, что быстрой тенью сквозило в уме, но помимо воли свернул на что-то другое... хотя это было уже, он знал, поближе. — Видишь ли, деньги, конечно, прах... Это так. Но бывает, что они нужны! Дело не в деньгах, а в том, что... Хазин... может... расколоться... Вот что страшно, понимаешь?.. Я это чувствую... Он созрел для этого. — Слова теперь вылетали быстрее. — Он все последнее время играет с ними в игру. Он без конца встречается с ними, они у себя на Лубянке поят его кофе. Он хвастался. Он торгуется с ними. Он говорит им: если вы сделаете то-то и то-то, тогда и мы готовы не делать того-то и того-то! Он думает, что он с ними на равной ноге. А с ними нельзя быть на равной ноге, с ними нельзя играть в такие игры, они наверняка тебя переиграют! Их много, у них аппарат, деньги! Слушай, я чувствую, он запутался, он потерял чувство реальности. Он предаст тут же!!!

«Да-да, все именно так и будет, — сказал он самому себе. — Здесь я неожиданно наткнулся на правду. Любопытно. А ведь их и верно есть за что взять, а им, несомненно, есть что рассказать!»

Ему стало жарко, на лбу выступил обильный пот, голова загудела, раздалась, внутри вдруг со звоном лопнули какие-то скрепы. Он уже не медлил, не искал слов.

— Я прав, я прав! — победно рвался он вперед. — Стоит им надавить на него, и он треснет! И Иван тоже, и с ними многие другие! Сгорят все, но начнется с этих! Я знаю: они уже готовят заявления! Я знаю, что они там скажут!.. После реабилитации я (то есть он!) жил в духовной самоизоляции от советского общества! Интересовался прежде всего передачами зарубежных радиостанций, носившими зачастую антисоветский характер, чтением нелегальной ввозимой из-за рубежа антисоветской литературы!.. (Ведь верно? Так они и скажут!) Невозможно подробно осветить всю нашу антисоветскую деятельность, продолжавшуюся в течение нескольких лет и охватывающую сотни эпизодов... О ее объеме говорят сто пятьдесят томов нашего дела! Я уверен, что самый предубежденный западный юрист, ознакомившись с этими материалами, не поставит под сомнение выводы суда!... Я несу моральную ответственность за судьбу тех наших товарищей, которых своими действиями и своим примером вовлек в деятельность, враждебную государству!..

— Да, ты прав, ты прав, — помертвевшими губами шептала Таня. — Это очень опасно. Хазин всегда был мне чужим. Я чувствовала: не могу принять! Я чувствовала, что он близок к состоянию, которое богословы называют «духовной прелестью». Дьявол прельщает таких, как он...

— ...Этот дрейф в сторону враждебности, — не унимался Мелик, — виден как из наших документов, так и из наших действий. Если вначале мы выражали в них критическое или отрицательное отношение к отдельным арестам и судам, то впоследствии наша деятельность стала враждебной по отношению как к различным аспектам государственной политики СССР, так и к государству в целом!..

— Господи, Господи! Как страшно! — почти заголосила Таня. — Не надо, давай молиться за них. Помолимся вместе!

Ему показалось, что она прямо сейчас повалится на колени, как вчера валился он сам, как валились те (или то было все-таки не вчера, а сегодня?). Он сделал движение к ней, потом от нее, потом в сторону, к двери, а горло и легкие его в эти мгновения уже разрывались от утробного издевательского крика:

— Молиться?! Вместе?! Давай!!! Дава-а-а-ай! Дерзай, дщерь, вера твоя спасет тебя! Ха-ха-ха-ха-ха!!! — И с новой силой: — Дерзай! Молись! Что же ты не молишься?! После реабилитации я жил в духовной изоляции! Людоеда людоед знал отлично с детских лет! Давай молись! Ха-ха-ха-ха-ха!!!

— Что ты говоришь, что ты говоришь? Что с тобой? — запричитала она, обливаясь слезами. — Ты не имеешь права! Молитва нужней им, чем деньги! Неужели ты сомневаешься в этом?

За дверями послышалось матушкино шуршанье.

— Ничего, ничего, — подхватился он. — Мне надо бежать! Мне надо торопиться!.. — Мысли его прояснились, теперь он уже знал, чего хочет. — Идеи носятся в воздухе, понимаешь? Рынок идей! Если идея пришла в голову одному, значит, она пришла еще десятерым! Кто скорее! Видишь, я еще только подумал о деньгах, а умный мальчик Митенька Каган их у тебя уже занял! Вот именно! Что «именно»? Нет, нет, ничего. Я не сержусь на тебя. Да и что за деньги — полторы тыщи, сколько там ты ему дала? Деньги — прах! Главное в идеях, которые бродят по свету! После реабилитации я был в самоизоляции. Людоеда людоед... Прости! Я страшно взвинчен. Не сердись. Нет, прости, я все соврал — и тебе и себе. Все не так. Дело в том, что мне кажется, что они запутали меня нарочно, хотели подловить меня. Вокруг меня последнее время крутятся какие-то странные люди... Как ты считаешь, твой Гри-Гри не связан ни с кем? А то мне кажется, он не случайно возник около меня. Он и... еще один человек... Он был намерен прямо сказать: Лев Владимирович, но не решился. Ты считаешь — ерунда? Может быть. Но все равно, мне надо сейчас бежать... Я скоро вернусь. Я совсем забыл. У меня было назначено рандеву... С лицом мужского пола, не с барышней. Человек ждет меня на улице. Я тебе говорил — канал. Он завтра уезжает. Прости!

— Береги себя! Береги! — кричала она ему уже вниз, перегибаясь через перила. — Я буду молиться за тебя! Господь спаси тебя и помилуй!..

— Аминь!!! — неистовым эхом грохнула над ним лестница.

Широкий больничный коридор загромождали койки для тех, кому не хватило места в палатах. Воздух был спертый, лежали по крайней мере тут, в коридоре, все вперемежку, мужчины и женщины, легкие и тяжелые больные. Какая-то высохшая старуха стонала, ее нога в гипсе была подвязана к спинке кровати. Стыдливо прыгала на костылях молодая девушка. Рядом два пожилых мужика с ханжескими лицами играли на постели в шашки. Сестра несла наполненный шприц, зажав кончик иглы ваткой. Возле некоторых коек сидели навещавшие в белых, не очень чистых накидках без рукавов.

Мелик шел в такой же накидке, заглядывал в раскрытые двери неопрятных многолюдных палат, всматривался в запрокинутые лица, которые боль сделала похожими одно на другое, подолгу стоял над ними, не умея в этих ракурсах сразу понять, тот ли это, кто ему нужен. Наконец сиделка сказала ему, что здесь лежат с ушибами и переломами, вчерашний и ночной завоз, а с инсультами на другом этаже.

Там было потише, коек стояло меньше, и, обойдя коридор, в дальнем краю Мелик нашел своего сумасшедшего.

Тот лежал на спине с закрытыми глазами и вытянутыми вдоль тела под одеялом руками, являя собой образ самой смерти, — лица не было, торчал лишь желтый череп, испещренный кирпичного цвета пятнами, с приделанным к нему злым шутником длинным носом из папье-маше, — он, может быть, просто был без сознания или даже спал, потому что подле него на стуле сидел, весьма покойно положив ногу на ногу и скрестив на груди руки, внушительных размеров джентльмен, крепкогрудый, с зачесанной назад сивой гривой, в дорогом ворсистом шерстяном костюме, отливавшем серебром, в американской полосатой рубахе и при галстуке, подобранном со вкусом. Разве что выехавшие слишком далеко манжеты рубахи портили картину гармонии и солидности.

— Спит, — полушепотом, приветливо сказал Мелику джентльмен, — пусть поспит, намаялся, бедняга. Берите стул, садитесь, он скоро проснется.

Мелик заметил, что тот едва-едва мог умерить мощь своего командирского рыка.

— Почему вы думаете, что проснется? — спросил Мелик, все еще стоя. Ему почудилось, что он встречался уже где-то с этим джентльменом и рык того ему знаком.

— Я его знаю много лет, — ответствовал тот.

— А с вами, с вами мы знакомы? — Голос у Мелика сделался отчего-то совсем тоненьким. — Мы с вами где-то, как говорится, встречались?

— Очень может быть, — внушительно сказал тот. — Садитесь. Сейчас выясним.

Мелик повиновался; в ногах появилась вчерашняя слабость, тело покрылось испариной.

— Ну-с, — предложил тот. — Вы как будто должны были узнать что-то о деньгах...

У Мелика екнуло сердце:

— Как, как вы сказали?

Джентльмен нахмурился и погрозил ему коротким крепким пальцем.

— Это ты оставь! — приглушенно рявкнул он, перейдя на «ты».

— Я все-таки не понимаю, — попробовал артачиться Мелик; мурашки ползли у него по скулам, он надеялся только, что в тусклом коридорном свете джентльмен этого не углядит. — О чем вы говорите?

— О деньгах!

— Деньги — прах! — из последних сил хитрил Мелик. — Счастье не в деньгах...

— А в чем?! — неприязненно приподнял тот густую бровь.

— Счастье в том, чтоб... исполнить... предначертанное...

— Что-о-о-о?! — набычился тот, сжимая пальцы в кулак. — Эт-т-о ты оставь! Оставь! Мне кажется, если уж был договор, то какого черта, а?!!

Он полез за пазуху, и тут же что-то взорвалось — Мелик узнал его и бросился к нему, удерживая его руку, чтобы он не трудился понапрасну.

— Ах, извините меня, извините! — вспыхнул он. — Я... я сразу не признал вас, я сразу не понял! Я последнее время в каком-то страшном волнении... даже видеть стал хуже!.. (Тот вынул из кармана очки в золотой оправе, потер стекла о серебристый ворс толстого колена, водрузил их на прочный нос и уставился на Мелика.) Извините, — засуетился Мелик, — я ужасно волнуюсь. Вот и давеча, видите, хлопнулся в обморок. Стыдно, я понимаю, в такую минуту... Сробел... сомлел... Я понимаю: церемония подписания — и вдруг... такое. Виноват. Вы, впрочем, наверное, к этому привыкли... Но не подумайте, что я подписал сгоряча. Нет, нет, это было вполне сознательным, глубоко обдуманным шагом. Я давно стремился к этому... Я знаю, мой отец, — он кивнул в сторону спящего, — работал у вас... теперь он временно... э-э... выбыл из строя..: Я хотел бы по мере сил... не то чтобы занять его место, нет, это, конечно, невозможно, но в принципе... тоже послужить!.. Я верю, что буду полезен. Кое-что я уже сделал. И сейчас я пришел не с пустыми руками... Я все эти дни работал, и вчера, и сегодня... Если позволите, я изложу...

— Хорошо, — одобрил тот. — Только тезисно, тезисно...

— Да, да, самую суть. Это давняя моя работа. Нет, нет, завершенного текста еще нет, в ближайшие дни доделаю и отпечатаю набело. Но основное уже найдено. Называется... «Оправдание Иуды»... Мне кажется, это представляет интерес?.. («Вне всякого сомнения», — прогудел собеседник.) Интересно, правда? Тем более что у меня этих оправданий не одно, а целых пять! Если позволите, я начну...

Он достал из кармана смятые листочки, которые нащупал еще сидя у Тани.

— ...Так вот. — Он близоруко сощурился, потому что и в самом деле видел все как сквозь сито. — Я начинаю с юридического оправдания. Оно элементарно, я даже удивляюсь, как это раньше такое никому не приходило в голову!.. Я опускаю обстоятельства дела, они достаточно известны. Перейдем прямо к проблеме. В Евангелии от Луки сказано: «...вошел же сатана в Иуду...» (Лк. 22, 3). То же самое у Иоанна: «И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде...» (Ин. 13, 2); и далее опять: «...и после того куска вошел в него сатана...» (Ин. 13, 27). Что все это значит? Это значит, говоря по-нашему, что Иуда был «одержим бесом», верно?! А раз был «одержим бесом», то, стало быть, в согласии с общераспространенным толкованием этого идиоматического оборота — невменяем! А раз невменяем, то и вины на нем нет! Ему нельзя вменить в вину совершенные им действия, его нельзя за них судить! По любому из ныне имеющих обращение в мире кодексов уголовного права, он не подлежит преследованию в судебном порядке, а по прохождении медицинской экспертизы должен быть направлен в психиатрическую клинику с целью принудительного лечения. Итак, он действовал в состоянии умопомрачения, и, разумеется, возникшее у него впоследствии чувство вины, послужившее причиной самоубийства, также было обусловлено тяжелой нервной депрессией, то есть было в значительной мере иллюзорным, галлюцинаторным...

— Неплохо, — похвалил собеседник. — Хотя и не совсем точно. Лучше было, например, сказать: к нему неприменимы санкции, предусмотренные... Ну, да это неважно.

— Я учту... Второе оправдание носит характер морального, этического. Мы сказали: был невменяем. То есть действовал как бы помимо себя, помимо своей воли. Был бессилен действовать иначе. Пробовал, конечно, страдал, рвался, но удостоверился в своем бессилии, в ограниченности своего разума, в немощи своей воли. Но ведь в этическом плане это — высшее, чего может достичь человек! Не иметь своего, отдаться целиком во власть обстоятельств, исполнять предначертанное! Благородный стоицизм! Римское воспитание! Amor fati, как говорили древние. Любовь к року, уважение к року. На, Пет, не больно! Идущие на смерть приветствуют тебя! Безумие с этой точки зрения — крайняя, высшая форма нравственного поведения. Этическое, доведенное до своего логического предела! Величайшая мудрость, дар богов! С идиотской ухмылкой наблюдать, как сталкиваются миры, рушатся человеческие жизни, искореняется красота. Священное безумие. Сколько усилий тратим мы, люди изнеженного века, на то, чтобы выработать в себе такое отношение к бытию! Мы бунтуем, мы не можем «вписаться», мы своевольничаем. А здесь в едином порыве — самоотречение, отказ ото всего и от самого себя прежде всего! О, это подлинно Великий Отказ! В смелом опыте над самим собой постичь, что для тебя нет безграничного многообразия возможностей, что ты — конечен, замкнут, что ты достиг своего порога!.. Это я перешел уже к третьему, философскому оправданию... Так вот... добраться до порога, увидеть, каков он, твой порог, и тем самым познать самого себя! Сказать: разговоры о бесконечных человеческих потенциях — болтовня! Сказать: есть судьба, рок или есть незыблемые законы естества — как ни назови — а выше ж... не прыгнешь! Надежды нет! Все твои ужимки, прыжки, увиливания, творческие потуги ведут тебя лишь к твоему порогу. Тебе не суждено иного. Какое сладостное знание! И, ясно из этого рассуждения, — предать Бога, чтобы разом, одним махом дойти до предела — это наиболее полный изо всех мыслимых акт действительного самопознания! Все остальное: исповеди, философские автобиографии — пустая эквилибристика, которую изобретают для того, чтобы спрятать поглубже истину! Нет, только предать Бога, воплотившегося, вочеловечившегося, то есть предать не фигурально, а ощутив Его живую плоть в своих руках — только это открывает человеку адекватный способ постижения собственной сущности...

Сумасшедший заворочался и выпростал из-под одеяла иссушенную пятнистую руку с обвислой кожей.

— ...Далее, богословское оправдание... — Мелик не мог отвести глаз от этой руки. Рука конвульсивно сжималась, словно подстегивая его. — ...Богословское. Оно давно разработано. Предать Бога, чтобы освободить людей от веры в Него, от веры в чудо, в Божественную мистерию. Чтобы человек мог «здесь» и «теперь» развиваться, творить, созидать без страха перед запредельным, без страха перед «ничто». Бог для того и умер, убил себя во Иисусе Христе. Честь и хвала тому, кто способствовал этому! То был незаурядный человек, он первый понял то, до чего дошли лишь двадцать веков спустя! Оправдание, как видите, совсем несложное. Об этом написаны уже сотни книг... Впрочем, вы все знаете, конечно. Но мне кажется, до меня еще никто так не систематизировал этого. Вы согласны? Ах да, осталось еще последнее, социологическое оправдание. Его законность однозначно проистекает из той же руководящей идеи. Мы сказали: познать самого себя, познать свою ограниченность, добраться до порога. О, это гениальная идея! Она одна дает уже не человеку, а человечеству в целом надежду осуществить самые смелые проекты социального переустройства, воплотить самые грандиозные планы преобразования мира! В самом деле, почему проваливались до сих пор все великие начинания, почему переставали работать прекрасные теории, почему развеи-

вались в пыль дерзновенные мечты блестящих мыслителей?! Потому что люди не были доведены до своего порога, вот почему! Потому что частица свободной воли все еще оставалась в них! И она остается до тех пор, пока человек не хочет признать, что он конечен, не хочет исполнить предначертанного! Его можно давить, перемалывать, подкупать, можно жать на его совесть, а он все будет увиливать, лениться, халтурить, корчить ретроградные физиономии: «Господа, а не послать ли нам все это разом к чертовой матери?!» Я утверждаю: поднебесные империи, тотальные системы распадались из-за халтуры, лени, расхлябанности сограждан! Трагедия в том, что эти расхлябанность и лень несут на себе для многих отсвет Божественной благодати! Отлынивая от работы, человек полагает себя сопричастным Богу, находит в себе образ и подобие Божие. В свете вышесказанного очевидно, что такая позиция безусловно и абсолютно безнравственна! Рассматривая же в этом аспекте стратегию Иуды, мы должны признать его величайшим социальным реформатором всех эпох и народов! Ссылки на историческую неудачу его замысла ничего не доказывают! Замысел был великолепен! О, как жаль, что мы лишены этой возможности и вынуждены размениваться по мелочам! Здесь глубочайшая антиномия, порожденная его действием: лишив нас живого присутствия Бога, Иуда лишил нас возможности повторить его подвиг!..

Сумасшедший к этому времени уже давно раскрыл глаза и слушал.

— Молодец, молодец, сынок,— просипел он, пытаясь костлявой рукой дотянуться до Мелика.— На ком, значит, ты решил остановиться?

— Леторослев, Хазин, Целларнус,— догадливо, с ходу стал перечислять Мелик, он не запнулся, не дрогнул, только внутри все горело, и жар этот, вырываясь из нутра, обжигал губы.— Пещерное совещание... Распределяли портфели... У меня все записано... У них есть связь с заграницей. Вы его видели, он еще напомнил вам кого-то...

— Отлично, отлично,— сказал и джентльмен.— Давайте сюда листочек. Это что тут у вас такое?— попробовал он вчитаться.— «...поддерживал контакты с различными зарубежными так называемыми «комитетами прав человека»...

— Это?.. Я не знаю... А, понял, это, должно быть, наброски к предполагаемому заявлению Хазина! Я даже забыл, когда я это написал. Или нет, это, пожалуй, его почерк... не знаю... Но это не имеет значения, я помню и без текста... Этот дрейф в сторону враждебности виден как из наших документов, так и из наших действий. Если вначале мы выражали в них критическое или отрицательное отношение к отдельным арестам и судам, то впоследствии наша деятельность стала враждебной по отношению как к различным аспектам государственной политики СССР, так и к государству в целом... Эта тенденция отчетливо видна и в тех документах, которые мы нелегально распространяли внутри страны и передавали для публикации за границу... Я поддерживал контакты с различными зарубежными так называемыми «комитетами прав человека»... Возникает вопрос: кого же мы представляли, от чьего имени выступали? На этот счет не должно быть никаких сомнений: мы представляли только самих себя — маленькую группку, оторванную от советской общественности, выступающую против ее интересов...

— Ну что ж. Как видно из вышеизложенного,— отозвался джентльмен, приятель сумасшедшего,— они должны быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены вовсе не за то, как считают некоторые недоброжелатели Советского государства, что являлись инакомыслящими, вовсе нет. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности в полном соответствии со статьей 70, часть I Уголовного кодекса РСФСР, то есть за агитацию и пропаганду, проводимую в целях подрыва и ослабления Советской власти, за распространение в этих же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также за распространение, изготовление и хранение литературы антисоветского содержания...

— Ну... а ты? А тебя?!— замер сумасшедший; Мелику показалось, что рассудку вопреки тот был бы огорчен, если бы мятежники обделили сыночка должностью.

— Меня... обер-прокурором Синода... Серым кардиналом...— решил он потрафить отцовскому тщеславию.

Но он ошибся: сумасшедший был встревожен и расстроен.

— Вот это ты зря,— разволновался он.— Это ты зря, сынок. Нехорошо! Как же ты так?!

— А что здесь такого?— легкомысленно рассмеялся Мелик.— Я-то при чем?!

— Как это при чем?— хмурясь, вступил джентльмен.— Пойдешь под суд, вот и будет тебе «при чем»! Ну, суд, конечно, учтет чистосердечное раскаяние...

— Чье?!

— Ты что дурака валяешь?— грубо оборвал тот.— Твое! Чье же еще?!

— Мое?! Мое?!— Мелик был сбит с толку этим хамским тоном, совершенно неожиданным после того, как столько уже было сказано и можно было предположить, что доверие обоюдно.— Мое?! — повторил он, все еще надеясь, что недоразумение сейчас снимется.

— А ты что думал?!— Джентльмен стал еще наглее.— Что, мы тебя по головке будем гладить?! А начнешь дурака валять, так и на полную катушку отмотаем!

— Погодите,— напрочь растерявшись, молил Мелик.— Я ничего не пойму... Разве... разве это имеет для вас значение?

— Ты что, прикидываешься?!! Шутки шутишь?!!

— Нехорошо, сынок, нехорошо...

— Погодите!

— Нечего годить!!!

— Я вас прошу. Я хочу вас спросить...

— Суд учтет твое чистосердечное раскаяние...

— Ах, вот вы как?!— Ненависть к этим тупым и жестоким болванам захлестнула его; секунду-другую он еще судорожно метался, ища убедительные слова, которые должны были рассеять нелепицу, но, не найдя их, вызверился, преследуемый сладким, мстительным ужасом.— Вот вы как?! Нет уж, не выйдет!! ! Я вам не дурак, я все обмозговал до тонкостей! Не вый-дет! Вы все у меня вот где!!!

— Что ты сказал?— с угрозой переспросили джентльмен и сумасшедший.

— Вот то и сказал! Вот где! Мне кое-что известно такое, что гарантирует меня от неожиданностей!

— Что же, например?— включились те, снова хором.

— А то, например, что кое-кто кое для кого содержит тайный публичный дом, например! Поставляет кое-кому девочек! Например, кому? Вам, вам!— Он ткнул пальцем в джентльмена.— Вам!!! Вы что думаете, парик надели, лысину прикрыли, так я вас не узнал?! Зубы надо было сменить! Зубы сменить позабыли! Особые приметы! Как еще вас только там держат! (Здоровый глаз сумасшедшего медленно вылезал из орбиты.) Вы что, думаете, я не знаю, на чьи деньги Лев Владимирович покупает дачу?! Для чего он ее покупает?! Но ведь вы не самое главное начальство!!! Над вами есть и повыше! Если меня возьмут, вашему начальству тут же станет известно! И не только вашему начальству, есть и другие инстанции! В надежных местах я уже оставил письма! Есть и тетрадочка, где все записано: Валя, Маня, Галя... Сработает автоматически! Возмездие с того света!!! Вы у меня...

Он отпрянул, потому что с сумасшедшим стряслось что-то страшное. Лицо того исказилось несусветной злобой, он даже подпрыгнул на постели, выбросив вперед руку, чтобы впиться Мелику в горло мертвой хваткой.

— Вр-р-решь!!!— харкая кровавой слюной, прохрипел он.— Вр-р-решь!!! Клевещешь! Клевещешь на наши органы?! Распространяешь заведомо ложные измышления, порочащие советский общественный строй?!! Вон отсюда! Во-о-он!!!

Мелик попятился, еще лепеча какие-то увещевания, а потом откровенно ударился дробной рысью по коридору; повсюду в кроватях уже корчились больные, и женщины в белых халатах бежали ему навстречу.

Позади, широко разинув сияющую золотую пасть, хохотал джентльмен.

У самого выхода на лестницу, за столиком, принявши облик дежурной сестры, сидел белоголовый. Мелик шарахнулся в сторону, но тот свободно пропустил его, не подняв сонной головы от амбарной книги.

— Ну вот и хорошо,— шептал Мелик уже в вестибюле.— Вот и хорошо. А то комедия затянулась. Что это я вообразил себе?! Это была ведь всего лишь комедия, шутка, верно? Теперь камень с души... Не то натворил бы я дел... Кажется, и джентльмен отнесся к этому лишь как к шутке. И не похож он вовсе на того, который был у Льва Владимировича... И этот не похож на белоголового, это была сестра. Что это я вообразил себе?.. Жаль только бедного моего психа, он от волнения теперь совсем загнется... Надо же, прорвало!.. Ну, да ничего, дружок объяснит ему, что это была шутка.— Мелик прислушался: ему помстилось, что смех джентльмена все еще доносится сюда с третьего этажа.— Нет, все вздор!.. Теперь отоспаться и... в церковь!..

Дома он, однако, работал напролет всю ночь и все утро, до полудня, переписывая и отделывая свой опус об Иуде, и лишь затем прилег.

Он думал, что ложится на час-полтора, не более того, но, оклемавшись, понял, что проваливался почти сутки: он помнил, что ночью просыпался, что кто-то ломился в дверь, которую он предусмотрительно запер, и что каждый раз он хотел встать, но не мог оторвать голову от подушки.

Он поднялся, оделся, спрятал рукопись под рубахой на теле и вышел на улицу.

Ольга была бледна, глаза ее опухли. Открыв дверь, она кинулась Мелику на шею.

— Ты что?! Куда ты девался?! Разве можно так?! Я была у тебя три дня назад, во вторник. Тебе не передавали? Я зашла еще просто так, мимо шла, дай, думаю, зайду. Что-то на сердце было неспокойно... Боже мой, я как чувствовала, как чувствовала!..— Она истерически зарыдала.— Ты что! Ты прятался, скрывался? Ты предполагал, что это произойдет? Ты тоже с ними связан?! Я вижу, я вижу! Я так надеялась, что нет! Неужели у тебя не хватило ума?! Эх, дурак ты дурак, не выдержал! Тебе-то это зачем?! Ты в Боге. Я так надеялась, так надеялась!.. Слушай,— заговорила она, чуть успокоясь,— тебе надо действительно что-то предпринять. Только что был Хазин, он считает, что этот обыск у него был, так сказать, предварительным. Что завтра вслед за Львом Владимировичем возьмут и его. Он говорит, что Льва забрали по делу о каком-то публичном доме. Трофим, шофер, рассказал, он там присутствовал. Они хотят устроить «амальгаму», понимаешь? Подумать только! Левка вчера днем звонил, пьяненький, давай, говорит, ко мне, я гуляю! А через пять минут за ним уже пришли. Хороша бы я была! А я не пошла, что-то устала, надоело пить, и так каждый день то гости, то я в гостях. Представляешь: в один день арест и обыск! Они бьют по нашему квадрату! Ты из дому, надеюсь, все вынес? Надо немедленно все подчистить. Я уже вызвала мать, все, что у меня было, переправила ей... Что ты смотришь? Я думаю, вряд ли у меня прослушивается. Вряд ли. Все-таки это, мне говорили, очень дорого. Слушай, мне кажется, тебе на время надо совсем уехать из города. У меня есть деньги, хочешь? Бери, не отказывайся. Исчезни на месяц-другой. Езжай в Крым, сейчас там уже хорошо. О деньгах не думай, я вышлю еще. Может, сама к тебе приеду, хочешь? Не беспокойся, это никакая не жертва. Слушай, а то... езжай в Покровское! Вот это идея! Отсидишься там, пока все не выяснится. Только не вылезай, по ночам выходить будешь, воздухом дышать. Как там, должно быть, хорошо! Одиночество. Только Бог и ты. Я бы тебе еду привозила. Да и тетка твоя хоть и сумасшедшая, не настолько уж, чтобы тебя не подкормить. Кто тебя там догадается искать. Езжай, не медли!

— А как... Таня?— пошевелил он губами, голоса не было.

Ольга немного сникла.

— Ах, вон ты о чем беспокоишься?— сказала она, становясь прежней.— Как же! Звонила ее мамаша. Говорит, Танька в ужасном состоянии. Была затяжная истерика этой ночью. Три раза вызывали неотложку. Те приехали третий раз, говорят: ей надо не неотложку, а психовозку, в следующий раз так и сделаем!.. Ты меня извини, не могу я ее сейчас

жалеть. Не могу я ей простить, что она сделала с Левкой! Это, конечно, все из-за нее, все! Это она его довела, из-за нее он все эти годы так бесился!

— А Леторослев?

— Что, Леторослев?.. Не возьму в толк, этот дурачок здесь при чем? Или, ты считаешь... он был связан с ними тоже?! Господи помилуй! Неужели у них была-таки о р г а н и з а ц и я?! Ужасно!!! А ты, а ты?! Неужели они впутали и тебя?! Зачем тебе это, зачем?! Погоди, ты что, уходишь?! Куда ты уходишь?! Что с тобой?! Куда?!

На пороге он обернулся.

— Слушай,— он достал из-под рубахи смявшуюся рукопись.— Эти листочки мне очень дороги. Сохрани их, ладно? Если со мной что-нибудь случится, положи их мне в гроб!..

XXXII. Эпилог. Всеединство

В страшной спешке Вирхов собирал свои рукописи, чтоб вынести их из дома и переправить в укромное место, к московской бабушке. После ареста Льва Владимировича и обыска у Хазина он еще успокаивал себя, что его самого дело вряд ли коснется,— теперь надо было торопиться: Мелик тоже пропал, исчез, никто не знал, что с ним, последней его видела Ольга почти неделю назад, он был в ужасном состоянии; считали, что он арестован. Рассказывая Вирхову о меликовом визите, Ольга плакала, не переставая: по ее мнению, арест был лучшее из того, что с ним могло приключиться, но все же она надеялась, что он, быть может, скрывается, прячется в Покровском; кажется, он намекал ей на это. Сегодня в два Вирхов встречался с ней на вокзале, чтобы ехать в Покровское.

Ящик с рукописями и черновыми набросками лежал на кушетке. Вирхов вынимал очередную пачку и, вместо того чтобы сразу швырнуть ее в большую хозяйственную сумку, не в силах удержаться перебирал листки, вчитываясь в отдельные заметки. Некоторые, выглядевшие особо опасными, он тут же рвал на клочки и жег в пепельнице. Его записи, достанься они в чужие руки, были бы без сомнения использованы как обвинительные документы — или против его друзей, если следствие захотело бы отождествить его литературных героев с их реальными прототипами; или против него самого, если следствие захотело бы посмотреть на этих персонажей как на выразителей авторской точки зрения, как на двойников самого автора.

Кем они были на самом деле, его герои, и в записях, и в жизни?— спросил он себя, как спрашивал уже неоднократно. Например, правда ли, что Лев Владимирович — содержатель тайного притона? Сосед Льва Владимировича, шофер, которого уже вызывали, вернувшись с допроса, сказал, что ему только сейчас открылась вся низость Л. В., что прежде он был слеп, одурачен и так далее. Но это, конечно, ни о чем не говорило, ему могли внушить все что угодно. А кто таков, например, Хазин? Правда ли, что он — «герой нашего времени» и «совесть России», как утверждал меликов начальник Петровский, когда они зашли к нему узнать, не появлялся ли Мелик в эти дни на работе. Или же, помня о том, сколь глуп, сколь самонадеян стал Хазин с недавних пор, вообразив себя идеологом и вождем революционного движения, можно было предположить, что он обязательно сорвется, сгорит, как не раз уже срывались и горели в огне предательств и измен деятели подобных движений. А Таня? Кто она? Монашка, принужденная жить в миру, жертвуя собой ради близких, или истеричка, психопатка, которая бегает всюду, вопя, что он, Вирхов, обесчестил ее?! Зачем ей возводить напраслину на него и, главное, на себя? Или он был тогда так пьян, что вырубился и ничего не соображал? Странно. А откуда слухи, что у нее с Меликом опять вспыхнул роман? Когда он успел вспыхнуть, этот роман? Неужели они это время обманывали его?.. И, наконец, сам Мелик...

Вирхов достал из кармана замусолившиеся странички, которые три дня назад отдала ему Ольга и которые он так и носил с собой, постоянно думая о том, что Мелик сказал Ольге: «Положи их мне в гроб!»

— Он сказал: положи их мне в гроб! — кричала Ольга.— Паяц, шут

гороховый, мерзавец!.. Прочти, скажи, как ты думаешь, это художественную ценность представляет или нет?

Вирхов снова пробежал написанное. Оно почти дословно совпадало с тем, как он понимал сейчас Мелика, пытаясь обрисовать его в романе. Именно эти слова он мысленно вкладывал в уста Мелику, именно к этому Мелик будто бы и шел. Судьба покорного ведет, а непокорного тащит... Вирхов, хоть и жалел его, в глубине души был горд, что оказался так проницателен. Чтобы окончательно укрепиться в своей проницательности, ему нужно было проверить еще, как будут развиваться события у Хазина. Вирхов чуть ли не с нетерпением ожидал известий на сей счет. Что скажет Хазин на следствии, если его и впрямь возьмут? Будет ли то заявление, которое он сделает там или на пресс-конференции после вынесения приговора, соответствовать заявлению, которое набросал для него Вирхов? «После реабилитации я жил в духовной самоизоляции»...

Вирхов был горд собой, но вместе с тем чувствовал себя виноватым. Это было жестоко — сидеть и ждать, сбудутся ли твои домыслы. Что если в этой игре с домысливанием заключался злемент магии и эти люди поступали так, а не иначе именно потому, что он, Вирхов, так, а не иначе думал о них?! Да, то, что он домыслил, было в некоторых отношениях правдой. А если бы он мыслил по-другому? Быть может, и они действовали бы тогда по-другому? Но ведь он не присочинял, не строил никаких концепций, он просто дорисовывал то, что было уже известно, и лишь старался узнать этих людей поосновательнее, чтобы дорисовывать вернее. Более того, он желал бы совсем уйти от этой темы, для того он и занялся «исторической линией». Намеревался вылепить невиннейшую пьеску, шутку. Любовь к родной истории... Из тьмы веков пришедшие князья и графини... Как это так получилось, что его история вдруг ожила, из плоской, записанной на клочках бумаги претворилась в плоть и в кровь, вскинулась зверем?! Мертвые стали хватать живых. Самый малый шаг в глубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы, и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то за что-то наследство. Никто не существовал сам по себе, вне другого. Частности характера и биографий были частями единого целого... Как при гадании по великой книге «Ицзин» — стоило потянуть соломинку, подбросить монетку, и весь космос, все силы света и тьмы приходили в движение, начиная ряд чудесных превращений, определяющих путь «совершенномудрого человека». Все было связано со всем...

Вирхову мерещилось, что он сам запутался в этих связях, что они угрожают уже ему самому, что надо спасаться, высвобождаться из них, попытавшись сохранить возможность остранения, иронии. При мысли об «Ицзине» ему пришло в голову, что хорошо бы вообще перенести действие в Китай, дать героям китайские имена, назвать, скажем, Наталью Михайловну — Цю Мин, а Хазина — Сюнь цзы... переделать священников в буддийских монахов или католических миссионеров... Москву заменить Пекином, а Литву, где жил отец Иван, — Непалом... Явление такой книги было бы забавно... Необходимые для правдоподобия фабульные перестановки вряд ли были бы так уж непреодолимо сложны... Зато тогда осталась бы чистая идея и одним махом были бы решены многие его, вирховские, личные проблемы, в том числе и проблема безопасности. КГБ не так-то легко было бы установить его авторство, а за границей читателю, в сущности говоря, плевать, о русских или о китайцах пишет чужеземец...

В следующую минуту он нашел эту мысль отвратительной. Нет, он не имел права сбиваться на фарс. Те, о ком он писал, и как литературные герои, и как живые люди были дороги ему, он любил их, согласны они были с этим или нет, он не хотел их лишаться. Они, все вместе, жили друг в друге, их страдания были его страданиями. И это здесь, а не где-то еще была его земля, его стихия. Здесь он родился, здесь рос, здесь учился чувствовать, здесь, а не где-то еще мучительно постигал сокровенный смысл, заложенный в человеческих сердцах. Здесь взвалил на себя тяжкий крест художника, еще не ведая, что это такое. Теперь нужно было полной мерой отвечать за все. Нельзя было уходить в сторону, увиливать, нельзя было отказываться ни от чего...

Решившись, Вирхов вытряс в сумку остатки рукописей из ящика, не разбирая.

Дом стоял пуст. Они долго не верили этому, бродили вокруг, заглядывали в щели заколоченных окон, стучали, даже звали негромко: «Мелик, Мелик!» — надеясь, что, быть может, есть какой-нибудь еще секретный лаз в дом и Мелик все-таки тут, в доме, притаился, наблюдая, не привели ли они с собой «хвоста», или разыгрывает их, или уснул и не слышит. Все было напрасно.

В деревне, у хозяев, где прежде жили «толстовцы», дома были только дети, мальчик лет десяти и девочка чуть постарше, родители поехали в гости, к отцовой сестре, хотели постоять пасхальную службу.

— Господи! Ведь сегодня Страстная суббота! — воскликнула Ольга. — Надо же, все забыла! — Перчаткою она промокнула глаза.

— Да, я тоже забыл, — тихо признался Вирхов.

— А вам что нужно-то? — спросили дети.

— Да мы хотели узнать насчет дома... Знаете, того, на отшибе...

— Насчет «хутора», — подсказал Вирхов.

— А чего? Вроде как она его продала? — удивилась девочка постарше.

— Не, не продала, — возразил мальчик.

— Нет, мы не покупать приехали, — перебила их Ольга. — Ты что, меня не помнишь? Я же бывала у вас. Мы хотели узнать про... — Она не помнила, как звали меликову тетку, и так и сказала: — Про тетю... про... Мелика...

— А мы такого не знаем, — покачали головами дети. — А Глафира Степанна уехала...

— У ней племянник не то заболел, не то помер. Вот она туда и уехала, — сказала девочка.

— К-куда уехала? — едва могла произнести Ольга.

— И не заболел, а под электричку попал! — вновь опроверг сестру младший братец. — Не знаешь, а говоришь! Пьяный шел через переезд, его и сшибло!

— Где?! — закричала Ольга.

— Здесь у нас и сшибло, у станции.

— И все ты врешь! — возмутилась сестра. — Это городского мужика сшибло, дачника. И не сшибло его, а хулиганы толкнули. Дядя Леша сам видел! Это в его смену было!

— Он сам пьяный был, твой дядя Леша! — заспорил мальчик. — Он этого видеть не мог, у него будка с того края стоит, а сшибло на этом!..

Оставив детей, готовых вцепиться друг в друга, Вирхов и Ольга бросились на станцию.

Они бежали, не останавливаясь, ничего не видя вокруг себя; лишь на мостках Ольга взмолилась немного подождать. Тяжело дыша, она схватилась за перила, склонилась над водой.

— А ведь мы с ним здесь гуляли, — сказала она через некоторое время. — По-моему, он любил это место...

В кустарнике над ручьем оглушительно верещали невидимые птицы, их было там, наверное, не меньше тысячи; Вирхов подумал о том, как хорошо было бы сейчас никуда не идти, а посидеть здесь на берегу, посмотреть на лес, послушать, увидеть хоть одну лесную птицу.

— Нет, надо идти, — тут же сказал он. — Сейчас начнет смеркаться, мы вообще ничего не найдем.

Сторож у автоматического шлагбаума был хоть и опять пьяноват, но опаслив; место, где сшибло «дачника», показал, однако на расспросы об обстоятельствах отвечал невразумительно и неохотно; похоже было, что милиция или начальство уже трепали его из-за этого дела.

— Куда нам обратиться, чтобы узнать, дядя Леша? — заискивающе теребила его Ольга.

— В милицию, куда же еще?! Туда и обращайтесь. Сейчас пойдете прямо, до «ремонтного», потом свернете влево к магазину, пройдете магазин, автобусный парк, еще возьмете чуток правее, и будет милиция...

Только они с вами заниматься не станут. Потому что они — районная милиция, они, значит, район контролировывают. А с этими делами, значит, занимается железнодорожная милиция, потому что случилось как бы происшествие при железной дороге... Вам эта милиция нужна!..

Железнодорожная милиция была через пять остановок отсюда, на «узловой». Дать им позвонить туда по телефону дядя Леша отказался, дежурная, к которой он их все же отвел, тоже была настроена недружелюбно.

— Как это так мы можем позволить?! Телефон служебный! — расхрабрясь, шумел дядя Леша. — А вдруг авария?! Срочная депеша по линии?!

— Идите в поселок, там есть автомат, оттуда звоните, — вторила ему дежурная. — Или поезжайте прямо туда. Только они вам ничего не скажут.

Спустя час они были в нужном отделении милиции при железной дороге, и там действительно им ничего не сказали.

Пожилой лейтенант за конторкой глядел на них с ленивым сожалением, без энтузиазма порылся в толстой конторской книге и объявил, что «такого не значится».

— Когда, вы говорите, это было?

— Может быть, неделю... может быть, два-три дня назад...

— Нет, не значится.

— Может быть, он не опознан. Мы не знаем, были ли у него с собой документы...

— А ежели не опознан, то что я вам скажу?!

— Он был одет в такое старенькое пальтишко, — упрашивала Ольга. — Среднего роста, лохматый...

— Во! Старенькое пальтишко, среднего роста! Ну, вы даете, девушка! Да у нас по пять вызовов в день бывает! Они все среднего роста и в стареньком пальтишке! Как напьются, так и лезут под поезд! А сейчас под праздник, как начали пить, так останову нет!

— Сейчас еще пост, — буркнул Вирхов.

— Мы посты на каждом километре устанавливать не можем, у нас для этого людей нет.

— Мы могли бы в морге опознать его, — прошептала Ольга.

— Что-о? Да вы что, в своем уме?! Что, я вас в морг поведу, что ли? Не положено этого! Вот люди! В морг их поведи! Да что вы там и увидите, в морге-то? Человек под электричку попал, его, допустим, сто метров протащило. Что вы там увидите-то?! Где голова, где ноги, не разберешь! Да и нет у нас никакого морга, морг при центральной больнице... Не хватало нам еще покойников в отделении!.. Вы кто ему будете? — спросил он помягче, должно быть, сказав себе, что люди лишь в крайнем волнении способны на столь бессмысленные речи. — Кто вы ему будете? — обратился он к Ольге. — Жена?

— Знакомая, — нетвердо назвалась Ольга.

— Знакомая,.. — отцедил он. — И вы знакомый?.. Ну, вот что... Ничего сделать для вас не могу... Он где был прописан? В Москве?.. Вот по месту жительства и пишите заявление. Они объявят розыск, получите официальное уведомление... в надлежащий срок... Если придет к нам такое распоряжение, мы проверим... А так, что такое?! Пришли какие-то люди, почему? Откуда? Попал под поезд, не попал под поезд, ничего не поняты!.. Знакомые!..

Обратная электричка в Москву была набита битком. Заставив потесниться каких-то бабок, Вирхов все же усадил Ольгу, которая едва держалась на ногах от нервного потрясения и усталости, сам стоял, покачиваясь, над нею. Она долго сидела, уткнувшись в полу его пальто, потом тоже поднялась.

— Послушай, — сказала она. — Как же мы будем подавать заявление о розыске? А вдруг Мелик скрывается? Вдруг он уехал в Крым? А мы потребуем, чтоб его искали!

— Если он скрывается, они его и так ищут.

— Почему? Вовсе не обязательно! Вдруг они его не ищут! Что если

они только собираются его искать, раздумывают? А мы их подтолкнем своим заявлением, у них будет предлог! Мы можем его подвести!

— Да, ты права, — согласился он.

— Ну, а как быть?!

— Подождать немного...

— Подождать?! — вспылила она. — Вам бы всем, ети вашу мать, только бы подождать! Только бы сидеть и водку жрать! Больше вы ни на что не годны! Не кричи?! А я и не кричу!.. А только... что если это все инсценировка, а? Что если его убили?! Понимаешь?! Кто убил? Они! Они сами взяли и убили! А теперь ломают комедию!

Боже мой, ведь тогда мы вообще никогда ничего не узнаем!.. И он... так и будет лежать... там... — Ее прорвало, она заревела у него на груди, подвывая и пугая пассажиров.

Вирхов потянул ее в тамбур и оттуда в другой вагон. В узком, шатком переходе меж вагонами она остановилась, с силой захлопнув за собой дверь от любопытных. Слезы ее испарились от ярости.

— Нет! Мы должны! Мы должны узнать, выяснить все! — закричала она сквозь грохот состава. — Мы должны привлечь мировую общественность! Выступить с заявлением! Поставить ее в известность!

— Но все-таки не надо пороть горячку, — осторожно сказал он. — Что мы там напишем, в этом заявлении?.. К тому же... я не думаю, чтоб его убили. Зачем им это, посуди сама? Неужели он был им очень опасен? Не так уж много он знал... Скорей им было б выгодней его выкрасть, тайно арестовать, чтобы втихую выудить у него какие-то сведения...

— Выкрасть? Киднаппинг? Нет, это вздор! Что он, дочь миллионера, что ли?!

Она усмехнулась, но и сама понимала, что была сейчас лишь подобием себя прежней.

Они безнадежно опаздывали, приехали в Москву уже темным вечером и только к половине двенадцатого добрались до храма, который Мелик называл с в о и м; здесь был настоятелем меликов приятель отец Алексей, и здесь Мелик рассчитывал начать служить, если б его рукоположили.

Сквер перед храмом и прилегающая улица были заполнены народом. В боковом переулке стояли машины, среди них с посольскими номерами, поодаль — желтая милицейская. Жители окрестных домов прильнули к стеклам своих окон. Ртутный свет фонарей дробился на медленно таявших вверху клубах пара и папиросного дыма. Толпа, очертания которой терялись в ночной мгле, была окутана будто туманом. От неверного света и сырости людей прохватывал озноб, усугублявший смутное беспокойство, владевшее ими. В толпе казалось теплее, но попавшие в гущу быстро кидались прочь, разочарованные соприкосновением.

Стаями бродили длинноволосые бухие парни, страшными воплями разгоняя встречных. Алкаши вымогали у проходивших копейки. Слышался возбужденный девичий смех. С замкнутыми, осуждающими лицами двигались под руку пожилые пары. Отрешенно, гордо шли бородатые неофиты. Азартом горели глаза интеллигентов. Деловито спешили куда-то подтянутые филера в тирольских шляпках и куртках, не без презрения посматривая на собравшихся. Недоуменно переминалась компания «золотой молодежи» — подающие надежды нувориши из кинематографических жучков или дети нуворишей — при мехах и дубленках; впрочем, женщины были оживлены более, чем мужчины, определенно скучавшие и ждавшие, когда отсюда можно будет уйти и повеселиться с подругами. Школьники-акселераты, явившиеся сюда, наверное, всем классом, дурачились, загоняя своего товарища в «пятый угол». Их одноклассницы щебетали и дергали расшалившихся ребят за рукава, предупреждая, что идет милиционер. Но патрульный орудовец, весь в коже с головы до пят, не обращал на них внимания; он был растерян, не имея твердых инструкций, что делать, чтобы освободить проезжую часть. Позади него плелся седовласый нищий актер. Размахивая мятой шляпой, он голосил: «Товарищи, не скажете ли, сколько времени? Товарищи, пора начинать, пора!» Шныряли и вовсе непонятные личности, каких уж много лет давно нигде не попадалось. Тетка

рядом даже шарахнулась от одного такого — одичавшего или больного подростка, аккурат послевоенного беспризорного, в старой офицерской фуражке, надвинутой на уши и подхваченной под подбородком ремешком, без пальто, в запахнутом чужом пиджаке, рукава которого болтались у самых колен. Тут же из толпы, словно из омута времени, из глубин памяти, вынырнул еще один — по облику урка, из тех, что наводняли Москву после амнистии 1953 года, фиксатый, кепка с разрезом, модная у них тогда, белое кашне, воротник поднят. Втянув голову в плечи, он мгновенно по-воровски пропал. Затем возникли двое несусветных калек, ободранных и перекошенных, Бог весть где обретавшихся в другие дни года; безногий, с шутками и прибаутками прытко скакавший на деревяшке, вел за собой слепого.

При этом то и дело кто-то кого-то окликал, останавливал, хлопая по плечу; слышались довольные восклицания, регот — друзья веселились, застигнув приятеля в таком «неподходящем» месте. Похоже было, что все здесь знают друг друга или по крайней мере у каждого с каждым есть хотя бы один общий знакомый. Так, малый, которого Вирхов принял сперва за о̀пера, потому как тот конфиденциально совещался с милицейским старшиной, через минуту мило беседовал с девушкой, принадлежавшей компании «золотой молодежи», а потом с длинноволосым, завитым под Людовика XIV парнем из полублатной ватаги; в это время упомянутая девушка уже делала книксен солидному господину с тростью и представляла ему своего «жениха» (о̀перу она его не представила); жених же, раскланявшись с господином и оставив свою невесту и свою компанию, торопился на зов трех забулдыг, безусловно, известных всей округе; у них был с собой стакан, они налили и жениху, тот выпил, не побрезговав; тотчас после этого один из собутыльников направился к возившимся школьникам, преподать им отеческое наставление, как надо себя вести; те почтительно внимали: «Да, дядя Яша, мы больше не будем, дядя Яша». Можно было бы предположить, что все они — местные, но едва Ольга и Вирхов подумали так, как увидели шурующего в толпе меликова соседа, слесаря; всякий второй приветствовал его, а ведь он жил неблизко.

Чугунная решетка отгораживала церковь от сквера и улицы. Калитка была уже заперта, счастливцы еще толпились на ступенях крыльца, впихиваясь в перепруженные двери. Наконец двери за ними закрылись, в церковном дворике осталась лишь маленькая группка дружинников; с ними бранились старухи верующие, так и не сумевшие проникнуть внутрь. Еще человек десять, больше чтоб покуражиться, подбадривали старух криком и свистом. Многие взобрались на каменный фундамент решетки, приникли к прутьям.

Зверский крик раздался от самой калитки:

— П'ропустите ве'рующих в х'рам!!! Я т'ребую, слышите, вы, п'ропустите!!!

Толпа качнулась туда.

— Это же наш Григорий, — узнала Ольга. — Пойди забери его оттуда. Не хватало только, чтоб сейчас его сцапали.

Вирхов ринулся вперед и, схватив Григория за руку, потащил его прочь.

— Нет, какие ме'рзавцы! Какие ме'рзавцы! — возмущался Григорий, тем не менее охотно подчиняясь.

— Ладно, перестань, — сказала Ольга. — А наших ты не видел?

— Все наши там. И твой Заха'р, и Лешка, и Бо'рис, и Сеня... Они успели пройти. Даже Ту'рчинский и Митя Каган здесь, хоть они тепе'рь и сионисты. Даже Целла'риус здесь... Слушайте, я видел Льва Владимировича! Как вы считаете, может это быть или нет? Я, п'равда, видел только издалека. Но, по-моему, это был он! И с ним еще двое, вылитые кагебешники! Они вылезли из машины! Как вы думаете, могли они пойти на это? Позволить ему так сказать поп'рисутствовать! Исполнить его последнюю п'росьбу! Или это п'ровокация? Чтобы установить, с кем он будет здо'роваться, установить его связи, с'разу нак'рыть всех!

— Не думаю, — сказала Ольга. — Вряд ли. Да и что в такой толчее разберешь. Ты обознался... Скажи, а... Мелик...

— Нет, его я не заметил... А вы были там? Его там нет?

Ольга хотела спросить, откуда он знает про поездку (поездка была секретной), но лишь кивнула, на глаза у нее опять навернулись слезы.

— А Хазин? — поинтересовался Вирхов.

— Мы должны были встретиться с ним у мет'ро. Я, п'равда, немного опоздал... Ты считаешь, что он не п'ришел потому, что... Но ведь они не могли а'рестовать его в такой день! Неужели могли?! Но ведь это же бесчеловечно! Какое иезуитство! Негодяи! Нет, я не могу! Я не могу-у!!! — заорал он в полный голос.

И в ту же секунду наверху негромко ударил колокол. Толпа взметнулась. Одни повалили к решетке, другие назад, чтоб не быть задавленными. Какой-то мальчишка стал карабкаться на дерево, за ним полезли взрослые. Беспризорник в фуражке и клифте закукарекал. Еще двое-трое подхватили, некоторые просто кричали: угу-гу-у, ого-го-о!!! Слепец, которого вел безногий, вложив пальцы в рот, оглушительно засвистел, громче всех, свистевших вокруг. Треснула и упала здоровая садовая скамья, на спинку которой взобрались разбитные, веселые девицы. С визгом они посыпались в разные стороны. Одну из них стукнуло больнее, двое мужиков, помигивая и ухмыляясь, под общий хохот помогали ей встать.

— Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесех:
и нас сподоби-и
чистым сердцем Тебе славити-и! —

набрав в грудь воздуху, запел во всю мочь Григорий.

Боковая дверь храма приотворилась. В освещенной полосе по одному на крыльце появлялись те, кто составлял маленький крестный ход. Они спускались с крыльца редкой цепочкой, чуть ли не пригнувшись, загораживая пламя свечек ладонями, тихонько шли вдоль стены, показываясь в просветах меж висевшими на решетке, и, поднявшись на главное крыльцо, протискивались обратно в храм.

Толпа по-прежнему кукарекала и свистела, но и пел уже не один Григорий. Ему подтягивала Ольга, старческая чета около них; кто-то беззвучно открывал рот. Сбоку заливался от души румяный, лишенный слуха и голоса студент с портфелем. Худосочный дружок, смущенный таким его поведением и подозревая, что тот сильно пьян, пытался увести его.

— Ты пойми, ты пой-ми, — шлепая толстыми губами и дыша метра на полтора дешевым портвейном, говорил румяный парень и обнимал дружка, чтоб похристосоваться с ним, — меня же мамка приучала! Понимаешь? Родная мать! Христос воскре-е-есе из ме-е-ертвых, сме-е-ертиюю-ю... Родная мать, вот! У меня это вот где сидит!..

Следуя его примеру, мужик, который помог подняться ушибленной девице, предлагал ей теперь похристосоваться и лапал за плечи.

— Не туда смотришь! — обернулась к Вирхову Ольга. — Вон туда смотри! Видишь, кто это?! Вон, вон, на паперти!

Вирхов вгляделся: сомнений быть не могло — как обычно, провоцирующе пугливо озираясь на людей за оградой, молитвенно сцепив руки со свечечкой пред грудью, по широкому церковному крыльцу проходила Таня.

— Да, это она! Она! — неизвестно почему торжествовал Григорий. — Я вижу ее, вижу! Вот молодец, а? Гово'рили же, что у нее было подряд т'ри се'рдечных п'рипадка!

— Три припадка, да только не сердечных! — отрезала Ольга.

Последний из крестного хода скрылся в дверях. Колокольный звон оборвался. Толпа стала рассеиваться. Мимо важно прошествовал к машинам в переулке тот самый солидный господин с тростью, а под локоток его вел не кто иной, как Осмолов, отец Лизы, детской писательницы. Вирхов догнал их осведомиться о Лизе.

— Льиза уже выздоровелья, — заученно осклабился Осмолов. — Она вспоминалья вас. Она сейчас там, в церкви. Она сдельальась нынче рельигиозна. Польагаю, под вльиянием этой мильой старушки графини. Она тоже, сльава Богу, вызвольена из кльиники. Они сейчас обе там...

— Ольга, ты знаешь, что Наталья Михайловна выписалась? — спросил Вирхов, возвратясь к своим. — Она сейчас тоже здесь!

— Да... Я знаю... — наморщила лоб Ольга. — А разве вы знакомы? Ах да, я совсем забыла! Ты ведь... тоже...

— Давайте подождем немного, — предложил Григорий. — Ско'ро все 'разойдутся и можно будет войти!

Площадь быстро пустела. Из церкви также выходили теперь люди, не вынесшие духоты или рассудившие, что с них достаточно. Калитку отперли. Дружинники покинули ограду.

Ольга, Григорий и Вирхов осторожно, все еще боясь, что их задержат, приблизились к храму, вошли и затоптались в притворе у порога, остановленные не столько людскою стеною, сколько силою нестерпимого встречного золотого сияния. В воздухе, трансмутировавшем до некоего неведомого, излучающего жар, острого на вкус кристалла, звучали, будто высвечиваясь на его внутренних гранях, слова:

Ныне вся исполнишася света,
небо же, и земля, и преисподняя:
да празднует убо вся тварь
восстание Христово,
в нем же утверждается-я...

На солее в парчовых облачениях служили трое священников. Первый — благостный, покруглее, меликов приятель отец Алексей; второй — худой, черный, обросший не бородой, а щетиной, — напоминал чем-то самого Мелика: у того был бы такой же вид, если б он недели две не побрился. Третий был отец Владимир, переведенный сюда лишь недавно.

Заглядевшись на его вдохновенное, сейчас подлинно царское лицо, Вирхов вздрогнул, когда вдруг в согласном дыхании всего храма раздалось: «Воистину воскресе!!!», и вслед за другими, угадывая почти незнакомые ему слова, стараясь не нарушить общего строя и лада, запел, чувствуя, как от этого в сердце растет прежде так и не давшаяся, настоящая, глубокая радость.

Народ чуть расступился, освобождая дорогу молодому человеку, относившему на место в боковой придел хоругвь. Григорий вторгся в образовавшуюся разреженность, Ольга и Вирхов за ним. Сзади поднапер тот самый здоровяк студент, которого «приучала мамка»; худосочному дружку не удалось остудить его пыла. Все вместе они продвинулись в левый неф, тут их оторвало друг от друга. Григория увлекло дальше, Ольгу притерло к четырехгранной колонне, и Вирхов, вступив по пути к ней в скрытое противоборство с прилично одетым и хорошо постриженным, крепко стоявшим на ногах гражданином, сообразил спустя время, что это меликов начальник Петровский.

— Ах, это вы? — зашептал, устыдясь, Петровский. — Извините меня. Христос воскрес! Воистину воскрес, да, да! Ах, вы говорите, и Оля здесь? Как приятно, что все мы здесь! В такой день! Как приятно, что тревоги наши благополучно разрешились!

— ?!!

— Тревоги были напрасны! Как приятно! Как замечательно! — повторил тот ему в самое ухо. — Мелик-то тут!

— Да?!!

— Да! Да! Ошибки быть не могло! Я все-таки работаю с ним три года!.. Вы меня обижаете! Он там, на клиросе, слева!

— Точно?!

— Абсолютно точно! Абсолютно!

— Не вижу... А что он сказал, где он был все эти дни?

— Я с ним не говорил, я увидел его уже в спину, когда он проходил туда. Тогда было меньше народу. Я хотел подойти, но уже не смог. Я подумал, что он в алтаре, и... не осмелился...

— А где же он, я не вижу!

Вирхов завертелся на месте — колонна заслоняла от него весь северный придел. Петровский любезно поужался, Вирхову открылась часть клироса — на первом плане внушительные старики и старухи из церковной «двадцатки», знакомые священников или знакомые знакомых, прочие, кто стоял там, были за перегородкой, небольшим иконостасом.

— Нет, не вижу, — огорчился Вирхов. — Но вы точно уверены? Я попытаюсь пробраться к Ольге, скажу ей, а то она в отчаянии. Для нее это будет...

Он не договорил, чем это будет, и уже вклинился между находившимися пред ним; Петровский придержал его:

— Конечно, конечно, она переживает. Он должен был бы поставить вас и ее в известность. И все же вы обязаны быть великодушны. Бывают же обстоятельства, когда... Скажите, а что вы намерены делать потом? Я хотел бы пригласить вас ко мне... так сказать, разговеемся, выпьем, у меня есть запас. Виски, джин, водка, что вы предпочитаете? Отлично, да?.. И вот еще что... Тут... вон там, вон там... Хазин. Да, да. Почему вы так удивлены? Разве он не...?! Ах, ничего, все в порядке? Я хотел только сказать, что знаю, что он ваш друг. Я бы хотел, чтобы вы пригласили его тоже! Мне было бы очень приятно познакомиться с ним! Нет, нет, никаких репрессий я не боюсь!.. Что, отыскали его? Да-да, он должен быть там!..

Приподнявшись на цыпочки, человек через пять от себя Вирхов действительно нашел Хазина, который тоже неспокойно крутил лысой головой, высматривая кого-то. Достичь его не было, однако, никакой возможности.

Приидите все вернии,
поклонимся святому Христову воскресению:
се бо прийде крестом
радость всему миру-у.
Всегда благословяще Господа,
поем воскресение Его:
распятие бо претерпев,
смертию смерть разруши-и... —

неслось над головами. В паузах слышен был голосок регента, то ли ссорившегося с хористами, то ли задававшего тон.

Завеса грязи и мути, которая обволакивала все последние вирховские дни, надорвалась и стала оседать, но медленно-медленно, мешая безраздельно отдаться тому, что совершалось сейчас. От жары, напряжения и густого запаха благовоний и человеческих тел Вирхов взмок. Он попробовал внутренне расслабиться, стать свободным, легким, — ничего не получилось; он лишь задохнулся, задергался, тщетно ловя ртом хотя бы малое дуновение. Мутная пелена, которая вот-вот готова была пасть, подползла снова. Уже сквозь нее он смотрел, как молятся священники в раскрытых царских вратах. Он думал в этот момент о том, что меликов начальник Петровский — болтун, что он мог ошибиться, что ему нельзя верить, это говорил еще сам Мелик. Вирхов вспомнил деревню, остов храма, пустой, заколоченный дом, черную пристанционную платформу, луч прожектора на рельсах, длинные бегущие тени... Мелика, беспомощного, оглушенного, волокли по сырому асфальту, чтоб кинуть под поезд...

Спрятавшись за спину Петровского, почти уткнувшись лбом ему в плечо, Вирхов стал поспешно креститься, чтоб избавиться от наваждения. Внезапно кошмар лопнул сам собой — справа началась некоторая суматоха: потеряла сознание щупленькая, болезненная женщина, на нее, должно быть, чересчур уж сильно налег, дыша перегаром, толстогубый здоровяк студент. Она не упала, упасть в такой тесноте было нельзя, лишь голова ее безжизненно свесилась на грудь смущенному парню. По рядам прошел шорох: опытные церковные старушки передавали из рук в руки пузырек с нашатырным спиртом. Женщине поднесли понюхать смоченный нашатырем платок, она открыла глаза, удивленное лицо ее было смертельно бледно, все советовали ей уйти. Виноватый студент стал выводить ее. Воспользовавшись общим замешательством, Вирхов пробился вперед и очутился возле Хазина. Григорий тоже был уже здесь.

— Ну слава Богу, — сказал Вирхов. — А то мы решили, что тебя... что ты... там...

— Не так уж вы были не правы, — усмехнулся в усы Хазин. — Там я и был!

— Они отпустили тебя, чтоб ты мог встретить Пасху?!

— Ты-то не будь ослом!
— Но они выпустили тебя?
— Да.
— Почему?
— Да потому, что я уже вышел на другой уровень! — отрубил Хазин. — Потому, что с человеком моего ранга уже нельзя обращаться так запросто! Если даже у них есть оперативный материал, если даже предатель многое рассказал им, они все равно не могут осмелиться взять меня!
— П-предатель?! А что, кто-то предал тебя?!
— Не одного меня, всех нас!
— Кто?!
— Ты знаешь его не хуже меня!
— Мелик?!

Хазин придвинулся поближе, так что его пропахший куревом ус кольнул Вирхова в щеку.

— Он, по всей вероятности, давно работал на них. Они выложили мне кое-какие сведения, которые были известны только ему. Например, про свидание с этим «комитетчиком», Григорием Григорьевичем... Они намекнули мне, что это он, Мелик!.. Они даже грозили устроить мне с ним очную ставку!
— С кем, с Меликом?!
— Да, он там, у них!
— Ты видел его?!
— Нет. После разговора со мной они раздумали. У нас был длинный разговор, я им изложил систему моих взглядов. Они слушали и, полагаю, многое поняли. Я нашел правильную линию. А они не так глупы.
— Что же ты сказал им?
— Я сказал им так... В результате ошибок Сталина и культа его личности накопились отрицательные элементы, возникли неблагоприятные и даже вредные условия в разных секторах жизни советского общества, в разных областях деятельности партии и советского государства. Я согласен, что не так-то просто свести все эти отрицательные моменты к одной общей концепции, поскольку в этом случае есть риск чрезмерного, произвольного и фальшивого обобщения, иначе говоря, риск счесть всю экономическую, культурную и социальную действительность советского общества плохой, заслуживающей осуждения и критики... Возможно, наименее произвольным обобщением нужно считать такое, при котором к ошибкам Сталина относится постепенное распространение личной власти на коллективные органы, имевшие по своему происхождению и сущности демократический характер, и, как следствие этого, возникновение и накапливание явлений бюрократизма, нарушений социалистической законности, застоя и даже некоторого вырождения отдельных частей социального организма...

На него зашикали. Дьякон возглашал ектенью: «Паки и паки миром Господу помо-о-о-олимся л-я!..» Хазин пожевал ус, нахмурясь, как будто хотел сделать дьякону замечание, и продолжал, потише, но с тем же упорством, словно диктуя:

— Наша общественность провела немалую работу по преодолению культа личности и его последствий, но вместе с тем создается впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали бы как внутри партии, так и вне ее бо́льшую свободу высказываний и дискуссий по вопросам культуры, искусства, а также и политики... Нам трудно объяснить себе эту медлительность и это противодействие, в особенности учитывая современную обстановку, когда больше не существует капиталистического окружения, а экономическое строительство достигло грандиозных успехов... В этой ситуации цели и задачи Движения, которое я представляю, обусловлены необходимостью дальнейшего развертывания и углубления процесса демократизации всех сторон общественной жизни, широчайшего привлечения трудящихся к активному участию в различных звеньях государственного механизма, устранения факторов, еще препятствующих в известной степени развитию и совершенствованию той критической функции, носителем которой является передовая творческая интеллигенция... У меня не вызывает сомнения тот факт, что сформулированные таким образом задачи и цели Движения не расходятся — в главном и основном — с задачами и целями, стоящими сегодня перед всем нашим обществом и, в частности, перед теми институтами и органами, которые призваны по сути своей осуществлять защиту и охрану демократических завоеваний народа и прав отдельной человеческой личности... Серьезные трудности на пути к достижению намеченных нами перспектив пока что представляют определенная обоюдная отчужденность, духовная изоляция, когда фактически обособленно и независимо функционируют Движение, с одной стороны, и органы защиты демократических завоеваний народа — с другой. Причины этой обособленности — отчасти объективного, отчасти субъективного порядка... Однако несомненно одно: в интересах дела, с точки зрения государственного, гражданского, высокоморального подхода, мы можем и должны выйти из состояния изоляции и обособленности, мы можем и должны работать рука об руку, сотрудничать. Другой вопрос, что конкретные методы и способы такого сотрудничества оформятся лишь постепенно...

— Смот'ри, смот'ри, — перебил его Григорий. — Вон тот мужик, кото'рый шел со Львом Владими'ровичем! Вон тот, с боксе'рской челюстью! А где же сам Лев?

Вирхов так и не уловил, на кого он показывал, зато заметил среди певчих на правом клиросе обоих меликовых учеников: светского юношу с реденькой бороденкой, а чуть ниже, у киота с иконой Рождества Богородицы, иностранца Григория Григорьевича: тот трогательно заботился о каком-то изможденном старике, голый лысый треугольный череп которого, блестевший в огнях светильников, был испещрен темно-кирпичными пятнами. Вирхов мог бы поклясться, что это тот самый сумасшедший из клиники, пригретый Таней, но все же расстояние было слишком велико, и он спросил, не знает ли того Григорий.

— А это, по-моему, их бывший це'рковный ста'роста, — отвечал Григорий. — А 'рядом с ним, смот'ри, какой гусь! Наве'рное, большой начальник! Костюм как из се'реб'ра! И не к'рестится, а только откидывает со лба волосы. Да, и бесы ве'руют и т'репещут...[1]

— Ты меня слушаешь или нет? — нетерпеливо зашевелился Хазин.
— Там Григорий Григорьевич! — объяснил Вирхов.
— Я знаю. Это я назначил ему свидание здесь. Я попрошу тебя потом подойти к нему и все ему передать. Не исключено, что за мной следят... Так вот... Я сказал им, что важнейшее на сегодняшний день — это добрая воля к сотрудничеству различных общественных слоев, изживание тех предрассудков, которые исторически сложились в период культа личности Сталина... И они поняли меня! Они согласились со мной! Они немного поспорили, конечно, по тезису о «вырождении отдельных частей социального организма» и о «критической функции, которая присуща интеллигенции»... Разговор был длинный, мы решили перенести его на другой раз...

— Погоди, — разволновался Вирхов. — А ты не думаешь, что они...
— Ну, ну, что?
— Ты не думаешь, что они обманывают тебя? Что они запутывают, завлекают тебя? Играют с тобой в кошки-мышки?

— Меня?! Со мной?! — рванулся Хазин. — Да если хочешь знать, думаю!!! Я даже уверен в этом! У них есть такая мысль! Но мы... мы еще поглядим, кто тут кошка, а кто мышка! Понял? Со мной где сядешь, там и слезешь! Им не выиграть у меня эту партию!.. И знаешь, почему? Потому что на моей стороне историческая правда, вот почему! Потому что я не боюсь их! Я говорил с ними как «власть имеющий»! Пусть сажают, пусть ставят к стенке! Пусть ведут на Голгофу!!! Я ни на кресте, ни на костре не отрекусь от своих убеждений! Физические страданья — ничто в сравнении с теми душевными муками, которые я испытываю, болея за свой народ!.. Слышишь, это ведь обо мне они поют... вот, вот, про у з н и к о в! А еще раньше пели: да расточатся враги его! Мне понравилось. Я и пришел сюда, чтоб утвердиться сердцем, почувствовать,

[1] Послание ап. Иакова 2, 19.

как молится народ... Теперь мне ничего не страшно... Я все вобрал вот сюда!

> Радуйся, Дево, радуйся:
> радуйся, благословенная:
> радуйся, препрославленная:
> твой бо Сын воскресе тридневен
> от гроба! —

гремел хор.

Утратив от воодушевления разум, Хазин шагнул вперед, точно и впрямь хотел занять место на кресте или по меньшей мере со священниками в алтаре, и — удивительное дело! — народ, стоявший так, что, казалось, яблоку негде упасть, теперь легко подался, повиновался, расчищая идущему путь, никто не возражал, а бедная крохотная старушка прошамкала любовно: «Иди, иди, молись, милый!..»

Вирхов, обалделый ото всего этого, попятился назад передать Ольге свой разговор и с Хазиным, и с Петровским.

Выражение Ольгиного лица было ему непонятно: в экстатическом взоре ее, устремленном к царским вратам, запечатлелось столько откровенного счастья, что Вирхов даже позавидовал ей. Лишать ее этих минут блаженства было совестно; поколебавшись, он тем не менее сказал:

— Ольга, здесь Хазин!.. Он был сегодня... т а м... На допросе или на собеседовании, что ли... Он говорит, что Мелик там, у них! Им хотели устроить очную ставку! Но почему-то отменили... Слушай-ка, но до этого я наткнулся на меликова начальника Петровского...

Тревога мелькнула в Ольгиных глазах, но не долее чем на короткий миг.

— Ты что, ослеп?! — воскликнула Ольга; если б не храм, она бы расхохоталась.

— ?!

— Нет, ты просто ослеп! Да вон же он, вон!!!

— Мелик? Где?

— Да в алтаре же, в алтаре! Сейчас он выйдет! Он служит вместе с ними, с Владимиром и Алексеем! Третий священник — это он! Ты что, не узнал его? Ты плохо видишь?

Она указывала на того священника, про которого и Вирхов подумал было, что тот похож на Мелика; но от перевозбуждения Вирхов стал-таки видеть хуже и сейчас лишь понапрасну пялил глаза, не в силах под тяжелой златотканой фелонью различить движения знакомой фигурки.

— Это он, это он! — убеждала Ольга. — Он дал мне знак! Я поднялась на приступочку, меня потом спихнули оттуда, и он успел увидеть меня! Он улыбнулся! Понимаешь, его рукоположили! Как я рада за него! Теперь ясно, почему он скрывался от нас! Перед таким событием ему надо было смыть с себя всю нашу грязь, отрешиться от нашей суеты, страстишек! Господи, сколько лет он ждал этого часа! Видишь, сбылось! Жертвенная чаша его не опрокинулась! Так ему было нагадано, мы гадали с ним еще давным-давно, в юности. Ты слышишь, они поют об этом? «Молния! Образ потрясения. Все в страхе и трепете. Совершенномудрый человек идет своей дорогой. Познавая себя. Жертвенная чаша его не опрокинется»... Ты слушай, слушай!..

> ...Адама воздвиг от тли...

— Ты что, не понимаешь, что это он? Твой Хазин подлец и мерзавец! Ты пойди, пойди, продерись поближе! Иди!

Вирхов покорно пошел, не разбирая перед собой, однако, уж почти ничего: как при ударе молнии, изукрашенные своды храма, люди, лики святых и мучеников слились воедино, засверкали, материя исчезла.

> Пасха священная нам днесь показася,
> Пасха нова святая,
> Пасха таинственная,
> Пасха всечестная,
> Пасха Христос Избавитель...

Кто-то мягко взял Вирхова за руку. Это была Наталья Михайловна.

— Что ж вы своих не узнаете? — в шутку упрекнула она. — Христос воскрес. С праздником. Смотрите, там Лиза... А это мой сын, вы ведь незнакомы? Рада вас видеть...

— Я... я тоже очень рад... С праздником! Я, правда, очень, очень рад, что вы наконец... на воле! Я знал, что вы тут!

— Вот как мы встречаемся — то в сумасшедшем доме, то в церкви! Вы знаете, что Таня тоже здесь?

— Да, мы видели ее во время крестного хода. Если это была она...

— Наверное, она. Мы с ней потеряли друг друга... Вы, кажется, обижены ею? Вы не должны на нее обижаться... Бедняжка, ей так трудно сейчас... По-моему, она вами увлечена... Я немного посвящена... Она сказала, что между вами пробежала черная кошка. Позвоните ей на этих днях. Она не будет рассержена. Она вас ждет. Ей важна ваша поддержка. Может быть, вы и посоветуете ей что-нибудь...

— Посоветую?!

— Ну да. Она сейчас в сложном положении... Они не могут ни на что решиться...

— А кто они?

— Все их семейство. Им ведь прислали открытку из Инюрколлегии... Вы в курсе дела? Нет? Не догадываетесь, о чем может идти речь? Впрочем, никто еще ничего толком не знает... Мы только п р е д п о л а г а е м, что речь идет о... Таня сама, впрочем, расскажет вам... М-да... Короче, они в смятении, а вы прослыли человеком рассудительным...

— Я?!

— Не я же, — улыбнулась она. — Катерина, Танина мама... вы ей были представлены, она, кстати, тоже где-то здесь, пригласила, конечно, и меня ради такого случая на совет... Но что я могла сказать ей? Я такими делами сроду не занималась. Я поспрашивала у своих приятелей, кого сумела за эти дни разыскать, но они мне сказали только, что при операциях через Инюрколлегию взимаются огромные налоги, так что от капитала (если он там есть, разумеется) вряд ли что останется... Григорий Григорьевич, с которым вы тоже знакомы... Ну да, тот самый... предлагает оформить брак с Таней, фиктивный, фиктивный... чтобы она могла уехать с ним за границу и там получить эти деньги... Но я в сомнении. Таня тоже... Как отважиться на такое?! Неизвестно, что он за человек, хоть он и производит неплохое впечатление... Ну, а кроме того... сейчас, бесспорно, момент вообще малоподходящий... Все эти события... И Лев Владимирович... и Мелик... Так все сразу, внезапно! Как жаль их обоих!.. Левушка-то, я почему-то надеюсь, еще выкрутится, а уж Мелик... Увы!.. Я его не видела, правда, лет пятнадцать, а то и двадцать... Какая судьба! Вы не поверите, но Таня всегда говорила, что ей чудится, как его прямо влечет к смерти! Она говорила, что вся его жизнь была тайной борьбой со смертью... И никто этого не понимал!.. Не знаю, так ли это... Да и не каждая ли жизнь — это борьба со смертью?.. А когда похороны? Таня сказала, что вы ездили в Покровское сегодня, чтоб договориться похоронить его там... Что, сельсовет дал разрешение? Разумеется, нет, он ведь был прописан не там, а в Москве. А похоронить его там, в усадьбе, возле дома нельзя? Нет, я задаю глупые вопросы, я сама понимаю, что нельзя... Нельзя...

> ...обретоша Ангела, на камени сидяща:
> и той, провещав им, сице глаголаше:
> что ищете живаго с мертвыми...

— Вот вы слышите? — вскинула она голову — Нельзя... Но вот он, ответ! Вот те самые слова! Смерти нет! Ее нет, нет!

> О пасха, избавление скорби:
> ибо из гроба днесь, яко от чертога,
> воссияв Христос...

— Не смотрите на меня так... Всю жизнь я не хотела верить в Бога. Думала: и без того тошно! А теперь не могу вообразить себе, как могла жить без этого!.. И кругом... столько знакомых лиц! Я жила и не

знала, что эти люди тоже... нуждаются... Мне кажется, что сегодня здесь все! Даже те, кто вроде бы заведомо здесь быть не может, о ком я даже не знаю, живы они или умерли давно... Вот, смотрите, та старуха... нет, правее... да, она... так похожа на одну мою подругу по Бестужевским курсам, что я, право, диву даюсь. Но та, если жива, должна быть далеко отсюда... Хотя, впрочем, кто знает!.. А вон тот старик... да, высокий, да-да, как вы сказали, «небеспородный»... он тоже напомнил мне одного человека... Но это долгая история. Я как-нибудь расскажу вам о них, если соберетесь послушать...

Пусть никто не рыдает о своем убожестве,
Ибо явилось общее царство.
Пусть никто не оплакивает грехов,
Ибо воссияло прощение из гроба.
Пусть никто не боится смерти,
Ибо освободила нас Спасова смерть!

— Что вы так смотрите на меня? Удивлены? Старуха рехнулась? Или, наоборот, образумилась?.. Дай вам Бог жить иначе!.. Ей, Господи Царю, услыши мя, начинающу призывать Тебя... и даруй мне оставление грехов моих... молим убо Тебе... усердною верою... забыла все слова... Осанна-а... Благословен Грядый во имя Господне!..

1970—1975 гг.

Публикация Е. В. МУНЦ

А. СТРЕЛЯНЫЙ

Бывшие люди партии

Неподходящие мотивы

Последние две недели прошлого года я каждый день встречался с людьми, вышедшими из партии. В некоторых райкомах их уже называют выходцами, но в большинстве — по-старому, выбывшими.

До недавнего времени таких было мало.

Это были старики, перестававшие платить взносы, как только дотягивали до пенсии, и пьяницы из простого народа — те или забывали платить, или не имели чем. Попадались отставники, преимущественно нестроевых частей — изрядные, между прочим, хитрованы. Я знал одного майора: он устроился так, что партия его потеряла, а главное, не искала, поскольку сама не знала о своей потере. Сберегаемых взносов, хвалился майор, ему хватало как раз на одну лишнюю бутылку в месяц.

С лета прошлого года число выбывших резко подскочило. Я даже набрел на человека, который выбыл из партии, работая в одном из самых приметных партийных домов Москвы. Правда, работает он в подвале, по отоплению, но был оставлен в своей бойлерной и после того, как сдал партбилет,— вот что интересно, вот что в духе времени, говорили мне товарищи с этажей. Они, по их словам, сами его упустили. Исполнялось ему шестьдесят лет — забыли вручить грамоту. Он и обиделся.

Некоторые стараются не просто выбыть, а в ы й т и — причем обязательно каким-нибудь оскорбительным для партии способом.

— Мы его избрали своим групоргом, а он тут же возьми и выйди,— жаловался старый большевик в районе Сокола.

Я спросил фамилию и адрес этого шутника.

— Да в том-то и дело, что не подходит вам его фамилия, нельзя ее показывать,— вздохнул большевик с досадой.

— Какая все-таки?

— Ну, Гельфанд. Мы ему говорим: зачем тогда вы дали согласие, чтобы вас избрали? А вам, отвечает, разве не все равно, кого избирать?

Многие, может быть, уже большинство, уходят без каких-либо уловок и вывертов, открыто и серьезно. Их было бы еще больше, если бы кого-то не смущало то же самое, что когда-то при вступлении. «Не знаю, что и делать,— делился со мной знакомый литератор.— И вступать было нечестно, потому что выгодно, и выступать, гляжу, нечестно, потому что и это стало выгодно».

При всех заминках дело, кажется, быстро подвигается к тому, что люди будут спрашивать друг друга не «Почему ты вышел?», а «Почему до сих пор не выходишь?». Уже, собственно, придвинулось, с уверенностью могу сказать это по крайней мере о кадровых рабочих и высшей интеллигенции. «Выбираю момент,— объяснял мне профессор сосед.— К чему-то это надо приурочить, чтоб прозвучало как протест». Он имел в виду какую-нибудь крупную или одиозную партийную акцию вроде известного Заявления ЦК с угрозами прибалтам или возможного исключения Юрия Афанасьева.

В райкомах признают, что приятных людей среди выходящих уже стало больше, чем среди вступающих

Интересовался я, кстати, и вступающими. Узнал, где работает самый старый в Москве фотограф, и решил посидеть там в уголке. Этим человеком оказалась живая и доброжелательная женщина Мария Николаевна. Она снимала, а я смотрел на лица. Много было ветеранов войны и труда со всеми орденами и значками — усаживаются основательно, сидят с достоинством, но вместе с тем и смирно-терпеливо... Немало было девушек-лимитчиц, от которых еще Ельцин грозился избавить Москву,— сидят на краешке стула, предупредительно ерзают... Каждое третье-четвертое лицо шло на партбилет — этот заказ Мария Николаевна оглашает чуть громче, чем прочие. Я даже удивился, до чего много желающих быть с партией в трудные для нее времена. Мария Николаевна, однако, объяснила, что по ее ателье судить об этом нельзя: такой наплыв только к ней, ее работу давно знают в райкомах, вот и направляют людей со всего города.

Читано автором по «Радио Свобода».

Говорить со мною соглашались не все, вообще вели себя почему-то настороженно. Одна молодая женщина сказала, что ее ждут, и быстро, твердо ушла с молодым человеком в дубленке. Ничего вроде особенного, но сказала она это с какой-то особой, проницательной неприязнью. Сама была в короткой шубке, с яркими губами, я только то и успел узнать, что она из сферы обслуживания. Молодых женщин из этой сферы было, надо сказать, немало, не то что, например, из НИИ.

Одного студента-инязовца я спросил, что думают о его решении сокурсники.

— Считают, что вступаю для карьеры: чтобы в школе не работать,— сказал он.

Парень был рослый, коротко стрижен, с мужественным лицом, заметно старше своих двадцати двух лет.

— Служили? — спросил я.

— Да.

— Сержантом?

— Сержантом, — чуть-чуть покраснел он.

Прощаясь с Марией Николаевной, я спросил, замечает ли она, как меняются от десятилетия к десятилетию проходящие перед нею лица москвичей.

— Спокойнее были лица. А теперь развязные стали, грубые. Раньше было уважение к мастеру, теперь — нет, ты для них машина,— сказала она.

Помощников я себе искал среди друзей и через друзей. Связали меня с одной женщиной, работает секретарем парткома в крупном медицинском центре. Сказали: грамотная, прямая, ничего не утаит. Действительно, все выложила сразу. Из партии у нее за эту осень вышли двое: сторож и лаборантка.

— Такие люди, что и людьми их называть не хочется. Просит путевку на август, даешь ей на сентябрь — кладет партбилет. Годами мне нервы мотали. Когда они окончательно вышли, я заново на свет родилась.

Я ей сочувствовал, говорил, как интересно мне будет с ними познакомиться.

— Познакомиться? — возмутилась она.— С такими людьми? Ни за что! Я их вам не дам.

— Да почему, Бог с вами?!

— Мотивы у них неподходящие.

Я вспомнил старого большевика из района Сокола. Уж не сговорились ли они?

— Ни с кем я не сговаривалась. А только они шкурники. Все для себя.

— Ну, и что?

— Как что? Вы же писать о них, наверное, будете.

— Возможно. Ну, и что? Милая Татьяна Васильевна, ну, и что с того, что я буду писать об их мотивах?

— Да недостойные у них мотивы, как вы не понимаете? — сердилась она.

Я перевел разговор на другое, потом опять вернулся к своему. Выход из партии, сказал я, еще ведь не считается партийным долгом. Это еще не дело чести, доблести и геройства..

— Нет, Анатолий Иванович, нет! Вас мне рекомендовали, я не могу вас подводить. Скажут: шкурников подсунула. Куда это годится?

Смех смехом, а бесследно эта история для меня не прошла. Я вдруг поймал себя на том, что мне тоже хочется, чтобы выходцы, с которыми буду встречаться, оказывались людьми приятными во всех отношениях, без шкурных интересов. И это при том, что знал же я, каким неисчерпаемым источником для литературы был и остается шкурный интерес ее прототипов!..

Естественно, пробовал добыть какие-то цифры. Были люди, которые от души хотели мне помочь. Дело, однако, в том, что чисел не знает никто, наверняка даже сам Горбачев. В первичных организациях, в райкомах и обкомах это щекотливое внутрипартийное дело запутывают так, что распутать его никому не под силу уже сейчас, по свежим следам, а завтра — и думать нечего.

Человек, скажем, хотел выйти с шумом-треском, с заявлением, что он разочаровался, больше не верит и так далее, а его проводят по какой-нибудь из старых статей — и так он уже не вышедший с шумом-треском, а тихонько выбывший.

Человек положил партбилет, а его продолжают числить в рядах, исправно платят за него взносы. Чаще это делают парторги-женщины. В партии они видят живое существо и близко к сердцу принимают ее боль, объясняла мне одна. И так они сострадают ей целыми месяцами, бывает и до года, все ждут, что будет: то ли товарищ одумается и вернется, то ли умрет (не дай, конечно, Бог, но умрет все-таки коммунистом!), то ли выйдет указание не считать такие случаи браком в работе первичных организаций.

Часто поступают так: человек сам вышел, сам об этом заявляет, а его не слышат, исключают как опорочившего звание. Так он невольно оказывает партии последнюю услугу: способствует самоочистке в целом всегда здорового организма.

— Принимаю сейчас меньше, чем исключаю,— говорил мне в бане один подмосковный секретарь райкома.— Но нас ничто не ослабляет. Все нас только укрепляет. Убивали всех подряд — укрепляло это. Решили признаться, найти крайнего — укрепляет и это.

— Будем мухлевать до последнего,— подтверждал его сосед, помахивая веником.— Уже и партии не будет, а по нашей мухлевке будет получаться, что она живет и борется.

В Подмосковье внутрипартийная молва стоит на том, что все началось как раз здесь. Это, говорят, Месяц (первый секретарь Московского обкома) выступил с негласным почином: пусть они считают, что выходят, а мы их, гадов, будем исключать. На Кубани этот почин приписывают Полозкову, первому секретарю Краснодарского крайкома. Одесситы — своему и так далее.

...Наконец, специально интересовался, что думает о выходящих из партии московская улица.

В те дни как раз проходили теперь уже знаменитые декабрьские пленумы обкомов и крайкомов. С утра до вечера звонили знакомые журналисты, рассказывали, что творится. На всех пленумах открыто поносят Горбачева — и за что! У него, мол, куча неотложных дел дома, а он катается по Европам.

— Знал бы ты, сколько темного партийного народа возмущается этим совершенно искренне! — кричал в трубку человек из Барнаула.— Вы что же, спрашиваю их в перерыве, не догадываетесь, зачем он ездит? Не видите, что уже выездил? Революцию в Венгрии, революцию в Чехословакии, революцию в Болгарии, революцию в Восточной Германии...

Румыния тогда была еще на очереди.

— Ничего не понимают, отшиблено. Как попугаи, повторяют то, что им нашептывают сексоты. Когда одно и то же одинаковыми словами говорится на всех пленумах, от Кубани до Алтая,— не можете, говорю, сообразить, что это значит?

Продолжали поступать сведения, относящиеся к организованному Гидасповым противогорбачевскому митингу в Ленинграде. Оказывается, на этот митинг загодя, на казенный счет, свозили здоровенных партийцев из других городов — из Минска, например...

В это время я и пошел по московским улицам и паркам спрашивать людей, что они думают о покидающих партию.

Доминошники в Воронцовском парке, не дослушав меня, стали вдруг ругать Горбачева — за то же самое. Ездит! Сидели в бушлатах и полушубках, некоторые из них были военного покроя. Невдалеке кто-то купался в проруби, зычно фыркая. На него сыпался снег с вековых воронцовских дубов.

— И вы наслушались своих сексотов? — сказал я.

Хмуро стучали костяшками. Потом нашелся один, особенно убежденный, из московских армян.

— Если у вас ребенок заболеет, вы поедете в командировку?

— Если за лекарством для ребенка — на Луну полечу! — сказал я.

— Ладно. А почему не посылает десятого зама? Почему сам едет?

— Потому что замам Буш ничего не дает. Лично Горбачеву, из рук в руки.

Только после этого согласились разговаривать о том, что интересовало меня.

Из партии уходят карьеристы, понявшие, что больше ничего они от своего членства не урвут. Вот одно мнение.

Уходят те, кто боится, что их притянут к ответу за все, в чем виновата партия. Вот другое.

Из партии выходят потому, что она сейчас мало что значит. Вот третье мнение.

Выходят потому, что стало можно хорошо жить и без нее, даже лучше, чем с нею: в кооперативах, например. В кооперативах, к слову, выходцев особенно много. Это четвертое.

Среди пятого—десятого мнений я отметил такое: из партии уходят потому, что она потеряла доверие народа. И такое: все дело, мол, в разочаровании, охватывающем лучших людей партии. С этим мнением, между прочим, особенно враждебно не согласны труженики в пивных очередях: «Что значит — разочаровались? Что они — дети? Их что, насильно или, может быть, обманом тянули в партию?»

...Это мнение пивных очередей — суровый факт нашей жизни. Самый суровый из тех, которые мне пришлось усвоить за эти две недели.

Оловянный солдатик

Про себя Ковалев говорит:

— В нашем цеху я был самый стойкий оловянный солдатик.

Он шлифовщик на большом полувоенном заводе, долго был почти передовик, сейчас — середняк, зарабатывает не больше трехсот пятидесяти в месяц: много времени забирает политика.

Я встречался с ним поздним вечером того дня, когда рабочие решали, объявлять ли забастовку, чтобы заставить Съезд народных депутатов перейти к делу. В этот день Ковалев работал, но норму не выполнил: ходил с литературой и устной агитацией по цехам.

Сидел у меня на кухне в спортивных штанах и толстом свитере, крупный, с белым, не испитым, скорее, пожалуй, холеным лицом, пил чай и рассказывал, чем кончилось. В его цеху 34 человека выступили за то, чтобы бастовать, 32 — погодить. Во втором цеху 27 — бастовать, 14 — пока не надо, 54 воздержались.

— Мнения пока расходятся,— констатирует он спокойно.— Много страха, много неверия.

Вместе с тем он далек от того, чтобы гневить Бога. Во всех цехах сто процентов голосов было подано за то, чтобы поддержать требования Сахарова, а если правительство их не выполнит, тогда бастовать.

— Я считаю, это был лучший день за всю историю завода.

В партию Ковалев вступил 22 сентяб-

ря 1970 года, двадцати трех лет. Считал, что так у него будет больше возможностей бороться с «пеньками», которые мешают строить коммунизм. Чем и занимался восемнадцать с половиной лет.

Глаз на «пеньков» был наметан. Начальник цеха, секретарь парткома, директор завода... В борьбу никогда не вступал в одиночку, хотя слыл человеком отчаянным, способным дойти до ЦК,— отчаянным, но, говорят, неглупым, каждый раз старался поднять людей, это его правило, почему и считался особенно зловредным. Два или три «пенька» за 18 лет ему удалось победить, но с ним валяли дурака: «пенек» неизменно оставался в номенклатуре.

В 1979 году он решил разобраться в этом глубже, пошел в вечерний университет марксизма-ленинизма при Октябрьском райкоме партии. К этому времени он уже успел немного пообщаться с диссидентами. Один обретался в его дворе в котельной, другой — сторожем в детском саду по соседству. Оба были бородатые, головастые. Они говорили, что если хочешь иметь настоящие знания, то процентов на 60 их можно получить при любом строе.

Завкафедрой марксизма-ленинизма в университете был полковник Овчинников. Он любил, чтобы ему отвечали быстро и коротко, как на плацу. Однажды полковник велел Ковалеву объяснить в двух, естественно, словах, что такое была коллективизация.

— Требовалось, чтобы люди работали за палочки,— сказал Ковалев.— Для этого придумали коллективизацию.

Полковник выгнал его из аудитории, а в перерыве отозвал в сторону: «Это ты, Витя, можешь мне один на один так отвечать. А когда кругом столько ушей,— это глупость и даже подлость по отношению ко мне». Они поговорили про войну. Полковник считал, что в войну партия показала себя лучше, чем до и после. Ковалев сомневался. Как это может быть? Чтобы партия, которая столько лет была одна, вдруг сделалась другой? До войны Берия был Берия, а в войну стал не Берия?

В пору этих раздумий жена повысила разряд, перешла в новую, престижную парикмахерскую, готовилась сдавать на инструктора.

— У тебя семья,— сказала она однажды.

Он ответил, что она должна была знать, за кого выходила замуж. Что касается детей, то как раз ради них он все и делает, почему и просит больше его не беспокоить.

Тут подоспела горбачевская гласность. Она сильно на него подействовала.

— Я подумал: если партия сделала столько зла, то она может сделать еще больше добра. Все зависит от того, на что направить эту силу.

Но время шло, а на заводе и вокруг него ничего не менялось. Осенью восемьдесят восьмого года стало ясно, что никаких реформ им и не думали давать. На конец года набралось 50 миллионов долга. Директор завода был Герой Труда, хрипящая туша, не мог ни восстать, ни уйти, спал на собраниях. Приближенные жалели деда, райкому с министерством было на него наплевать, но они не хотели рисковать: неизвестно было, как поведет себя новый, спокойно ли.

Ковалев пошел по цехам: давайте потребуем гнать вельможу. Мы за свой брак отвечаем, пусть и он отвечает за свой. В это время Ковалев был парторгом цеха. Парторги других цехов пожимали плечами. Чего он добивается? От перемены дирижеров наша музыка (слова народные) не меняется. На отчетное собрание к нему ни с того ни с сего явился заводской партком, все девять человек. Завод большой, партком — на правах райкома, это не шутка.

— Сидим: семеро моих коммунистов и парткома девять лбов. Начали они меня полоскать. Крикун, аполитичная личность. Одно из двух, говорю, мужики: или крикун, или аполитичная личность. Аполитичная крикуном не может быть, ей на все начхать, как примерно большинству из вас. После этого их начало трясти. Тогда я заявляю: стоп! Иначе выведу всех, по одному. Среди них был Герой Труда, кавалер всех орденов, рабочий, он возмущался больше всех. Я предупредил: мы с Михаилом Сергеевичем обязательно разберемся, кто за что ордена получал. С каждым орденом разберемся.

Так было создано первое персональное дело Ковалева. Коммунист Ковалев оскорбил Героя Труда, обозвал его свадебным генералом. Строгий выговор... Потом еще три: за распространение самиздата, за попытку создать независимый профсоюз и, конечно, за дискредитацию директора.

— Хожу я — четырехзвездный генерал! Дело доходит до ЦК. Занимаются мной два месяца, с 25 ноября по 26 января. Потом говорят: вы, может быть, и правы, но чересчур горячий. Так, м о ж е т б ы т ь, спрашиваю, прав или прав без м о ж е т б ы т ь? ЭТО хоть вы за два месяца выяснили или нет? Что вы все крутите — и нашим, и вашим?

Пообещали снять с него два выговора («А два оставить, чтоб был на крючке») и гнать директора за развал завода. Но вместо «гнать» отправили на персональную пенсию.

— Вот из-за этого я и вышел из партии. Это была последняя капля. Больше я не верю, что партия может что-то изменить. Во всяком случае, к лучшему. К худшему — может, но тут я стараюсь ей мешать.

В цеху он заявил:

— Партия везде идет соучастницей преступлений и убытков. Так было все годы, так это и сейчас. Среди ее тузов ни одного чистого не было.

К нему стали приходить из других

цехов, и н т е р е с о в а т ь с я, некоторые просили л и т е р а т у р у.

— Начинаете все сначала? — спросил я без восторга.

— Не знаю. Рады бы не начинать.

Через три месяца сдал партбилет еще один видный рабочий. Его разочаровал первый Съезд народных депутатов, поведение Горбачева там. За ним пошли другие. Потек народ и с завода, почти тысяча человек за год.

— Это все,— говорит Ковалев.— При этой власти завод на ноги уже не встанет.

— Очень уж строгий вы народ,— сказал я ему.— Ну, вот что вы так навалились на своего старикана?

— От нас всю дорогу требовали чего? Чтоб мы жертвовали и старались. Мы обещали. Чтобы поддержать свой авторитет, что обещали — делали. И даже больше, так?

— Так,— должен был я согласиться.

— Теперь пришла наша очередь. Семьдесят два года о н и с нас спрашивали, теперь будем мы — с них.

Мои слова его задели.

— Ваши старикашы не отвечают ни за свои дела, ни за слова. Егор Лигачев недавно был в ГДР, хвалил немецкий социализм, очень ему этот социализм был по нраву, а теперь молчит: наверное, рад, что сам не в новом немецком социализме, а в старом советском — советский намного мягче.

Он много времени проводит среди интеллигенции, но пока остается самим собой. Его, например, мало занимают научные доказательства истин, которые для него разумеются сами собой. Не стал вчитываться в составленный социологами-неформалами анализ, из которого следовало, что Объединенный фронт трудящихся создан партийным аппаратом.

— Мне хватает моих доказательств,— говорит он.— Этот фронт борется за коммунизм. Всякому здравомыслящему человеку на заводе ясно, кому нужен коммунизм. Начальству и Героям Труда.

На меня произвело впечатление второе его доказательство.

— В этом Объединенном фронте подозрительно много порядка. Значит, замешано государство, люди на окладах. Посмотрите на «Московскую трибуну» или Межрегиональную депутатскую группу. Бестолковщина, недисциплинированность. Сразу видно, что ни КГБ, ни ЦК в этой нашей хилой оппозиции никакой роли не играют, только сплетни собирают.

Третье и последнее доказательство тоже показалось мне любопытным.

— Горбачев тоже вроде за социализм и даже за коммунизм. Но он все время повторяет: жизнь покажет. А этим ф р о н т о в и к а м жизнь уже все показала, социализм им нужен не тот, что, может быть, будет, а тот, который уже был.

Он не кичится тем, что он рабочий, но свою принадлежность к этому классу понимает отчетливо и, я бы опять же сказал, строго.

— Если мы сделали подлость: построили нашу власть на крови, то на ней только и могли стоять. Окончательной победы никогда не было. Про победу врали. Знали прекрасно, что не победим никогда. Единственное, что можем,— продержаться насилием какой-то период. Временно. Хоть сто лет — все равно временно.

Высказывается он уверенно, но не забывает всякий раз оговариваться: «я считаю», «по моему мнению», «мне кажется».

— Личность Ленина как раз сейчас держит партию в большом напряжении. Мне кажется, пока этому человеку не будет дадена его оценка, партия будет терять свой авторитет, а может, и падет совсем.

Личность эту он называет двоякой или даже троякой. Одна, мол, жила до семнадцатого года, другая — самую малость, после двадцать второго, а в промежутке был человек, который боролся за власть, и крови на нем не меньше, чем на товарище Сталине.

— Пока мы все худшее в нем не вытащим и не осудим, партия будет иметь в запасе террор. Всякий новый правитель сможет выбрать себе любого Ленина: или грамотного, или кровавого.

Примером ленинской грамотности он считает статью «Кризис партии».

— Там человек, который сумел понять ту бездну, к которой подошел вместе со своей партией по трупам мужиков, на штыках продразверстки.

С верой у Ковалева на сегодняшний день, по его словам, все в порядке.

— Мне кажется, надо построить общество для человека. А когда построим, тогда уже можно определять, то ли это социализм, то ли капитализм. Но строить надо самим, без мудрого руководства. Партия не способна что-нибудь построить, чтобы оно не развалилось и не придавило человека.

О Горбачеве отзывается с симпатией:

— Человек грамотный, видит, что мы из себя представляем, до чего дошла партия. Потихоньку убирает ее от власти... Мне кажется, в социализм он не верит, а просто понимает, что надо строить новое общество.

— И, однако же, весь день вы сегодня делали не что иное, как боролись против этого строителя, так что даже норму не выполнили,— заметил я.

— Ну, и что ж? При Горбачеве мы получили возможность против него бороться.

Он помолчал и неожиданно закончил:

— И это все. Похоже, больше ничего мы от него не получим. Все идет к жесткой развязке. Медленно, но четко пустеют магазины. Когда недовольство людей

выплеснется на улицу, его подавит армия. Главных виновников отправят на пенсию, уничтожат неформалов, и опять будет тишь да гладь... на какое-то время.

— Интересно, в каком лагере мы с вами будем сидеть? — сказал я.— В одном?

— Это вы будете сидеть,— сказал он.— А я сидеть не буду. Я в леса уйду, к партизанам.

— С чем вы туда уйдете?

— С кулаками. Пока люди будут сопротивляться, будет оставаться надежда.

— А махнуть на все рукой?

— Не получится. Тех, кто посередине, мельница все равно смелет.

Пять минут под дубом

После того как полковник Королев вышел из партии, он не перестал платить членские взносы, только теперь он переводит их в разные фонды — для инвалидов, для бастующих шахтеров, на независимые издания, в фонд милосердия. Он считает, что так его деньги, неизменные 16 рублей в месяц, три процента от оклада, расходуются более оптимально — на цели, которые он сам выбирает, а не на постройку какой-нибудь дачи, где будет набираться сил руководитель братской партии из бассейна Карибского моря. У полковника имеется альбом, куда он вклеивает квитанции своих переводов. Там же находятся копии телеграмм, посылаемых им от себя и от семьи в разные инстанции по важнейшим общественным поводам. «В горисполком. Протестую против выборов по производственным округам. Требую участия в Ассоциации избирателей Народного фронта».

— Вы думаете, это что-то дает? — задержался я на странице, где была наклеена эта телеграмма.

— Как вам сказать? Когда таких протестов набирается сто тысяч, помогает.

Он не только сам послал эту телеграмму, но и нескольких знакомых подвигнул на такой шаг. Не все понимали, в чем там подвох,— с выборами по производственным округам. Пришлось объяснять. По производственному — значит, на заводе. А что значит «на заводе»? Это значит — за турникетом, под опекой аппарата, хозяйственного, но все равно аппарата. Увидев, что требуется большая разъяснительная работа, он составил листовку, размножил ее (своим, особым способом — человек он технический, склонный к изобретательству) и вместе с товарищами распространял по предприятиям.

— И мы своего добились. Сессия Ленсовета отвергла принцип производственных округов. Это я считаю большой победой.

Из себя он не очень видный, худой, подтянутый, на работу ходит пешком. Быстрым шагом это занимает час. По пути проводит несколько минут под одним могучим дубом в парке. Стоять надо, учил меня, прислонившись всем телом к стволу, раскинув руки и глядя вверх, сознательно впитывать в себя исходящую от дуба силу, которую тот, в свою очередь, принимает от солнца. Но только это должен быть дуб, а не, допустим, сосна или ель: хвойные тоже действуют, но обратным образом — расслабляют, а не тонизируют.

Он охотно и необидчиво идет навстречу подозрениям, что он — чудак. Ему, говорит он, как и всякому советскому человеку, известно, чего не надо делать, чтобы жить, по возможности, без больших неприятностей и треволнений. Благоразумие простого, бесправного, в поте лица добывающего свой хлеб человека заслуживает понимания и сострадания. Но может быть и другое благоразумие, говорит Королев, более высокое, добавляет он чуть-чуть застенчиво. Всякая власть делает только то, что ей позволяют подданные, что они терпят. Когда они перестают терпеть, власть или уступает, или падает. Но перестают терпеть не все сразу. Сначала слышатся отдельные протестующие голоса. Тут загорелась свечка, там... От той — эта, от этой — та. Глядишь — и затрещало, заполыхало. Человек, который понимает этот закон жизни и зажигает свою свечку, не особенно оглядываясь по сторонам, не обязательно чудак.

— Мое поведение,— говорит полковник Королев,— научно обосновано.

Весной прошлого года он специально задумался о линии партии. Что она собой в конце концов представляет, эта линия? Горбачев говорит одно, делается другое. Руководящие лица партии уже и повторять за ним его слова перестают. Делается невыгодно, что ли? Поведение этих лиц — всегда поведение в высшей степени здравомыслящих людей. Он знает это не понаслышке. В военном училище был комсоргом группы, в академии — парторгом курса, в частях по местам службы не выбывал из бюро и парткомов. Божья тварь никогда не станет есть то, что ей не подходит,— так и кадры партии. Всякий знает, что ему может повредить, какое его действие или слово — бывает, достаточно слова — может остановить его на служебной лестнице. Значит, идти сейчас с Горбачевым они считают опасным для себя? Ни один не выглядит белой вороной, даже Яковлев что-то перестал выделяться. Там и сям попадаются люди вроде новые, но приглядишься — те же. Несвежие, серые... Прислушался, как они говорят. Убогий словарь, канцелярские обороты. Речь людей, ничего, кроме циркуляров, в своей жизни не читавших.

Среди них есть, конечно, дураки, но и самые большие их глупости не выходят за рамки партийного благомыслия. Руководитель Белоруссии Ефрем Соколов запретил Народному фронту республики собраться на свой первый съезд у себя дома. Белорусы поехали к литовцам, в Вильнюс, учредились там. Запреты и преследования наполнили Народный фронт энергией, вызвали к нему интерес населения — естественно, в ущерб партии. Соколову за это — ничего, ни один волос не упал с благоразумной головы. Почему? Объяснение может быть одно. Он остается чист перед своей партийной совестью, и партия это знает. Ни у кого не может возникнуть предположения, что он замышлял что-то против... Получается в таком случае, что если кто и виноват, так это Горбачев: давать Народным фронтам по шее разрешает, а свернуть ее — нет, оглядывается на Запад — что скажет Тэтчер.

— Я перестал прятать голову в песок,— рассказывает он.— Путь, который партия считает для себя наиболее желательным, один: не вперед, а назад. Причем не к Брежневу, а к Сталину. Никто не в силах изменить это стихийное тяготение.

— Вы дошли до этого логическим путем? — спросил я.

— Дойти логическим путем, наверное, можно, но надо заниматься этой проблематикой специально,— сказал он.— А я все-таки не занимался, хоть и был в активе. Поэтому потребовался личный опыт. Тут, оказывается, очень важна эмоциональная сторона. Это трудно рассказать, тут вроде ничего особенного...

Молодым офицером-исследователем он заинтересовался проблемой военных потерь, людских и материальных. Его поразили советские потери. При самых сокрушительных поражениях, жесточайших разгромах такого не бывает. Не может быть, чтобы в десятки раз были превышены все разумные значения, все прогнозы. Противник был серьезный, слов нет, но с нашей стороны делались совершенно неразумные, необъяснимые вещи. Уже идет война — большая война,— идет катастрофически неудачно, обстановка выдвигает на первый план управление массами войск, а тут уничтожаются целые штабы, свои, крупнейшие, как тот же штаб Павлова. Каждый человек на счету — и миллионы в лагерях, и лагеря продолжают наполняться. Какие-то дикие, кроваво-бюрократические реакции в духе сумасшедшего восточного властелина, но при несравнимых масштабах!.. Психика Королева это, в общем, выдерживала, психика советского человека может выдержать все — не выдерживало свежее высшее военно-техническое образование, в нем шел вразнос вчерашний курсант-отличник.

Из этого потрясения, почти еще юношеского, вышла тема первой научной работы. Он взял ключевую проблему стратегической разведки: внезапность военного нападения. Что такое внезапное нападение? Бывает ли оно? Можно ли его предвидеть? По всем материалам, да в конце концов просто из самого факта существования на одной планете, по соседству, на виду друг у друга крупнейших государств — не иголок в стогу,— по всему выходило, что никакой внезапности в нападении Гитлера не было и не могло быть. А что же было? Предательство? Патологическая некомпетентность руководства? Это выходило за рамки темы. И предательство, и глупость во главе сверхдержавы могут быть и причиной, и следствием одновременно. Если полный разлад в государственном организме, если извращены или прекращены самые необходимые и обычные его отправления, тогда все может быть. «Ваша работа бросает тень на советское партийно-государственное и военное руководство»,— сказал генерал, под началом которого делалось исследование.

На некоторое время Королев потерял интерес к своей науке. Он понял, что при таком подходе новый сорок первый год неизбежен. Надеяться можно только на то, что не появится новый Гитлер. Этот строй вообще обречен на сорок первый год во всех областях, не только военной, он предательский по отношению к самому себе.

У него сразу появилось свободное время, которое он решил использовать, конечно же, для расширения своего культурного горизонта. Первым делом прочитал всего Пушкина, потом все о Пушкине, на это ушло года три — и потрясение было не меньше того, которое бросило его в эту область. Оказалось, что в пушкиноведении то же самое. Почти все, что было напечатано с середины двадцатых годов, никуда не годится, этим нельзя пользоваться! — ошеломленно делился он со знакомыми из Пушкинского Дома. Все перекручено, переврано, поставлено с ног на голову... Нашлось и такое, что неожиданно соприкоснулось с его прежним предметом. Пушкин осудил польское восстание тридцатого года, было с ним такое несчастье. Больно кольнул предвзятый пушкинский взгляд на Запад. И только руками мог развести незадачливый специалист по проблемам стратегической разведки, когда читал, что писалось у нас по этому поводу, на что намекалось. Пушкин, оказывается, гениально прозревал русофобские происки Запада...

В 1985 году Королев с удовольствием ушел в запас, стал работать в промышленности, близко к своей специальности: системы управления и связи. Сразу влез в общественные дела. Настроение было хорошее — с приходом Горбачева начиналась совершенно новая жизнь, которой никогда не знал. Он вошел в совет трудового коллектива, в его руководство и два года старался, чтобы лозунг хозрасчета наполнился практическим содержанием. Занимался совершенно конкретными вопросами, выяснял, что реально, что нет, как перестроить отношения подраз-

делений, какие обойти рогатки. К весне восемьдесят восьмого программа была готова. Она обещала большие выгоды всем, даже начальству. На первых порах возникли бы трудности и трения с тем же начальством, но при некоторой настойчивости партийной организации как организации — политической организации! — все уладилось бы.

19 апреля Королев должен был выступать с докладом о своей программе на партийном собрании. Перед этим было заседание бюро. Там он откровенно сказал, что для него это своего рода эксперимент. Отвергнуть его программу можно только под надуманными предлогами. Если он не найдет поддержки в партийной организации, ему придется сделать самые серьезные политические выводы. Он не может судить о партии по декларациям ее высшего руководства или только по ее программе. Главный критерий — практика. Он связан с партией прежде всего через конкретную первичную организацию. Политика партии — это не абстракция.

В бюро были люди, которые ему симпатизировали. После заседания они, как показалось ему, стали симпатизировать не меньше, а больше, только с оттенком участливости,— что-то ты, Валера, слишком серьезно на вещи смотришь. Он отвечал, что все понимает, в партии не три года, а тридцать, но как раз поэтому считает, что пришло время один раз отнестись к делу серьезно, ждать следующего раза он себе позволить не может — цейтнот...

Собрание не приняло его программу, все утонуло в разговорах, весьма оживленных, так что под конец его осенило: то, что он считал всеобщей апатией, никакая не апатия. По крайней мере у тех, кто на партийных окладах. Они исполняют некую волю, саботажную волю. Организационные принципы в партии всегда были важнее всего. В партии умеют приводить к послушанию любого человека и любое задурившее звено. В том, что происходило, самодеятельность исключалась.

На следующий день Королев подал заявление о выходе из партии. Секретарь парткома отодвинул от себя его листок — не надо, Валера, забери, зачем лишние неприятности нам да и тебе, через год ведь переаттестация.

— Я себя прокормлю,— сказал полковник.— Могу быть таксистом, печки хорошо кладу. Могу в кооператив уйти компьютерами заниматься.

— Клади печки,— живо откликнулся парторг.— Будешь кустарь, никому за тебя отвечать не придется.

Дома же Королев сел за стол и стал вычерчивать график. Гипотезу относительно подлинной линии партии следовало проверить. Он выстроил в определенном порядке все, что исходило из Москвы с апреля 1985 года. Вверх откладывал все прогрессивное — все законы, постановления, инструкции, так или иначе раскрепощавшие страну. Вниз у него шло все, что закрепощало или тормозило раскрепощение. В одном месте стремительно шедшая вверх кривая внезапно сломалась и полетела вниз. Он глянул на шкалу времени. 1988-й год, лето. Загадочное лето восемьдесят восьмого. Макушка этого лета совпала с высшей точкой перестройки. Из крупных событий в макушке этого злосчастного лета было одно: девятнадцатая партконференция.

Когда мы говорили о том, какая самая большая ложь соответствовала каждому из важнейших перидов советской истории, и дошли до последнего периода, полковник сказал:

— Самая большая ложь — это о девятнадцатой конференции. Конференция не одобрила перестройку и тем более не толкнула ее вперед. Все было наоборот.

Так что, когда он услышал от одного народного депутата, что во время конференции была проведена в узком составе другая, тайная, на которой высшие партийцы приняли свою тактику и стратегию, договорились, как давить перестройку, полковник не удивился.

Сверяясь со своей бумажкой — так именовалась занимающая весь стол простыня, он стал перечислять. Антирабочие законы. Предоставление особых полномочий репрессивному аппарату и подавление ряда мирных общественных проявлений. Одно за другим якобы секретные постановления Политбюро, в том числе и о противодействии попыткам создания оппозиционных партии структур. Все меры в области экономики, удушение кооперативного движения. Все, как по заказу, подтверждают, что эту партию не могут оживить мирные конструктивные задачи, она их не выдерживает. Ей нужен враг. Она должна кого-то подавлять, что-то разрушать, бороться не на жизнь, а на смерть. Все ее организации — винтики одной машины насилия. Без привычного дела она начинает разлагаться — показуха, вялый бюрократизм, казнокрадство. Она почти по инстинкту самосохранения, почти бессознательно желает чрезвычайного положения для себя и для страны. Исполнять из страха — она больше ничего не умеет. Но из страха нельзя исполнять что угодно. Исполнять из страха приказ насчет хозрасчета невозможно, это не реквизиции, не высылка кулаков и подкулачников, не разгрузка скопившихся между Москвой и Смоленском вагонов. Это дело тонкое, изначально рассчитанное на интерес свободного человека. Поэтому настоящего приказа и нет, ничего нет.

— Из вашей падающей с лета восемьдесят восьмого кривой есть выплески,— сказал я.— Позволили нам насмотреться на съезды, на съездах давали слово Сахарову, напечатали Солженицына, приняли революции в Восточной Европе...

— Есть выплески,— сказал Королев.— Еще бы им не быть.

Последнее из его увлечений — сыск. В порядке опыта он тайно расследовал несколько уголовных дел, довольно серьезных, от которых отступилась милиция. Он убедился, что с этим способен справиться такой обыкновенный человек с высшим образованием, как он. Преступность будет расти не беспредельно, рассуждает полковник, в конце концов будет достигнуто такое насыщение жизни опасностью, что за дело вынуждено будет взяться само население. Станут появляться группы, отряды, кооперативы, да — самообороны, а у него к тому времени уже будет кое-какой опыт. Порядок должен быть. Человек должен без страха выходить на улицу — как и платить исправно за квартиру, между прочим, и не скрывать своих доходов. Если не справляется с этим одна власть, обязательно появится другая.

В тоне, каким он говорил со мной, не было возмущения, недоумения, злорадства — тех чувств, с которыми похожие мысли о партии высказывают сейчас многие. В его тоне, манерах было глубокое спокойствие человека, который чувствует приближение очень серьезных событий. Что-то грядет, говорит он. И перед тем, что вот-вот грядет, впадать в истерику или восторг, как и привычно заботиться о собственном благополучии, бесполезно. Самое умное, считает Королев,— надевать чистую рубаху и делать то, для чего обычно солдаты надевают чистые рубахи.

Перед отъездом из Ленинграда я постоял под дубом полковника. В спину входила сырость, как ни пытался я убеждать себя, что это — сила.

От Маркса ко Христу

Эту заметку о выходящих из партии я назвал «От Маркса ко Христу». Для человека, знакомого с историей марксизма, в том, ЧТО означает этот заголовок, ничего особенного нет, кроме того, что речь идет о современных людях.

В свое время многие шли от Христа к Марксу. Обычно это бывал грандиозный переворот в человеке, хотя некоторые пытались его сглаживать, убеждая себя, что между Евангелием и Коммунистическим манифестом нет пропасти. От Христа к социализму собирался провести Алешу Карамазова Достоевский, чтобы потом проследить его обратный путь.

Среди тех, кто выходит сейчас из партии, уверовавших в Бога мало. Их было больше, хотя тоже немного, в брежневские времена, когда расставание с КПСС могло обернуться встречей с казенным домом или домом скорби. «Он или сумасшедший, или хочет уехать»,— оправдываясь перед райкомом, говорили в журнале «Советский экран» о Валерии Борщеве, когда он заявил, что выходит из партии. «Мы проверяли,— отвечали райкомовцы.— На учете ваш работник не состоит».— «Значит, хочет уехать».

Это, видимо, не случайно, что в семидесятые годы религиозников средн выходивших из партии было больше, чем сейчас. Обретя новую веру, человек тут же хотел подвергнуть ее испытанию, проверить себя: выдержу ли, не увлечение ли это. Присутствовало, видимо, и небезызвестное русское желание пострадать за веру. Но что касается уравновешенных людей, то с ними, сколько я могу судить, было проще: им претила двойная жизнь. Обычно это был народ с хорошим высшим образованием.

Движение от Маркса ко Христу определенно связано с влиянием Солженицына. Как раз тогда, в начале 70-х годов, в самиздате широко пошли его книги. В них действовали новые для нас герои: сознательные идеалисты. Они рассуждали так, что привычные нам коммунистические воззрения становились в наших глазах легкомысленно-наглыми и скучными. С нами происходило то, что столетием раньше переживала русская молодежь, проделывая под влиянием Дарвина противоположный путь.

Что Солженицын оказался христианином, подействовало на всех, а на некоторых — очень сильно. Он вызвал интерес к отечественным философам-идеалистам. Кинулись доставать их книги, переснимать, обсуждать на кухонных семинарах. Выяснилось, что некоторые из них начинали как марксисты. Возникло желание проследить их путь. Это само по себе должно действовать на человека облагораживающе. Подавить в себе чувство превосходства над людьми прошлого — уже добрая половина дела. Даже если прогресс существует, лучше все-таки преклониться, чем возноситься, смиренные всегда лучше, для христиан это безусловное...

В размышлениях и признаниях своих предшественников они находили созвучное собственному опыту.

Я спрашивал Валерия Борщева, что ему дало пребывание в партии.

— Кое-что дало,— сказал он.— Понимание некоторых внутренних механизмов. У Бердяева есть размышление о том, чем отличается партия от церкви. В партии центром совести является коллектив. В церкви центр совести в личности. Я это ощущал. Это ощущение, что не ты отвечаешь за принимаемые решения. Ты идешь в потоке, и прямой ответственности за направление этого потока на тебе нет. Всегда чувствуешь свои ограниченные возможности, понимаешь, что иначе и быть не может. Вместе с чувством личной ответственности притупляется чувство личной значимости. Это неплохо выразил Маяковский. «Единица — вздор. Единица — ноль. Один, даже если очень важный, не поднимет пятивершковое бревно, тем более — дом пятиэтажный»... Понижение личности в

партии — это самое плохое. Это то же самое, что в шайках. Этим они бывают сильны, но состоять в них недостойно человека.

Выплыли из тьмы, пошли по рукам «Вехи» — кажется, самая неприятная для Ленина русская книга.

«Когда я ее купил за 150 рублей,— вспоминает физик, ныне беспартийный, а тогда служивший по политической части в техническом вузе,— то первое, что меня удивило,— тоненькая». Он знал от авторитетного человека, что кто-то из гадов, написавших эту книгу, призывал интеллигенцию благодарить царское правительство за то, что оно своими штыками спасало их от народного гнева. Этим авторитетным человеком был Ленин. Мог ли молодой партийный работник ему не верить? Но тут представляется случай проверить. И что же он читает? Мы, пишут «Вехи» о революционно и материалистически настроенной интеллигенции, так виноваты перед народом за то, что несли ему не свет, а тьму, что не будет удивительно, если он нас больно накажет. Вот какой смысл их благодарности правительству, которое в то время еще было способно сдерживать революцию. Люди раскаиваются, а Ленин пишет: продаются... «Сначала я подумал, что он просто торопился,— говорит физик.— На бегу прочитал книжную новинку, на бегу намахал статейку о ней — бывает. Но после этого я засел за него как следует. Начал с «Материализма и эмпириокритицизма», потом вник в его споры (с неплохими, между прочим, специалистами!) о путях выхода из кризиса 17-го года, потом увидел, как он разделывается с людьми, предлагавшими нэп, а через пару месяцев вводит этот самый нэп, с ними же продолжает разделываться как ни в чем не бывало: уничтожает, ссылает и высылает, объявляет агентами мировой буржуазии. Так я узнал, от кого пошла эта практика: пришивать человеку слова, которых он не говорил, пришивать мысли, которых он и в голове не держал, пришивать дела, которых он не совершал, пришивать намерения, симпатии, знакомства — что угодно! Я задумался: что же это за идеология такая, что для выживания ей требуется столько мелкого жульничества, не говоря уже о крови?»

Внешние обстоятельства разрыва с партией у каждого свои и, естественно, не всегда совпадают с обстоятельствами их внутренней жизни. Религиозное переплетается с политическим, житейским и даже научным. В случае с журналистом Львом Тимофеевым важную роль сыграли особенности самой процедуры приема в партию. Для людей умственного труда существовала негласная очередь. Сначала вас ставили в эту очередь, потом вы должны были собирать рекомендации, следовали одно за другим собрания и заседания — партгруппы, бюро первичной организации, собрание всей организации, встреча в райкоме со старыми большевиками и, наконец, вызов на бюро райкома, после чего вы становились всего лишь кандидатом в члены КПСС.

В самом начале этого марафона Тимофеев засел за книгу *, которая в конце концов привела его не в партию, а в тюрьму. Его заинтересовало, как так получается, что два процента пашни под приусадебными участками дают больше половины сельскохозяйственной продукции страны. В отдельные пятилетки и по отдельным продуктам, таким, как овощи, картошка,— намного больше половины. Без этих двух процентов народ, значит, просто не мог бы существовать. Для чего же тогда 98 процентов, которые отданы колхозам и совхозам? В чем смысл всей этой организации... механизации, химизации, мелиорации и наглядной агитации?

Приемные процедуры двигались своим путем, а работа над книгой — своим. Тимофеев изучал порядки и способы, с помощью которых партии удается десятилетие за десятилетием держать такую большую и богатую страну в нищете. Он все яснее видел, какое это непростое дело. Нищета не может долго длиться своей внутренней, нищенской, так сказать, силой. Человек так устроен, что он все время пытается выбиться из этого состояния — и при благоприятных условиях довольно быстро выбивается. Так что если государство ставит своей целью не допустить этого, то оно должно бдеть и бдеть, постоянно подрывать его силы и рвение. В чем и состоит роль правящей партии...

Он проследил шаг за шагом хозяйственную политику времен Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Красной нитью проходила именно эта забота, даже при нэпе. При нэпе-то она особенно бросалась в глаза. Как только народ начинает поправляться — весь или в какой-то своей части,— тут же следует раскулачивание. В скобках приходится говорить, что сейчас сюда можно было бы добавить и время Горбачева: начиналось таким погромом частных тепличек от моря до моря, который займет не последнее место в ряду исторических свершений, а заканчивается полным развалом внутреннего рынка. Из песни о Горбачеве этого слова не выкинешь, да и он что-то не спешит ни объясниться с народом, ни что-либо исправлять. И при каждом погроме прямо объявляют, что очередной народный шаг в сторону от нищеты, который пресекают, есть шаг в сторону от марксизма-ленинизма, от идеалов коммунистической партии.

Лев Тимофеев не захотел состоять в партии, чьи идеалы действительно идеалы нищеты, как он убедился, пока работал над своей книгой. За книгу его судили, дали 11 лет. Крест на шее был, естественно, отягчающим вину обстоятельством. Надзиратели, рассказывает он, старались всячески обидеть и унизить такого человека. Партийные верхи никогда не приветствовали тех, кто говорил им, что они неправильно веруют и их общего Маркса. Но надзиратели этих правоверных особенно не выделяли. А крест на шее нестарого образованного зека выводил их из себя.

* См. «Октябрь» № 7 с. г.

Вот подумать: почему?

Читая Солженицына, люди вслед за ним задавали себе вопросы о советской истории. Почему было то, что было, и могло ли не быть? Как это связано с прошлым России? Со свойствами и перипетиями русской общественной мысли? В чем вообще смысл того, что случилось в 17-м и происходило потом? Трудно, в самом деле, жить, думая, что смысла никакого не было и нет, что это просто кратковременное (а кратковременное ли?!) помрачение мирового разума. Некоторые находили успокоение в мысли о неисповедимых путях и недоступных человеку целях.

Льву Тимофееву, по его словам, стало легче, когда он понял, что история — это таинство, что нечего и пытаться постигнуть законы движения человечества, а тем более — его будущее, как бы ни горели любопытством ненасытные очи. Казалось бы, решив, что дело обстоит таким образом, следовало бы махнуть на все рукой и заняться личным устройством, ведь и это — не самое плохое, если никому не причиняешь вреда. Но нет, уверовавший рассуждает иначе. Я не знаю божьего замысла, но участвовать в ЕГО историческом творчестве все-таки могу. В пути к неизвестной цели человек не оставлен без компаса. У него есть совесть. Человеку всегда дано сознавать, что такое хорошо и что такое плохо. Что хорошо, то и угодно Богу, то и помогает жизни. Вот и делай, не мудрствуя, что велит тебе совесть. Главное — не бойся.

Выпущенный на волю Горбачевым, Тимофеев, говоря языком газеты «Правда», спокойно принялся за старое: стал выпускать на дому «журнал независимых мнений» — «Референдум». В историю русской журналистики он войдет как одно из лучших, культурнейших среди не подчиненных властям изданий 80-х годов.

У Валерия Борщева решение покинуть партию возникло в феврале семьдесят четвертого года в ответ на проповедь Солженицына «Жить не по лжи». Это было как раз время, когда он много читал о гонениях на церковь, узнавал уму непостижимые вещи. После революции готовился закон о запрещении причастия как колдовского действа... В привычном спиливании крестов с церковных колоколен он увидел однажды некий изуверский обряд, в ленинской ненависти к церкви, смущавшей даже его близких соучастников (церковь уже не представляла собою никакой политической угрозы новому строю, а ее все продолжали гнать, убивали и убивали священников... «Может, хватит?» — говорил ему будто бы Бухарин...), притязания на утверждение новой религии. То, что основателя этой религии превратили в мощи и выставили на вечное обозрение, было не издевательством над памятью цивилизованного атеиста, как считали марксисты плехановского толка, а закономерным воздаянием — был-то он кем угодно, только не атеистом...

Узнавая, что Борщев выходит из партии, одни жали ему руку, другие высказывались в том духе, что можно быть порядочным человеком, оставаясь в системе; свои правила игры есть в каждом обществе, нарушать их неблагоразумно и как бы даже не совсем уважительно по отношению к окружающим, то есть, в общем, не по-христиански. Борщев отвечал, что ему делать это так же страшно, как было бы любому из них, но он не одинок — у него есть духовник, волю которого он выполнял, подавая свое заявление, все это у него с ним обсуждено, взвешена и та доля истины, что содержится в их позиции...

Люди этого круга не любят распространяться о своих религиозно-философских исканиях, никого не зазывают в свой монастырь. Этим они, образованные православные, отличаются, как заметил мне один из них, от наших баптистов — тех он с улыбкой назвал пропагандистами и агитаторами, неутомимыми разносчиками сведений о чудесных исцелениях. Преимущества жизни во Христе, сказал он, они рисуют такими красками, что иному может показаться, что это почти так же выгодно, как и пребывание в партии.

В марксизме-ленинизме для образованных православных из бывших партийцев особенно неприемлем культ силы, принципиальная воинственность этого учения.

Лев Тимофеев говорит:

— Политэкономические изыскания Маркса могут быть интересными, но когда его доктрина доходит до дела, то оказывается, что все там основано на насилии. Насилие для марксистов — самая естественная вещь на свете. Это принимается без обсуждения. Они ведь знают (откуда, кстати, они это знают?), что насилие — повивальная бабка истории. Это страшное дело!

Ему, конечно, известно, что в теории насилие допускается, да и то неохотно, только над частью народа — над эксплуататорскими и паразитическими классами. На практике, однако, эту выборочность никак невозможно соблюсти. Начинают с подавления эксплуататоров, продолжают подавлением эксплуатируемых. Никому еще не удалось остановиться. Значит, что-то не так в самом учении. Можно понять обездоленного человека, который вышел с кистенем на большую дорогу. Но зачем вооружать его еще и теорией? Считается, что с одним кистенем он будет вечно обездо-

леным — вот в чем дело. Упускается, обходится заповедь: не укради, не пожелай чужого. Учение разбоя и для разбоя... Вот что надо сказать, если говорить без выкрутас.

Христианский взгляд на марксизм-ленинизм, убеждены бывшие коммунисты, самый проницательный и доступный всякому человеку. Бери Евангелие и Коммунистический манифест, клади их рядом и сравнивай... Это, в общем, всегда делали и сами марксисты, пусть, может быть, и не совсем сознательно, особенно наиболее грешные из них. Почему Ленин до последнего момента не решался бросить в массы свой лозунг «Грабь награбленное!»? Потому что этим он окончательно и бесповоротно разоблачал себя. Это был призыв уже не к классовой борьбе, а к разбою. Политический деятель, произносящий эти слова, выводит себя из политики. Грамотный человек, он к тому же не может не понимать, что барского добра, если бросить его в толпу, всем не хватит и на неделю. Значит, он сознательно выводит себя не только из политики.

Верующие и на это смотрят по-своему. Они говорят о дьявольской привлекательности этого учения и этих лозунгов, не исключая и некоторых их носителей. Слово «дьявольский» в устах религиозных отщепенцев от передового учения звучит в прямом смысле, оно не означает «очень» или «чрезмерно». Дьявольская привлекательность — значит, порочная привлекательность Дьявола, нечистой силы, обман и соблазн.

...Как-то сидели мы в одном доме — люди разных убеждений и занятий, но в той или иной мере неугодные власти, обедали и мирно разговаривали. На столе был горшок с перловой кашей и кастрюля холодного компота. Кашу накладывали в миски, заливали компотом. Это была украинская кутя — памятная по детству роскошная рождественская еда. Трапезу благословил только что вернувшийся из отдаленных мест священник, от которого, по своему обычаю, давно отказалось его многогрешное начальство. Некоторые из нас здесь виделись впервые, другие — после перерыва в несколько лет, оживленно расспрашивали друг друга, что с кем было. Один вдруг со стуком положил ложку и откинулся на стуле.

— Мужики, а это ведь фантастика! Конец двадцатого века, столица сверхдержавы, люди давно побывали на Луне, а мы сидим за этой убогой трапезой и о чем, смеясь — не плача, потому что нельзя же все время плакать! — говорим? О том, что процедура приема в партию такая, что человек успел написать книгу, а пока писал, разочаровался в устоях этой партии и попал не в партию, а за колючую проволоку!..

Я подумал: это нам, людям, родившимся при этом строе и немалую часть жизни бездумно проносившим его в каждой клетке, — и то дико. А каково было все понимавшим людям тогда, в семнадцатом, сразу после семнадцатого, в тридцатых? На что они могли надеяться?

А ведь было на что, было, как теперь выясняется!

Ленин, Сталин, Демон...

— В такой партии, которая не идет по марксистско-ленинскому пути, мне делать нечего, — заявляет, в том числе и письменно, Юрий Юрьевич Демон.

С «не по ленинскому» он мог бы еще как-то мириться, потому что Ленин, как известно, только отчасти был марксистом, а больше занимался тактическими вопросами, но то, что КПСС пренебрегает Марксом, разводит его с нею на полюса.

— Мне не место в ней, — повторяет он. — Тем более что и партии как таковой нет. Без четкой программы, без ясных целей, с одними общими установками, говорил Маркс, партии не может быть. А где у КПСС эта ясность? Где крепкий идейный скелет? Что она хочет сделать? Конкретно! И когда? Сроки. Главное — сроки. Где они?

— К двухтысячному году Горбачев обещал каждой семье приличное жилье, — вспомнил я один срок.

— Прошло пять лет, — на лету отбил Демон. — Что сделано для выполнения?

Я торопливо ворошил свою память. Может, сказать ему про академика Аганбегяна? Призванный из Новосибирска в Москву научно обеспечить перестройку, он обещал... да, тоже к двухтысячному году, — что в СССР будет создана экономика, какой не знала история.

— Сроков нет, — сказал Демон. — Этим партия себя и выдает. Свою идейную несерьезность, несостоятельность. Партия, которая уходит от разговора о сроках, — это не партия. Это обычная структура власти, как в любой стране. Штат управленцев. Машина господства. Она стремится к одному — существовать. Ее расплывчатая программа маскирует другую, настоящую: четкую, простую, грубую программу. Программу самосохранения. Это говорю не я, это говорит Маркс!

— Да, Юрий Юрьевич, — сказал я. — Приперли вы ее. Не пожалели. Верю: чужие вы с нею.

По специальности он компьютерщик, кандидат наук, работает в большом научно-исследовательском институте, руководит группой исследователей. Ему пятьдесят лет, у него семья, скромная, но уютная квартира в старинном доме с высокими потолками, он любит работать руками всякую столярно-малярную работу. Это его хоть как-то успокаивает,

без чего он не мог бы продержаться последние пятнадцать лет.

Пятнадцать лет назад Юрий Юрьевич был обыкновенным человеком с высшим техническим образованием, когда-то изучавшим философию и политэкономию в институте и, как все, забывшим и думать о них. Совершенно неожиданно для себя, занимаясь далекими от философии и экономики делами, он решил проблему устройства и развития материи. Как только я это от него услышал, мне сразу захотелось узнать, как же она устроена, косная, таинственная, веками ускользавшая от земного разума. Юрий Юрьевич попросил потерпеть, сейчас не до материи. Меньше чем через год после разгадки атома и космоса (космоса — тоже) он открыл, как можно быстро, лет за десять, построить коммунизм. Нашел способ.

Вспомнив, что это по части философии и политэкономии, он засел за Маркса с Энгельсом. Попутно перечитал и других корифеев вплоть до Суслова и Федосеева. Каким же было его удивление, когда он убедился, что учение Маркса нисколько не устарело, и каким потрясение, когда обнаружил, что с самого начала все у нас делается не так, не по Марксу. Учение оказалось верным, но не всесильным.

В чем видел Маркс цель коммунистов? В низложении всех привилегированных классов, подчинении этих классов диктатуре пролетариата путем поддержания непрерывной революции вплоть до осуществления коммунизма, который должен явиться последней формой устройства человеческого рода. Вместо такой вот настоящей социалистической революции в России в семнадцатом году произошла просто вторая за тот год буржуазная... Диктатура пролетариата даже не возникла, она как была лозунгом, так и осталась, а при Хрущеве и лозунг сняли. Пролетариат к власти не пустили. Одна группа образованных людей сменилась другой — группа Керенского группой Ленина.

— Вы, что же, надеетесь, что этот ужас не позади, а впереди? — перебил я рассказ Юрия Юрьевича.

— А как можете вы знать, что диктатура пролетариата — это ужас? — сказал он спокойно. — Ее ведь еще нигде не было и нет.

У нас, оказывается, произошло то, что планировал не Ленин, а Михаил Бакунин. Это он собирался уничтожить эксплуататоров и заменить их у власти учеными революционерами. Захватив Зимний, они пошли по самому простому и выгодному для себя пути. Вместо того чтобы с самого начала бить в одну точку: включать народ в строительство новой жизни на всех участках, от финансов до культуры, — устроили мудрое руководство сверху, власть не пролетариата, не народа, а личностей — революционеров, экономистов и философов, юристов и публицистов. Маркс хорошо понимал, ЧТО выйдет из бакунинского плана: не что иное, как весьма деспотическое управление народными массами новой и весьма немногочисленной аристократии действительных или мнимых ученых.

Отсюда все и пошло, объясняет мне Юрий Юрьевич.

Марксизм, например, настаивает на единственно правильном принципе организации — упрощении, так, чтобы все было понятно рабочему человеку, любой шаг в сторону мгновенно обнаруживался бы и пресекался. А у нас избрали путь усложнения. Для управления переусложненным организмом потребовался гигантский бюрократический аппарат, да и тот не справляется со своими задачами. А люди там работают нормальные, советские.

По Марксу, у заводской администрации не должно быть никакой власти, кроме чисто технической, инженерной, а у нас она царь и Бог на своей территории.

Страна считается живущей по Марксу, содержит армию профессиональных идеологов, крупнейшую якобы коммунистическую печать, а между тем никакие законы и порядки, никакие нововведения не проверяются на предмет соответствия их марксизму. Партия, которой тем бы только, кажется, и заниматься, совершенно устранилась. Антимарксистские слова и дела гуляют по городам и весям, не встречая ни малейшего сопротивления, не получая никакой отповеди.

— Все делается не так, все! — повторял и повторял Юрий Юрьевич. — По крайней мере не так, как предусмотрено у Маркса.

— Делается или идет? — решил я все-таки уточнить в какой-то момент, завороженный картиной, которую он невольно нарисовал: поучительной картиной жизни, которая ни на минуту, ни на йоту, ни в одном своем закоулке не подчинилась гениальным предначертаниям: уродовалась, сходила почти на нет, но не сдалась.

— Какая разница, делается или идет? — отмахнулся он.

— Коренная, как я понимаю. Идет — значит, независимо от людей, от их теорий и постановлений, своим путем.

— Тогда, конечно, делается. В обществе ничто не идет само собою, только делается. У нас — недалекими и безответственными людьми, — сказал Юрий Юрьевич.

В свое время, когда он обнаружил это уклонение, вернее, увод жизни от предначертанных путей, сердце его, признается он, наполнилось гневом и болью, слезы застлали глаза, и он тут же доложил обо всем лично Леониду Ильичу Брежневу. «Полное забвение марксизма, — писал он, — привело все человечество, а не только нашу страну на грань катастрофы».

Его вызвали в КГБ и посоветовали не беспокоить занятых людей.

Но как же так получилось, что все пошло не по Марксу? Кто виноват?

— Наука, а кто же еще?

Юрий Юрьевич даже удивляется моему вопросу. «Это он, академик Абалкин, и ему подобные украли у пролетариата, трудового народа, всего угнетенного человечества его единственное оружие в освободительной борьбе от гнета и эксплуатации, наемного труда и рабства — теорию построения коммунизма»,— пишет Юрий Юрьевич в своем «Обращении марксиста к советскому народу».

Эти нахлебники, эти паразиты на теле государства завели страну в тупик, а теперь все сваливают на народ, якобы не доросший, по словам Абалкина, до того, чтобы по-хозяйски управляться с современными машинами. «Именно поэтому мое, как и марксизма, отношение к ним будет беспощадным»,— предупреждает Юрий Юрьевич. До всех он уже не доберется, многих уже нет,— ведь это величайшее групповое преступление по извращению марксизма длится уже полтора столетия, начавшись сразу после физической смерти гения, но ныне живущим не поздоровится.

Человек объективный, Юрий Юрьевич не сбрасывает и такую причину победы бакунизма над марксизмом, как рабочий класс, который так до сих пор и не научился пользоваться своей властью: слабо требовал с ученых, плохо за ними следил, мало жучил. Ленин надеялся: «Научится, была бы охота учиться». (Это когда он обнаружил в Петрограде идейных рабов буржуазии и дипломированных лакеев поповщины, которые неправильно трактовали некоторые религиозно-философские и бытовые вопросы,— не радовались, например, росту разводов после революции и оставались совершенно безнаказанными. Пришлось срочно гнать негодяев за границу — последний урок, последняя услуга Ильича победившему пролетариату. Это действительно была услуга. Благодаря предсмертной вспышке высочайшего гнева остались живы и, написав целую библиотеку славных книг, померли своей смертью Бердяев и Шестов, Степун и Вышеславский, Франк и — целый пласт русской культуры.)

— Почему все-таки рабочий класс не оправдал надежд вождя? — спросил я Юрия Юрьевича.

— Я же вам говорил: у него украли теорию.

Мне показалось несколько странным его отношение к науке. Как можно клеймить науку, пусть и общественную, за то, что она того-то еще не знает, а того-то не умеет? Многим хотелось бы побывать на Марсе, но у кого повернется язык материть ученых, которые пока не могут устроить это путешествие! Приращение научных знаний — это как рост плода, темпы тут во власти Бога.

— Вы совершенно игнорируете классовую сущность общественных наук,— объяснил мне Юрий Юрьевич.— но ваше недоумение законно. Почему, в самом деле, произошло забвение марксизма? Как случилось, что его извратили? Дело прежде всего в том, что марксизм чрезвычайно сложен. Теоретические положения его разбросаны по тысячам книг, статей, писем, изложены часто отрывочно и непопулярно. Маркс и Ленин мечтали сделать краткое изложение своих теорий на языке, доступном рабочему, но так и не успели...

В своем «Обращении к народу» Юрий Юрьевич написал более красиво: «Не успели завершить светлое здание философии марксизма».

— Или не смогли,— сказал он после паузы.— Чтобы это сделать, надо было сначала завершить диалектику природы и диалектику общества.

— Ага! — вспомнил я.— Это то, что удалось вам пятнадцать лет назад.

— Да, я случайно вышел на эти проблемы и решил их,— скромно сказал Юрий Юрьевич.

Поэтому он и может сейчас предложить миру «итог, сумму, вывод» из всех ста томов марксизма в понятном даже рабочему виде, причем в привязке ко всем проблемам современного человечества. Главное им совершено. Энгельс, считавший, что такой труд не под силу одному человеку, и потому не пожелавший даже начать его, посрамлен. Заодно Юрий Юрьевич дал отпор всему миру современной науки, включая и тех, кто берется за разгадку атома и космоса, не обогатившись марксизмом.

Так что дело не так плохо, но момент критический. Пользуясь разгулом гласности, ученые мужи уже потеряли контроль над собой. Они дружно высиживают гидру капитализма, творя тем самым не революцию, а контрреволюцию. Западные специалисты не случайно сравнивают перестройку с переходом от феодализма к капитализму. В этих условиях Юрий Юрьевич один сохранил голову. Он знает не только то, что должно быть достигнуто (это процентов на восемьдесят было изложено еще в хрущевской программе партии), но и как это сделать. С каждым днем он все больше осознает, что его пятнадцатилетнее молчание о найденных им решениях является преступлением перед человечеством. Он, правда, пытался пробиться в печать, но, видимо, недостаточно настойчиво. Директор института марксизма-ленинизма ему заявил, что его штат укомплектован квалифицированными философами и экономистами, которые уже приступили к делу.

— Больше я молчать не буду,— заявляет Юрий Юрьевич.— Не имею права. Я найду способ вернуть человечеству марксизм в его более ярком, завершенном виде. Если, конечно, не буду уничтожен или изолирован...

К сожалению, он слишком долго искал пути к правительству страны, на знамени которой написан марксизм. Опрометчиво надеялся, что его предложения будут услышаны и приняты и советский народ первым начнет наконец реализацию марксизма на практике. Теперь он обращается непосредственно к нему, к народу. Обращение единственного человека на планете, который знает, как вернуть всю нашу жизнь в лоно марксизма. Он берет на себя социальный заказ и ответственность за подготовку и публикацию основного закона развития экономики к коммунизму. Вообще за подготовку и публикацию единственно верных марксистских положений по любым злободневным вопросам.

На построение коммунизма, по его прикидкам, потребуется ориентировочно 15 лет. Сроки будут им уточнены по ходу дела, за два-три года. Некоторые отрасли уже через три — пять лет могут быть переведены на коммунистический способ производства...

Для этого нужно немногое. Безусловно и широко напечатать все, что он написал и напишет. Обеспечить его всей необходимой ему информацией и специалистами для выполнения его поручений. Практически будут заняты этим штаты Госплана и Совмина. И, конечно, создать Юрию Юрьевичу условия для работы. Он должен дорожить своим временем и не отвлекаться на житейские трудности. Претендует он на самый минимум: квартира с кабинетом, помещением для библиотеки и для совещаний, с хорошим узлом связи. Желательно обеспечение безопасности, так как врагов у него будет предостаточно — от примитивных паразитов и дельцов теневой экономики до светил современной науки, которые знают, что им очень не поздоровится, если трудовой народ поймет с его помощью, что к чему.

Он старается сохранять спокойствие, только по напряженному взгляду и подрагивающим пальцам видно, чего ему это стоит. «Теперь выбор за советским народом,— завершает он свое «Обращение»,— принять или не принять мою программу, то есть вернуться к марксизму и осуществить все светлые мечты человечества».

С партией он порывает, надежд на соглашение с нею почти не осталось, хотя, если она поймет свою выгоду и ответственность, он готов и вернуться. Она должна напечатать его труды — это главное условие примирения.

— А если люди не примут ваш план построения коммунизма? — спросил я.

— Примут. Им только прочитать, что мной написано...

— Ну, а если?

— Примут! — скрипнул он зубами.

Только в такие минуты можно догадаться, какая это для него мука: знать, что в твоих руках «единственная теория, защищающая интересы трудового народа планеты от паразитов всех мастей, а также дающая человечеству ключ к разгадке тайн природы», что уже 15 лет назад можно было приступить к делу и сегодня коммунизм был бы свершившимся фактом по крайней мере на шестой части, и упираться раз за разом в такое препятствие, как интересы кучки недоумков и мошенников с учеными званиями... С ума можно сойти!

Вся трудность его положения прояснилась для меня только в конце, когда я захотел все-таки узнать, как она устроена, материя, и как его построить, коммунизм. Оказалось, что Юрий Юрьевич не может открыть этого, пока не получит в свое распоряжение объединенный штат Госплана и Совмина. Чтоб не украли... А ОНИ не хотят ему верить, что он ЗНАЕТ! Заколдованный круг. Только русский народ с его сметкой и здравым смыслом может разорвать этот круг, только трудовая масса с первых строк «Обращения марксиста» к ней поймет, что Юрий Юрьевич действительно з н а е т...

Нетрудно догадаться, что скажут люди об этом моем герое. А что вы, собственно, имеете в виду? — спрошу я вас тогда. То, что он считает себя единственным и непогрешимым? Ну, а, к примеру, Суслов Михаил Андреевич не считал себя таким же? Кто вообще соглашался делиться с кем-либо этим бременем? Или вас настораживает, ЧТО он обещает через 15 лет? Тогда вспомните обещания его предшественников. Они что, тоже все были т о г о? А кто убеждал швейцарских коммунистов поднять трудовые массы на возведение баррикад в сонном Цюрихе? Солженицын это не придумал, все взято из такого-то тома бессмертных сочинений. Если вы т а к о моем герое, тогда что вы скажете, например, о Николае Ивановиче Рыжкове, который на глазах у изумленного мира трудолюбиво заливает советский пожар бензином своей экономической программы?

Нет, меня смущало не это в моем герое. С чем-нибудь в этом роде сталкиваешься каждый день. Вспомнить письмо могучей кучки деятелей нашей культуры Горбачеву насчет подбора кадров. Плохо, журят его, кадры подбираете, Михаил Сергеевич,— не самых образованных и передовых на важные места ставите! Это что — нормальность: дожив до седых волос, не понимать, что такие вещи решаются не царским произволом, а борьбой политических сил?

А у нашего героя между тем встречаются наблюдения, делающие честь не только марксисту-самоучке. Он, например, сам обратил внимание на знаменитое письмо Энгельса о том, что будет, если коммунистам вдруг привалит власть раньше времени. Кстати, это письмо сильно удивило, рассказывают, Твардовского, когда он прочитал его в статье одного из авторов своего журнала. Еще бы! Энгельс предсказал Сталина и сталинизм.

Встав у власти до срока, «мы будем вынуждены,— пишет Энгельс,— производить коммунистические опыты и делать

скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы,— надо надеяться, только в физическом смысле,— наступит реакция, и, прежде чем мир будет в состоянии дать *историческую* оценку подобным событиям, нас начнут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками, что гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспективу».

Это письмо не раз, хотя и не так уж часто, толковали, примеривая прогноз Энгельса к перипетиям нашей революции и строительства социализма в отдельно взятой стране со слабой промышленностью. Людей как бы успокаивало, что советский период нашей истории, оказывается, может быть во что-то уложен, в какую-то логику, может быть объяснен... Меня всегда больше интересовал автор этого письма. Не знаю, можно ли сказать, что как раз сейчас она у нас и происходит, реакция на преждевременные коммунистические скачки. Прыгунов, уже покойных, действительно называют и чудовищами — переполовинили население, и дураками — своими экспериментами разорили полмира. Но вот был же человек, который предпочитал, чтобы его в случае чего считали даже чудовищем, лишь бы не дураком, и рассчитывал на справедливый суд истории, на то, значит, что она, то есть мы, скажет: они были такими кровопийцами не потому, что не любили других напитков (в женевские годы любили баловать себя иной раз светлым пивком после дня в библиотеке), а потому, что они были коммунисты и как таковые не могли отказаться ни от власти — ни от самих себя!..

Вот и подумаешь, беседуя с каким-нибудь непризнанным корифеем марксизма в Медведкове или на Хорошевке: а ну как найдется завтра в России некто с бредом реформаторства, но не явным, стертым, и скажет: все то, что вы, пользуясь гласностью, проклинаете, было таким ужасным просто потому, что тогда для таких дел было не время, а теперь, сами понимаете, Россия не та, у нее и мощная индустрия, и то, и это — так не повторить ли те опыты в новых условиях, а? Даже у этого, у Юрия Юрьевича, есть узнаваемые замашки, он, скажем, взял себе псевдоним — Демон, да, я аж вздрогнул: был Ленин, был Сталин, пришел Демон — когда же это кончится?

Когда...

В стране разруха, в партии разброд и шатание, а в такие моменты ой как повышается спрос на людей, способных возгласить из зала: «Есть такая партия!» — и пройти на сцену быстрым деловым шажком в сопровождении широко загребающего матроса Железняка. «Да он маньяк!» — будет кричать какой-нибудь Станкевич об одном. «Да это же горилла!» — вскрикнет Старовойтова о другом. Будут и возмущаться, и смеяться. До первого тычка в зубы.

Освободитель белорусской земли

На вопрос о своих отношениях с партией Клавдия Васильевна Трифонова отвечает не то что заученно, но продуманно и как бы торжественно:

— Я в протест всем этим безобразиям, хапугам и алчным перестала ходить на партийные собрания и платить партийные членские взносы, перестала ходить на все выборы и держать любую связь с этой бюрократической системой! Тем самым я, как человек, как пожилой, как прошедшая войну, думала: этим я обращу на себя внимание. Это было в восемьдесят четвертом году, тогда еще перестройка не начиналась, а сегодня вон уже какое число декабря месяца восемьдесят девятого года, перестройка идет уже сколько времени, и никто на мой протест не среагировал...

Число декабря было семнадцатое, за день до сахаровских похорон. Мы встречались с нею в Москве, куда она приехала из Чебоксар, в одном ветхом барском доме возле Елоховской церкви, пили чай за большим старинным столом с белой скатертью, цветами в вазе какого-то крепостного завода, яблоками на голубом блюде. У ног Клавдии Васильевны стоял потрепанный портфель, набитый ее перепиской с партийной и советской властью, газетными вырезками, документами гонимого Чувашского народного фронта.

Клавдия Васильевна была в синем пиджачке со всеми своими орденами, медалями, значками, среди них был и тускло серебристый орден Славы.

— О своем выходе из партии я поставила в известность компартию Белоруссии, поскольку я часто там бываю как освободитель белорусской земли. На этой земле я вступала в партию в 1943 году в составе 604-го отдельного саперного батальона 324-й стрелковой дивизии... Из компартии Белоруссии мое заявление переслали в компартию Чувашии, первому секретарю обкома, в Чебоксары, по месту моего жительства...

Первой от поступка Трифоновой пострадала первичная парторганизация, в которой она состояла на учете. В райкоме эту организацию стали сильно *унижать*. Поэтому, когда Клавдию Васильевну вызвали в райком на бюро, где должны были разбирать ее заявление, она пошла. Целью ее было защитить свою парторганизацию, сказать, что виновата не она, эта организация, а они: райком, горком, обком и ЦК с их бюрократическими *изъянами*. Клавдия Васильевна приводила им конкретные факты с места своей последней работы

(она была техническим сотрудником в Чувашгосуниверситете): какие там злоупотребления на вступительных экзаменах и на протяжении всего учебного года, кто из профессоров и лаборантов замешан в разных неблаговидных делах, которые она объединяет в одно понятие — извлечение нетрудовых доходов. Рассказала, как пыталась с этим бороться своими силами, как ее стали выживать, об изданных задним числом порочащих ее приказах...

Ее выслушали и даже не записали о ее речи ни слова в протокол.

— Поэтому я сейчас другим, поступающим по моему примеру, говорю: «Не ходите к ним. Если и пойдете, ничего не говорите — все равно нигде ничего не запишут, и, если будет проверка, нечего будет проверять, они следов не оставляют».

Она маленького роста, с широким лицом, на котором поблескивают из щелочек живые спокойные глазки. Она говорит о себе «я», но иногда и «мы», как когда-то русские крестьяне и мастеровые. Что русский не ее родной язык, узнаешь не по выговору и не по ошибкам, которых почти нет, а по особой, быстрой музыке речи.

— Вы хорошо говорите по-русски, Клавдия Васильевна,— заметил я.

— Я коренная чувашка. По-русски учил меня белорус. Он был у нас старшина. Провожая на задание, нас информировали, что надо делать, а когда мы возвращались, то изложить выполнение боевого задания не могли, кроме как по отдельности словами. Старшина терпеливо слушал, только когда улыбнется и скажет: не так надо говорить, вот так это надо говорить... Старшина 604-го отдельного саперного батальона 324-й стрелковой дивизии.

— Как же вы пошли на фронт, не зная русского языка? — удивился я.

— Совсем не знала, совсем. Меня мобилизовали, одну из деревни. У меня отца не было...

Саперный батальон стрелковой дивизии — не самое гиблое подразделение, но и не прачечная.

— Как вам удалось живой вернуться, Клавдия Васильевна?

— Это мое счастье, что меня ранило. Вот я так могу объяснить. На территории Климовичей Могилевской области. Перебиты были ноги, таз, вся левая половина. Ранена я была осколками мины. Я лежала там очень долго, меня никак не могли вывезти. Был каменный дом школы, там я лежала. Потом меня одиннадцать суток везли до Свердловска. Там я долго лечилась, потом в городе Казани открылся дом-интернат инвалидов Великой Отечественной войны, и я там стала жить...

Через несколько лет она приехала в Чебоксары. Передвигалась на двух костылях. Работать стала секретарем в суде, одно время была помощником прокурора по уголовным делам, потом двадцать лет состояла в должности заведующей приемной Президиума Верховного Совета Чувашии. Там она имела дело с жалобами и жалобщиками, некоторые до сих пор узнают ее на улице, приветствуют, говорит она, и руки на плечи кладут. Ее вообще все любят и уважают, кроме партийных и государственных органов, за нее даже партийная организация, которую она ходила защищать на бюро райкома.

— До сих пор со мною в связи. Поздравляют с праздниками, я их поздравляю. Они говорят, если кто спрашивает,— знаем такую, она достойный товарищ, из партии в знак протеста вышла. Когда нездоровится, приходят, чем могут, помогают. Этим, я считаю, я счастлива.

— Не страшно было выходить из партии? До Горбачева ведь было дело, при Черненке,— спросил я.

— А знаете, я не могла мимо изъянов проходить! Я хотела, чтобы все у нас было светло, хорошо, дружно, мирно. Мы и до Горбачева, и без Горбачева за это вели борьбу, я не одна, я знала других таких... А как же мы могли не бороться? Преступники прикрываются именем партии! У нас, в Чувашской республике, сколько я ни слышу, не говорят «коммунисты», а говорят «члены партии». Это, я думаю, самая большая, трагическая боль. Ведь нет веры, никакой веры в партию нет, а это как раз идет от «членов партии», которые в руководстве...

На глазах у нее появляются слезы.

— Это больно, больно, и оставить ее было легче, чем среди таких находиться.

Руководство, по ее мнению, должно было бы таких, как она, выслушивать в первую очередь, а оно не выслушивает и поэтому не знает, что творится на местах, а если знает, то это еще хуже: значит, оно покрывает преступников и бюрократов с партийными билетами, позволяет им затирать народные движения. Все годы, что Горбачев у власти, они, местные парторганы, ничего не делают, нагло ничего не делают — только затирают народные фронты, где грубо, где тонко, но с одной целью: дождаться на своих теплых местах возврата к старому.

— Итак, даже выйдя из партии, вы все-таки продолжаете считать себя коммунисткой?

— Я считаю, пока московские вышестоящие органы с их командно-административными изъянами по-бюрократически смотрят на партию, я — беспартийный большевик.

— Беспартийный — понятно. А почему большевик?

— Потому что большевики боролись, никого не боялись. Они напролом шли, о своей жизни не думали.

— Да, Клавдия Васильевна? Да они, как зайцы, боялись Сталина, оплевывали друг друга, предавали — трусы были самые последние!..

— Я говорю про большевиков, кото-

рые были при Ленине,— отвечает она, сильно волнуясь.— А этих, которые членами партии стали называться, я не имею в виду. Когда мы на фронте воевали, мы были одна семья, все за Родину, за светлое будущее. А когда мы стали узнавать, как народ ходит из кабинета в кабинет, как его выталкивают, как люди не могут свою справедливость доказать,— тогда я перестала верить.

Она знает, что творилось до войны в стране, про миллионы уничтоженных большевистской властью, про лагеря, но у нее о том времени самые светлые воспоминания. Эти воспоминания она не хочет держать при себе.

— Вы поймите меня правильно, я приношу извинения,— прикладывает она руку к груди, и ее медали тихо звякают,— но в довоенные годы мы не знали, что вокруг творилось. Мы жили в глуши, в бедности, радио не было. И я вам скажу: мы жили тихо, полной душой, в согласии, хоть у нас, кроме худых лаптей на ногах да пары валенок на одну семью, ничего не было.

На фронт ее мобилизовали в декабре, одну из села. До районного центра было четыре километра. Лежало много снега, был сильный мороз. Все село шло за подводой.

— Я, конечно, тоже не сидела, тоже шла,— вспоминает Клавдия Васильевна.

Шла она в лаптях. В военкомате ей объявили, что в лаптях дальше не отправят. Без русского языка на фронт брали, в лаптях — нет. Одна женщина вернулась в село, взяла свои семейные валенки и принесла ей.

— А сейчас? — говорит Клавдия Васильевна.— Чего только нету у людей, а вот хотя бы эти валенки — кто принесет? Это только редкий человек, кто на себе испытал горе, кто хочет людям добрую память оставить о себе, может так сделать. Что сталось с народом? Кто его превратило?

Вообще-то она знает КТО. По крайней мере — что...

— У меня перед глазами и сейчас, не скрою, мой дядя Горшков Николай Филиппович. Жил совсем бедно, дом у него был по-черному, но его раскулачили. Почему? Рядом с этим старым домом он поставил новый под железо. Даже войти в него не успел. Я маленькая была — не помню, пол, потолок был ли, нет ли. А крыша была, это помню. Каждый крестьянин, чтобы под дождем не испортились бревна, сразу старается крышу натянуть. Забрали у него этот дом, половую доску, что рядом лежала, и все имущество. А имущество его было: лапти, чугуны, ложки-плошки. И еще, отходя, скажу: у нас, по традиции чувашей, когда дочь родится, сразу начинают думать о приданом ей — чтоб были подушки, перина. А сын родится — для сына коня. Вот у дяди была дочь, и у него, значит, перина и несколько подушек были приготовлены. Кроме этого, ничего не было. До сих пор в ушах звенит... Посадили их на телегу, сами двое, пять человек детей — мало-мальские. Дядя говорит одному из тех, кто его раскулачивал: «Илья, ты ведь мой кум, мой дом СЕБЕ взял, ты в нем жить будешь. За это хотя бы несколько денег на дорогу! Ты же ведь знаешь, у меня копейки денег нет, вот увозят нас». Так со слезами и уехал, и погиб: он, жена, трое детей, двое только остались...

В пятьдесят шестом году, когда начались реабилитации, она написала в архив. «Сообщите, пожалуйста, на каком основании раскулачили и выслали моего дядю Горшкова Николая Филипповича». Ей прислали выписку из дела: фамилия, имя-отчество — и больше ничего.

— Как это?! Я со слезами пошла в архив. Мне показали дело. И там, в деле-то этом, правда, ничего, кроме фамилии! Остальные графы все свободные. В других делах: коров столько, овечек столько, маслобойка, в семье людей столько — все графы заполнены, а у моего дяди — только фамилия...

Этой историей она отвечает на свой вопрос: КТО испортило народ? И знает, что отвечает именно на этот вопрос.

— Я откровенно заявляю. Вот эти подушки, перина, вот эти лапти, ложки, крынки, что у дяди были,— куда они делись? Разбились, порвались, по ветру перья разлетелись? Нет. Стало быть, их взяли люди. И взяли без спросу и бесплатно.

В моих родных местах (это Украина) есть примета: кто украдет ложку, тот обречет себя на вечную нищету — вічні злидні. Я вспомнил это, следя за ее рассказом.

Потом сказал:

— Значит, все дело в собственности, Клавдия Васильевна? Вы, может быть, и за частную, хоть и большевичка?

— Анатолий Иванович, Анатолий Иванович! Как же мне за нее не быть?! Вы посмотрите, кто сейчас против частной собственности. Это бюрократы, которые не хотят трудиться, а хотят очень хорошо жить. Они не только против частной собственности, но и думают: «Ах, еще бы один период коллективизации устроить! Мы бы все отняли у людей и еще какое-то время жили бы, не работая». А за ними, Анатолий Иванович, много-много людей, которые извлекают нетрудовые доходы из казны государства. Это каждое учреждение, каждое предприятие, которое через своих руководителей по своему усмотрению растаскивает казну. Иное и существовать не должно бы, а оно существует, и хоть будут там все люди честные, они все равно расхитители получаются, Анатолий Иванович, все! Мы, которые за частную собственность, им мешаем, они боятся из-за нас потерять свои кормушки, они знают, что, если пойдет частная собственность, она за себя постоит!

Да, подумалось мне тут о Ленине, которого она чтит, да... Вот это анализ! Вот это большевики пошли...

— Сейчас крестьянин работает до черного пота...

Ой, не все, Клавдия Васильевна, не все, на то они и государственные!..

— ...и умирает, не видя достаточности, не услышав слова «спасибо». Это очень страшно. А если было бы у меня свое поле, чтобы я его обрабатывала, засевала, прополку совершала, убирала урожай, тогда я знала бы: мое! Это мне награда, это мне «спасибо». Это все понимают, Анатолий Иванович, все, только не все в этом заинтересованы, вот они и создают негативное мнение против нас, сторонников частной собственности...

— Ленин, Клавдия Васильевна, ЧТО Ленин сказал бы на ваши слова?

— Товарищ Ленин желал очень хорошего, доброго для трудового народа, чтобы люди работали, чтобы были заняты, приносили пользу для себя и для государства...

Ох, Клавдия Васильевна! Да какой же правитель не желает того же?

— Но товарищ Ленин — он тоже не все мог предвидеть.

Перед тем как выйти из партии, она ездила в Горький посмотреть на Сахарова.

— Издали его видела, только издали. Прогуливались они с супругой, и около них в гражданской форме — телохранители. Каждый горьковчанин был за него, молились за них, это я сама свидетельница в этом: «Дай Бог, Сахаров, тебе!»... Потом его освободили. Говорили, что освободил сам товарищ Горбачев Михаил Сергеевич.

Пригорюнилась, стала сокрушенно раскачиваться, медали опять звенели.

— Ну, а что вот сейчас на втором Съезде я увидела — и все это по телевизору показывали! Это что делается? Я вчера как услышала про его кончину, сразу вспомнила такой эпизод. Сахаров вышел к трибуне, а Михаил Сергеевич Горбачев просто сажает его на место, просто сажает... Тогда Сахаров говорит: «Предвидел я это и в письменной форме свое выступление изложил и передаю вам». Повернулся и отдал. А Михаил Сергеевич говорит — и притом не только говорит, рукой потряс перед депутатами: «Таких у меня шесть папок, приходите ко мне, я вам покажу». Или тут перестановка. Сначала он сказал: приходите ко мне, потом — шесть папок...

ТРИ — он сказал, три, Клавдия Васильевна, но все почему-то услышали больше, кто — десять, вы — шесть, слышал я и про сто...

— Мы, которые смотрели (я не одна была), думаем: «Как грубо! Какая грубость!» Конечно, это был для него такой удар. Каждый добрый, честный человек не может иначе судить. Конечно, ему не восемнадцать лет, но он еще посещал, участвовал в мероприятиях, вносил очень полезные для народа предложения, и сейчас он здраво выглядел на трибуне. Я полагаю, если бы не этот случай, он бы жил еще, я сразу об этом подумала вчера. Нам хотелось бы, чтобы он жил долгие годы, ну хотя бы до конца Съезда. Царство ему небесное, царство ему небесное!..

Расстались мы с Клавдией Васильевной на Казанском вокзале, до последнего момента говорили о политическом: о демократии...

— В моем понимании это дружба, это мир, это вера и чтоб все вопросы, хорошие и плохие, тяжелые и легкие, рассматривались сообща, солидарно. А сейчас как делается?..

...о партии — что с нею будет.

— Поживем — увидим. Если будет такой, как на сегодняшний день, ее не будет. Невозможно, Анатолий Иванович, чтоб под знаменем Ленина злоупотребляли, растаскивали государство!

— Что значит «не будет», Клавдия Васильевна?

— Мы будем образовывать новую партию, под другим названием. Этой новой партии, настоящей ленинской, мы будем верить!

А что, и создадут, пожалуй! — подумал я, когда народ стал выходить на улицы против плохих обкомов за хорошие обкомы. Занятно будет посмотреть на хороший обком новой ленинской партии с лозунгом частной собственности на знамени!..

А. АВТОРХАНОВ

От Андропова к Горбачеву

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ*

А. Авторханов родился на Кавказе. По национальности чеченец. Был номенклатурным работником ЦК ВКП(б). В 1937 году окончил Институт красной профессуры в Москве. Специализировался по русской истории. Вскоре был арестован как «враг народа» и несколько лет провел в подвалах НКВД. После освобождения эмигрировал на Запад, где защитил докторскую диссертацию и стал профессором по истории России.

Перу А. Авторханова принадлежит целый ряд политологических книг и исследований, из которых наибольшую известность ему принесли «Технология власти» (1959) и «Происхождение партократии» (1973).

Хорошо знакомый с механизмом и системой функционирования сталинского аппарата власти, досконально, по первоисточникам изучивший историю КПСС и СССР, А. Авторханов в этих книгах, по сути дела, первым в мировой исторической науке предельно тщательно и всесторонне исследовал процесс перерождения партии российских революционеров в «новый класс», в деспотическую олигархию, принесшую своей стране неисчислимые беды и страдания. Переведенные на многие языки «Технология власти» и «Происхождение партократии» давно стали классикой русскоязычной западной советологии и в значительной мере обусловили основные направления ее сегодняшнего развития.

В СССР до самого недавнего времени у книг Авторханова была, что называется, «сложная судьба». Историк считался реакционером и отъявленным недругом нашей страны, любовь к которой у тогдашних советских идеологов традиционно ассоциировалась и тесно увязывалась с беспрекословной лояльностью по отношению к неосталинистской политической системе. Немудрено, что хранение, распространение и даже чтение работ историка считались преступлением. А сами эти работы, как и произведения других опальных авторов, нередко фигурировали на политических процессах шестидесятых-семидесятых годов. (Правда, надо сказать, что при всем этом издательство «Мысль» не погнушалось тогда же издать «Технологию власти», но... лишь для «служебного пользования» сотрудников аппарата ЦК.)

В последние годы появились новые работы А. Авторханова, в которых автор пытается проанализировать сложные политические процессы, происходящие в сегодняшнем советском обществе. Фрагменты одной из таких работ — книги «От Андропова к Горбачеву», вышедшей на Западе в 1986 году, мы и предлагаем вниманию наших читателей.

Быть может, некоторые оценки Авторханова покажутся кому-то излишне резкими, взгляды несколько однозначными. Однако не будем забывать, что сегодня, когда мы переосмысливаем нашу семидесятилетнюю историю, пытаемся перестроить наше общество на более гуманных, правовых началах, любые, даже пристрастные, но, безусловно, заинтересованные, аргументированные и авторитетные суждения могут и должны сослужить нам добрую службу...

Генсек и его власть

С мировой славой представителя молодого поколения коммунистов место генсека занял Михаил Сергеевич Горбачев. К этому моменту «молодой коммунист» в партии состоял уже 33 года и находился в возрасте, в котором умер основатель Советского государства — Ленин,— в 1985 году Горбачеву исполнилось 54 года. Чтобы прослыть молодым, ему надо было очутиться в уникальной компании стариков из Политбюро. Горбачев — шестой генсек со времени учреждения этой должности. Сталин занимал этот пост 30 лет (1922—1952), Хрущев — 11 лет (1953—1964), Брежнев — 18 (1964—1982), Андропов — 15 месяцев (1982—1984).

* Текст сокращен и частично переработан с согласия и при участии автора.

Эпоха Сталина стала знаменита кровавыми злодеяниями тирана, эпоха Хрущева разоблачениями этих злодеяний, на эпохе Брежнева лежит печать политического безвременья и тотальной коррупции. Андропов, мелькнув как метеор по партийному небосклону, ярко осветил внутренность брежневской эпохи во всей ее неприглядной наготе. Мы, наблюдатели издалека, знали почти все пороки системы, но что эти пороки приняли столь чудовищный масштаб — мы впервые узнали из той безнадежной борьбы, которую объявил им Андропов. Правда, Андропов не разоблачал личность Брежнева, как Хрущев личность Сталина. Андропов разрешил печати в определенных границах разоблачать факты коррупции, а эти факты сами разоблачали всю эпоху Брежнева.

Кратковременное «междуцарствие» Черненко — этот реванш партаппаратчиков — было тщетной попыткой спасти пожизненное господство одряхлевшей партийной, государственной и хозяйственной бюрократии. Генсекство Горбачева, будучи по своему стратегическому замыслу продолжением политического курса Андропова, обещает стать новой попыткой вывести Советский Союз из экономического и социального тупика. Сказанное оправдывает необходимость более подробно остановиться на должности генсека, на ее исторической эволюции, а также определить место генсека на вершине партократии. Сокращение «генсек» — от «генерального секретаря» — принадлежит Ленину, как и инициатива создания такой должности.

Сейчас запрещено употреблять это сокращение, да еще «генеральный» надо писать с большой буквы. Пост генсека при Ленине носил исполнительно-технический характер. У генсека тогда была одна обязанность — следить за исполнением решений Политбюро и Оргбюро и две привилегии — председательствовать на заседаниях Секретариата ЦК и руководить техническим аппаратом ЦК.

Сталин еще при Ленине начал превращать должность генсека в директивно-распорядительную власть над партией и государством. После ликвидации «ленинской гвардии» генсек стал единоличным диктатором. Все последующие генсеки — исполнители воли Политбюро. Будучи первыми среди равных олигархов, они пользуются и некоторыми привилегиями престижного характера, которыми не пользуются другие. Их имена в партийном протоколе называют первыми вне алфавита, а всех других называют в порядке алфавита. Их слова цитируют почти в каждой передовой статье «Правды» и во всех политических статьях печати страны, других олигархов не принято цитировать. Каждый член коллективной диктатуры в своем выступлении, о чем бы речь ни шла, должен обязательно сослаться на указание генсека. Каждого генсека при его личной характеристике надо величать «выдающийся партийный и государственный деятель», других членов диктатуры называют «видными партийными и государственными деятелями». Только один генсек имеет право быть названным «продолжателем дела Ленина». Но и тут есть свои нюансы в терминологии. Сталин и Хрущев прямо назывались «продолжателями дела Ленина», Брежнев был «продолжателем великого дела Ленина», в данном контексте прилагательное, как это парадоксально ни звучит, снижает ранг Брежнева, как «продолжателя дела Ленина», ибо продолжателями «великого дела» Ленина являются все коммунисты. Андропов не разрешил поставить себя рядом с Лениным. Что же касается Черненко, то через год его генсекства член Политбюро Гришин назвал Черненко «продолжателем ленинского дела». Это было уже выше Андропова, но ниже Брежнева.

Есть у генсека еще и другая, для практической политики правящей догматической партии весьма важная, привилегия — это сан главного теоретика партии. Только генсек имеет право выдвигать оригинальные теоретические новшества в марксизме-ленинизме и пересматривать его устаревшие или просто неугодные сегодня догматы. Заметим сразу: ни один из генсеков, включая Сталина, никаких новых теоретических вкладов в марксизм-ленинизм не сделал. Даже те «вклады», которые приписывались послесталинским генсекам, делали не они лично, а их советники и референты.

Русская история необычайно своеобразна и полна причуд. Ведь как объяснить рационально, что первыми теоретиками в России были не большевики и не меньшевики, таких понятий тогда еще не было, а идеологи русского либерализма — П. Струве, М. Туган-Барановский, С. Булгаков, Н. Бердяев, которые вошли в историю как «легальные марксисты» (они проповедовали свои марксистские взгляды в тогдашней легальной печати в России и издавали свои собственные журналы в Петербурге и Москве. Петр Струве даже был автором первого марксистского «Манифеста РСДРП», который входит и до сих пор в кодификацию КПСС (см. том первый «КПСС в резолюциях»). Потом из них первые два стали идеологами русской демократической партии кадетов, а последние два — богословами.

Основоположником русского марксистского социализма был будущий вождь меньшевиков Георгий Плеханов. На его трудах по марксизму училось все ленинское поколение большевиков. Плеханов умер в 1918 г. в Петрограде непримиримым врагом большевизма и Ленина, но года через два Ленин писал, что никто

не может считать себя образованным марксистом, если он не читал все, что написал Плеханов.

В общепринятом смысле этого слова сам Ленин не был теоретиком марксизма, каким был Плеханов, зато Ленин был марксистским стратегом революции, каким не был Плеханов. Да и почти вся теоретическая элита русских марксистов находилась в рядах меньшевиков, большевики располагали мастерами революционного подполья и организаторами революционной пропаганды. После революции в теоретиках партии числился Н. Бухарин. Сталин как теоретик был ничто, как политический стратег — весь из Ленина, однако как мастер власти — выше Ленина.

Троцкий был выдающимся публицистом и трибуном. Он знал, как делать революцию, но совершенно не знал, что делать с властью, которую создали в результате революции. Не знал и основного урока всех революций — твоя же власть тебя же сожрет, если не сумеешь вовремя ее оседлать. Зиновьев и Каменев тоже не были теоретиками, а в политике оказались ничтожествами, ибо, сделавшись во время болезни Ленина бездумными союзниками Сталина, именно они проложили ему путь к единоличной тирании. Да, Сталин как теоретик был ничто, но как стратег стоял выше всех благодаря изумительному дару обосновывать свои злодеяния ссылками на марксизм.

Ни в каких официальных партийных документах нет описания прав и обязанностей генсека. Даже в Уставе партии упоминание о генсеке впервые ввел Брежнев на XXIII съезде КПСС в 1966 году. Эту инициативу Брежнева надо объяснить не только его известной манией к помпезности и внешней мишуре, но еще и хитроумным умыслом. В старом Уставе говорилось, что Пленум ЦК избирает из своей среды Президиум (Политбюро) и Секретариат ЦК. Брежнев предложил теперь добавить, что Пленум ЦК избирает также и Генерального секретаря ЦК. Это означало, что Политбюро не может выкинуть Генерального секретаря, избранного Пленумом ЦК и утвержденного на съезде партии, как он и его коллеги по Политбюро выкинули в свое время Хрущева. И все-таки пост генсека есть то, что из него делает его владелец. Известные слова Ленина из его «Политического завещания», что Сталин, став генсеком, сосредоточил в своих руках «необъятную власть» и что он, Ленин, не уверен, не будет ли Сталин злоупотреблять этой властью, доказывают, кроме всего прочего, что пост генсека правящей партии может дать его носителю де-факто высшую власть и над правящей партией, и над государством, причем власть, не ограниченную ни Уставом партии, ни Конституцией СССР, в которой должность генсека вообще не указана.

Должность генсека через тридцать лет, в 1952 г., на XIX съезде, значит, еще при Сталине, была упразднена. Была создана новая должность — Первого секретаря ЦК. Им стал Маленков. Став после смерти Сталина Председателем Совета Министров, Маленков вынужден был через пару недель оставить этот пост, который в сентябре 1953 г. занял Хрущев. На том же съезде было переименовано Политбюро в Президиум ЦК. Какие же были мотивы этой перелицовки фасада диктатуры — до сих пор неясно. Если отставка Сталина с поста генсека на Пленуме ЦК, избранном XIX съездом, является документально подтвержденным фактом, то как мотивы сталинской отставки, так и истинные причины переименования Политбюро и поста генсека неизвестны. Официальное объяснение, данное от имени ЦК Л. Кагановичем на XIX съезде, было куцым и невразумительным. Каганович сказал, что название «Президиум ЦК» лучше отвечает обязанностям, которые выполняет Политбюро. Восстанавливая старое название «Политбюро», брежневское руководство повторило Кагановича, только в обратном порядке: название «Политбюро» лучше отвечает обязанностям, которые выполняет Президиум.

Почему же все-таки восстановили старые названия? Здесь едва ли могут быть разные ответы. Роль сыграли не правовые соображения, а психологический синдром партийных карьеристов. Политбюро на протяжении более тридцати лет было Олимпом партийных богов во главе с супербогом Сталиным. У партократов появлялись слезы умиления, когда они на своих бесчисленных сборищах выбирали этих богов в почетный президиум. Но вот теперь, после тяжкого, долгого и унизительного восхождения к партийному Олимпу, они наконец добрались до цели, но у входа на Олимп увидели не вожделенное, магическое слово «Политбюро», а другое — избитое слово «Президиум». Ведь для них воистину «вначале было слово», и это слово было «Политбюро». Теперь выясняется, что они прибыли не в обитель богов — в «Политбюро», а в какой-то «Президиум». Ведь в государстве «президиумов» десятки тысяч, начиная от сельсоветов и до всяких там верховных советов. И новые боги были единодушны в своем решении: восстановить поруганный Олимп во всем его величии и блеске и вновь написать у входа «Политбюро». Так же поступили и с названием «генсек». Брежнев решил, что он, как и Сталин, будет генсеком, вместо того чтобы называться Первым секретарем, ибо первых секретарей в партии ведь тоже тысячи, а генсек один.

Сталинские наркомы и министры, являющиеся членами Политбюро, перечислялись без указания, что они члены Политбюро, а теперь даже впереди Председателя Президиума Верховного Совета СССР или Совета Министров СССР сначала ставят «член Политбюро», а потом только указывают их высокие должности. Партийным тугодумам невдомек, что, ставя часть выше целого, партию выше государства, они оскорбляют собственное «общенародное государство».

Как велика власть генсека, являющегося, скажем, одновременно и главой Советского государства в качестве Председателя Президиума Верховного Совета СССР? Можно ли сравнить эту власть с властью глав государств президентской системы, например, с властью американского или французского президентов или с властью премьер-министров в странах, где глава государства лишь репрезентативная фигура? После Сталина и Хрущева в Кремле стабилизировалась коллегиальная диктатура. Поэтому глава этой диктатуры не диктатор, а исполнитель воли и решений коллективной диктатуры. В этом смысле послесталинская партия вернулась к так называемым «ленинским принципам» коллегиальности руководства. Поскольку эти принципы отрицают диктатуру одного лица, то в партийном Уставе всегда указывались только органы коллективной диктатуры — Пленум ЦК и Политбюро, их побочные органы Оргбюро и Секретариат ЦК, но никогда не указывался генсек ЦК. Отсюда понятно, что не было надобности фиксировать в Уставе его права и обязанности.

Совершенно так же обстоит дело и с высшими органами государственной власти. Во всех четырех советских конституциях 1918, 1924, 1936 и 1977 гг. глава государства — не отдельное лицо, а коллектив, в старых конституциях — Президиум ЦИК СССР, в новых конституциях — Президиум Верховного Совета СССР. Председатель этих президиумов лишь подписывает декреты и законы, принятые ими по прямому поручению партийной коллегиальной диктатуры. В силу этого не было также надобности указывать в советских конституциях права и обязанности советских «президентов», как и функции советских «премьеров». Даже Сталин, будучи единоличным диктатором, никогда не правил от собственного имени, как генсек, а от имени коллективной диктатуры, стараясь создавать впечатление, что партией правит не генсек, а ЦК и его Политбюро.

Законы якобы тоже издает не Политбюро, а Президиум Верховного Совета. Единственное новшество Сталина — принимать решения правительства от имени Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), но и в этом случае первым подписывал председатель Совнаркома Молотов, а вторым — секретарь ЦК Сталин. Когда сам Сталин стал председателем правительства, его подпись стояла первой, но за ЦК подписывал уже другой секретарь.

Совершенно иначе обстоит дело в демократических государствах. В их конституциях ясно определены прерогативы, объем и границы власти и президентов, и премьеров. Существующее в этих государствах разделение власти законодательной, судебной и исполнительной, наличие в них политических свобод и свободной печати затрудняют появление там тиранов легальным путем. Если же сравнивать власть послесталинских генсеков, скажем, с властью американского президента, надо констатировать факт, который покажется невероятным только тем, кто незнаком с описанным выше механизмом власти в СССР, а факт этот следующий: президент США пользуется и юридически, и фактически большей властью, чем генсек, если даже генсек и Председатель Президиума Верховного Совета.

Причем в прерогативы президентской власти в США не может вмешиваться в остальном всесильный американский парламент — конгресс. Поэтому, когда Политбюро направляет генсека на встречу на высшем уровне за границей, то все, что он должен говорить, вручается ему в письменном виде. Его роль — читать врученные ему документы. Если же возникнут неожиданные проблемы или вопросы, на которые тут же надо дать ответ, то генсека сопровождает радиотелефонно-телеграфная аппаратура, по которой он получает директивы Политбюро. Генсек не получает чрезвычайных полномочий даже в случае войны. Если в Белом доме на атомной кнопке держит палец одно лицо — президент, то в Кремле держат на ней столько пальцев, сколько Политбюро имеет членов.

Нынешние генсеки не диктаторы, а слуги Политбюро. Поэтому в кресле генсека могут сидеть и политические ничтожества, но сам пост генсека — вакантная должность для единоличного диктатора, если ее займет волевое и властное лицо. Все диктаторы дрожат за свою жизнь, абсолютные диктаторы дрожат абсолютно, причем дрожат не от страха перед народом, с которым прямо дела не имеют, а от страха перед собственным окружением. Чтобы стать диктатором, надо убрать, лучше уничтожить, сначала окружение, при помощи которого ты пришел к власти, как это сделал Гитлер со штабом своих штурмовиков и Сталин с ленинским ЦК и его Политбюро. Где это не было сделано, клика свергала своего диктатора, как Большой фашистский совет сверг Муссолини и Политбюро свергло Хрущева. После Хрущева партийная верхушка учла исторические уроки — отныне в кресло генсека сажали политические ничтожества (Брежнев, Черненко, а Андропов сам захватил этот пост, опираясь на военно-полицейский аппарат). Но если ты уж занял это кресло и не претендуешь на единовластие, то ты можешь сидеть там пожизненно, будучи даже дряхлым или смертельно больным. (Поразительно, что сама партийная верхушка перед всем миром намеренно показывала своих дряхлых генсеков, словно для того, чтобы мир видел — страной правят не эти

безнадежные генсеки, а Политбюро.) Отсюда и родился советский анекдот о трех предыдущих генсеках: «После долгой, тяжелой болезни, не приходя в сознание, генсек приступил к исполнению своих обязанностей»!

Однако, как уже подчеркивалось, не только «коллективная диктатура», но и единоличный диктатор в Кремле стараются создать во внешнем мире впечатление, что единоличный диктатор вовсе не диктатор, а исполнитель воли Политбюро, а само Политбюро вовсе не диктатура олигархии, а исполнительная инстанция воли советского народа. Вот два примера, свидетельствующие о такой тактике Кремля. Добиваясь максимальных уступок у Рузвельта и Черчилля на Ялтинской конференции, Сталин аргументировал свою неуступчивую позицию тем, что потом русский народ скажет, что Сталин и Молотов защищали русские интересы хуже, чем их защищали русские цари, а его всесильное Политбюро откажется утвердить соглашения в Ялте. Сталин убеждал, в частности, Рузвельта, что слава о нем, о Сталине, как о диктаторе — просто миф, он подотчетен и зависим от Политбюро, как Рузвельт зависит от своего конгресса. И трюк вполне удался. Ведь Рузвельт говорил тогда, что «дядя Джо» человек добрый, а вот Политбюро его — учреждение ужасное. Даже тогда, когда Сталин начал вопреки соглашениям в Ялте большевизировать Восточную Европу, министр иностранных дел США Эдвард Стеттиниус объяснял акции Сталина нажимом этого «ужасного учреждения». Вот его утверждение: «Когда маршал Сталин вернулся с конференции, Политбюро взяло его в оборот за то, что он вел себя на ней чересчур дружелюбно и сделал двум капиталистическим странам много уступок» («НРС», 6. 2. 1985).

Последний съезд Брежнева

Накануне XXVI съезда Брежнев преподнес знатокам протокола ЦК (а этот протокол ведется куда скрупулезнее, чем его вели дворы абсолютистских монархий) сюрприз, на который не отважился бы не только Ленин, но и сам Сталин. Брежнев дал понять в «Правде», что он как Генеральный секретарь стоит выше Политбюро (по Уставу, высшие руководящие органы партии идут по нисходящей линии так: съезд партии, Пленум ЦК, Политбюро, Секретариат, генсек). Так, когда Политбюро вынесло от имени ЦК постановление об утверждении «Основных направлений экономического и социального развития», Брежнев присовокупил к нему свое личное постановление: «1. Одобрить проект ЦК КПСС... 2. Опубликовать проект ЦК КПСС... 3. Провести обсуждение проекта... Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев» («Правда», 2. 12. 1980).

Формула раньше гласила в соответствии с Уставом: ЦК одобряет проект любого докладчика, в том числе и генсека, у Брежнева получилось наоборот. Что это — сознательный антиуставный акт или протокольный ляпсус? Но этот ляпсус очень характерен для стиля брежневского руководства и вполне укладывается в рамки раздуваемого до абсурда «культа Брежнева». До сих пор при перечислении имен членов Политбюро имя Брежнева называли всегда в общем списке, хотя и первым, не соблюдая алфавитного порядка, обязательного для других, а теперь его выделили по примеру Сталина из общего списка, называя его отдельно как генсека. Ожидал советских телезрителей и другой сюрприз. До сих пор доклады Брежнева на съездах партии и сессиях Верховного Совета транслировались прямо из зала, а теперь транслировались только начало и конец доклада, а дальше текст читал диктор. Это вызвало целый переполох среди иностранных журналистов, которые, не будучи допущены на съезд, сидели в пресс-бюро съезда у телевизора. Сколько они ни добивались узнать причину, толком ничего так и не узнали.

Объяснение, видимо, простое: уже из этого начала доклада было видно, как Брежневу трудно его читать. Осилить почти четырехчасовой доклад он просто был не в состоянии. Он, видимо, читал наиболее важные отрывки, а в остальном сослался на письменный текст, заранее розданный делегатам.

На съезд было назначено 5002 делегата из областей, краев и национальных республик (формально пропущенные через местные конференции и съезды, они еще до прибытия в Москву проверяются и утверждаются отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. Среди них пара сотен статистов из «рабочих и колхозников», а остальные — высшая партийная и государственная бюрократия).

Как по форме и стилю, так и по содержанию работы XXVI съезд не был обычным съездом, обсуждающим и дискутирующим острые проблемы внутренней и внешней политики, а представлял из себя огромное сборище партийной и государственной элиты, в котором, кроме пяти тысяч делегатов, участвовало также более тысячи гостей из-за границы и столичного партийного актива. Только в отличие от шума толпы на обычных сборищах здесь царила мертвая тишина, строевой порядок и давящая торжественность. Напрасно Брежнев жаловался в докладе, что все еще не сформировался «советский человек». Если бы возможно было воскресить Ленина и привести его обозреть зал съезда, он, наоборот, сказал бы: «Да, советский человек создан»,— и, пользуясь терминологией своего соратника Троцкого, может быть, только добавил бы: «Сталин вырастил от моего имени голосующее стадо людей!» Надо отдать должное большевикам: они унифицировали не только мысли, но и

низменные побуждения людей — честолюбие, эгоизм, пороки, продажность. Пользуясь этой стороной человеческой натуры, Сталин и создал того «советского человека», который уникален как гражданин — он поменял личную свободу на спокойствие, человеческое достоинство на привилегии, сомнения гражданина на уют мещанина. Он, как говорил Эренбург, усовершенствованный коммунистический человек («ускомчел»), который без малейшего притязания на цинизм может сказать о себе: «Голова мне нужна, чтобы не думать». Он до глубины души убежден, что это тоже редкая привилегия, что тяжкую обязанность думать за него взял на себя мудрый ЦК! Поэтому он будет голосовать за любые решения этого ЦК, одинаково как за благотворные, так и преступные. И история с него ничего не спросит — он был всего лишь винтиком механизма ЦК, представителем «голосующего стада». Поэтому понятно, что и на XXVI съезде царил тот же классический сталинский ритуал: ЦК объявил свои мудрые решения, а в пятитысячной аудитории поднялся лес рук за эти решения — без вопроса, без возражения, без воздержания, при диких криках «слава, слава, слава».

После этого съезда была проведена негласная чистка — из партии были исключены 300 000 членов и 91 000 кандидатов за разные преступления (коррупция, взяточничество, присвоение «социалистической собственности», пьянство, всякого рода «уклоны»). В связи с этим Брежнев заметил: «Никаких поблажек и никому, когда речь идет о чести и авторитете нашей партии, о чистоте ее рядов». Среди исключенных был и ряд видных коммунистов-диссидентов (известный писатель Виктор Некрасов, старая коммунистка Лерт, литературовед Орлова-Копелева), а также много рядовых членов партии, эмигрировавших на Запад.

Известная установка Сталина — в руководящие органы партии выдвигать не представителей гуманитарных наук, даже не представителей юридических наук, а представителей инженерно-технического персонала — последовательно проводилась в жизнь и руководством Брежнева. Он сообщил съезду, что три четверти секретарей Центральных Комитетов республик, крайкомов, обкомов, две трети секретарей горкомов и райкомов партии имеют техническое образование. Затаенный мотив этой установки — представители гуманитарных наук склонны к рассуждениям и своеволию, а специалисты — исполнительны и более покорны. Но у них есть и недостаток (Брежнев: «специалисты не обладают достаточным политическим опытом»), то есть послушны верхам, но не умеют командовать низами. Поэтому всех этих специалистов пропускают через высшие партийные школы и курсы. Брежнев сообщил, что из этих специалистов в истекшие годы после последнего съезда 32 000 человек прошли через партийные школы и 240 000 человек — через партийные курсы, где их обучали только одной науке: как управлять партией и государством. Их профессора — члены Политбюро, Секретариата ЦК и министры СССР. Через такие школы и курсы прошли в свое время и почти все члены нынешнего ЦК. Брежнев, как и надо было ожидать, поставил вопрос и о пересмотре действующей ныне «Программы КПСС», принятой в 1961 г. Брежнев не дал ответа на кардинальный вопрос: почему двадцатилетняя «Программа КПСС» не была выполнена. Единственно, что он сказал о причинах ее пересмотра,— это следующее: «Ныне действующая «Программа КПСС» в целом правильно отражает закономерности общественного развития. Но с момента ее принятия минуло 20 лет». Брежнев только косвенно признался, что со строительством обещанного коммунистического общества к 1980 г. ничего не вышло, ибо оказывается, что между социализмом и коммунизмом лежит еще один этап или одна фаза, которая не была известна не только Марксу и Энгельсу, но также и Ленину со Сталиным — это фаза «реального», «зрелого» или, по последней терминологии, «развитого социализма». К разочарованию тех, кто предвкушает, что вот-вот водворится коммунизм и рай благоденствия осчастливит «нынешнее поколение», Брежнев доложил, что по его новому «научному открытию» в марксизме новый этап или новая фаза — это «необходимый, закономерный и исторически длительный период в становлении коммунистической формации». Из внутренних проблем особенно тревожат Кремль национальные отношения в стране, где представлены более ста различных народов. Послевоенная политика партии в этом вопросе, особенно в период правления Хрущева и Брежнева, сводилась к планомерной и интенсивной денационализации нерусских народов через их языковую русификацию и дерусификацию самих русских через их ассимиляцию с нерусскими народами — это и называется на языке партии формированием «единого советского народа». Эта политика встречает уже открытое сопротивление с обеих сторон — как со стороны русских («неославянофильство», «почвенники», «русская партия»), так и со стороны национальных меньшинств в Прибалтике, на Кавказе, в Туркестане, в Татаро-Башкирии. Причем некоторые из нерусских народов, которым административно навязывают русский язык вместо родного языка, являются культурно-исторически более древними христианскими народами, чем сам русский народ — например, армянский и грузинский народы. Советское правительство в Москве издало ряд распоряжений (Высшая аттестационная комиссия, Министерство высшего образования СССР), которые запрещают писать в грузинских вузах дипломные работы и диссертации на грузинском языке. Против этого, как из-

вестно из самиздата, в письме на имя Брежнева протестовало в 1980 году 365 видных грузинских ученых и деятелей культуры с именами, известными не только в СССР, но и на Западе. Какая была реакция Брежнева на это письмо — неизвестно, но в своем докладе он говорил, что «в нашей стране уважают национальные чувства, национальное достоинство каждого человека», однако ударение Брежнев делал на «формировании культуры единого советского народа — новой социальной и интернациональной общности».

По второму «острому вопросу», почему ведущие должности в национальных республиках занимают люди не коренной национальности, Брежнев открыто поддерживал великодержавников: «Состав населения советских республик многонационален. И естественно, что все нации имеют право на должностное представительство в их партийных и государственных органах». Это был косвенный ответ на жалобы эстонских, латышских и литовских коммунистов, что у них повсюду командуют русские коммунисты, а местные коммунисты выполняют роль помощников и переводчиков. Брежнев сказал, что партия будет бороться и против антисемитизма, но так как он связал борьбу с антисемитизмом с борьбой против сионизма, то он, по существу, амнистировал антисемитизм, ибо в советских условиях легальной формой активизации антисемитизма как раз и является борьба с сионизмом. Писателям и художникам Брежнев обещал тяжелую жизнь. Партия будет «активно и принципиально выступать в тех случаях, когда появляются произведения, порочащие нашу советскую действительность. Здесь мы должны быть непримиримы»,— сказал он.

За успехи в строительстве «развитого социализма» Брежнев щедро роздал похвалы Советам, профсоюзам, комсомолу, партии, ее ЦК, Политбюро, Секретариату, но дифирамбы пел только одному учреждению: КГБ. Стоит привести сказанное о нем: «Острота классовой борьбы на международной арене предъявляет высокие требования к деятельности органов государственной безопасности, к партийной закалке, знаниям и стилю работы наших чекистов. Комитет государственной безопасности СССР работает оперативно, на высоком профессиональном уровне... Зорко и бдительно следят чекисты за происками империалистических разведок. Они решительно пресекают деятельность тех, кто становится на путь антигосударственных враждебных действий (это по адресу диссидентов. — А. А.). И эта работа заслуживает глубокой признательности партии». Это и есть признательность КГБ за успехи его подрывной, террористической и шпионской практики внутри и вне СССР.

Ораторы (в том числе и иностранные гости), которые были назначены ЦК для выступления по докладу Брежнева, должны были заранее представить аппарату ЦК тексты своих выступлений. Все выступления были составлены по одному шаблону: доклад Брежнева — «великий теоретический и практический вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма». Разумеется, ни одного критического замечания по адресу ЦК не прозвучало.

С молчаливого согласия компартий из 94 стран, представленных на съезде, и, конечно, с одобрения Политбюро главы делегаций Израиля и Турции внесли на съезде предложение созвать новую мировую конференцию компартий (последняя такая конференция была в 1969 г.). Трудно судить, какова ее реальная перспектива, но само это предложение показывает, что Кремль хочет координировать в новых условиях мировое коммунистическое движение, разработать его новую стратегию и активно возглавить проведение в жизнь такой стратегии. Это тоже ответ президенту Рейгану, обвинявшему Кремль, что он держит курс на «мировую революцию». Этот же ответ вновь звучал и в заключительной речи Брежнева при закрытии XXVI съезда, когда он сказал: «Революционное преобразование мира невозможно предотвратить».

По существующим внутрипартийным законам и исторически сложившейся традиции на XXVI съезде сначала должны были быть подведены итоги выполнения двадцатилетней программы партии (1961—1980), принятой в 1961 г. на XXII съезде, согласно которой советское общество должно было сегодня выглядеть так, как выглядит «спецраспределитель» Кремля. Как же выполнила партия эту программу? Брежнев даже не поставил этого вопроса, но жизнь уже дала ответ на него...

СССР не только не догнал Америку, но его обогнала даже Япония, которая в год объявления «Программы КПСС» отставала от СССР больше чем в три раза! Если рассуждать не категориями наличных ракетно-ядерных арсеналов, а категориями экономической мощи каждой страны или группы стран, то надо пересмотреть и уже изжившую себя теорию о двух «сверхдержавах» — США и СССР. В 1980 год мир вступил при пяти «сверхдержавах» (по своей валовой продукции в миллиардах долларов) в следующей последовательности:

1. Европейское сообщество—2700, 2. США — 2600, 3. Япония — 1200, 4. СССР—1050, 5. Китай—550. («Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», 29.3.1980, статья Вернера Обста.)

После этих общеизвестных данных совершенно дико прозвучало заявление председателя Совета Министров СССР Тихонова: «Советский Союз выпускает сейчас пятую часть промышленной продукции планеты» («Правда», 7. 11. 1980). Только в одной отрасли — в отрасли военной экономики — Советский Союз догнал и перегнал Америку...

По экспорту оружия Советский Союз в 1980 г. уже догнал Америку: Советский Союз экспортировал в 1980 году оружия на сумму 7,1 миллиарда долларов против 6,7 миллиарда американского экспорта («Зюддойче Цайтунг», 31.12. 1980).

На Западе говорят по аналогии с собственной экономикой о советском «военно-промышленном комплексе». Эта аналогия вводит в заблуждение. В Советском государстве нет ни одной отрасли человеческой деятельности, которая не была бы поставлена на службу войне: одни работают прямо на войну — это чисто военная индустрия, военно-исследовательские учреждения, другие работают косвенно или между делом (военные цехи на гражданских заводах, засекреченные части в гражданских исследовательских учреждениях), не говоря уже о широкой сети мероприятий по мобилизации местной промышленности для нужд войны по так называемым «мобпланам».

Весь мир с любопытством и с некоторой опаской ждал, какой ответ Кремль даст на своем XXVI съезде на прямые и конкретные обвинения президента Рейгана и государственного секретаря Хейга:

1) Советское руководство, пользуясь методами обмана и лжи, продолжает добиваться своей исконной цели — мировой революции и мирового господства;

2) Советское руководство повсюду поддерживает международное террористическое движение.

Ответы Брежнева и Суслова были косвенные, по форме сдержанные, а по существу вызывающие. Суслов заявил: «Мы с большим удовлетворением сообщаем, что на XXVI съезд по приглашению ЦК КПСС прибыли 123 делегации коммунистических, рабочих, национально-демократических и других партий и организаций из 109 стран континентов нашей планеты» («Правда», 24.02.1981).

Брежнев посвятил данному вопросу целый раздел доклада под названием: «КПСС и мировое коммунистическое движение». Там сказано: «К рубежу 80-х годов международный рабочий класс и его политический авангард — коммунистические партии — подошли уверенной поступью... Коммунистическое движение продолжало расширять свои ряды, укреплять свое влияние в массах. Сейчас компартии активно действуют в 94 странах мира... Наша партия, ее ЦК вели активную работу, направленную на дальнейшее расширение и углубление всестороннего сотрудничества с братскими партиями». Брежнев нарисовал «жуткую» картину преследования коммунистов в «странах капитала»: «Через террор и гонения, через тюрьмы и колючую проволоку концлагерей, в самоотверженной работе на благо народов, проносят коммунисты стран капитала свою верность идеалам марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма... Честь и слава коммунистам!» (Бурные, продолжительные аплодисменты.) («Правда», 24.02.1981.)

В самом начале своего доклада Брежнев доложил съезду, что в союзе с этими силами сфера влияния коммунизма расширилась, а сфера «империализма» сузилась: «Новыми победами ознаменовалась революционная борьба народов. Свидетельство тому — революции в Эфиопии, Афганистане, Никарагуа, свержение монархического режима в Иране... Сузилась сфера империалистического господства в мире... Резко возросла агрессивность политики империализма — прежде всего американского» (Там же). Таков ответ Брежнева президенту Рейгану.

Брежнев совсем не думал оправдываться перед Рейганом, вовсе не отрицал приписываемые ему методы и цели.

Брежнев уделил большое внимание успехам СССР по интеграции «стран социализма» Восточной Европы. Отметив «влиятельную и благотворную роль» Организации Варшавского Договора и ее Политического консультативного комитета в европейских и международных делах, Брежнев сообщил, что уже созданы и действуют новые органы: Комитет министров иностранных дел, Комитет министров обороны. Компартии связаны между собою на каждом уровне — республик, краев, областей, районов и даже крупных предприятий, периодически созываются общие собрания секретарей ЦК по идеологии, по международным отношениям, по партийно-организационной работе. Через эти каналы происходит интенсивная унификация внутренней и внешней политики «братских стран» с политикой КПСС.

Так же интенсивно происходит и «экономическая интеграция» «братских стран» с экономикой СССР. По этому поводу Брежнев отметил: «На прошлом съезде мы, как и другие братские партии, выдвинули в качестве первоочередной задачи дальнейшее углубление социалистической интеграции на базе долгосрочных целевых программ... Сейчас эти программы воплощаются в конкретные дела. Интеграция набирает темпы». Иначе говоря, экономика восточноевропейских стран должна была постепенно, но систематически превращаться в интегральную часть советской экономики.

Борьба за наследство Брежнева

Каждый генсек сидит на пороховой бочке, и фитиль находится в руках его собственного окружения. Оно может взорвать эту бочку, если он заболеет двумя страшными недугами, которые Сталин назвал в одном случае «идиотской болезнью беспечности», а в другом — «головокружением от успехов». Первой болезни был подвержен Хрущев, потому и слетел. Болезнь Брежнева была последнего рода. Сосредоточив в

своих руках формально бóльшую власть, чем даже Сталин (он был генсеком, «президентом», Председателем Совета обороны, Верховным Главнокомандующим), Брежнев возомнил себя советским Цезарем, в котором КГБ искусственно культивировал страх перед потенциальным советским Брутом, чтобы вернее править им. Невероятно честолюбивый и падкий на лесть, он, по существу, был марионеткой в руках КГБ и советского генералитета. Интересы военных были чисто профессиональные — они хотели от него, чтобы он безотказно ставил свои подписи под всеми их требованиями по вооружению. Интересы чекистов были политические. Они добивались полной политической и правовой реабилитации «органов» как фундамента режима после тех унижений и разоблачений, которыми они подвергались при Хрущеве. За эту задачу взялся шеф КГБ Юрий Андропов. Талантливый комбинатор и дворцовый интриган, он был технологом власти сталинской выучки с ее синтезом политики с уголовщиной.

Ослепленный болезненным властолюбием, Брежнев широко использовал услуги Андропова и его КГБ в борьбе со своими соперниками в Политбюро. Ведь Брежнев был выдвинут на пост генсека заговорщиками как компромиссная «серая фигура» без амбиции на единоличную власть, к тому же октябрьский Пленум ЦК 1964 г., свергнувший Хрущева, вынес решение, ограничивающее власть генсека,— руководство должно быть коллективное в лице Президиума ЦК. Первый секретарь (генсек) не может быть одновременно и главой правительства. История доказала, что Брежнев далеко не был такой уж «серой фигурой», ибо, опираясь на опыт, изобретательность и чекистскую фантазию Андропова, Брежнев тотально очистил Политбюро от своих соперников — из 14 членов нового руководства семеро были исключены, двое «внезапно» умерли, а Брежнев стал новым «президентом» СССР.

Андропов знал из богатой уголовными методами истории сталинского правления, что КГБ достигнет своей цели, если ему удастся дискредитировать в глазах Брежнева его ближайших сподвижников в заговоре против Хрущева как потенциальных заговорщиков против него самого и исключить их одного за другим из «коллективного руководства». Люди эти в одной группе власти, они все вместе и каждый в отдельности боялись нового возвышения КГБ и поэтому составляли заслон против его «ренессанса». Хрущева они свергли не потому, что он поставил «органы» под контроль партии, а потому, что он старался править партией единолично. Пока эти люди входили в «коллективное руководство», КГБ оставался не господином, а слугой режима. Из той же уголовной истории сталинщины Андропов хорошо запомнил и другой сталинский рецепт — если ты хочешь возвышения «органов», то надо выдавать собственный террор за террор «врагов народа». Так родилась идея организации «покушения» на Брежнева.

1 декабря 1934 г., чтобы поставить политическую полицию над партией и убрать неугодных ему лиц с политической сцены, Сталин подослал партийного работника Николаева убить Кирова и этот свой террор приписал «врагам народа» — зиновьевцам и троцкистам. 23 января 1969 г., через два года после своего назначения шефом КГБ, Андропов подослал некоего лейтенанта Ильина «убить» Брежнева у кремлевских ворот, чтобы, напугав Брежнева, заставить его вернуть «органам» власть и привилегии, которых лишил их Хрущев. Я не одинок в этом мнении. Французский полковник русского происхождения Михаил Гардер пишет: «После чехословацких событий КГБ предпринял сложный маневр с целью проникновения в партократию и захвата в ней ключевых позиций. Маневр этот начался с покушения на Брежнева 23 января 1969 г. Исполнитель, лейтенант Ильин, был явной жертвой чекистской провокации. Для КГБ это покушение было бы беспроигрышной лотереей. При всех вариантах можно было объяснить, что для безопасности олигархам необходимо вернуть чекистам их былые привилегии» («Часовой», ноябрь 1984 г.).

Сегодня уже ясно, что это Андропов, играя на честолюбии Брежнева и потакая его амбициям, собственно, и создавал «культ Брежнева», сравнимый по внешней помпезности только с культом Цезаря. Причем Андропов делал вид, что бесконечное возвеличение Брежнева — это не его инициатива, так хочет благодарная партия, армия, чекисты, народ. Иногда Андропов намекал даже на то, что сам Брежнев презирает подхалимов, льстящих ему. Но и тут Андропов действовал так, как действовал шекспировский герой: «Я говорил Юлию Цезарю — Юлий Цезарь не любит льстецов, говоря это, я ему льстил».

Однако льстил Андропов новоявленному «Цезарю», пока не достиг цели своей лести — войдя в его доверие, поставить «органы» на один уровень с партией и армией. Так образовался «треугольник» верховной власти — партаппарат, военный аппарат и КГБ.

Это была только ближайшая цель, конечная цель была другая — захватить власть самому, чтобы поставить КГБ и над партией, и над армией. К этой конечной цели Андропов шел, выдвигая собственных ставленников на ключевые позиции в партаппарате, компрометируя ближайших сторонников генсека, а под конец дискредитируя самого генсека. Наиболее кричащие факты стали достоянием гласности, другие остаются тайной КГБ — например, серия «внезапных смертей» далеко не старых ставленников группировки Брежнев — Черненко на местах, последним из которых был кандидат в члены Политбюро Рашидов. В той же мере, в какой безнадежно больной Брежнев терял контроль над текущими событиями и аппаратом власти, возрастало влияние Андропова и его сторонников. На этой основе произошла поляризация сил даже в самом Политбюро. Я не люблю, когда советологи произвольно или по наитию делят членов Политбюро на соревнующиеся группы, причем так самоуверенно и безапелляционно, словно авторы сами присутствовали на заседании Политбюро во время бурных дискуссий там. К тому же кремлевские астрологи, толком не зная функционирования механизма партийного аппарата и его устоявшихся традиционных норм, все внимание сосредоточивают на оценке отдельных личностей, которых ведь тоже никто толком не знает. Поэтому получается произвольное разделение членов Политбюро по западному образцу на «голубей» и «ястребов» или просто на сторонников и противников генсека. Свои знания кремлевские астрологи черпают из двух источников: 1) Кто где стоял или сидел по отношению к генсеку, что только отчасти отражает действительную картину, ибо основной костяк реальной власти и представители ее трех институций — партаппарата, КГБ и армии — сидят где-то на задворках или вообще находятся за кулисами; 2) Кто какие речи произнес и сколько у него было ссылок на генсека.

Кто голосовал против генсека при его избрании или кто часто сталкивается с ним при решении важных вопросов, тот должен в своих публичных выступлениях создать впечатление, что он лояльный сторонник генсека и спорное решение принято единогласно, как это сделал, например, Черненко, выдвигая кандидатуру Андропова, или Горбачев, выдвигая Черненко после Андропова. Подхалимаж по адресу Брежнева служил для андроповцев маскировкой их подлинной цели — пробраться ближе к Политбюро, чтобы помочь Андропову захватить власть. Есть еще некоторые важные детали, без учета которых вообще трудны какие-либо прогнозы. Эти детали касаются вопросов: 1) Какова роль пленумов ЦК и его Политбюро? 2) Каков статус кандидатов в члены Политбюро, когда на его заседаниях происходят голосования?

По уставу Пленум ЦК, состоящий примерно из трехсот человек, есть высший законодательный орган партии между ее съездами. Сталин превратил его в совещательный орган, каким он является и по сегодня. Однако Пленум ЦК играл, может играть и дальше роль арбитра или высшего партийного суда, если в Политбюро произошел раскол между генсеком и большинством Политбюро.

При Хрущеве вернулись к «ленинским принципам» только на словах, а при Брежневе установился порядок, при котором пленумы ЦК созывались аккуратно раз в шесть месяцев для «единогласного» утверждения решений Политбюро к очередным сессиям Верховного Совета СССР, на которых эти решения опять-таки единогласно утверждались как советские законы. Пленумы раньше собирались дискутировать и решать вопросы большой политики. Ничего подобного не происходит сейчас. Пленумы превратились в автоматы механического голосования за уже принятые Политбюро решения. Внутрипартийная демократия даже на уровне Пленума ЦК существует только на бумаге — в Уставе партии. Бывают случаи, когда первые секретари обкомов, ЦК республик, генсек на «легальном» основании могут обходить бюро и Политбюро, если данный секретарь или генсек знает, что по тому или иному вопросу он не получит большинства на заседании,— это метод манипулирования решениями. Для этого существуют два пути — создавать комиссии при бюро или Политбюро, наделяя их правами высших органов (так поступал Сталин даже в период своего единовластия), другой путь — это принимать решения бюро или Политбюро «по опросу». Поскольку в графе «за» стоит подпись первого секретаря или генсека, то рискованно подписываться в графе «против».

Надо сказать пару слов и о кандидатах в члены Политбюро. Когда Политбюро заседает в полном составе, тогда все они имеют только совещательный голос. Однако все они — заместители тех или иных членов Политбюро, и поэтому, когда отсутствует член Политбюро, к которому данный кандидат прикреплен, то он автоматически получает право решающего голоса. Так что если отсутствуют не только провинциальные члены Политбюро, но кто-нибудь из москвичей, то соответствующий кандидат получает его голос. Это один из принципов «ленинских норм» коллективного руководства. Кроме всего этого, надо учитывать при прогнозах и частые перебежки членов и кандидатов Политбюро из одного лагеря в другой накануне или в ходе кризиса в руководстве (так, многие из членов Политбюро перешли в лагерь Андропова в дни агонии Брежнева и после его смерти, когда выяснилось, какие реальные силы стоят за ним — КГБ и армия). Таким образом, на высшем уровне партийной политики в период кризиса действует закон «сообщающихся сосудов», во время которого решающую роль играют не отдельные личности на открытой сцене, а названные институции за сценой. Никто из посторонних не может знать по свежим следам событий, кто на какой позиции стоял, кто к какой группе примыкал. Однако противоречия на вершине власти постоянные, чаще персональные, редко принципиальные. Противоречия между группами в Политбюро никогда не касаются генеральной линии, а только доли власти каждого из партийных лидеров.

Судя по глухим отголоскам в партийной печати, такие противоречия обостри-

лись накануне XXVI съезда партии. Принятое на этом съезде решение сохранить статус-кво в руководстве без перевыборов — было воистину соломоново решение, явившееся результатом трудного компромисса борющихся за власть групп. На этот раз к противоречиям личного характера прибавились противоречия во взглядах: как и при помощи каких методов выйти из экономического и социального кризиса системы? КГБ, лучше всех информированный о пороках руководящих кадров, требовал смены старых кадров и усиления карательной политики, чтобы поднять дисциплину, производительность труда и эффективность экономики. Армия этому сочувствовала. Партаппарат сопротивлялся. Так образовались две группы: брежневцев и андроповцев. Брежневцы боролись за сохранение сложившихся позиций власти, а андроповцы—за их изменение путем обновления и омоложения кадров всей иерархии власти, считая это предварительным условием преодоления экономического и социального кризиса в стране. Разумеется, такая позиция андроповцев не могла быть популярной на съезде чистокровных брежневцев. Они потерпели поражение. Но поражение явилось одновременно и уроком. То, что не удается в легальных рамках, должно быть добыто испытанными методами политических и бытовых интриг. Для политической интриги повод дал сам Брежнев неслыханным в истории партии «антиконституционным», то есть антиуставным, актом. На Западе это прошло незамеченным из-за незнания тонкостей партийного протокола.

В партии существует закон, согласно которому Политбюро и Пленум ЦК КПСС обсуждают и одобряют проекты постановлений по политическим, экономическим и социальным вопросам предстоящего съезда партии. Месяца за два до открытия съезда по постановлению тех же органов эти проекты публикуются в печати для «широкого обсуждения». «Обсуждения», впрочем, сводятся к «единодушному» одобрению, критические выступления не публикуются. Так вот, читатели газеты «Правда», знающие партийный порядок, были удивлены, когда прочли беспримерный в истории партии, даже при единоличной диктатуре Сталина, «монарший указ»: «Одобрить проект ЦК КПСС...» Этот «антиуставный акт» можно было истолковать как «партийный переворот». Вероятно, его соперники так его и истолковали. Во всяком случае, с тех пор и начались интриги андроповцев против Брежнева и его «днепропетровской мафии», которые приняли особенно интенсивный характер и масштаб в последний год правления Брежнева.

Весьма возможно, что этот антиуставный акт тоже был спровоцирован чекистами, которые держали в ближайшем окружении Брежнева своих людей вроде постоянного помощника генсека Александрова-Агентова; он ведь прямо перешел от покойного Брежнева к новому генсеку Андропову, от Андропова к Черненко. Потом от Черненко к Горбачеву. Этот же Александров или его сотрудник вручили Брежневу на его выступлении в Баку не тот текст, поставив его в смешное положение перед миллионами советских телезрителей; когда ему вручили наконец правильный текст, Брежневу пришлось оправдаться: «Товарищи, я тут не виноват»,— сказал он, но не выгнал Александрова, при всех условиях виновного за этот промах. Интриганы, которые подсунули Брежневу куда более опасный и, конечно, взрывчатый текст, ставящий генсека выше ЦК, все-таки добились своей ближайшей цели: дезавуировать Брежнева как неудавшегося диктатора. Брежневу пришлось сначала на Пленуме ЦК в феврале 1981 г., а потом на самом съезде партии признать, что он не единоличный вождь, а исполнитель воли коллективной диктатуры, называемой «коллективным руководством». Надо заметить, что это обычное для партии после Сталина упоминание о «коллективном руководстве» на высшем уровне при Брежневе уже более десяти лет, как совершенно исчезло со страниц партийной печати. Конечно, фигурировало Политбюро, но всегда подчеркивалось, что «во главе с Брежневым». Односторонние подборки в «Правде» западных откликов на разные выступления Брежнева, в которых он рисовался хозяином страны, должны были служить укреплению верноподданнических чувств в советских людях к своему «монарху». Теперь, готовясь к съезду, и на съезде Брежнев должен был разочаровать своих «верноподданных».

Накануне открытия XXVI съезда, 20 февраля 1981 г., состоялся предсъездовский Пленум ЦК, на котором обсуждался отчетный доклад Брежнева съезду. На этом пленуме впервые за все время генсекства Брежнева как раз и возник вопрос, кто же руководит партией и государством — одно лицо или коллегия лиц. Какое по этому поводу было принято постановление, можно видеть из передовой статьи «Правды». Вот что говорится в этой статье: «Партия постоянно развивает внутрипартийную демократию... КПСС стремится к тому, чтобы принцип коллективности руководства неукоснительно соблюдался во всех звеньях — от первичных организаций до Центрального Комитета» (22.02.1981).

В отчетном докладе ЦК съезду Брежнев должен был сообщить съезду, что вопросы не только большой политики, но даже и текущие дела решал не он один, а коллегия в лице пленума, Политбюро и Секретариата ЦК. На этот счет он приводил и конкретные данные. За отчетный период, сообщил он, состоялось 11 пленумов ЦК, 236 заседаний Политбюро и 250 заседаний Секретариата ЦК. Брежнев должен был указать, что «при подготовке к заседаниям, как и в ходе обсуждения высказывались различные

мнения, вносились многочисленные замечания и предложения... В этом единстве—сила коллективного руководства». Он признался, что вопреки его антиуставному поступку не генсек стоит выше Политбюро, а Политбюро стоит выше генсека. Вот его слова: «Политбюро — это поистине боевой штаб нашей многомиллионной партии. Именно здесь аккумулируется коллективный разум партии и формируется партийная политика» («Правда», 24.02.1981).

Это была публичная самодисквалификация неудавшегося Цезаря под давлением силы, которой обязан режим своим существованием — КГБ во главе с Андроповым. Вот с этих пор обозначилась и претензия КГБ поставить во главе партии своего шефа. С этих пор начались и скрытые атаки чекистов против основной болезни брежневского режима — против повальной эпидемии коррупции во всех его звеньях — снизу доверху. Однако на самом съезде на эту тему было наложено табу. Партолигархия не любит стирать свое грязное белье при людях, разоблачения Хрущевым кровавых преступлений Сталина были исключением. В узких кругах съезда решили сохранить коррупционный режим в неприкосновенности уже тем, что вынесли беспрецедентное в истории партии решение о политическом руководстве — не производить никаких выборов руководящих органов партии — оставить Политбюро, Секретариат, генсека в старом составе. Так же поступили и с Пленумом ЦК, добавив сорок новых членов и двадцать кандидатов. Борьба КГБ против Брежнева вновь переносится за кулисы, чтобы исключить из игры партию и не тревожить безмолвный народ.

Решающую победу андроповцы одержали, когда Политбюро покинули два его ведущих члена: «внезапно» умер идеологический лидер партии Суслов и был устранен с политической авансцены «кронпринц» Кириленко, довоенный закадычный друг Брежнева. «Внезапно» умер и другой личный друг Брежнева, его военное око в Москве,— маршал Кошевой, на похоронах которого Брежнева показывали на телеэкране плачущим. Еще два удара пришлось Брежневу принять на себя — КГБ представил дискредитирующие материалы на его друзей: на члена ЦК и первого секретаря Краснодарского крайкома Медунова, того самого, который назвал на последнем съезде доклад Брежнева «гениальным документом», и на другого его личного друга — министра внутренних дел СССР Щелокова. Ко всему этому прибавились и чисто семейные неприятности. Вскоре тот же КГБ обвинил дочь Брежнева в участии в валютных спекуляциях. Андропов умудрился обвинить даже своего первого заместителя по КГБ и шурина самого Брежнева, Цвигуна, в участии в темных делах дочери Брежнева. Его как будто вызвал на допрос к себе сам Суслов. Был пущен слух, впрочем, вполне правдоподобный,— Суслов предложил Цвигуну покончить жизнь самоубийством. Через день стало известно, что Цвигун «внезапно» умер... Для самоуверенного Брежнева, который давно привык считать свою власть непоколебимой, свою персону неприкосновенной, а дифирамбы в свой адрес искренними, эти удары явились, видно, совершенно неожиданными. Они полностью парализовали его волю к сопротивлению...

Переворот Андропова

Даже не очень искушенные во внутрипартийных делах иностранцы заметили, что в Кремле после смерти Брежнева произошло нечто неожиданное и загадочное. Немецкий леволиберальный журнал «Шпигель», на страницах которого часто выступают высшие советские функционеры, писал, что Андропов «пришел в Кремле к власти почти с налета» (15.11.1982). Американский журнал «Ньюсуик» констатировал: «Эра Андропова, как и его предшественников, началась загадочно» (22.11.1982). Даже разведывательные службы американского правительства были застигнуты врасплох приходом к власти Андропова. Газета «Интернэшнл геральд трибюн» писала на этот счет: «Чиновники администрации Рейгана сообщают, что эксперты разведок и специалисты по советским делам при администрации были удивлены, как далеко, оказывается, шагнул Андропов на путях установления своего доминирующего влияния. Еще за несколько дней до смерти Брежнева разведслужбы доложили Рейгану, что после Брежнева к власти придет триумвират» (17.11.1982).

До своего перевода из КГБ в секретари ЦК (май 1982 г.) Андропов вообще не котировался в качестве реального кандидата на пост первого человека в партии. Еще в январе 1982 г., при жизни Суслова, по протоколу иерархии кремлевских лидеров Андропов занимал девятое место. После смерти Суслова и неожиданного вывода из Политбюро Кириленко (что фактически произошло весной, а оформлено было только на ноябрьском Пленуме) Черненко занял третье место (после Брежнева и формального председателя правительства Тихонова), а Андропов — четвертое. Вот с этих пор и началась борьба между двумя «кронпринцами» — «кронпринцем» от партаппарата (Черненко) и «кронпринцем» от КГБ (Андропов).

Развернулось и гадание в мировой печати: кто из этих двух займет кресло медленно, но зримо умирающего генсека. После перехода Андропова из КГБ в аппарат ЦК советские функционеры в Западной Германии сообщали доверительно, согласно «Шпигелю» (15.11.1982), что Андропов — «второй человек в ЦК» и что он сторонник «реформ и разрядки». В Польше и Венгрии партийные чиновники также рассказывали, что наследником Брежнева будет

именно Андропов и что он осуществит реформы («Ньюсуик», 22.11.1982). Немецкий журнал «Цайт» сообщил, что Андропов «не радикал, а просвещенный консерватор» (19.11.1982).

Обобщенный итог подвел влиятельный американский журнал «Тайм»: «Парадоксально, что новый советский лидер широко пользуется как в американской, так и в европейской прессе репутацией либерала и интеллектуала с прозападным уклоном». «Тайм» знает, чья это работа, ибо продолжает: «С тех пор, как Андропов покинул КГБ в мае, Советы усердно внушают о нем подобное представление... Многие советские интеллектуалы в Москве, советские туристы за границей и эмигранты (!) на Западе подчеркивают, рисуя его портрет, что он культурный человек, о котором сложилось представление как о верховном полицейском» (22.11.1982).

Почти все процитированные органы печати писали, что Андропов «либерал и интеллектуал с прозападным уклоном», что Андропов говорит по-английски, а «Цайт» добавлял, что Андропов говорит и по-фински, по-венгерски, немного по-немецки, играет в теннис, любит джазовую музыку, абстрактное искусство. В отличие от других учеников Сталина он совсем не антисемит, ибо сам якобы полуеврей с материнской стороны («Цайт», 19.11.1982)...

После того, как Андропов стал генсеком, Кремль, в свою очередь, тоже «улучшил» его биографию: до сих пор писали, что Андропов родился в «семье служащего», стали писать, что родился в семье «железнодорожника»; до сих пор писали, что он имеет только среднее специальное образование (окончил техникум водного транспорта), теперь стали писать, что у него высшее образование. Однако ни его происхождение, ни его «хобби», ни то, «полиглот» ли был Андропов,— не имеет никакого значения для его политической характеристики. Нас интересуют другие вопросы: 1. Как Андропов пришел к власти? 2. Какую политику он собирался вести?

Кто внимательно изучал историю партии начиная с ленинских времен, тот знает, что в восьмидесятилетней истории большевистской партии еще не было случая, чтобы смена ее высшего руководства происходила в нормальном порядке, предусмотренном ее Уставом. Каждое очередное руководство приходило к власти через партийный «дворцовый» переворот. Достаточно указать на партийные перевороты после революции.

1. Переворот Ленина против ЦК (первый переворот, который совершил Ленин в 1917 г. после возвращения из-за границы, был не октябрьский переворот против Временного правительства, а апрельский переворот против собственного ЦК за его политику «условной поддержки» Временного правительства).

2. Переворот «тройки» (Зиновьева, Каменева, Сталина) против умиравшего Ленина и его законного наследника — Троцкого (1924 г.).

3. Переворот «четверки» (Маленков, Берия, Хрущев, Булганин) против умершего Сталина и его законного наследника — Молотова и молотовцев (1953 г.).

4. Неудавшийся переворот молотовцев и маленковцев против Хрущева (1957 г.).

5. Удавшийся переворот «тройки» (Суслов, Брежнев, Косыгин) против Хрущева (1964 г.).

Даже скудные данные из советских официальных источников о ходе и исходе событий 1982 г. в Кремле дают основания предположить, что Андропов тоже пришел к власти через партийный переворот вопреки воле Брежнева и назначенного им своим наследником Черненко. В последнее время Черненко фактически занимал кресло тяжелобольного и неработоспособного Брежнева как второй секретарь ЦК КПСС, что по внутрипартийным законам должно было гарантировать ему место генсека.

Чтобы в какой-то мере объяснить, почему Андропову удалось скинуть его с этого кресла, надо остановиться на некоторых моментах истории падения (при Хрущеве) и возвышения (при Брежневе) органов КГБ. После расстрела Берии в 1953 г., после разоблачения преступлений и культа Сталина на XX съезде (1956 г.) и открытого разоблачения террористической практики чекистов тридцатых годов на XXII съезде (1961 г.) «органы» достигли низшей точки падения своего влияния и власти. При Сталине на всех уровнях партийной иерархии шефы «органов» входили как надзиратели в состав бюро партийных комитетов — от бюро райкомов, обкомов, крайкомов, центральных комитетов республик до Политбюро включительно. Хрущев отменил эту практику, поставив «органы» под контроль партаппарата. Новый шеф КГБ Семичастный был избран на XXII съезде только кандидатом в члены ЦК (потом за участие в перевороте против Хрущева он был переведен в члены ЦК). Сам КГБ был снижен в своем юридическом статусе — он больше не входил прямо в состав правительства, а находился при правительстве — его статус так и гласил: «КГБ при Совете Министров СССР».

Когда в мае 1967 г. секретарю ЦК КПСС по соцстранам Андропову предложили пост председателя КГБ, то он, знающий себе цену, согласился на это назначение при условии, что его сделают кандидатом в члены Политбюро. Этим Андропов сразу достиг двойной цели: собственного повышения в партийном ранге, что было одновременно и повышением авторитета поруганных Хрущевым «органов». Как это и положено, провинция взяла пример с центра — местных шефов КГБ вновь начали вводить в состав партийных комитетов.

Чтобы повысить авторитет «органов», Андропова сделали членом Политбюро (1973 г.). Местные партийные комитеты

последовали этому примеру тоже, введя в бюро шефов КГБ. Это была не только полная политическая реабилитация «органов», это было нечто большее: отныне КГБ стал равноправным участником «треугольника» верховной власти — партия, армия и политическая полиция. Вполне естественно поэтому, что с ростом реальной власти КГБ пришлось пересмотреть и его юридический статус. 5 июня 1978 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ о переименовании «КГБ при Совете Министров СССР» в «КГБ СССР». В книге «Сила и бессилие Брежнева» (изд. «Посев», 1979 г.) я писал по этому поводу: «Андропов третий чекист после Ежова и Берии, который стал членом Политбюро. Уже одно это говорит о той высоте власти, которой достигли чекисты при Брежневе... Но Брежнев не может не знать, хотя бы на опыте Ежова и Берии, как трудно здесь скалькулировать элемент риска. Ведь КГБ, собственно, и есть единственная легальная власть, которая нелегально может организовать свержение самого генсека» (стр. 48, 49).

Я утверждаю, что так оно и случилось: еще не остыл труп Брежнева, как Андропов ссадил с брежневского кресла исполняющего обязанности генсека Черненко и сам сел в него, опираясь на КГБ и армию. Берию расстреляли якобы за то, что он хотел поставить МВД и себя над Кремлем, а Андропов поступил именно так — и это не вызвало ни малейшего сопротивления со стороны партаппарата. Что же касается Политбюро, то надо думать, что большинство его членов задним числом санкционировали переворот Андропова — лишь бы пост генсека не достался ненавистному им партийному выскочке и брежневскому фавориту Черненко. Более того. Они унизили Черненко, заставив его выступить на чрезвычайном Пленуме ЦК с выдвижением кандидатуры Андропова.

Внеочередной Пленум ЦК КПСС, созванный 12 ноября 1982 г. для избрания генсека, судя по информационному сообщению, совершенно не обсуждал вопрос, кто должен быть избран генсеком. Пленум тоже, как и Политбюро, принял к сведению совершившийся переворот. Весьма красноречиво об этом говорит сам протокол Пленума. Кто открывает Пленум? В нормальных условиях Пленум должен был открыть исполняющий обязанности генсека Черненко или один из старых членов Политбюро. Но открыл его сам Андропов, который свою необычно краткую речь в несколько минут закончил словами: «Пленуму предстоит решить вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС. Прошу товарищей высказаться по этому вопросу».

«Товарищи» высказались только в лице одного Черненко. Он два раза подчеркнул, что Политбюро «единодушно», «все члены Политбюро» выдвигают генсеком Андропова (если действительно так было, то не надо это подчеркивать дважды. Почти вся речь Черненко была посвящена не избранию нового генсека, а величанию Брежнева, а в самом Андропове Черненко тоже хвалил брежневские качества руководителя: «...Юрий Владимирович хорошо воспринял брежневский стиль руководства, брежневское отношение к кадрам... Юрию Владимировичу присущи... пристрастие к коллективной работе» («Правда», 13.11.1982).

И что же дальше?

Андропов даже не задал вопроса, есть ли желающие высказаться, имеется ли отвод против его, Андропова, кандидатуры. Поскольку председателем пленума являлся он сам (в протоколе не указано, чтобы кто-нибудь его заменял на этом посту), то, очевидно, он же и поставил на голосование свою кандидатуру. Генсек был избран, как полагалось, единогласно. Пленум продолжался, судя по протоколу, около часа или немножко больше, процедура избрания генсека — несколько секунд!

Уже состав комиссии по организации похорон Брежнева был необычным — ее возглавлял сам Андропов еще до того, как стал юридически генсеком. Он включил туда всех наличных в Москве членов и кандидатов Политбюро плюс секретарей ЦК КПСС, но почему-то в нее не были включены Долгих, Демичев, Соломенцев, Русаков (в комиссию по похоронам Сталина входили вожди второго и третьего ранга и возглавлял ее не первый секретарь ЦК Маленков, а второй секретарь ЦК Хрущев). Этим самоназначением Андропов хотел продемонстрировать, что «командует парадом», и психологически подготовить партию к своему официальному утверждению на пост генсека.

Совершенно скандальным был как с точки зрения традиционного партийного протокола, так и в отношении почитания памяти покойного тот факт, что на похоронах не разрешили выступить самым близким, первым соратникам Брежнева: заместителю Брежнева по партии — Черненко, заместителю Брежнева по Верховному Совету — Кузнецову и даже официальному главе Советского правительства — Тихонову. Все они ведь из его «команды».

Из членов Политбюро выступили только вчерашний глава КГБ Андропов и министр обороны Устинов, ярко символизируя этим, какие силы организовали «дворцовый переворот» в Кремле.

Что за политический тип представлял собой новый лидер Кремля? Маленький Сталин? Другой Брежнев? Или, как утверждала мировая печать, «реформатор, либерал и интеллектуал»? Если он действовал по принципу: «Власть — все, конечная цель — ничто», то он и маленький Сталин и большой Брежнев в одном лице. Если же власть была ему нужна, чтобы давно назревшими экономическими и социальными реформами попытаться вывести Советское государство из тупика, а советскому народу создать на-

конец сносный материальный уровень жизни,— тогда люди могли быстро забыть, что он был руководителем «просвещенной инквизиции» с ее психотюрьмами и модернизированным ГУЛагом.

Возможны ли были такие реформы? В политике, даже в советской политике, все возможно, тем более что у Андропова альтернатива была так ясна и проста: догма — или хлеб, догма — или выход из перманентного кризиса экономики. Если Андропов действительно был «реформатор и интеллектуал», то эту альтернативу он должен был видеть не хуже западных критиков советской экономической системы. Однако вынужденные либеральные реформы в экономической области не могут сделать самого диктатора автоматически «либералом». Поэтому, если экономические реформы в СССР в какой-то мере еще были возможны, то политические реформы исключались в силу природы самой власти. «Просвещенный сталинизм» — таков идеал партократии.

Если бы произошло чудо и Андропов начал реформировать политическую систему хотя бы в той мере, в какой это старался делать Хрущев (впрочем, сумбурно и непоследовательно), то его и постигла бы участь Хрущева. Но такая опасность Андропову не грозила. Если мы ничего не знаем о том, что он собирался делать в области экономики (да Андропов сам признавался, что у него «готовых рецептов нет»), то мы точно знаем его политическую программу. Он ее вложил в уста своего ставленника и преемника, нового руководителя КГБ СССР — генерала Федорчука — на ноябрьской сессии Верховного Совета СССР.

Федорчук обосновывал перед сессией «проект закона СССР о государственной границе СССР». Со времени Сталина мы знаем, что советская граница была и остается «на замке», безотносительно к тому, какие государства окружают СССР, «вражеские» капиталистические или «братские» социалистические. И законы на этот счет тоже сталинские, то есть сверхдраконовские. Казалось бы, что еще можно придумать такое, до чего не додумался сам Сталин? Но Федорчук нашел, что можно придумать: двойной замок! «Двойной замок» ставит перед собою и двойную цель: восстановить «железный занавес» в его первозданном виде и раздуть в стране шпиономанию высокого сталинского класса. Я позволю себе привести выдержки из этого удивительного в нынешних условиях полицейского документа. Федорчук заявил: «Сейчас наш классовый противник активнее и массированнее, чем когда-либо прежде, ведет против нашей страны тотальный шпионаж, осуществляет идеологическую диверсию, стремится нанести ущерб советской экономике. В подрывной деятельности империалистические спецслужбы важное место отводят враждебным действиям на нашей границе... западные разведорганы и центры идеологической диверсии пытаются засылать в нашу страну своих агентов и эмиссаров, нелегально ввозить в СССР оружие и взрывчатые вещества, наркотики, специальные радиосредства и портативную множительную технику, печатные материалы подрывного характера... Пограничные войска, советские чекисты... прилагают все силы к тому, чтобы надежно ограждать Советское государство и общество от подрывной деятельности империалистических спецслужб, разного рода антисоветских центров, их шпионов и эмиссаров»(«Правда», 25.11.1982).

Я не думаю, что из Федорчука получился бы новый Ежов, а из Андропова новый Сталин (такие чудовища рождаются в сотни лет один раз). Но на таком языке с народами СССР разговаривали как раз Ежов и Сталин накануне «Великой чистки». Характерно и другое: Федорчук считал себя вправе выставить «аттестат политической зрелости» своему предшественнику. Он говорил: «Все мы знаем Юрия Владимировича Андропова как талантливого руководителя и организатора, политического деятеля ленинской школы, обладающего широким кругозором и большой прозорливостью, глубоким видением проблем и мудрой осмотрительностью при принятии решений. Работая 15 лет на посту председателя Комитета Государственной Безопасности СССР, товарищ Ю. В. Андропов сыграл выдающуюся роль...» и т. д.

Но самое поразительное в речи Федорчука — это та абсолютно точная характеристика места и роли органов КГБ в системе диктатуры, которые они вновь приобрели после Хрущева в эпоху Брежнева. Правда, об этом мы знали и без Федорчука, но в СССР не было принято выражаться на этот счет вслух. Федорчук выразился, и выразился с похвальной откровенностью полицейского циника: «Органы КГБ стали на деле выполнять роль боевого отряда партии...» («Правда», там же).

Какова же могла быть внешняя политика Андропова? Чтобы ответить на это, надо выяснить другой вопрос: в какой мере внешняя политика в эпоху Брежнева была политикой самого Брежнева?

У Брежнева никакой своей собственной линии не было ни во внутренней, ни во внешней политике, ибо он был лишь исполнителем, который скрупулезно проводил в жизнь волю триединой реальной власти в стране: партаппарата, политической полиции и армии.

Личные качества Андропова гарантировали этой политике такие выдающиеся успехи, которые и не снились Брежневу. Брежнев был типичным советским мещанином на вершине власти сверхдержавы, и эта власть его интересовала в первую очередь как источник собственного материального благополучия и византийского великолепия. Поэтому в Кремле не хватало гаражей для коллекции его заграничных автомобилей, а на груди самого Брежнева места для новых орденов, точь-в-точь как у бывшего владыки Центральной Африки Бокассы. Именно поэтому он и был выдвинут в генсеки заговорщиками против Хрущева.

А вот Андропова никто не выдвигал — он сам выдвинулся. Если бы даже у нас не было никаких других доказательств, достаточно этого бесспорного факта исторического значения, чтобы быть уверенным, что в лице Андропова мы имели дело не с мещанином, даже не с узколобым полицейским, а с рафинированным политиком высшей сталинской школы (Федорчук для «красоты слога» говорил, что Андропов политик «ленинской школы»). Такой уже не выступит на встречах с главами иностранных держав со шпаргалкой в руках и не станет беспрерывно запрашивать мнение Политбюро по спорным вопросам, как это делал Брежнев. В международных делах самой трудной и самой сложной проблемой для Андропова явился весь тот комплекс, который связан с вопросами сокращения атомного стратегического оружия и достижения соглашения на переговорах в Женеве насчет атомного ракетного оружия средней дальности действия в Европе.

Ключ к выполнению пресловутой «продовольственной программы» партии лежит в арсенале советского вооружения. Если будет продолжаться и дальше гонка вооружений с американцами под лозунгом «кто кого превзойдет», то эта «программа» сорвется еще до того, как приступят к ее выполнению. Если бы Андропов договорился с Рейганом о прекращении гонки вооружений с обеих сторон или даже о сокращении существующего оружия, тогда Советский Союз мог бы перебросить освободившиеся средства из военного бюджета на выполнение названной «продовольственной программы» (это, конечно, только смягчит остроту продовольственного кризиса, но не ликвидирует его, пока не будет ликвидирована сама первопричина перманентного кризиса — колхозная система).

Однако встает новый вопрос: если бы даже Андропов из-за тяжелого внутреннего положения захотел заключить соответствующий договор, то разрешила ли бы ему армия заключить такой договор? Мы хорошо помним, как Хрущев хотел сократить личный состав армии и военный бюджет, а освободившиеся средства перебросить на подъем сельского хозяйства. Соответствующее решение было принято Советом Министров СССР в сентябре 1964 г. А через месяц — в октябре 1964 г. Хрущева свергли, опираясь на армию. После этого, смертельно боясь собственного свержения, Брежнев подписывал любые ассигнования на вооружение, которые от него требовала армия. Ведь нельзя забывать, что после Сталина и Хрущева не советские лидеры управляли советской армией, а советская армия управляла советскими лидерами в вопросах большой военно-политической стратегии. Люди гадали: не побоится ли Андропов вступить в конфликт с интересами этой армии, если он заключит договор с Америкой и попытается положить конец наращиванию советского вооружения? Беспрецедентное столкновение между партаппаратом и военным аппаратом по поводу заявлений Рейгана о его плане производства новых межконтинентальных ракет «МХ», чтобы догнать по этой части Советский Союз, показало, что армия по-прежнему чувствовала себя хозяином положения. Дело в том, что когда «Правда» заявила, что СССР не думает «соревноваться» с США в создании всякой новой системы вооружения (такое заявление «Правда» могла делать только с ведома или даже по поручению Андропова), то Устинов поспешил дезавуировать «Правду», сообщив, что СССР не позволит американцам перегнать его и будет производить такие же новые системы стратегического оружия, как и Америка.

До тех пор, пока советская армия пользуется правом вето в вопросах вооружения и разоружения — не быть контролируемому разоружению.

Во внутрипартийной политике Андропов хотел обновления и омоложения кадров партийного и государственного аппарата. «Кадровая политика» Брежнева, сформулированная партаппаратом как «бережное отношение к кадрам», сводилась к тому, что руководящие «выборные» функционеры партии и государства оставлялись на своих постах пожизненно, не зная не только «выборов», но и пенсионного возраста. Для этого свою карьеру генсека Брежнев начал с того, что отменил введенный Хрущевым на XXII съезде в устав партии параграф об обязательном и систематическом обновлении выборных органов в процентных нормах от первичных партийных организаций до Политбюро включительно. Партийный и государственный аппарат стал дряхлым, неподвижным, безынициативным — чем выше, тем больше. Отсюда же чисто брежневский феномен, невозможный при Сталине и Хрущеве: тотальная коррупция чиновников на всех уровнях иерархии вплоть до московских министерств, даже до окружения Политбюро. «Присвоение социалистической собственности» чиновниками, «расхищение социалистической собственности» обывателями, повсеместные взятки должностным лицам за услуги, более того — продажа и купля самих должностей в снабженческих учреждениях,— стали обычными явлениями «советского образа жизни». Самое страшное: такая практика никого не возмущала, да и происходило все это по негласному принципу «круговой поруки» и взаимного покрывательства.

«Ностальгия» по Сталину в иных кругах советского общества, собственно, и объясняется как своеобразный протест против этой вакханалии всеобщего рас-

гула и разложения советского господствующего класса. Из всех внутренних проблем, которые достались Андропову от его предшественника, вот эта проблема, коррупция, являлась, на мой взгляд, самой тяжелой и почти неразрешимой (ведь ее глубокая причина не в характере советского обывателя или даже советского чиновника, а в самой советской системе). В последние годы Азербайджан во главе с Алиевым был чем-то вроде «опытного поля» КГБ по чистке партийного, государственного и хозяйственного аппаратов от коррупционных элементов. Андропов хотел распространить азербайджанский опыт Алиева на всю страну и начать его с чистки партийного аппарата, который всюду покрывает преступников с партбилетами.

У нового генсека была и другая, но уже более важная причина начать чистку именно с партаппарата. Вожди партократии давно усвоили ту политическую аксиому, что преданными и надежными кадрами при данной системе являются только те кадры, которые своим выдвижением и карьерой обязаны не предыдущему, а данному вождю. Куда легче захватить власть умирающего вождя при помощи «боевого отряда партии», чем удержать ее против сопротивления и саботажа партаппаратной иерархии. («Великая чистка» Горбачева как раз и доказывает, как он глубоко воспринял эту аксиому, не побоявшись начать ее прямо с Политбюро.)

Через несколько дней после смерти Брежнева, на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, Андропов подверг уничтожающей критике хозяйственную политику своего предшественника. Он заявил: «Хотелось бы со всей силой привлечь ваше внимание к тому факту, что по ряду важнейших показателей плановые задания за первые два года пятилетки оказались невыполненными... Главный показатель эффективности экономики — производительность труда — растет темпами, которые не могут нас удовлетворить. Остается проблема несопряженности в развитии сырьевых и перерабатывающих отраслей... Планы по-прежнему выполняются ценой больших затрат и производственных издержек... Все еще действует сила инерции, привычка к старому...» Констатировав такое безотрадное положение в экономике, новый генсек сам поставил вопрос о необходимости изменения экономического механизма. Он сказал: «В последнее время немало говорят о том, что надо расширять самостоятельность объединений и предприятий, колхозов и совхозов. Думается, что настала пора, чтобы подойти к решению этого вопроса...» Но как к нему подойти, как реорганизовать экономическую систему, чтобы она стала эффективной? Новый вождь с несвойственной лидерам Кремля откровенностью заявил: «В общем, товарищи, в народном хозяйстве много назревших задач. У меня, разумеется, нет готовых рецептов их решения». И, явно намекая на лозунг Брежнева «экономика должна быть экономной», Андропов добавил: «Одними лозунгами дело с места не сдвинешь» («Правда», 23.11. 1982).

К этой центральной проблеме всего народного хозяйства страны Андропов еще раз вернулся в своей статье «Учение Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР». Андропов писал: «Наши заботы сейчас сосредоточены вокруг повышения эффективности производства, экономики в целом... Что же касается ее практического решения, дело движется не так успешно... Почему от огромных капиталовложений мы сейчас не получаем должной отдачи, почему не удовлетворяющими нас темпами осваиваются в производстве достижения науки и техники?» («Коммунист», 1983, № 3, стр. 12).

На правильно поставленный вопрос Андропов дал ложный ответ: неэффективность советской экономики он объяснил недостатками в усовершенствовании и перестройке хозяйственного механизма и форм и методов его управления. Как и его предшественники, Хрущев и Брежнев, Андропов искал свои «рецепты» не в сфере реформ социально-экономической системы, а в сфере административно-бюрократической перестройки. Мы еще помним бесконечные хрущевские бюрократические организации, реорганизации,툰реорганизации, помним, как Брежнев и его соратники, ликвидируя «субъективизм» и «волюнтаризм» Хрущева, как раз и создали нынешний хозяйственный механизм. Брежнев докладывал на XXV съезде КПСС (1976 г.) о «новом механизме», призванном творить хозяйственные чудеса. Но выяснилось, что новый хозяйственный механизм как раз и завел советскую экономику в окончательный тупик. Неужели Андропов хотел усовершенствовать еще раз вот этот уже усовершенствованный «механизм»?

Советским лидерам, которые бесконечно клянутся именем Ленина, как раз не хватает ленинского чувства реальности: когда первоначальный советский коммунизм потерпел крах, Ленин не стал искать «усовершенствованный хозяйственный механизм», а объявил нэп. Ленин честно объяснил и причину введения нэпа: «Мы думали (при «военном коммунизме».— А. А.), что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение... Если мы эту задачу пробовали решить прямиком, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неудачу» (Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 47). А через год после введения нэпа Ленин объяснил и причины, почему советская хозяйственная система все еще плохо работает.

В своем отчете ЦК на XI съезде (1922 г.) он сослался на то, что говорят о коммунистах в народе: «Капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете? Люди-то вы превосходные, но то дело, экономическое дело, за которое вы взялись, вы делать не умеете... Принципы коммунистические, идеалы хорошие,— ну, расписаны так, ...в рай живыми проситесь,— а дело делать умеете? Старый капиталист умеет, а вы не умеете»,— и Ленин делает вывод: «Мы хозяйничать не умеем» (XI съезд РКП(б). Стенографический отчет. 1961., Москва, стр. 17—18). Эти слова Ленина никогда не были так актуальны, как сегодня. Андропов это только подтвердил. Кризис советской экономики есть социально-структурный кризис самой экономической системы. Поэтому его решение в рамках советского режима возможно только радикальными реформами типа ленинского нэпа, что в нынешних условиях означало бы: денационализация легкой промышленности, приватизация сферы обслуживания, деколлективизация сельского хозяйства, легализация рынка. Если бы Андропов действительно хотел, чтобы советский рабочий не бегал от работы, а бегал за работой, то он должен был поступать так, как поступают во всех индустриальных странах Запада: сделать советский рубль обратимым (конвертируемым), каким и был червонец при нэпе, а советские магазины заполнить высококачественными товарами с нормальными ценами. Это явилось бы прямым следствием названных мною экономических реформ. Однако ничто так не пугает партократию, как само слово «реформа». Поэтому вы никогда не встретите этого слова в партийной литературе, если даже речь идет о действительных реформах, которые произвел сам Ленин. Здесь в идеологию большевизма исторически вкоренился догматический комплекс вражды ко всякого рода «реформам», как их проповедовала немецкая социал-демократия при капитализме (Бернштейн) или как требуют реформ «реального социализма» еврокоммунисты. Как раз говоря об этих «реформистах», Андропов дал понять, что он не пойдет ни на какие реформы, которые затрагивают догматические основы «марксизма-ленинизма».

Вот его слова: «Приходится слышать порой, будто новые явления общественной жизни «не вписываются в концепцию марксизма-ленинизма», что он будто бы переживает «кризис» и надо, дескать, «оживить его» вливанием идей, почерпнутых из западной социологии, философии или политологии. Дело здесь, однако, совсем не в мнимом «кризисе» марксизма. Дело в другом — в неспособности иных теоретиков, называющих себя марксистами, подняться до истинных масштабов теоретического мышления Маркса, Энгельса, Ленина... Не размывать марксистско-ленинское учение, а, наоборот, бороться за его чистоту... вот путь к познанию и решению новых проблем» («Коммунист», 1983 г., № 3, стр. 22).

Я думаю, что вывод отсюда ясен: от правления Андропова каких-либо существенных экономических преобразований ждать не приходилось. Приходилось ждать усиления репрессий.

Преследование по «бытовым преступлениям» входит в функции МВД СССР, Прокуратуры и судебных органов, а если дело касается партийных чиновников, то это входит в компетенцию партийно-надзорных органов — народного контроля при правительстве или партийного контроля при ЦК. Но эти органы либо сами были задеты коррупцией, либо не проявляли никакого желания ссориться с партийно-государственной бюрократией, руководствуясь указанием Брежнева о «бережном отношении к кадрам». Вот тогда еще, при жизни Брежнева, органы КГБ включились в борьбу с коррупцией, начав ее в двух наиболее зараженных коррупцией республиках — в Грузии и Азербайджане. Во главе партий этих республик поставили Шеварднадзе и Алиева. Со своей первоочередной задачей по чистке аппарата власти от коррумпированных элементов они справились блестяще.

Некоторые высшие функционеры этих республик погибли при загадочных обстоятельствах — министр внутренних дел Азербайджанской ССР Гейдаров и его заместитель Кязимов были кем-то застрелены в кабинете («Бакинский рабочий», 5.07.1978), но кем и почему они были застрелены, общественность так и не узнала, в июне 1978 г. погиб в «автомобильной катастрофе» председатель Совета Министров Грузии Патаридзе, без свидетелей и без других пострадавших. Говорят, есть какой-то мистический закон «серийности» в несчастных случаях. Азербайджано-грузинские несчастные случаи начали повторяться и в других республиках и краях: в декабре 1980 г. председатель Совета Министров Киргизской ССР Ибрагимов был застрелен в больнице, но убийцу так и не нашли, а в октябре того же года первый секретарь ЦК Белоруссии Машеров в бронированном автомобиле и сопровождаемый эскортом погиб в «автомобильной катастрофе», в которой, очевидно, никто из других пассажиров не пострадал (Машеров был кандидатом в члены Политбюро, поэтому на его похоронах должен был по протоколу присутствовать минимум кандидат в члены Политбюро, но этого не случилось).

«Неожиданно» или «внезапно» умерли первые секретари обкома Якутии (Черняев), Татарии (Мусин), Таджикистана (Расулов), секретарь Президиума Верховного Совета СССР (Георгадзе), вторые секретари ЦК Украины (Соколов), Ленинградского обкома (Суслов), главный редактор журнала «Проблемы мира и социализма» (Задоров). Сюда же надо отнести и смерть Цвигуна. По этому поводу немецкий «Шпигель» в свое время заметил: «Целый ряд смертных случаев мог вызвать в среде партийной элиты скрытый страх, что наступила новая опасная эра» («Шпигель»,1983 г., № 1, стр. 71). Доказать это невозмож-

но, но, апеллируя к практике «органов» в прошлом (коллегия ОГПУ в двадцатых годах, «чрезвычайные тройки» НКВД в тридцатых годах имели право расстреливать людей без суда и следствия), можно допустить, что существовало какое-то глубоко засекреченное чрезвычайное судилище по делам преступлений высших чинов партии и государства, которых судить нормальным судом невозможно, не дискредитируя режим...

Советская пресса получила указание более смело разоблачать случаи коррупции, злоупотребления властью и нарушения существующих законов. Но Андропова ждало здесь решительное поражение. Коррупция — органическая болезнь советской структуры власти: бюрократия, которая неподконтрольна ни свободно избранному парламенту, ни свободно функционирующей и от партии независимой печати, как раз свободна творить коррупцию и безнаказанно злоупотреблять властью. Еще лорд Актон знал, что власть портит людей, а абсолютная власть портит абсолютно. Правда, в давние времена среди идейных большевиков были люди, которые видели корень зла советской системы именно в отсутствии свободной печати. Так, старый большевик, бывший секретарь Московского комитета партии Г. Мясников писал в брошюре «Больные вопросы», что в советском государстве ввиду монополии партии в области печати процветают коррупция, взяточничество, злоупотребления властью, а партийная печать молчит или прикрывает партийных бюрократов. Проанализировав тогдашнюю советскую действительность, он пришел к выводу: «У нас куча безобразий и злоупотреблений: нужна свобода печати их разоблачать»,— поэтому он предлагал объявить свободу печати «от монархистов до анархистов». Ленин в личном письме Мясникову ответил: «Мы самоубийством кончать не желаем и поэтому этого не сделаем» (Ленин. Изд. 5, т. 32, стр. 479—480).

«Дозированные» разоблачения Андропова послужили лишь толчком к усовершенствованию техники коррупции и к рафинированности ее методов.

«Теоретик» Андропов и наследник Черненко

Начну с замечательной цитаты из речи Андропова на июньском идеологическом Пленуме ЦК КПСС 1983 г.: «Стратегия партии в совершенствовании развитого социализма должна опираться на прочный марксистско-ленинский теоретический фундамент. ...Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся...» («Правда», 16.06. 1983 г., далее цитаты из речи Андропова везде по этому номеру).

После такого заявления Юрия Андропова ничего не оставалось, как воскликнуть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» В самом деле, что же получается: десятилетиями учили партию, что уже Ленин сформулировал «основополагающие законы» советского социализма, а что касается пресловутого «развитого социализма», то его законы сформулированы в решениях XXIII, XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС, в «девятитомнике» Брежнева, в сборниках «избранных статей и речей» всех членов Политбюро, в том числе и самого Андропова; все бесчисленные учебники, монографии, энциклопедии в миллионных тиражах твердили о том же. Что же, все это теперь объявляется макулатурой?

Выступление Андропова по данному вопросу как раз и было всем своим острием направлено против «макулатурной» теории и практики Брежнева и его помощника Черненко. Более того, оно прямо было направлено против следующего положения Черненко в его основном докладе на Пленуме: «Подлинными достижениями марксистско-ленинской мысли последнего времени мы по праву считаем положения и выводы, содержащиеся в материалах XXIV—XXVI съездов КПСС, Пленумов ЦК, в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова (где же Брежнев? — А. А.). Разработка концепции развитого социализма, путей повышения эффективности производства в условиях научно-технической революции, постановка вопроса о становлении бесклассовой структуры общества... эти и другие теоретические обобщения вооружают партию новыми идеями, научно обоснованным, взвешенным подходом к актуальным проблемам современности. («Правда», 15.06.1983).

Если бы в Черненко не сидел карьерист, то он должен был бы открыто ответить на уничтожающую критику основного положения своего доклада Андроповым и подать в отставку, тем более что текст его доклада, несомненно, утверждался на Политбюро. Он этого не только не сделал, но еще перед лицом всей партии и страны изменил человеку, которому был обязан тем, что стал членом Политбюро,— Брежневу, согласившись выбросить его имя и его «девятитомник» «Ленинским курсом» из перечисленных «подлинных достижений» марксистско-ленинской мысли.

По существу критики Андропов, конечно, был прав. Невероятное убожество теоретической мысли и тотальная беспомощность в теоретических вопросах ведущих кадров партии — вот наиболее характерные черты состояния советского идеологического фронта.

Секрет тут очень простой: брежневские «теоретики» и «пропагандисты» — наемные циники, у которых только одна мечта — карьера чиновника. Истинный пропагандист есть человек идеи и убеждения, безразлично, какая это идея — политическая, философская, религиозная. Чтобы убедить других, самому надо верить в свою идею,— это элементарное правило пропагандного искусства. Первые русские марксисты группы Плеханова глубоко верили Марксу: «Идеи, овладевшие массой, становятся материальной силой». Ленин перевернул эту формулу, зная, что «материальная сила», то есть власть, овладевшая массой, может творить свои собственные идеи. Придя к власти в крестьянской стране, вопреки букве и духу марксизма, Ленин решил декретировать «идею коммунизма» и даже построить его средствами государственного принуждения. Однако в понимании исторического смысла Октябрьской революции Сталин оказался больше реалистом, чем Ленин. Он знал, что строительство коммунизма — утопия. Но эту утопию можно поставить на службу той «материальной силе», которую дала революция,— на службу неограниченной и абсолютной власти. Власть стала идеей, а коммунизм — средством удержания, укрепления и расширения этой власти.

Сталин, начисто уничтожив идеалистов большевизма, создал свою партию — партию мастеров власти — нынешнюю КПСС. Попытки Хрущева, разоблачив преступления Сталина, гальванизировать идейные позиции старого большевизма кончились тем, что правоверные сталинцы похоронили его самого. Последовавшая затем эпоха Брежнева оказалась эпохой тотальной безыдейности, духовной прострации и морального разложения кадров всей пирамиды власти. Война, которую объявил Андропов этому брежневскому наследству, была проиграна, ибо система оказалась сильнее нового генсека. Ее можно было совсем уничтожить либо заменить, как Сталин заменил ленинскую систему коллективной диктатуры системой личной диктатуры, но ее нельзя было «ремонтировать», выбрасывая оттуда одних олигархов и набирая туда других таких же олигархов, только стоявших ступеньками ниже. Вот когда Андропову дали почувствовать все это, то он решил апеллировать к «идеологической совести» системы. Отсюда — созыв идеологического Пленума ЦК.

Со времени Сталина существует закон: партийным теоретиком может быть всякий партаппаратчик, но теоретиком партии и «продолжателем дела Ленина» может быть только один генсек. Это его монопольная привилегия. Совершенно неважно, что в вопросах философии марксизма, марксистского экономического учения или истории и теории социализма очередной генсек — сущий профан, какими и были Хрущев с Брежневым. Важен его пост — он генсек, и поэтому только он может сказать новое слово в марксизме-ленинизме. Остальные члены Политбюро пользуются привилегией первыми цитировать генсека.

Генсеку и членам Политбюро доклады пишут их референты. Поставленные в строгие догматические рамки, референты как чумы боятся наговорить какую-нибудь идеологическую «ересь», поэтому выдают «на-гора» такую серую «словесную руду», от которой, вероятно, тошнит их самих: ни живого слова, ни блеска ораторского искусства, ни — Боже упаси — остроумного анекдота.

Наблюдатели заметили, что в этом отношении как раз в речах Андропова нет-нет да и проскальзывала иная оригинальная мысль или даже живое слово. Отсюда, вероятно, и пошла легенда, что верховный шеф КГБ — интеллектуал. Разберемся, насколько этот «интеллектуал» присутствует в «программной речи» Андропова на идеологическом Пленуме ЦК. Она была посвящена разработке новой редакции, как он выразился, «действующей Программы».

Андропов начал речь с констатации следующего очевидного положения: «В нашем распоряжении богатейший арсенал средств просвещения и воспитания... Главные наши противники...— формализм, шаблон, робость, а порой и леность мысли».

Этот совершенно правильный диагноз — «формализм, шаблон, робость и леность мысли» — страдает отсутствием указания на их источник: на партийно-полицейскую систему власти. Андропов точно знает, что эти явления в советской идеологической жизни не случайные, а имманентные черты советского режима и неистребимы, пока существует данный режим. Генсек, который всерьез объявил бы им войну, перестал бы возглавлять партию. Поэтому Андропов спешил оговориться: «Но даже самая яркая и интересная пропаганда, самое умелое и умное преподавание, самое талантливое искусство не достигнут цели, если они не наполнены глубокими идеями...»

А «глубокие идеи» — это та же самая идеологическая тарабарщина партии с ее незыблемыми догмами в общественных науках и «соцреализмом» в искусстве. Андропов заявил, что, приступая к составлению новой редакции «действующей Программы», надо руководствоваться указанием Ленина на VII съезде партии (1919 г.) по поводу составления второй Программы партии. Вот слова Андропова: «В связи с разработкой второй Программы партии В. И. Ленин говорил: «Нисколько не преувеличивая, совершенно объективно, не отходя от фактов, мы должны сказать в программе о том, что есть, и о том, что мы сделать собираемся» (Ленин, ПСС, т. 36, стр. 55; «Правда», 16.06.1983).

Андропов взял из Ленина абсолютно неудачную цитату. Ленин как раз и записал в свою Программу вещи, которые он не только не собирался делать, но и никогда не мог делать, не изменяя себе. Заглянем в эту вторую Программу партии и процитируем то, что собирался делать Ленин: «...лишение политических прав и какие бы то ни было ограничения свободы необходимы исключительно в качестве временных мер борьбы с по-

пытками эксплуататоров отстоять или восстановить свои привилегии. По мере того, как будет исчезать объективная возможность эксплуатации человека человеком, будет исчезать и необходимость в этих временных мерах, и партия будет стремиться к их сужению и к полной их отмене (Восьмой съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959, стр. 395, 403).

Хотя комментарии излишни, все же заметим: прошло несколько десятков лет, и все условия, о которых там говорится, выполнены, а свободы и права не только не восстановлены, а еще более ограничены.

Чем же вообще вызвана необходимость переработать «действующую Программу», принятую на XXII съезде КПСС в 1961 году? Вот ответ Андропова: «Многое из того, что записано в Программе, уже выполнено. Вместе с тем некоторые ее положения — это надо прямо сказать — не в полной мере выдержали проверку временем, так как в них были элементы отрыва от реальности, забегания вперед, неоправданной детализации».

Этот типично эзоповский стиль партийного жаргона призван наводить «тень на плетень». Ведь в данном случае надо было объяснить, что же это за «многое», которое уже выполнено? Что это за «элементы», которые оторвались от «реальности»? В чем была «детализация», которая оказалась «неоправданной»?

Если мы сами заглянем в «действующую Программу», становится понятным, почему Андропов не мог быть конкретным в отношении «некоторых ее положений, не в полной мере выдержавших проверку временем». Достаточно привести сердцевину этой третьей Программы 1961 года, чтобы показать, что она была такая же утопическая, как и «вторая Программа» Ленина в 1919 году: «В итоге второго десятилетия (1971—1980)... в СССР будет в основном построено коммунистическое общество». (XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, 1962, стр. 271).

Комментарии здесь тоже излишни. Достаточно привести косвенные комментарии самого Андропова. Оказывается, по законам социализма, которые не были известны ни Марксу, ни Ленину, ни даже изобретательному в таких случаях Сталину, между первой, низшей фазой коммунизма (социализмом) и высшей его фазой (самим коммунизмом) существует еще одна фаза, или, по выражению Андропова, новый особый этап — этап «развитого социализма». О нем докладывал на последнем съезде партии Брежнев. О нем говорил и Андропов: «...Нужно превыше всего ясно представить себе характер того этапа общественного развития, на котором мы сейчас находимся. Партия определила его как этап развитого социализма».

Вот задачей новой редакции программы Андропов ставит не строительство уже провалившегося коммунизма, а «совершенствование» этого «развитого социализма»: «Программа партии в современных условиях должна быть прежде всего программой планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма...»

Сколько же времени надо для его завершения? Андропов не ответил на этот вопрос, а ответ Черненко был вполне «диалектическим»: «Советское общество вступило в исторически длительный этап развитого социализма; его всестороннее совершенствование — наша стратегическая задача. Уже в этих положениях наглядно выражена диалектика современной стадии нашего развития. Это — этап зрелого социализма. Но это лишь начало этапа» («Правда». 15.06.1983).

Поскольку Андропов говорил о преемственности ведущих основ марксистско-ленинского мировоззрения в новой редакции программы, то он остановился и на ряде теоретических догматов марксизма. Начал Андропов свой теоретический вклад в марксизм со знаменитого положения Маркса о роли и месте производительных сил и производственных отношений в развитии социально-экономических формаций. По отношению к советскому обществу Андропов трактует его так: «Хорошо известно, что облик каждого общества определяется в конечном счете уровнем развития его производительных сил, характером и состоянием производственных отношений. Мы в своем общественном развитии подошли сейчас к такому историческому рубежу, когда не только назрели, но и стали неизбежными глубокие качественные изменения в производительных силах и соответствующее этому совершенствование производственных отношений. Это не просто наше желание... это объективная необходимость... В тесной взаимосвязи с этим должны происходить и изменения в сознании людей, во всех тех формах общественной жизни, которые принято называть надстройкой».

Превратив марксовы «производственные отношения» в субъективный фактор, Андропов обошел совершенным молчанием, почему Марксу важна была сама теоретическая конструкция об их роли в общественном развитии, безотносительно к тому, о каком типе общества идет речь. Стоит только процитировать самого Маркса, как становится ясным, почему не понадобилось Андропову продолжение главной мысли Маркса на этот счет. Вот эта мысль Маркса, сформулированная им как имманентный закон развития любого общества, в том числе и социалистического: «В общественном производстве в своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, **от их воли не зависящие отношения — производственные отношения,** которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. **Из формы развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальных революций»** (К. Маркс. «К критике политической экономии». М., 1949, стр. 7). (Везде выделено мной.— **А. А.**)

Андропов ссылается именно на этот закон Маркса, а его суть о противоречиях, которые неизбежно приводят к революции, игнорирует. Всякие там сталинские фокусы, что у Маркса речь якобы идет об «антагонистических противоречиях» классового общества, отпадают уже по самой формулировке Маркса, к тому же само советское общество новоклассовое.

Андропов думает, что противоречия между производительными силами и производственными отношениями в советском обществе можно ликвидировать «кардинальным повышением производительности труда», чтобы «достичь в этом плане высшего мирового уровня», что широкое применение роботов «радикально изменит положение в области производительности труда» и «таким образом здесь мы подходим к вопросу совершенствования производственных отношений».

Я не настаиваю на правильности открытого Марксом «имманентного закона», ибо если бы он был действительным законом общественного развития, то советскому социализму полагалось погибнуть давным-давно. Однако стремиться к «совершенствованию производственных отношений» — это, с одной стороны, явно антимарксистская ересь, ибо, по Марксу, «производственные отношения», как мы видим, не зависят от воли людей, даже от воли генсека, а, с другой стороны,— генсек впадает на этот раз в «противоречие» сам с собою, когда «высший мировой уровень» «загнивающего капитализма» ставит в пример «передовой и прогрессирующей» социалистической экономике.

Однако по существу дела Андропов был прав: если когда-нибудь советское производство станет эффективным, то не в результате роста энтузиазма скандально низкооплачиваемой рабочей силы, а повсеместным использованием той силы, которую не надо ни кормить, ни одевать: «широким применением роботов».

Не очень оригинальным явился вклад Андропова в будущую программу и по вопросу о судьбе государства при коммунизме. Что говорили на этот счет основоположники марксизма, хорошо известно из их сочинений, хотя они никогда не цитируются в советской литературе с тех пор, как появился «корифей всех наук» — Сталин. Причины этого ясны из изложения сути дела. Фундаментальное положение о судьбе государства сформулировал Энгельс: «Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим... тогда исчезнет надобность в государственной власти... Государство не «отменяется», оно отмирает» (Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг». М., 1933, стр. 202).

В резолюции Ленина на апрельской конференции партии 1917 г. прямо записано, что даже само переходное Советское государство явится новым «типом государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества». Как же собирался Андропов поставить вопрос о судьбе государства в новой программе? Вот ответ Андропова: «Что касается более далекой перспективы, то мы, коммунисты, видим ее в постепенном перерастании советской государственности в общественное самоуправление. И произойдет это, как мы считаем, путем дальнейшего развития общенародного государства...»

Словом, «отмирание» государства произойдет путем «дальнейшего развития государства». Может быть, в этой формуле присутствует всеспасающая «диалектика», но Энгельс и Ленин отсутствуют здесь начисто. Зато присутствует Сталин, который заявил в 1933 г. на Пленуме ЦК: «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление» (Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 394).

Нет основания предполагать, что Андропов в данном вопросе думал иначе, чем думал Сталин, ибо хорошо знал, что Сталин, бросив в мусорный ящик истории марксистско-ленинский утопический хлам в виде теории об «отмирании государства», тем самым спас как раз коммунистический режим от неминуемой гибели.

В социально-экономической области будущей программы приоритеты, или иерархия ценностей, у Андропова идут в общеизвестной ленинско-сталинской последовательности: на первом месте стоят интересы партии, на втором месте — интересы государства, на третьем месте — интересы коллектива и только на последнем, четвертом, месте идут интересы личности, хотя и в будущую программу перекочевали пустые слова из «действующей Программы»: «Все для блага человека, все во имя человека».

Для советских идеологов человек, который живет в Советском государстве, есть прежде всего единица физического труда и единица его измерения («человеко-день»), как лошадь является единицей измерения мощности машины. По советской идеологии, именно труд перековал обыкновенного человека в «совет-

ского человека». Именно в труде он будет «совершенствоваться» как «советский человек» и дальше. Поэтому Андропов хочет, чтобы «трудовая перековка» началась с детских лет: «Формирование человека начинается с первых лет его жизни... партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего — как гражданин социалистического общества... Хорошее средство воспитания — соединение обучения с производительным трудом».

Однако советского гражданина меньше всего интересуют догматические постулаты программы, его занимают вещи весьма прозаические: ну, хорошо, с объявленным в третьей программе коммунизмом ничего не вышло, и без него, конечно, можно обойтись, но как будет обстоять дело в новой программе с обещанным в ее старом тексте «изобилием материальных благ для всего населения»?

Ответ Андропова на этот вопрос был совсем не утешительный, хотя по-прежнему вполне «диалектический». Андропов ссылается на тот же будущий «коммунизм», который воистину приобрел свойство горизонта — чем больше к нему движешься, тем скорее он удаляется. Вот его ответ: «У нас все имеют равные права... Полное же равенство в смысле одинакового пользования материальными благами будет возможно лишь при коммунизме. Но до этого еще предстоит пройти долгий путь»...

Андропов умер через 15 месяцев после прихода к власти (1982—1984), не успев ничего совершить. Он был полнокровным, волевым, изобретательным и холодным политиком кристально чистой сталинской закваски без всяких посторонних примесей, моральных или эмоциональных. Как и его учителю Сталину, все человеческое было ему чуждо, кроме ницшеанской «воли к власти». Именно поэтому он старался навести полицейский порядок внутри страны, а коллективное руководство постепенно убрать. Во внешней политике он был опаснее Сталина, ибо располагал тем, чем не располагал Сталин,— ракетно-ядерным превосходством над остальным миром. Это не означало, что он это оружие безоглядно пустит в ход. Оружием часто побеждают, не стреляя, во многих случаях: достаточно им лишь угрожать, чтобы добиться цели. Чем страшнее и больше оружия, тем вернее победа без войны. Внешнеполитические условия не только сопутствовали Андропову, они просто провоцировали его на продолжение уже доказавшей себя успешной советской политики революционной экспансии в третьем мире и советской политики разложения, инфильтрации и морально-политического разоружения в западном мире. Приписывая Америке намерение начать атомную войну, Андропов сознательно культивировал страх перед атомной войной как у своего народа, чтобы он и дальше продолжал работать на сверхвооружение, живя впроголодь, так и среди европейцев, чтобы оторвать Западную Европу от Америки.

Ироническое замечание Николая I, что Россией правит не император, а столоначальники, стало былью после смерти Андропова: во главе великой советской империи стал классический столоначальник — Константин Устинович Черненко. Однако столоначальник столоначальнику рознь. Мы знаем, что у Сталина более четверти века столоначальником был пресловутый Поскребышев, перед которым дрожали даже члены Политбюро, но тому едва ли приходила в голову мысль, что он когда-нибудь займет кресло Сталина. А вот Черненко тоже работал более четверти века столоначальником Брежнева, из них 18 лет, когда Брежнев был генсеком. Работал интенсивно, усердно, лояльно, как и Поскребышев, но никогда не забывал конечной цели своей карьеры: когда-нибудь занять место своего повелителя. Это место ему полагалось по всем внутрипартаппаратным законам, когда умер Брежнев, но Андропов предупредил его.

По своему образовательному цензу Черненко занимал последнее место в Политбюро — он окончил только среднюю школу, что же касается других школ, которые, по утверждению казенных биографов, он окончил, то тут речь идет об известной еще во времена Сталина практике «улучшения» биографий руководящих партийных кадров: одним сочиняли «пролетарское происхождение», если они были выходцами из семей чиновников (типичные примеры: Маленков, Булганин, Брежнев, Андропов), другим вручали дипломы высших школ по общественным наукам, хотя они никаких школ не кончали. Так получил диплом от подчиненного ему Кишиневского пединститута и Черненко, работая заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК партии Молдавии, где первым секретарем ЦК был Брежнев. Сказанным я не хочу присоединиться к хору западных публицистов, которые вообще отрицают за Черненко какие-либо заслуги. Черненко принадлежал к тому типу людей, которых американцы называют «селфмейдмен» — человек, обязанный всем самому себе. В Советском Союзе есть одна уникальная наука, которая называется «партийное строительство». Этим выражением названы ленинские наука и искусство, как тотально и тоталитарно руководить партией, государством и народом. Вот этой науке Черненко учился более пятидесяти лет внутри партаппарата, начиная с секретаря первичной парторганизации и кончая работой в ЦК КПСС. Причем поразительно, что за всю эту полувековую деятельность он всегда находился на вторых ролях, даже тогда, когда работал в низовом партаппарате, но зато каждый его новый начальник убеждался, что на вторых ролях Черненко просто незаменим, именно как усердный службист и скрупулезный исполнитель. Самый нескромный из лидеров большевизма — Сталин — однажды выразился, что «скромность украшает большевика». Это изречение Сталина Черненко, вероятно, принял как руководство к действию, ибо все известные свидетельства говорят об его исключительной внешней скромности. С такими личными качествами в логове партийных волкодавов с их законом «естественного отбора», когда сильные съедают слабых, Черненко остался бы вечным столоначальником, если бы случайно дороги Черненко и Брежнева не скрестились в Кишиневе в 1950 году.

С этих пор Черненко — неизменный спутник и «второе я» Брежнева. Эту встречу двух партаппаратчиков сегодня уже можно назвать исторической. Психологически они разные типы. В отношении организаторских талантов они дополняли друг друга. А в быту Брежнев был жизнелюб с повадками советского «плейбоя».

Черненко, наоборот, был сухим педантом и, как его нарек Брежнев, «беспокойным» работягой, но вот, сделавшись начальником «внутреннего кабинета» Брежнева, он работал за двоих — за себя и за Брежнева. Благодарный Брежнев ответил взаимностью, назначив его секретарем ЦК, членом Политбюро да еще явно метил его в свои наследники. У Черненко было и другое качество, нужное генсеку, но которого начисто был лишен сам Брежнев,— дар обобщения партийного опыта по руководству партией и государством. Брежнев определенно думал, что его наследником должен быть Черненко, который сделал беспрецедентную в истории партии карьеру в столь короткий срок — за неполных три года он превратился из личного секретаря Брежнева сначала в секретаря ЦК, потом кандидата в члены Политбюро, наконец члена Политбюро... Для такой стремительной карьеры, кроме помощи Брежнева (впрочем, помощь была взаимная), надо было иметь и нечто свое личное — талант организатора, комбинатора, мастера власти плюс то, что на партийном языке называется «теоретической подкованностью». В отношении первых качеств он счастливо дополнял своего патрона, что же касается партийных догм, то он превосходил многих других партаппаратчиков по таланту их отстаивания (это почувствует каждый, кто сравнит начетничество в произведениях Суслова с творческой жилкой в произведениях Черненко о партийном строительстве).

Однако все сказанное совсем не означает, что вопрос о наследнике Брежнева был уже решен положительно и в один прекрасный день Черненко займет кресло генсека. Совсем нет. Остаток пути к вершине власти у Черненко был более крутым и потому более опасным. Я на это обстоятельство указывал еще при жизни Брежнева: «Неожиданным выдвижением своего протеже на вторую роль после себя Брежнев провоцирует обойденных соперников Черненко и законных претендентов на кремлевский престол — на интриги, подвохи и продолжение глухой борьбы не только против Черненко, но и против самого себя» («Сила и бессилие Брежнева». «Посев», 1979, стр. 181).

У всех на памяти, как эти интриги и подвохи захлестнули власть генсека Брежнева, особенно в последние месяцы его жизни, когда ввиду его тяжелой болезни вопрос о наследнике стал актуальным. Самое кратковременное генсекство Черненко было и самым бесцветным.

Что же обещал Черненко народам СССР в отношении подъема материального уровня их жизни? Ответ его звучал, как издевка. Он заявил после своего избрания генсеком: «Глубокое удовлетворение вызывает широкий отклик трудовых коллективов... добиться сверхпланового повышения производительности труда на один процент и дополнительного снижения себестоимости продукции на 0,5 процента... Думаю, что следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все средства,.. которые будут получены за счет этого... направить на улучшение условий труда и быта советских людей» («Правда», 14.2.1984).

Словом, синицу, которая у нас в руках, мы вам не дадим, но если хотите хорошо поесть, то ловите журавля в небе. Ведь мифическая цифра полтора процента и есть тот журавль, которого еще надо поймать. Так цинично с народом не разговаривал еще никто из предшественников Черненко. Не было у меняющихся генсеков никаких принципиальных изменений и во внутренней политике. Все компоненты руководства, все винтики механизма власти, разработанные Лениным и усовершенствованные Сталиным, оставались в абсолютной неприкосновенности. Система эта в целях камуфляжа сама себя называла «социалистической демократией», а на деле тут не было ни «социализма», ни «демократии», а был новый тип тирании, которую я назвал «тоталитарной партократией». Рассмотрим ее в действии.

Партия и партаппарат

Как мы уже говорили, в Советском Союзе существует одна закрытая наука, которая совсем неизвестна на Западе, а в самом СССР доступна для изучения только партаппаратчикам. Неуклюжая по названию, это наука всех наук по управлению государством и партией — «партийное строительство». Ее основоположником был Ленин. Задумав захватить власть в России, он изложил пути и методы этого захвата в известной работе «Что делать?».

Главные тезисы этой работы действуют и по сегодня: не марксистское соци-

алистическое сознание приведет к революции и к власти, а особая организация революционеров, основанная на конспирации. Центральный тезис Ленина гласил: «Дайте нам организацию революционеров — мы перевернем Россию». Ядро такой организации должна составить узкая группа профессиональных революционеров, конспиративная техника которых превосходит конспиративную технику царской полиции. Когда же Ленин пришел к власти, он заявил: «Мы Россию завоевали — теперь мы должны Россией управлять». Ядро новой власти, по Ленину, опять-таки должны были составить члены узкой партийной олигархии — члены Центрального Комитета партии, а в самом ЦК — Политбюро, Оргбюро, Секретариат и аппарат ЦК. Советы, съезды Советов, ЦИК Советов и ВЦИК, сама советская конституция — все это для Ленина — не более чем ширма, бутафория. Все дела государства должна решать партолигархия. Ленин вещи называл своими именами. Вот его подлинные слова: «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция Советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу» (Ленин, т. 41, 5-е изд., стр. 403). Ленин признавал, что и партией, и государством руководит партийная олигархия. Вот слова Ленина: «Партией руководит... ЦК из 19 человек, причем текущие работы в Москве приходится вести еще более узким коллегиям... Оргбюро и Политбюро... Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия»... Ни один важный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии» (Ленин, т. 34, стр. 26—27—28). Когда Ленину указывали, что в таком случае в советской России не «диктатура пролетариата», а диктатура одной партии, он хладнокровно отвечал: «Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем» (Ленин, т. 32, стр. 141).

В чем же секрет долголетия этой диктатуры? Дело, конечно, не в марксистской идеологии, не в «коммунистической сознательности» масс, не в «политико-моральном единстве партии и народа». Секрет долголетия диктатуры в ее партийно-полицейской, тоталитарно-террористической организации режима. Вот эта организация создана и функционирует на точных, научно разработанных, в своих принципах незыблемых, в формах и методах гибких нормах «партийного строительства».

Само название может ввести в заблуждение — значит, эта наука занимается делами партии, ее организацией, структурой, ее работой. Да, этим она занималась до прихода к власти, но с тех пор, как партия стала единственной правящей партией в государстве, «партийное строительство» стало универсальной наукой по управлению партией, государством и всеми его отраслями — внешней политикой, армией, политической полицией, судебно-прокурорскими органами, экономикой, культурой, народом в целом. После первого поколения большевистских кадров периода правления Ленина все последующие поколения кадров партии со времени Сталина и после него, как правило, направлялись в высшие партийные школы или на высшие партийные курсы для изучения и овладения этой наукой «партийного строительства». Все нынешние руководящие кадры партии от Политбюро, Секретариата, руководителей отделов аппарата ЦК КПСС до секретарей ЦК союзных республик, крайкомов и обкомов включительно пропущены через Высшую партийную школу при ЦК, Академию общественных наук при ЦК или высшие партийные курсы. Для нижестоящих кадров, работающих в аппаратах ЦК союзных республик, обкомов, горкомов и райкомов партии, существует своя партийно-школьная сеть — республиканские партийные школы, межобластные партийные школы. Разумеется, все их слушатели — грядущая смена высших партийных аппаратчиков. Наиболее преуспевающие из них потом направляются в центральные партийные школы. Какие же критерии лежат в основе подбора партийных кадров в партийные школы?

Партийно-политический профиль кандидата и его организаторский талант являются решающими критериями. Но это общее определение требует детализации, а именно: в чем должны проявляться конкретно качества кандидата, отвечающие названным критериям? Партийно-политическое лицо кандидата раньше определялось не только его личными качествами преданного партии активиста, но и социальным его происхождением, происхождением его родителей — из какого класса и сословия они произошли, есть ли у него родственники за границей. Раньше спрашивали: сочувствовали ли вы каким-нибудь антипартийным оппозициям или участвовал ли кто-либо из ваших родителей в таких оппозициях? Диапазон требований в отношении делового и организаторского таланта кандидата со временем все больше расширялся, касаясь не только его деловых качеств как будущего технолога власти, но и его психологического мира. В постоянном фокусе кандидата должна находиться лишь одна высшая ценность во всей истории большевизма — это власть, абсолютная, тоталитарная, вездесущая власть партии. Каждый шаг кандидата, любой его помысел, как и его личные интересы, должны быть посвящены и подчинены возвышению этой власти. Беспощадность к проявлению всякого инакомыслия в партии, готовность на любые действия во имя партии — таков внутриаппаратный закон.

Партийным работником может быть не любой талантливый организатор, а человек жестокой натуры и решительных действий. Говорить об идейных убеждениях партаппаратчиков совершенно не приходится. Правда, они ежедневно механически повторяют стереотипы из марксистского катехизиса более чем вековой давности о политической гармонии и социальной справедливости при коммунизме, но верят в них так же мало, как и мы с вами. Однако признаться в своем неверии они не могут, ибо на марксистско-ленинской идеологии основана их власть.

Мы ежедневно читаем в советской печати: «партия говорит», «партия решила», «партия ведущая и направляющая сила советского государства и общества». Вслед за советской печатью мы тоже механически повторяем эти формулы. Между тем если внимательно присмотреться к партийному организму, то станет ясно, что все эти формулы — плод намеренной мистификации мастеров власти. На самом деле в СССР существуют две партии — одна открытая, в которой сейчас 18 миллионов человек и членство в которой доступно каждому советскому гражданину, если он отвечает формальным требованиям Устава. Другая партия — это закрытая элита, членство в которой доступно только избранным. Ее я называю «партией в партии». Эта элита от имени партии правит и государством, и самой партией. Принципы подбора и функционирования «партии в партии» разработал Ленин еще при царизме. Они суть: партия создается сверху вниз. Устав партии основан на централизме, это значит, что Центральный Комитет — мозг и мотор партии, все низовые организации со своей членской массой находятся в иерархическом подчинении Центральному Комитету. Руководящие органы этой иерархии от ЦК и до низовых комитетов работают на началах строгой конспирации. Защищая эти принципы, Ленин говорил в 1903 г. на II съезде РСДРП: «Нам нужны самые разнообразные организации всех видов, рангов и оттенков, начиная от чрезвычайно узких и конспиративных и кончая весьма широкими, свободными, lose Organisationen. Необходимый признак партийной организации — утверждение ее Центральным Комитетом» («II съезд РСДРП. Протоколы», стр. 265).

«Первая идея,— говорил Ленин,— идея централизма... Первая идея должна пронизать собою весь устав». Делегат II съезда Акимов точно определил, чего добивается Ленин. Он сказал, что Ленин стремится «внести в наш устав чисто аракчеевский дух» («II съезд РСДРП...», М., 1959 г., стр. 296).

Но Ленин был неумолим. Да, говорил он, «наша партия должна быть иерархией, не только организацией» и в такой иерархической организации, по Ленину, господствует принцип, который он выразил формулой: «Централизация руководства и децентрализация ответственности». Но вот исторический парадокс: Ленин доказывал необходимость создания партии на указанных антидемократических принципах наличием в России полицейского режима. Однако после II съезда в России произошли три революции. Революция 1905 г. дала России основные политические свободы и гражданские права — свободу слова, совести, собраний, политических объединений, в том числе и право легального существования политических партий от правомонархического «Союза русского народа» до леворадикальной большевистской партии. Но Ленин не перестраивает свою партию на демократических принципах (так называемый «демократический централизм» был и остается пустой формулой). Произошла Февральская демократическая революция 1917 г. Партия Ленина остается по-прежнему конспиративной партией с диктаторским центром. Наконец, победила Октябрьская революция 1917 г., приведшая самих большевиков к власти. Однако партия продолжает работать на тех же самых принципах строжайшей централизации, конспирации, иерархии с тем же неизменным «аракчеевским духом» в уставе и полицейской практикой в повседневной жизни. В самом деле, как и кто правит страной и самой партией? В статье «Удержат ли большевики государственную власть?», написанной за месяц до захвата власти большевиками, Ленин говорил, что если царской Россией могли управлять 130 тысяч помещиков, то новой, советской Россией могут управлять 240 тысяч большевиков (столько было тогда членов партии). Другими словами, вместо царских дворян Россией будут управлять большевистские дворяне, но никак не народ. Слова эти оказались пророческими. Только большевистские дворяне себя не губернаторами называют и не генерал-губернаторами, а секретарями партии и генерал-секретарями. На февральском Пленуме ЦК 1937 г. Сталин сам сравнил партаппарат с военно-полицейской иерархией. Он сказал, что в партии есть «3—4 тысячи высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет партии. Далее идут 30—40 тысяч средних руководителей. Это наше партийное офицерство. Дальше идут 100—150 тысяч низшего партийного командного состава. Это наше партийное унтер-офицерство» («Правда», 29.03.1937). С тех пор прошло полвека, и партаппаратная бюрократия еще более разрослась, но принципы иерархии, субординации и конспирации остались незыблемыми. Партией правят два корпуса. Один «руководящий и направляющий» корпус — это «секретарский корпус», другой, формально стоящий выше «секретарского корпуса», а на деле ему подчиненный и имеющий совещательный голос,— это «комитетский корпус».

В «комитетский корпус» входит весь партийный, государственный, хозяйственный, профсоюзный, комсомольский и

идеологический актив партии. Комитеты партии от райкомов до Центрального Комитета КПСС — это, по Уставу, руководящие органы партии между съездами и конференциями, а на деле ими манипулируют секретариаты.

О степени демократичности или авторитарности того или иного политического режима судят, во-первых, по тому, как участвует сам народ в лице своего законодательного органа — парламента — и представленных в нем партий в принятии законов; во-вторых, как и в какой степени имеют возможность влиять на принятие законов внепарламентские органы общественного мнения, такие, как независимая печать и другие средства информации. Оба критерия начисто отпадают для государства, где господствует лишь одна партия. Политическая система такого государства точно воспроизводит законы и нравы, которые существуют внутри этой правящей партии. До самого последнего времени именно так обстояло дело и в советском государстве. Здесь законодательная, исполнительная, судебная власть сосредоточивалась в ЦК, вернее, в его аппарате.

Любое коммунистическое государство может вполне нормально функционировать без своего формального государственного аппарата, но оно не может функционировать без своего партийного аппарата.

В первые годы после октябрьского переворота съезды партии были спонтанные, поэтому они в основном отражали не только волю партии, но и настроение в народе. Отсюда на съездах, которые тогда происходили ежегодно, бывали свободные дискуссии, обсуждения разных платформ разных групп и фракций. На этих съездах сам Ленин часто оказывался в меньшинстве и формально подчинялся решениям большинства, правда, чтобы потом саботировать их выполнение. Вечный оппозиционер мнению других, Ленин не терпел оппозицию против самого себя, ибо думал, как выразилась Вера Засулич, что «партия — это он, Ленин». Маяковский выразил ту же истину в стихах — «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин. Мы говорим Ленин, подразумеваем — партия».

Другими словами, вождь партии — это диктатор в партии и государстве. Поэтому после горького для себя опыта с разными оппозициями внутри партии, после захвата власти — с «левыми коммунистами», «военной оппозицией», оппозицией «демократического централизма», «рабочей оппозицией» — Ленин пришел к выводу, что надо перестроить партию на новых началах, при которых не только оппозиция, но и проявление малейшего инакомыслия запрещалось бы под угрозой исключения из партии. Для этой цели Ленин предложил X съезду партии резолюцию «О единстве партии». Суть резолюции — только то мнение можно выразить в партии, которое не расходится с мнением ЦК, вернее, его исполнительных органов. Это, по Ленину, гарантирует «единство партии». Лидер «рабочей оппозиции» Шляпников в прениях съезда по докладу Ленина по поводу его резолюции заявил: «Владимир Ильич прочел лекцию о том, каким образом не может быть достигнуто единство. Ничего более демагогического и клеветнического, чем эта резолюция, я не видел и не слышал в своей жизни за 20 лет пребывания в партии». Резолюция давала ЦК неограниченное право исключать из партии не только рядовых членов, но и членов ЦК, если они выражали иные взгляды, чем партолигархия.

Опираясь на эту ленинскую резолюцию «О единстве партии», Сталин физически уничтожил не только политические оппозиции, но и тех, кого считал потенциальными оппозиционерами. Так родилась тирания Сталина. Со времени Сталина партия стала фикцией, а партаппарат — ведущей и направляющей силой, стоящей и над партией, и над государством. После смерти Сталина в стране произошли некоторые изменения, террор уже не носил массового характера, но партаппарат не изменился ни на йоту. Он, как и при Сталине, не отчитывался перед партией, а партия отчитывалась перед ним. Разница лишь в том, что генсек перестал быть диктатором. Партаппаратную диктатуру осуществляло не одно лицо, а маленькая группа лиц — олигархия, которая на партийном жаргоне называлась «коллективным руководством»...

Фантазии Маркса и реалии «развитого социализма»

Чтобы доказать на практике, что марксистская политическая экономия о законах и перспективах «развития капитализма» есть наукообразная сказка, понадобилось сто лет. Чтобы доказать на практике, что «научный социализм» Маркса есть сущая утопия, понадобились приход к власти в России большевиков и их семидесятилетнее строительство «социализма» по рецепту Маркса.

Вспомним основные выводы и пророчества Маркса, чтобы видеть ложность его выводов и банкротство его пророчеств. Маркс писал, что не насилие, а внутренние противоречия приводят к гибели капитализма и к торжеству социализма. Что же касается революционеров, то они играют в этом процессе роль «повивальной бабки». Между тем ни в одной стране капитализм не погиб в силу внутренних противоречий, его гибель организовали сами «повивальные бабки». Маркс писал, что социализм побеждает сначала в наиболее развитых промышленных странах Запада. «Повивальные бабки» доказали, что он может победить только в промышленно неразвитых, крестьянских странах — в России, Китае, Индокитае, государствах Африки, Латинской Америки. Маркс писал, что в высокоразвитых капиталистических странах происходит резкая социально-экономическая поляризация, образующая маленький полюс богачей и огромный полюс обездоленного пролетариата, средние же классы начисто исчезают. На деле получилось так, что средние классы составляют на Западе большинство населения, а пролетариат в марксовом понимании существует как раз в коммунистических странах. Маркс писал, что чем больше развивается капитализм, чем выше его уровень, тем быстрее растет абсолютное обнищание пролетариата. Получилось как раз наоборот — чем выше уровень капитализма, тем выше и уровень жизни широких масс. Это свое утверждение Маркс выдавал за «всеобщий закон капиталистического накопления», который, говоря его словами, «обусловливает накопление нищеты, соответственное накоплению капитала», короче — всеобщий закон пауперизации огромного большинства населения в развитых капиталистических странах. Но кому не известно сегодня, что западные «пауперы», то есть безработные, получают от капиталистического государства бо́льшие пособия, чем их занятые коллеги от социалистического государства?

Кто-то верно заметил, что Жюль Верн в своих фантастических романах оказался лучшим пророком, чем Карл Маркс в своих научных трудах. И это правильно — девяносто пять процентов фантазий Жюля Верна сбылось, и ни одного процента пророчеств Маркса. Маркса давно забыли бы и о его существовании знали бы только специалисты по истории общественной мысли XIX столетия, если бы Ленин от имени Маркса не захватил государственную власть в стране, которую Маркс люто ненавидел. Конечно, Маркс, как и любой писатель и философ, имеет право на фантазию. Но когда фантазию объявляют наукой и, руководствуясь этой «наукой», начинают строить на крови и костях миллионов «научный социализм», то «фантаст» несет за это моральную ответственность. Верно, что основоположники марксизма связывали победу «своего» социализма с победой демократии. Роза Люксембург, критикуя деспотический социализм большевиков, писала, что нет социализма без демократии, как нет и демократии без социализма, причем под демократией она понимала не псевдодемократию большевиков, а западную демократию, признающую право меньшинства не соглашаться с большинством.

Утопией оказалось, конечно, и учение марксизма об отмирании государства. В «Коммунистическом манифесте» говорилось, что после ликвидации старых эксплуататорских классов и старых производственных отношений рабочий класс уничтожает и свое собственное политическое господство как класса. Энгельс в «Анти-Дюринге» выражался еще яснее: первый акт пролетарского государства — национализация средств производства — будет последним актом его существования как государства. А что произошло на деле? Абсолютизация, тоталитаризация, милитаризация советского марксистского государства.

Совершенно неважно, как называется тот или иной общественный строй — капиталистическим, коммунистическим, социалистическим, теократическим, а важно, насколько высок при данном строе материальный уровень жизни народа и какими политическими, духовными свободами и правами он пользуется. Уничтожив своей не только античеловеческой, но и антиэкономической практикой веру в коммунизм, правители Кремля повергли советское общество в полную духовную прострацию. Никто не верит ни в коммунизм, ни в идеалы гуманизма, вообще чуждые коммунистической системе; все это, вместе взятое, превращает правителей в циников, а управляемых — в их легкие жертвы. Система гниет на корню, а в ее тяжелом смраде задыхается народ.

Я уже писал, что спасение только в радикальном повороте. Партаппаратчикам очень легко было бы обосновать теоретически и оправдать практически такой поворот в политике ссылками на всеспасающие цитаты из Ленина периода перехода от «военного коммунизма» к нэпу. Партаппаратчики, однако, боятся, и боятся вполне справедливо, что удавшееся Ленину — сохранение монопартийной диктатуры при нэпе,— не удастся им при неонэпе. Неонэп потребовал бы допущения не только определенных экономических свобод, но и пересмотра партийно-полицейских ограничений в духовной жизни. Советское общество да и само государство выиграли бы от поворота материально и морально, а партия проиграла бы и в том, и в другом. Неонэп был бы последним и окончательным доказательством того, что вся социалистическая система порочна и партия, которая семь десятилетий навязывала ее силой своему народу, обречена на исчезновение. Поэтому если это будет зависеть от воли партаппаратчиков, то не случится ничего...

Сталин в основу своей доктрины управления положил два негласных принципа. Первый: человек — крайне эгоистическое существо. Если хочешь сделать его орудием своей политики, надо его систематически подкупать как материально, так и лестью. Принцип второй: народ — безмозглое быдло, подверженное панике и восприимчивое к любому влиянию. Если хочешь им успешно править, надо действовать террором — для устрашения и ложью — для одурманивания. Террор — не только орудие уничтожения неисправимых, но и психологический фактор покорения массы. Ложь, повторяемая систематически, станет такой привычкой массы, что управлять ею уже не будет проблемы. Но у Сталина был определенный «лимит» подкупа и определенное правило в решении проблемы, кто кого

подкупает,— подкупает власть, но ее никто не смеет подкупать. Кто покупается на это, лишается жизни вместе с подкупленным представителем власти. Столь же решительно карались и те представители монопартийного государства, которые «самоподкупались» (расхитители социалистической собственности).

С Брежнева началась буквально вакханалия коррупции по всей линии партийно-государственной иерархии. Коррупция свойственна любой тиранической системе, где чиновник плохо оплачивается и режим неподконтролен обществу, как в советском государстве. Это только одна причина. Другая, специфически советская, причина восходит к XX съезду партии, когда разоблачили Сталина как лжебога коммунизма. Этот кризис власти оказался одновременно и кризисом коммунистической веры. Если сам коммунистический бог — преступник, то и вера его преступна. Отныне все дозволено: живи, как хочешь, хватай все, что можешь, «обогащайся»! Словом, «хочешь жить — умей вертеться» — так гласит новая советская поговорка, приведенная на страницах газеты «Правда» (31.01. 1985). Когда одного руководящего коммуниста на заводе им. Дегтярева обвинили, что у него нет никакой совести, ибо присваивает казенное добро, то он изрек всю философию нынешнего господствующего класса лапидарно и выразительно — «совести у меня много, но я ею пользуюсь редко» («Правда», 3.11. 1984).

Прямым результатом кризиса партии и партийной идеологии явился уже чисто брежневский «трудовой» феномен — всеобщее падение государственной и трудовой дисциплины. Чтобы выразить специфические атрибуты этого явления, оказалось необходимым изобрести новые слова в русском языке или придать старым словам новое значение — «показуха», «очковтирательство», «шабашничать», «сработать налево» и т. д. Совокупность всех этих явлений в партии привела к глубочайшему моральному кризису общества, во многом напоминающему кризис Римской империи, приведший к ее разложению,— одичание нравов, массовые попойки, оргии, наркомания, проституция. Пьянство было и раньше, но то, что происходит сейчас, абсолютно ново — это эпидемия пьянства: пьют женщины, пьют супружеские пары вместе на глазах своих малолетних детей. Хуже — нередко пьют и подростки. А чтобы вести разгульную жизнь, люди крадут все, что попадется под руку...

Что говорить о преступлениях рядовых граждан или средних функционеров партии, когда министр внутренних дел СССР, генерал армии и член ЦК КПСС Щелоков сам оказался уголовным преступником. «Назначили козла огородником»,— говорят немцы в таких случаях... Новые люди в Кремле должны понять, что все негативные явления в обществе, в том числе экономическая стагнация, падение дисциплины, коррупция, эпидемия пьянства, объясняются не порочной природой людей, а порочной системой власти. Чтобы избавиться от них, надо менять систему.

Но как ее менять? Возможна ли ее эволюция? Когда бывший американский президент Никсон спросил у тогдашнего советского премьера Косыгина: «Народ ваш талантливый, изобретательный, но почему вы не даете ему свободы?» — Косыгин, не задумываясь, ответил: «Дать русским свободу? Так они же передерутся между собой!» Цинизм этого ответа превзойден оскорблением по адресу собственного народа. Разумеется, Косыгин выразил тут не свое личное мнение, а философию всей правящей партолигархии. Выходит, что русские в отличие от свободных западных народов такие отчаянные разбойники, которыми надо править не убеждением, а чекистской дубинкой...

Но встает вопрос: как долго может существовать режим, основанный на насилии? Еще Наполеон знал, что народы можно завоевывать штыками, но править ими, вечно сидя на штыках, невозможно. Пессимисты ссылаются на исторический опыт — России не привыкать к насилию и деспотизму: татаро-монгольское иго существовало 240 лет, абсолютизм Романовых — 300 лет, большевистская тирания — более 70 лет. Словом, русский народ «вынесет все, что Господь ни пошлет», как говорил в свое время Некрасов.

К сожалению, тут много правды, но едва ли вся правда, ибо пессимисты забывают глубочайшую разницу между прошлыми эпохами и нашим временем, между далекими предками и их нынешними потомками, между патриархально-консервативным бытом тех времен и сказочным разворотом экономики, материальной культуры, техники и технологии нашего века. Сегодня судьбы народов и государств решают экономика, наука и техника, не зажатые в тиски партийных догм и политической полицейщины. Скоро самые закоренелые из догматиков станут перед выбором: либо и дальше отметать посягательства на чистоту догм и монополию власти партаппаратчиков и тогда пребывать в нынешнем состоянии «быть бы живу — не до жиру», либо допустить экономические свободы в стране путем коренных реформ промышленности и ликвидации окончательно обанкротившейся колхозной системы, и тогда идти в ногу с передовыми индустриальными странами Запада. Не человеколюбие и не свободолюбие, чуждые психологии и идеологии большевизма, а с каждым днем обостряющаяся необходимость решить эту экономическую альтернативу может заставить Кремль пожертвовать догмой (вспомним пророчество Ленина, что судьба коммунизма в конечном счете решится в соревновании на международном экономическом поприще). Тем более что Ленин сам подал в свое время пример, провозгласив в России нэп, допускающий не только свободный рынок, но еще и международные экономические концессии в Советской России. На путь ленинского нэпа стал ныне и коммунистический Китай, объявив реформы в городе и деревне, широко кооперируясь с Западом. Этот путь — путь экономической эволюции в рамках существующей системы — теоретически вполне возможен.

Тут же встает и другой вопрос: возможна ли в этой связи и политическая эволюция самого советского режима? Я, конечно, даже теоретического ответа на этот вопрос не знаю. Можно говорить лишь о попытке прогноза, исходя из исторического опыта и политико-психологической ментальности правящей ныне партии. Конечно, бывали случаи, когда на наших глазах менялись режимы авторитарные, как в Испании, Португалии, Турции, на режимы правовые. Однако Россию надо мерить русским аршином, ибо у нее своя «особенная стать», да и советский режим не просто деспотический, это тиранический режим совершенно небывалого типа. История не знает случаев, чтобы тираны уступили добровольно свою власть суверену, у которого они ее узурпировали,— народу. Что же касается коммунистических тиранов, то они просто одержимы мыслью о власти, ибо власть для них не только орудие безраздельного господства над народом, но и единственный источник их материального благополучия. Жажда власти партаппаратчиков со временем переросла прямо-таки в патологическую манию власти. Этим, собственно, и объясняется тот неписаный статут, который установила для своих членов партолигархия,— статут пожизненности занимаемых постов, не признающий ни пенсионного возраста, ни старческой немощи, ни смертельной болезни даже для глав партии и государства, как это мы знаем на примерах Сталина, Брежнева, Андропова, Черненко... Партийные олигархи — реалисты и циники. Если для укрепления и расширения своей власти им потребуется пожертвовать той или иной ведущей догмой марксизма-ленинизма, то они на это пойдут без малейших угрызений своей «марксистско-ленинской» совести, ибо святее всех святых для них не идея давно обанкротившейся утопической теории, а комфортабельная идея реальной власти. Отсюда следует, что возможны тактические зигзаги, особенно в случае, если нынешний кризис советской экономической и социальной системы окажется хроническим.

Эволюционное изменение политической системы властвования кажется невероятным в силу уже сказанного. Советская тоталитарная система, выражаясь образно,— это некий концентрический круг с окружностями разного радиуса действия. В эпицентре — перманентное чекистское чистилище, в котором уже погибло, по оценке ряда специалистов, около 50—60 миллионов человек. Это одна треть населения СССР до войны. Чем дальше человек стоит от этого эпицентра, тем легче ему дышать. Но удаляться от него советские люди могли до последнего времени только на определенное расстояние внутри круга, а выскочить из круга никому не было дано — ни правителям, ни народу. При Сталине эпицентр означал просто пекло, при Хрущеве люди начали чувствовать себя в зоне терпимой «оттепели», при его преемниках началось обратное движение к эпицентру сталинищины.

Круг гарантировал правителям тотальный контроль над народом. Поэтому они никому, даже из своей среды, не разрешали экспериментировать в этом кругу, резонно боясь, что неосторожные эксперименты могут взорвать весь круг, дав народу выйти из-под их контроля. Когда Хрущев нарушил этот закон круга и начал широко экспериментировать, то его быстро убрали. Природа круга власти такова, что его нельзя согнуть, его можно только сломать. Это возможно либо на путях эволюции, либо новой революции, либо через бонапартистский переворот. Все три варианта будущей судьбы советского режима встречаются в обсуждениях как в западной, так и в эмигрантской печати...

Однако даже в наш компьютерный век бессмысленно претендовать на безошибочный прогноз в отношении будущих событий хотя бы потому, что человеческий мозг слишком субъективен, а электронному мозгу неподсудны сложнейшие движения человеческой души...

1986 г.

Подготовка текста и публикация С. НИКОЛАЕВА

А. БОЧАРОВ

Мифы и прозрения

Вновь и вновь вспыхивают в наших спорах, нестерпимо, обжигающе раскаляя их, вопросы: как дошли мы до жизни такой? Что с нами происходит? Есть ли свет в конце туннеля?

Эти споры становятся весомее и аргументированнее по мере того, как они все более прочно опираются на художественные произведения и философские работы прежних лет, по разным причинам изъятые из нашей литературно-общественной жизни. Ведь во многих из них уже содержались провидческие идеи и поразительно глубокие концепции, к которым мы и сейчас еще робко, с оглядкой подбираемся, тщеславно полагая их открытиями, откровениями, прозрениями сегодняшнего нашего самосознания.

Поэтому так необходимо нам вглядеться в историю национальной общественной мысли, не поддаваясь школярской классификации различных ее потоков, но собирая их в многообразный, пусть даже и внутренне противоречивый процесс русского духовного движения. Едва ли не все его участники пытались осмыслить истоки, характер и следствия великого и трагичного социального эксперимента, исходившего из возможности революционным путем преобразовать национальную историю и въяве воплотить коммунистическую идею.

В прошлом году из запасников появилось довольно много работ о судьбах России, о ее исторической роли, о русском характере — работ, принадлежащих крупным российским религиозно-философским деятелям, оказавшимся в эмиграции или сгинувшим в лагерях. Некоторые из этих мыслителей прошли долгий и сложный путь; С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов вышли из «недр марксизма»; Г. Федотова и по сию пору в предварениях к его публикациям аттестуют христианским социалистом, а Н. Бердяева — христианским экзистенциалистом.

Остановимся на трех значительных публикациях в нашей периодике 1989 года: статье Г. Федотова «Россия и свобода», впервые появившейся за рубежом в 1945 году; страницах книги Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», написанной им в 1937 году и вышедшей на русском языке в Париже в 1955 году; повести Василия Гроссмана «Все течет», созданной в два «прорыва» в 1955-м и 1963-м годах. Такая «локализация» источников позволит опираться на доказательное цитирование, а не на вольную интерпретацию и угодную для собственных конъюнктурных целей контаминацию текстов разного времени, до чего стали так повадливы многие наши критики и публицисты.

Бессонными ночами, вспоминая свои лагерные и тюремные десятилетия, герой повести Гроссмана, реабилитированный Иван Григорьевич, старался понять «правду русской жизни, связь прошлых и нынешних времен». Правда русской жизни и Октябрь в цепи русской истории — не в этом ли и пафос книги Н. Бердяева, не в этом ли смысл статьи Г. Федотова? Несколько идей завязаны в этих работах прочным узлом: о русской несвободе, о русской национальной истории, о гуманизме. Если Гроссман размышлял об исторической судьбе коммунистической идеи как таковой и уже с этих общих позиций исследовал ее «российский вариант», то интересы Бердяева и Федотова были больше прикованы к судьбе России и тем роковым обстоятельствам ее истории, которые привели государство к октябрьской катастрофе. Эти разные отправные точки, естественно, обусловили и различия в рассмотрении ими исторического материала, хотя, как ни покажется странным, почти не повлияли на общность кардинальных, корневых выводов по оказавшейся общей для них теме: революция в России, свершенная в условиях вековой несвободы.

И Н. Бердяев и Г. Федотов согласно выделяют пять этапов в российской истории, придерживаясь сложившейся еще до них концепции о маргинальном положении Руси между Востоком и Западом: относительно свободная Киевская Русь; Русь татарского периода; Россия московская, где зародилось деспотическое самодержавие; Россия петровская, искавшая сближения с Западом и одновременно усиливавшая крепостную кабалу народа; и, наконец, Русь советская, ленинская.

Для концепции же Гроссмана была важна общая «предыстория», а не подробности каждого досоветского этапа. Поэтому он и тяготеет к обобщающим — именно обобщающим, а не размашистым! — формулировкам. А еще потому, что он смотрит на революцию все-таки с позиций гуманностн общесоциалистнческой идеи, в то время как Бердяев и Федотов вглядываются в рок и судьбу России.

Н. Бердяев, похоже, был согласеи с мнением тех историков, которые объясняли изначально деспотический характер российского государства необходимостью, как он пишет, «оформления огромной, необъятной русской равнины. Замечательнейший из русских историков Ключевский сказал: «Государство пухло, народ хирел». В известном смысле это продолжает быть верным и для советского коммунистического государства, где интересы народа приносятся в жертву мощи н организованности советского государства». Не прибегая к аргументу о роли пространства, Гроссман делает упор на «подавление человека киязем, помещиком, государем и государством», «холопское подчиненне личности государю и государству». Но, как видим, суть проблемы — разделение народа, который **хирел**, и государства, которое **пухло**,— уловлена обоими весьма сходно. Впрочем, для подкреплеиия можно сослаться еще и на такие слова Бердяева: «В стране самодержавной монархии, не привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуществить диктатуру пролетариата, чем в западных демократиях». Легче как раз потому, что люди привыкли к подавлению, подчинению и не приобщились к правам н свободам[1].

И Г. Федотов уверен: «В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе». Признавая, как и Бердяев, относительную свободу в Киевской Руси и Новгороде, он считает, что даже двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы, она бесповоротно погибла лишь после освобождения от татар, с укреплением самодержавного московского царства.

Подавлялись все попытки сохранить хоть какую-то свободу, и посему «в данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства». Чуть ли не дословно совпадает это со словами В. Гроссмана: «Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство», поскольку, по мнению Гроссмана, гнет государственной деспотни, уповающей на насилие, а не на внутреннюю энергию свободной личности, непременно влечет за собой апатию всех слоев общества. В том, почему народ «возлюбил Грозного», Федотов усматривает две причины; онн «всегда одни и те же, когда иарод поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и иациональная гордость». Народ не разглядел надвигавшуюся крепостную кабалу, зачароваиный тем, что Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу.

А эта крепостная неволя постепенно все отягощалась, «превратившись в чистое рабство». Таким образом, завершает Федотов свою мысль, русский народ «сознательно или бессознательио... сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответствеиность за свою судьбу».

Так что и в признании рабства, и в признании ответственности самого народа Федотов оказался решительнее и Бердяева, и Гроссмаиа.

Для Гроссмана, на собственной шкуре испытавшего ие только государственный гнев, аресты друзей, иочные страхи, но и долголетнюю обстановку смертного оцепенения общества, главной загадкой стали причины той покориости, с которой народ принял и коллективизацию, и голод начала 30-х годов, и разгул массовых репрессий, и трагедию первого лета войны, и безжалостную государственную удавку первых послевоеиных лет.

Если Бердяев объяснял и сложность русской души, и ее покорность государственной деспотии исторической задачей «оформления» русской равнины, а Федотов — державным упоением, то Гроссман усматривал трагизм русской души в многовековой русской несвободе, в бесчеловечной государственности, в крепостном состоянии русского земледельца.

Оттого и повторяет его герой с таким гневом, с таким публицистическим нажимом: «Страна тысячелетнего рабства», «Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней историн русских». Слово **рабство** было для Гроссмана эмоционально сильным синонимом неумолимого подавления личности и народа государством. Но и и Н. Бердяев, и Г. Федотов тоже согласно утверждалн, что и московское царство, и эпоха Петра I были этапами ужесточения российской несвободы, этапами подавления личности и народа государством во имя державных целей. И, по сути дела, гроссмаиовская «страна тысячелетнего рабства» мало чем отличается от федотовской «самой деспотической монархии».

И разве не о том же писал А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»: «В первые советские годы в стране, освобожденной наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной». Ирония ли здесь? Или горечь сознания, что одно вековое рабство заменили на другое, еще похлестче?..

Но это сходство взглядов достаточно разных философов н писателей никак не дает оснований для размашистого обобщения И. Шафаревича в статье «Феномен эмиграции»: «...так возникла целая литература, обосновывавшая рабский характер русской души и ущербность русской нстории».

Примечательно, что и Бердяев, и Федотов, обращаясь к антиномии Восток —

[1] «А настоящей, воспитывающей **личную ответственность** свободы русский человек не знал»,— уже уверенно пишет сегодня критик и публицист С. Яковлев («Литературное обозрение», 1990, № 1, с. 57).

Запад, видели в Западе начала свободы, а в Востоке лишь деспотию, тиранство, нашествие дикости. Они не принимали в расчет реальную сложность Востока, его религии и философии, в которых были и ислам, и буддизм, и философия Ганди, и многие иные начала мирного усовершенствования человечества[2]. Как у Гроссмана была **метафора рабства**, так у них была своего рода **метафора Востока**, обозначавшая деспотию. А из этой метафоры логически вытекала и неизбежность насилия как единственного привычного средства для деспотических структур. Оттого-то Бердяев и уверял более полувека назад: «Диктатура пролетариата, т. е. диктатура коммунистической партии, означает государственную власть более сильную и деспотическую, чем в буржуазных государствах», и, стало быть, «нигде больше такой революции не будет. Коммунизм на Западе есть другого рода явление».

Гроссмана же не столько интересовали истоки и смысл русского коммунизма, сколько истоки того, почему социалистическая идея свободы привела к жестокому насилию, тотальному подавлению личности, закабалению народа государством. И, может быть, не будучи в силах окончательно расстаться с надеждой на возможность хоть где-то осуществить социалистический идеал, он именно поэтому был столь резок и беспощаден в своем объяснении неудачи именно этого, российского исторического эксперимента. «Что ж, это, действительно именно русский и только русский закон развития?» — прямо задает себе вопрос его Иван Григорьевич.

В этих целях ему и потребовалось соотнести характер Ленина, поднявшего Россию на социалистическую революцию, «сперва к мифу национального русского характера, а затем к року, характеру русской истории». Но не знаменательно ли, что первая глава книги Бердяева называется «Пейзаж русской души», а вторая — «Революция — это судьба и рок»? Не менее знаменательно и то, что далее у обоих пойдут главы о личности Ленина — человека и революционера, а затем о методах ленинского переустройства России и тоталитарном устроении советского государства. Так и тянет предположить, что Гроссман внимательнейшим образом читал книгу Бердяева и обычно соглашался, а изредка и полемизировал с ним. Если же он не читал Бердяева — а никакими мемуарными подтверждениями мы не располагаем,— то такая похожесть и хода мысли, и многих концептуальных утверждений, и частных тезисов просто поразительна: поистине сама логика исторического пути России привела совсем разных по своим исходным позициям мыслителей к близким выводам, «рифмующимся» построениям[3].

Если Бердяев задумывался над тем, почему именно в России и «только в России могла произойти коммунистическая революция», то Гроссман больше занимал вопрос, почему революция во имя свободы обернулась несвободой, торжеством насилия и власти тоталитарного государства. Но как много общего в их суждениях о характере советского государства!

Н. Бердяев уверял: большевики «создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство». И словно вторил ему В. Гроссман: «Объединение революции и полицейского сыска, произошедшее в натуре Сталина... также имело свой прообраз в русском государстве».

Н. Бердяев: «Россия (имеется в виду Советская Россия.— **А. Б.**) действительно была организована по образцу организации большевистской партии». У В. Гроссмана (в черновом варианте): «Партия стала партией государства, оно же стало партийным государством, государством партии».

Н. Бердяев: «Советская Россия есть страна государственного капитализма, который может эксплуатировать не менее частного капитализма». И В. Гроссман: «Все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободны и беспаспортны крестьяне... Все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера».

(А после этого мы еще кичимся своим нынешним разоблачением административно-командного аппарата как нового эксплуататорского класса!)

Или, скажем, оба пишут о соединении русской кротости и русского бунта. У героя Гроссмана это звучит так: «Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры — они в тысячелетней крепостной несвободе». А Бердяев отмечает «православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру» и одновременно то, что «в силу религиозно-догматического склада своей души русские всегда ортодоксы или еретики, раскольники, они апокалиптики или нигилисты». Ну, не сходна ли амплитуда: от византийского аскетизма к фанатической нетерпимости у Гроссмана и к догматической ортодоксии у Бердяева?!

Конечно, в спорах о мистической русской душе, вокруг которой было напущено не меньше тумана, чем вокруг избранной арийской расы, Гроссман, писатель, склонный к здравому суждению, прямо — а для кого-то нестерпимо вызывающе — сказал: «Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души». Но и Бердяев, и Федотов тоже не пишут ни о какой мистике, трезво оценивая русскую душу. Среди общих для всех троих утверждений выделим их признание того, что идеи свободы были привнесены в Россию с Запада и, как оказалось, не были органичны для российского исторического уклада.

Герой Гроссмана размышляет о Ленине как типе русского человека: «Его восприимчивость к миру западной мысли, к Гегелю и Марксу, его способность впитывать в себя и выражать дух Запада есть проявление черты глубоко русской... Сто лет Россия впитывала в себя заносную (! — **А. Б.**) идею свободы... И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, свершилась русская революция.

Что же содеяла русская душа с идеями западного мира, как преобразовывала их в себе, в какой кристалл выделила их, какой побег готовилась выгнать из подсознания истории?»

И опять как поразительно близко это утверждению Н. Бердяева: «Русские обладают исключительной способностью к усвоению западных идей и учений и к их своеобразной переработке. Но усвоение западных идей и учений русской интеллигенцией было в большинстве случаев догматическим». И поскольку коммунизм в России — «западный, не русский... он наложил на революционную народную стихию гнет деспотической организации».

Сходные идеи о том, как на российские представления о свободе повлияло гуманное — а совсем не греховное и растленное, в чем убеждены многие! — мироустройство западного общества, развивает и Г. Федотов; он даже обобщает: «Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству». Остается только удивляться тому, что всплеск негодования критиков пал на идентичные слова Гроссмана из «Все течет»: «Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства»!

То и дело напоминает Федотов о западных идеях, воспринимавшихся мыслящими людьми России. То скажет о «прививке к русскому дичку западной культуры». То заявит, что «русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, но остается европейским по основам своего миросозерцания». То произнесет, что «вместе с культурой, с наукой, с новым бытом с Запада приходит и свобода», и потому не народ, как хотелось бы народоцентристским патриотам, а дворянство «представляло в России свободолюбие», хотя и дворяне все-таки в XVIII веке предпочли «равенство бесправия». Да и народники и разночинцы, полагает он, «знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие...»

Кстати, не это ли наследие наряду с деформацией социалистических идеалов сказалось и на нынешних убогих представлениях о социальной справедливости как равной бедности и уравнительности? Ведь, как провидчески заметил Г. Федотов, крепостнически авторитарный **московский тип государства** многим «кажется даже символом русскости». И в речах многих нынешних писателей символом «русскости» тоже ведь в конечном счете оказывается не свободолюбие, а «равенство бесправия».

И все-таки, оглядываясь на прожитые нами семь десятилетий, невольно наталкиваешься на искусительную мысль: а может, и впрямь были правы те, кто видел в Западе лишь греховное начало и противопоставлял ему русскую святость? Может, их нелепое и антиисторичное «отчуривание» («Чур меня!») от всего западного и впрямь было порождено инстинктом национального самосохранения, поскольку насильственная трансплантация западных идей свободы повлекла-таки за собой нарушение иммунитета ко многим болезням, постепенно разрушавшим русский национальный организм?

Но в конце концов понимаешь, что эта искусительная мысль весьма коварна. И, безусловно, правы все трое цитируемых авторов, связывая понятие свободы с общегуманистической традицией, утверждающей непременную для каждого народа свободу личности и личностного выбора, сознательную волю к действию каждого человека без религиозного, социального или национального насилия над ним. Неудивительно, что гуманист Гроссман прямо заявляет: «Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы, ведь национальная свобода — это прежде всего свобода человека». И Бердяев осуждает тоталитаризм за то, что в нем «понятие свободы относится исключительно к коллективному, а не личному сознанию. Лич-

[2] «Нельзя забывать, что Россия через Византию связана не только с Западом, но и — прежде всего — с Востоком»,— имея в виду как раз восточную культуру, сказал недавно Вяч. Иванов. («Дружба народов», 1990, № 1, с. 230).

[3] Когда статья была уже написана, я прочитал безапелляционные слова доктора исторических наук В. Сироткина: «Уж если искать истоки нынешней критики Октября, то они там, у Бердяева в «Истоках и смысле русского коммунизма». Отсюда идет философия и А. Солженицына, и В. Гроссмана, и А. Платонова, и Е. Замятина. Все они из бердяевской «шинели» вышли. Бердяев же прав: русский коммунизм родился не в Октябре и развивался не в ГУЛАГе — он идет от А. Радищева и декабристов» («Литературная газета», 17 января 1990 г.). Странно было читать все это. Во-первых, и Замятин и Платонов создали свои главные вещи до книги Бердяева; во-вторых, если А. Солженицын и В. Гроссман и исходят из этой «шинели», то совсем из разных ее «пол»; в-третьих, никто из них не вел родословную коммунизма от Радищева и декабристов — у них совсем иная мера счета в русской истории. Видится мне в этих утверждениях не широта исторического взгляда, а литературное дилетантство, равно как и в таких его словах: «Конечно, у Солженицына — отрицание Ленина, как и в повести В. Гроссмана «Все течет». Что это за штука такая — «отрицание Ленина»? Впрочем, о Ленине речь еще впереди.

ность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания».

А наиболее оригинальную мысль о преломлении понятия свободы в русских условиях высказал, пожалуй, Г. Федотов, проводя грань между свободой и волей. В Российском государстве, размышлял он, не было свободы, в нем были сильные порывы к воле (что и было подтверждено в недавние нестерпимо застойные годы прозой Шукшина, пьесами Вампилова, песнями Высоцкого). «Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя». И, развивая эти соображения о русской воле, Г. Федотов продолжает: «Бунт есть необходимый политический катарсис для самодержавия... московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина». В сущности, о том же писал и Бердяев, видя причину успеха революции в том, что «кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность. Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти без переворота в душе народа». Но ведь переход кротости в разъяренность и есть в конечном счете не что иное, как бунт,— вспышка, которая угасает! «Народная толща, поднятая революцией (а не **поднявшая** революцию! — **А. Б.**), сначала сбрасывает с себя все оковы, и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом... он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться». Так осуществила себя воля, не достигшая подлинной свободы.

И опять-таки близок им Гроссман: «В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина... Русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо».

Так, из разных точек приходили они к единому выводу о неизбежности в революционной России диктатуры, насилия, безжалостности, назначенных укротить «дикую волю», «хаотический распад».

Отсюда проистекает их обостренное внимание к фигуре Ленина — не просто вождю партии, идеологу и стратегу революции, но и своего рода «русскому феномену».

В удивительном (или теперь уже неудивительном?) согласии друг с другом отмечают Н. Бердяев и В. Гроссман характерные противоречия деятельности и личности Ленина, обусловленные противоречиями самой революции в не подготовленной для нее России.

Читаем у Н. Бердяева: «В личной жизни у него было много благодушия. Он любил животных, любил шутить и смеяться... Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был жестоким человеком». При этом «все миросозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы... Все мышление его было империалистическим, деспотическим... Исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе».

А теперь читаем во «Все течет»: «Он не курил и не пил... Его досуг, отдых были по-студенчески чисты — музыка, театр, книга, прогулка...» Но опять-таки «история государства российского не отобрала эти человечные и человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам... Ленина отличала безжалостность, резкость, грубость по отношению к политическим противникам... Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть. Он жертвовал ради этого всем, он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России,— ее свободу». Можно было бы еще и еще приводить разительные совпадения. Но суть ясна и из вышеприведенного: совершавшаяся во имя высоких целей революция вела к несвободе, дальнейшему укреплению диктатуры государства, а это понуждало использовать и безнравственные средства. Неправые же средства не позволяют достичь правой цели — это закон гуманистического сознания в отличие от любой тоталитарной идеи, будь то религиозная, социалистическая, национальная. Ведь Гроссман оговаривается, что власть-то Ленин «завоевывал не для себя» (и в этом, добавим, его отличие от Сталина), а ради утверждения истинности марксизма[4]. «Тут кончается простота и начинается сложность»,— мудро заключает он.

Во «Все течет» Гроссман обратился лишь к социалистической идее (к национальной и религиозной он обращался в романе «Жизнь и судьба» и путевых заметках «Добро вам!»). И поскольку здесь главным было для него историческое насилие, учиненное большевиками во имя благих идеалов, то он лишь мельком поминает, с какой благородной, но исторически несостоятельной верой «пророки девятнадцатого века предсказывали, что в будущем русские станут во главе духовного развития не только европейских народов, но и народов всего мира».

[4] Еще резче выразился недавно А. Ципко: «Ленин, ведя беднейшие слои России на штурм Зимнего, сам руководствовался в тот момент не здравым смыслом, а утопией» («Литературная газета», 17 января 1990 года).

Эту идею русского мессианства, опущенную в повести Гроссмана, но немаловажную для постижения характера российской революции и условий победы большевиков, прослеживает Н. Бердяев. Вера в мессианское предназначение России, полагает он, пронизывала всю ее историю, начиная с возникновения Московского царства. И Ленин, по его мнению, удачно «воспользовался русским мессианизмом... русской верой в особые пути России». Только Ленин увлек верой в «исключительную миссию пролетариата»! История не позволила воплотиться идее о Москве как о Третьем Риме и вдруг — о, чудо! — подарила возможность осуществить в России Третий Интернационал. «Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма»[5]. Сходную с бердяевской мысль о «самомнении» советских людей, отравленных ядом сталинского державного национализма, высказал и Г. Федотов: «типичный», укрощенный тоталитарным прессом советский человек тоже преисполнен «своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: Третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный, мир; не знает его, не любит и боится его». И так дивно читать эти федотовские строки сегодня: вроде и не прошли четыре с лишним десятилетия со времени написания его статьи[6]!

Мессианство — извращенное чувство собственного достоинства. Национальное достоинство, как и личное достоинство, непременно должно существовать как обязанность сохранять и развивать лучшее в национальных традициях, а не оборачиваться национальным чванством, высокомерием, одна из форм которого и есть мессианство, избранничество.

Национальное же достоинство включает и избавление от рабства, ибо тоталитарное государство не только античеловечно, оно и антинационально, какой бы державный блеск, какую бы державную мощь оно ни демонстрировало. Об этом, собственно, и тревожился Гроссман. Но не об этом ли говорил и А. Чехов применительно к личному достоинству, повелевающему по капле выдавливать из себя раба. Здесь ведь тоже напрашивался — да и звучал из иных уст — столь же демагогический «отпор»: как это можно именовать всех нас рабами!..

Понятие рабства у Гроссмана — не отсутствие стремления к свободе, а, как и у Федотова, синоним несвободы, государственного давления на личность. В русском человеке он видел раба не по собственным убеждениям, а по государственному принуждению. «Наша свобода,— писал Г. Федотов в статье «Рождение свободы»,— социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества — точнее, от государства и подобных ему принудительных союзов...»

В «Жизни и судьбе» всем построением романа Гроссман показал, что в войне столкнулись два государства, равно тоталитарных по своему типу. Эта концепция автора настолько уже раскрыта во множестве критических статей, что нет надобности снова обращаться к собственно художественным решениям. Но, то, до чего он добрался художественным провидением писателя-гуманиста, было замечено еще Н. Бердяевым в круге его основополагающей антиномии Восток — Запад: «Сталинизм, т. е. коммунизм периода строительства, перерождается незаметно в своеобразный русский фашизм. Ему присущи все особенности фашизма: тоталитарное государство, государственный капитализм, национализм, вождизм и, как базис,— милитаризованная молодежь». Сталин для него — вождь-диктатор в современном фашистском смысле, а советское государство — «единственное в мире последовательное, до конца доведенное тоталитарное государство». Так, отправляясь из разных исходных позиций — Гроссман от попрания свободы личности, Бердяев от восточных деспотических структур,— оба приходят к единому выводу о тоталитарной сущности фашистской Германии и Советской России.

К выводу о тоталитаризме Советской России пришел и Г. Федотов, в основе «христианского социализма» которого лежали принципы правового государства и автономной личности, обладающей правом на гражданские свободы: совести, слова и т. д. Он тоже видит, как под социалистической личиной «проступила московская тоталитарная целина» (а московская для него, как мы помним, — та, с которой началось самодержавное рабство). И путь освобождения от тоталитаризма он, как и Гроссман, видит в обретении истинной демократии. Только он, проживший много лет в Европе, прямо произнес то, что Гроссман все же не решился сказать, а может, и с такой резкостью додумать: «если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе».

И хотя многие реалии нашей жизни подтверждают такой характер высвобождения от тоталитарной несвободы — намечающееся разделение власти, признание многопартийности и т. д.,—так трудно, так горько русскому сердцу согласиться с этим пророчеством, восстает в нас что-то непознаваемое, верующее в самобытный исторический путь нашей страны.

[5] Опять-таки с еще большей резкостью говорит сегодня все тот же А. Ципко: «Не было бы русского мессианизма, никто бы не смог нас соблазнить мессианизмом Карла Маркса» («Литературная газета», 17 января 1990 года).

[6] В одном из недавних интервью В. Распутин сказал: «И еще надо помнить, особенно когда начинаются сетования о западном изобилии, что все-таки мы люди другие, и нам, кроме сытости, всегда недоставало и духовного устремления» («Советская Россия», 11 апреля 1990 г.).

Но как же все-таки случилось, что Россия с ее, по восторгам славянофилов, «всемирной отзывчивостью» вызвала всемирный страх перед своей воинственной мощью, возбудила неприязнь многих народов? Увы, отнюдь не всемирной отзывчивостью и не умением чувствовать чужую боль были вызваны колониальные захваты окрестных земель, и не растроганность, а чаще пули встречали русских «освободителей» в горах Кавказа и степях Туркестана [7]. Но едва ли не более откровенной была экспансия «первого в мире пролетарского государства», значительно расширившего власть имперской России. При этом державный сталинизм всячески пропагандировал умиляющий сердце мираж «отзывчивости», за которым скрывалась реальность: советско-германский пакт 1939 года, истребление и переселение целых народов, навязывание тоталитарных режимов странам Восточной Европы...

Гроссман еще не ведал ни о Чехословакии 68-го, ни об Афганистане 79-го, но все-таки уже знал неизмеримо больше своих предшественников — Н. Бердяева и Г. Федотова. Оттого с такой публицистической горечью и напором звучат у него мысли, более спокойно излагаемые философами, находившимися в эмиграции. Но внутренним чутьем художника он почувствовал, как подступает время, когда нужно изо всех сил бить в вечевой колокол, чтобы спасти и честь, и достоинство, и свободу России.

И эта близость воззрений — и близость прозрений — «гуманного социалиста», «христианского социалиста» и «христианского экзистенциалиста» не только знаменательна для реального постижения единства русской культуры, не разделимой на «тамошнюю» и «здешнюю», и не только поучительна для понимания того, какие идеи, тревоги, раздумья волновали русскую литературно-философскую мысль,— сам уровень этой мысли может служить в некотором роде камертоном, настраивая нашу сегодняшнюю полемику на верный тон, которого нам подчас так обидно не хватает. И в этом можно убедиться, прикоснувшись — в развитие нашего разговора — к теме, которую с известной долей условности можно поименовать «О гуманизме, плюрализме и национальной идее».

Не скрою, и был несколько ошарашен, когда в «Диалоге недели» в «Литературной газете» М. Лобанов с нескрываемой неприязнью отнесся к понятиям «гуманизм», «гуманисты», которые оказались для него столь же бранными, как плюрализм и космополитизм. Но потом — каюсь, не сразу — я-таки догадался, в чем тут дело. Как раскрепощенное сознание естественно располагает к многообразию, то бишь плюрализму воззрений, а общечеловеческие критерии столь же естественно противостоят той застящей М. Лобанову свет «национальной идее», в которой у него главенствует комплекс исключительности, мессианства, религиозного единоверия,— так идея тоталитарного социализма требует послушания внеличностным догматам, и отт того ей нужен человек покорный, а не человек творящий. Менее всего ориентирована она на Всеобщую Декларацию прав человека, первая статья которой гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Свобода, разум, братство — вот три кита гуманистической концепции, которая прежде всего предполагает высвобождение от догм, от нерассуждающей веры, от примирения с существующим. Гуманизм по сути своей — сокрушение идолов и, если хотите, богоборчество; на первый план в нем выходит суверенная личность, способная на самостоятельный выбор и самостоятельную ориентацию, а следовательно, и отвечающая за свой выбор. Во всех интерпретациях гуманизма главными его идеалами остаются свобода человека и социальная справедливость.

И не случайно Н. Бердяев связывал кризис культуры в XX веке с кризисом гуманизма, а Блок написал в 1919 году статью «Крушение гуманизма». Столь же не случайно мы поспешили ныне возвестить своей целью — как некое открытие перестройки! — созидание гуманного, демократического социализма (хотя социализм и есть вроде гуманизм плюс демократия): именно эти два «уточняющих» слова стали непреложными для современного цивилизованного мира и вдвойне важными для нашего многонационального и многорелигиозного государства. И национальная, и религиозная идея плодотворна только тогда, когда она отвечает запросам гуманистического сознания, не совместимого ни с каким-либо ослеплением, ни с какой-либо несвободой, даже оправдываемой «высшим благом» нации или религии.

Конечно, гуманистическое сознание, обращенное к личности, пересекается, а то и соединяется с религиозным сознанием — прежде всего своим утверждением нравственных норм, призывом служить добру и благу ближнего. Равным образом смыкается оно и с национальной идеей, поскольку в обоих случаях речь идет о сохранении и приумножении идущей из исторических и генетических глубин национальной общности как естественной организации человеческих масс.

В духовной сокровищнице человечества есть место и христианским воззрениям, и национальным идеям, и различным концепциям гуманизма — вплоть до христианского гуманизма или гуманистического христианства. И чем больше будет

[7] Разве так уж не прав был Чаадаев, сказав в середине прошлого века: «В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов»?

общих зон, общих линий пересечения между различными верованиями, мировоззрениями, историософскими построениями, тем благотворнее это скажется на духовном развитии человечества. Но, похоже, в поисках «образа врага» — какой же Бог без Сатаны! — нынешние неуемренные апологеты русской национальной идеи увидели врага не только в космополитизме, включив в него попутно и интернационализм, но и в ценностях гуманизма, поскольку они мешают возвеличению «русской идеи» и православия как ее неотъемлемой составной части. Дело ставится так, будто нет на свете ни наций, занимавших или занимающих не менее достойное место в мире, ни других достойных религий — буддизма, ислама, иудаизма в разнообразнейших их ответвлениях.

Казалось бы, что и зачем тут делить, пусть соседствуют и взаимодействуют гуманистические учения, религиозные верования, национальное самосознание. Но ведь в последнее время гуманизм (да еще в ядовитых кавычках) стал все чаще объявляться неким аналогом — а то и коварной личиной — индивидуализма, эгоизма в противовес «истинной общности» людей, именуемой соборностью. Это слово то и дело вылетает ныне, как камень из пращи наступающих легионов.

М. Лобанов объяснил соборность как собирание духовно здоровых сил нации, не снисходя до объяснений, кого же следует причислить к таковым силам, и просто именуя их патриотами. Это слово тоже приобрело в последние годы особый окрас, особый — для «посвященных» — смысл: не просто люди, искренне любящие свою страну, свое отечество, а лишь те, кто объявляет о своей любви с непременно воинственным нажимом как о неком отличительном качестве особой группы людей, неуклонно и рьяно охраняющей чистоту и святость нации. Их не смущает, что патриотизм — это естественная сыновняя любовь к родине, сохраняющаяся даже при критическом отношении к каким-то сторонам ее жизни; нынешняя же «национально-патриотическая» идея приемлет лишь безоговорочное оправдание национальной истории и столь же безоговорочное преклонение перед национальными чертами. И далеко не случайно возникло само это тавтологическое соединение «национально-патриотическая», ибо в нем отражается не столько национальная, сколько национально-государственная идея; не о сохранении русской нации, а о сохранении российской державы прежде всего заботятся ее ревнители.

Но если М. Лобанов прилаживает понятие «соборность» к русской нации, то А. Латынина относит его к разряду чисто религиозных: «Соборность не отменяет личности, это — единение личностей в Боге, не отменяет личной ответственности в отличие от коллективизма, заменяющего ее целью и волей коллектива». Есть в этом противопоставлении то ли некоторая игра в слова, то ли полемическая безудержность: ведь с равным успехом я мог бы заявить, что коллективизм не отменяет личной ответственности в отличие от соборности, заменяющей ответственность послушанием воле Божьей. Но в данном случае нам важно не толковать о преимуществах той или иной формы единения людей, а лишь выявить, что соборность служит для одних категорией религиозной, для других национальной, если только не относить к духовно здоровым силам нации исключительно тех, кто крещен в православной купели.

Попытку открыто слить в соборности и религиозное и национальное начала предпринял недавно А. Гулыга. Прежде всего развел христианство на два потока: «Западная церковь адресована к индивиду, восточная — к общности, отсюда понятие «соборность», отсутствующее в западном лексиконе». Как человек, поднаторевший в толковании подтекста такого рода различий, я понимаю, что А. Гулыга закладывает мину под «западную» церковь, чтобы в дальнейшем взорвать ее по примеру многих своих предшественников как индивидуалистическую, эгоистичную и т. д. Но в этой статье он еще не поджигает взрывной фитиль, его задача здесь иная: возвести понятие соборности в ранг «особой категории для обозначения гармонического слияния общего и единичного». А достигается это слияние для Гулыги только благодаря религии: «Вне собора, вне церкви воспитать соборность невозможно», причем под церковью имеется в виду, естественно, только православная. А поскольку православие даровано русскому народу, то на первый план уже выходит национальная ипостась соборности [8]. И далее следует итоговый аккорд, объединяющий и религиозную, и национальную ипостаси: «Так пусть же живет и здравствует та область духовной деятельности, которая включает человека в национальное целое, учит добру, одаряет очищающей верой, наполняет смыслом жизнь на благо Родине и Человечеству».

Вот так: и Коммунистическая партия с ее идеей коллективизма («каплей льешься с массами»), и журнал российских писателей с его соборностью (каплей вливаешься в национальное целое) одинаково сводят смысл жизни не к борьбе за утверждение идеалов свободы и справедливости, а к благу Родины и Человечества. Ох уж эти прописные буквы, привносящие некий мистический смысл! И гуманизм безоговорочно утверждает, что личность должна не только уважать интересы общества, будь то

[8] Правда, в предвыборном обращении так называемого «Блока общественно-патриотических движений России» слово «соборность» было предусмотрительно заменено «духом Народного Согласия», но в «Нашем современнике», надменно присвоившем себе вынесенный в подзаголовок титул «Журнал российских писателей», о соборности, как видим, говорится открытым текстом...

нация, государство, человечество (только без мистики, без прописных букв!), но быть готовой пойти при необходимости на любое самопожертвование ради блага общества, ради высоких идеалов. Но для А. Гулыги-то в понятии «свобода» заключена не свобода личности, ответственной перед обществом, а свобода следования религиозному канону: «Христианство — религия свободы. «Раб божий» — это свободный человек, сознательно следующий евангельскому императиву любви». Следуй императиву любви, а не добивайся человеческих условий жизни — вот чем любезны эти вариации любым властям предержащим, будь то самодержавие, тоталитаризм или иные антигуманные режимы «национального единения».

Невольно напрашивается вывод о том, что церковь в России не случайно потерпела поражение, не смогла противостоять революционному разливу: у нее не было ориентации на свободного человека, не было «концепции свободы»: покорность воле Божьей сгубила[9]. И если В. Кожинов сегодня уверяет, что расправа над коммунистами в 1937 году была справедливым воздаянием им за Октябрь 1917-го, то, по его логике, должно бы следовать, что и духовенству справедливо досталось, коль скоро оно свой Большой народ не смогло поднять против коварных деяний Малого народа (этот неприглядный термин И. Шафаревича не преминул, увы, использовать и А. Гулыга).

Но я не столь жестокосерден. Не веруя в Бога, я исповедую гуманистическое милосердие к каждой загубленной душе вне зависимости, была ли то душа отрекшегося от престола монарха (по воле которого лилась кровь и на сопках Маньчжурии, и в 1905 году, и в первой мировой) или вставших под стяги революции Рыкова, Енукидзе, Блюхера.

Столь же чуждо мне и любое бахвальство — верой ли, в которую младенца обращают его родители, нацией ли, к которой дитя принадлежит еще в материнской утробе, государством ли, в котором ребенку посчастливилось принадлежать к «коренной национальности». Вот почему меня так задело еще одно сопоставление А. Гулыги: «В православии антропология и космология связаны теснее, чем в католицизме и протестантизме». Доказательств, разумеется, нет, да их в подобных случаях и не приводят: зачем, когда достаточно просто возвестить, что наше хоть чем-нибудь да лучше!

А ведь как с «голубого ручейка начинается река», так и с этой не столь вроде и страшной фразы сама логика рассуждений неизбежно ведет А. Гулыгу к выпячиванию мессианской роли православия и соответственно России. Оттого он и ополчается на П. Карпа, дерзнувшего не согласиться с провозвестием митрополита Питирима: «Запад ждет возрождения нравственности, духовности именно от России» (а ведь прав П. Карп: что-то не видно, чтоб именно этого заждался Запад, и даже хорошо узнавшие нас страны Восточной Европы, похоже, больше ждут вывода советских войск, чем прихода апостолов православия!). Но А. Гулыга, не смущаясь, продолжает гнуть свое, ссылаясь уже на то, что — не примите за изящную шутку! — в португальской деревушке летом 1917 года явилась Богоматерь и предсказала, будто в России произойдет катастрофа, страна отпадет от Бога, но со временем вернется к нему и спасет мир. «Вот почему,— всерьез заключает А. Гулыга,— верующие на Западе с надеждой смотрят на нашу страну, а в перестройке видят осуществление божественных предначертаний». Да, да, такое говорится о нашей перестройке философом, едва он начинает публиковаться в «Нашем современнике»!

Так снова возникает мессианство — естественное дитя национальной идеи, неестественно изолируемой от гуманизма.

И здесь, ничуть не посягая ни на национальную гордость русского народа, ни на ревностное исповедание православия, следует, по-моему, остудить пыл поклонников мессианского мифа, дабы их гордость не трансформировалась в чванство, а исповедание в нетерпимость.

Все, например, кто цитирует первые строки нашего государственного гимна, бесхитростно пишут по памяти: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь». А меж тем в официальном тексте гимна стоит прописная буква: Великая Русь. А это значит Великороссия в отличие от Малороссии и Новороссии или Белой Руси. И уже тоскует А. Гулыга: «Исчезло даже само гордое наименование нации — великороссы. Помните у Ленина «О национальной гордости великороссов»? А теперь прилагательное «великорусский» прилагают только к существительному «шовинизм»». Так естественное отмирание реликтов устаревшей терминологии — Великороссия, великороссы — подается А. Гулыгой чуть ли не как отступление от ленинизма.

А в предвыборном Обращении «Блока общественно-патриотических движений России» нас уже призывали обрести достоинство «гражданина Великой Российской Федерации». Тут уже политика (или предвыборное политиканство?) заставила подменить Великую Русь Великой Федерацией, сохранив это величальное употребление прописных букв. И никак не отрешимся мы от этого самовосхваления по привычной модели недавних лет: «Великий советский народ — строитель коммунизма», «Великий Советский Союз — надежда человечества»! И не задумываемся над тем, что по этому примеру другие нации тоже начнут писать,

[9] «И вот церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это, кстати, и «по закону».— горько заметил В. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени».

к примеру, Великая Литва (а ведь была!) или Великие Тюркские народы (а почему бы и нет?). Так национальная идея наглядно превращается в националистическую или, точнее, государственно-националистическую.

Вот и на пресс-конференции секретариата СП РСФСР 12 февраля 1990 года Ю. Бондарев сказал: «Следовало бы устроить суд над историей, немилосердный суд над ее ложью и кровью, чтобы оправдать русофобами преданную, коварно посаженную на скамью подсудимых Россию, мучимую на Голгофе, распятую подобно Христу. В то же время всемирность и общечеловечность, быть другом народов — вот назначение России». Простим малопонятную связь между немилосердным судом над ложью и кровью российской истории и распятием России русофобами. Важно другое — и Бондарев говорит о предназначении России. И опять возникает все тот же вопрос: а если все страны станут говорить о своем предназначении, не поведет ли это к кровавым схваткам — теперь уже за предназначение «быть другом народов»?

В статье «Ситуация» С. Чупринин показал, как национальная идея, будучи необходимым фактором национального самосознания, все чаще, «гиперконцентрируясь, перерождается в самоценную охранительную идею» и великодержавный шовинизм: «Имперская идея. Это единственное, что выше всех общечеловеческих ценностей»,— цитирует он И. Дудинского.

Что же касается отношения к свободе, то А. Гулыгу поддерживает В. Кожинов (или, допускаю, наоборот). Сразу после публикации романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба» В. Кожинов запальчиво утверждал: «Размышляя о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба», один из рецензентов написал, что идея свободы, выраженная в романе, есть главная идея XX века. С этим трудно согласиться... И я как раз призываю, если угодно, учитывать и изучать опыт Запада, где идея свободы не решает ни экологические, ни важнейшие духовные проблемы»[10]. Какая связь между идеей свободы и решением экологических проблем, опять-таки неясно, но Кожинову, как и А. Гулыге, это неважно: главное — нанести удар и по греховному Западу, и по свободе, а не объяснить, как же позитивно решает экологические проблемы русская православная соборность. Еще более странно и откровенно высказался В. Кожинов в другой статье: «Свобода» — в конце концов понятие негативное; дело идет об устранении, «отрицании» определенных внешних обстоятельств бытия личности и общества. Но сама по себе она еще ничего не решает; более того, демократизация, вполне понятно, «высвобождает» в равной мере и силы добра, и силы зла (напомню, к примеру, образ вполне «свободного» человека Гоги Герцева из астафьевской «Царь-рыбы»). И едва ли имеет подлинно серьезное значение литература, которая этого не понимает»[11].

Не стану усматривать в словах В. Кожинова прямую атаку на демократизацию (тем более что тезис о том, будто при ней равно развиваются и силы добра, и силы зла, он подтверждает образом Гоги Герцева, созданным задолго до демократизации, в самую глухую пору застоя): просто его подвела магия раскавыченных цитат — в данном случае из ранней работы Вл. Соловьева «Три силы»: «Принцип свободы сам по себе имеет только отрицательное значение. Я могу жить и действовать свободно, то есть не встречая никаких произвольных препятствий или стеснений, но этим, очевидно, нисколько не определяется положительная цель моей деятельности, содержание моей жизни»[12].

Вообще-то многие философы исходят из того, что «свобода есть дух» (и Г. Федотов говорил о дуализме свободы — свободы убеждений и свободы от произвола государства или, символически, свободы духа и свободы тела), и можно было бы вести долгий философский диспут на тему о сущности свободы, но в реальной нынешней ситуации откровения В. Кожинова очень похожи на конформизм[13]— тогда как Гроссман, будучи гуманистом, имел в виду свободу, рождающуюся в борьбе против любого тоталитарного насилия, свободу личности в демократически устроенном обществе. Оттого-то он и ощутил ее столь необходимой для человечества, столкнувшегося в XX веке с невиданным перемалыванием людских масс в жерновах тоталитарных режимов, рядящихся, как правило, в тогу национального социализма, национал-социализма. Осознание неповторимости отдельной судьбы отнюдь не служит признаком эгоизма, чаще это бывает следствием того, что человек осознает свое значение, свое призвание. И в конечном счете эти две формы осознания человеком себя во времени, нации, природе не противостоят, а взаимно дополняют друг друга. Увидеть неповторимую личность в солженицынской Матрене столь же важно, как и родовое начало в битовском Одоевцеве.

Но если гуманизм последовательно отстаивает широту мышления, то национальная идея, как показывает история, почему-то легко скатывается к мессиан-

[10] «Литературная газета». 4 января 1989.

[11] «Литературная учеба». 1988, № 3, с. 99.

[12] «Новый мир». 1989, № 1, с. 201.

[13] Сходную взаимосвязь обнаружил И. Золотусский у А. Казинцева, ученика В. Кожинова: «А. Казинцев, правда, претендует на более широкую картину, но его брань в адрес В. Гроссмана и романа «Жизнь и судьба» вдохновенно уживается с любовью к партии и правительству. Считая потери, которые понесла Россия с 1917 года и до наших дней, он почему-то превозносит ту организацию, которая в этих потерях более всех повинна» («Литературное обозрение». 1990, № 1, с. 4).

ству, узости, нетерпимости. Наглядный образец тому — недавняя статья А. Казина «Искусство и истина», где он ведет атаку на плюрализм — еще одно понятие, ненавистное агрессивной части ратоборцев за национальную идею, поскольку оно тесно связано с гуманизмом. Одной из главных иллюзий современного буржуазного (синоним западного) общества А. Казин числит «иллюзию плюрализма»: «Считается само собой разумеющимся, что истина как таковая недоступна людям (сколько голов, столько умов), и потому единственно возможная и необходимая задача художника в XX веке — это его проявление как уникальной и абсолютно свободной индивидуальности. Эта мысль настолько въелась в буржуазное миропонимание, что, по существу, стала его единственной объединительной, не подлежащей критике силой, приводя и в искусстве и в философии к «субъективистскому сумасшествию», как писал выдающийся английский мыслитель Б. Рассел». Не будем разыскивать, из какого контекста вырваны два слова Б. Рассела (одна из крупных статей о котором, кстати, называлась «Бертран Рассел — философ и гуманист»). Дело не в этой наивной «подпорке», а в том, что А. Казин сводит плюрализм к пошлому «сколько голов, столько умов». Как и многие его единомышленники, он намеренно путает плюрализм с релятивизмом. Но ведь первое понятие говорит о богатстве духовных и художественных поисков истины человеческого существования (ибо нет вообще «истины как таковой», а есть нстина человеческого существования, не укладывающаяся в одну формулу, фразу, лозунг); релятивизм же оправдывает относительность, необязательность любого суждения, в результате чего необходимое богатство ракурсов, воззрений, исканий подменяется бессмысленностью их.

И именно плюрализм служит основой гуманистического мировосприятия, гарантируя независимость и свободу мысли и чувства: не своеволие, а свободу! Признание же лишь одной истины — или Истины,— которую надлежит единоверно трактовать, оборачивается в конечном счете тоталитаризмом, будь то истина религиозная, социально-философская, национальная. Ведь догмат «истинной истины» неизбежно ведет и к идее мессианства одного народа, и к превосходству одной религии над другой.

Но тем безогляднее бьется Казин против плюрализма, в котором для него заключен неизменно бранный смысл: «Иллюзия **плюрализма** нуждается в реальности **потребления** как своей социальной почве и тайной движущей силе. Следствием их духовной (и практически жизненной) близости оказывается идея всеобщего **абсурда, Ннчто,** якобы изначально свойственного человеческой жизни». С равной страстью шлет он проклятия всему, что выходит в искусстве за пределы традиционного реализма и именуется им как постмодернизм, «опирающийся уже не на какую-либо определенную — пусть самую изысканную — позицию, а именно на плюрализм позиций, методов, стилей, относительно которого в принципе исключена оценка «хуже — лучше». Вот и обнаруживается нехитрая мечта А. Казина о раздаче категоричных оценок: соцреализм — лучше, модернизм — хуже, повести В. Распутина — лучше, «Дети Арбата» — хуже (это, естественно, не мои лобовые столкновения, а его непременный пинок по «Детям Арбата» — нынешний «масонский» знак приобщения к определенной группе искателей Истины [14]).

А дальше все уже, надеюсь, понятно: и то, как он трактует учение Питирима Сорокина о двух типах культуры — идеальном и чувственном (включающем в себя, на его взгляд, и сатанинскую эротику, и «смех во всех видах»), и то, как он обрадовался тому, что западногерманский славист Ф. фон Лилиенфельд усмотрела в «Молодой гвардии» А. Фадеева, «одном из образцовых произведений социалистического реализма» (это слова А. Казина), «присутствие прежней духовной традиции — в идее жертвенности, искупления, в видении, когда героине кажется, что ангелы с неба благословляют ее поступок» (это уже слова Лилиенфельд). Полагаю, что и А. Казин способен на подобный ангельский манер интерпретировать нам другие «образцовые» произведения социалистического реализма: «Счастье» П. Павленко, «Чего же ты хочешь?» В. Кочетова, «Грядущему веку» Г. Маркова. Естественно и его утверждение, будто в России всегда были особые отношения между искусством и истиной, совсем не похожие на европейские (ну можно ли обойтись без противопоставления России Западу?!): «Чего у нас не было, так это разделения целостности народного сознания на замкнутые сферы, имеющие каждая свою цель и оплачиваемые по законам самолюбия». Сказано мутно, зато возвеличена русская литература и поставлен на место Запад — откуда там взяться хорошему, коль скоро все оплачивается «по законам самолюбия»!

Ну, а логическим завершением служит мысль о том, что не ключевая гуманистическая формула «Человек есть мера всех вещей», родившая, по А. Казину, лишь нигилизм-ницшеанство, спасительна для нас, а нечто совсем иное: «Ценность личности предполагает сверхличные ценности... из такого рода сверхличных ценностей исходила и русская государственность, какие бы уродливые формы она при этом ни принимала».

Вот и договорились до желанного: любые уродливые формы прощаются русской государственности, поскольку она всегда исходила из объективно высоких

---

[14] Еще один непременный «масонский» знак в статье А. Казина — проклятие рок-музыке: «Осуществляя при помощи электронного звука, бешеной громкости и нечеловеческого ритма агрессивное вторжение в психику, рок буквально разваливает ее...»

надличных ценностей — и, стало быть, ценность личности определяется ее приверженностью державе. Так снова сталкиваются гуманистическая тревога за неповторимую судьбу человека и интерес государства, доминирующий над запросами личности, по сути, уводящий их, как ныне выражаются, в «остаточный принцип».

С убийственной иронией написала А. Латынина о подобных апологетах державы,— тех, кто готов «писать с большой буквы если не слово «правительство», так уж, во всяком случае, слово «держава» и во имя державности возвысят голос и против реформ, и против прав других народов, называя это «патриотизмом». А Дж. Оруэлл в «Заметках о национализме», написанных еще в 1945 году, провидел пагубность национализма (служащего для него символом любых тоталитарных идей) в том, что национализм «неотделим от стремления к власти. Обязывающей каждого националиста целью является достижение все большей власти и все большего престижа не для себя, а для нации или иной общности, в которой ему заблагорассудилось растворить собственную индивидуальность... Националист — это тот, кто думает исключительно или в основном в терминах престижного соревнования».

Стоит ли удивляться появлению и у А. Казина «престижного соревнования» — все на той же почве соборности. «Уже сейчас можно предположить дальнейшее обострение споров между исходным, соборным и индивидуалистическим началами в нашей цивилизации». А как мы уже усвоили от М. Лобанова и А. Гулыги, «исходное» (!) соборное начало является отличительным свойством русского православия и русской нации, индивидуализм же — сатанинское исчадие любого Запада. В письме секретариата правления Союза писателей РСФСР «Кто грозит фашизмом» так прямо и разъяснено: «Индивидуализм же неотвратимо ведет к зоологизму, расизму». Почему индивидуализм **неотвратимо** ведет к расизму, естественно, не объясняется, хотя индивидуализм, по уверению сторонников русской национальной идеи, присущ **всему Западу** в отличие от соборной России. Однако же ни в одной стране, кроме фашистской Германии, расизм все-таки не возник (даже в Италии и Испании).

А теперь вспомним нашу литературную историю последних десятилетий.

Долгие томительные годы религия объявлялась поповским дурманом, а гуманизм — изощренным буржуазным одурачиванием масс. И ведь совсем недавно мы собрались с духом официально признать непреложность общечеловеческих ценностей и отказаться от какого-то особого «социалистического гуманизма», которого так не хватало, по уверениям иных критиков, В. Пановой, Ю. Трифонову и многим другим, скатывавшимся, видите ли, от социалистического гуманизма к «абстрактному» (тоже был ярлычок неслабый!).

Но не забудем, что во имя и под флагом гуманизма происходило в годы недолгой первой «оттепели» высвобождение личности из-под глыб сталинского тоталитаризма, а литературы — из-под догм социалистического реализма и социалистического гуманизма!

По многим лучам расходилась гуманизация общественного сознания и литературы, возрождались «абстрактные» нравственные и духовные категории и прежде всего такие, как совесть, доброта, ценность личности. «Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести»,— заканчивалась опубликованная в 1960 году повесть В. Тендрякова «Суд».

Высвобождение личности, ее духовных и нравственных богатств проявлялось в литературе той поры едва ли не интенсивнее поисков жизненной и художественной правды. Доверие к личности и стремление к правде — таковы были в конечном счете два взлетных крыла литературы.

Именно в тот «оттепельный» период окреп голос писателей, утверждавших приоритет личностных и гуманистических начал. Вспомним ли расцвет «исповедальной» (не в религиозном, «покаянном» смысле, а от распахнутости души, которая ощутила себя свободной) прозы или «Жестокость» П. Нилина, повести «нравственного эксперимента» В. Быкова и В. Тендрякова или психологический реализм А. Битова, лирическую прозу Ю. Казакова или эпическую ширь «Жизни и судьбы» В. Гроссмана, «Доктора Живаго» Б. Пастернака — все это было побуждено жаждой отстоять подлинные гуманистические начала, гуманистическое сознание.

И как раз за ориентацию на общечеловеческие нравственные и духовные нормы так обрушился Хрущев в 1963 году и на путевые записки «По обе стороны океана» В. Некрасова, и на фильм М. Хуциева «Застава Ильича», и на работы Э. Неизвестного. За отход от «социалистического гуманизма», «пропаганду общечеловеческих ценностей» подверглись погрому альманахи «Литературная Москва» и «Тарусские страницы».

Уже потом на этой перехлестнувшей многие запруды волне (хотя внешне подчас и полемизируя с нею, особенно с «молодежной» прозой) во второй половине 60-х годов вслед «Матрениному двору» А. Солженицына с его уверенностью в том, что не стоит земля без праведника, стала развиваться «деревенская проза, избравшая в качестве главного нравственного ориентира извечный кодекс трудового крестьянина. Духовный кладезь крестьянства и историческая память — вот две новые подвижки в гуманизации сознания, которые свершились в ту пору едва ли не во всех наших братских литературах. Увидеть личность в Матрене, Иване Африкановиче, старухе Анне, жителях Цмакута, Чуту-

ры, Чегема — вот что переняла от молодежных повестей вроде противостоящая им «деревенская» проза Белова, Распутина, Астафьева, Матевосяна, Друцэ.

В их повестях и романах мы увидели, какой высокий гуманистический смысл может нести национальная идея. В катаклизмах XX века она вновь доказала свою жизнеспособность, стимулировала рост самосознания и стремительное духовное развитие многих народов, а национальный характер прочно утвердился среди тех художественных объектов, которые намеренно или бессознательно выражает каждый серьезный писатель.

Но не так-то легко отступало сталинское определение нации, принимавшее во внимание лишь объективные параметры — общность территории, экономической жизни, язык и в очень малой мере учитывавшее факторы субъективные — национальное самосознание, историческую память, культурные накопления. Это пренебрежение прозвучало у автора статьи «Нация» в «Философском энциклопедическом словаре» (1983) С. Калтахчяна: «...нация или народность при социализме в корне меняет социальную сущность, сохраняя в основном свою национальность». На подобных достаточно невнятных («в корне меняет, сохраняя в основном») энциклопедических формулировках и возводилось признание неких особых «социалистических наций», а далее и вообще новой единой национальной общности — советского народа.

Понятно, почему такой накал приобрело в литературе 70-х годов желание выявить духовные основы нации, то глубинное, что заложено в национальном сознании, национальной культуре. Но с какого-то рубежа гуманная русская деревенская проза, прозревавшая личность в самых глубинных социальных слоях, стала все стремительнее сползать на утлую почву сначала российской, а затем — религиозно-православной исключительности. Кто поддавшись моде, кто польстившись на разрешенное свыше, кто из желания ухватить нечто новенькое, а кто, нет спору, и по настоятельному зову сердца стал все громче говорить о российской и православной исключительности, форсируя национальную особость, а не своеобразное бытование общечеловеческих гуманистических ценностей в национальном укладе жизни и психологии. И скоро благородный порыв восстановить униженное при тоталитаризме русское национальное достоинство и опереться на нравственные устои православия стал все чаще обретать откровенно воинствующий напор.

Национальными писателями (а затем и просто «истинными патриотами») начали почитать лишь узкую группу писателей, поэтизирующих особость национальной жизни и национального характера, относя остальных то к «русскоязычным», то к «далеким от народа», то к пошедшим в услужение Малому народу. Вместо того, чтобы объединять писателей на широких идеях гуманизма, принялись разъединять их по тому, целует ли он прилюдно крест в знак поклонения особости, исключительности русской национальной жизни. Как когда-то были воинствующие безбожники, так теперь возникли воинствующие «патриоты» и «неистовые ревнители» духовности. А неофиты — всегда самые опасные люди, у них все доведено до предела, до готовности бороться и не только взвести, а и спустить курок.

Глубоко понимая глубинную суть национальной идеи, С. Залыгин писал: «Через страдания человека мы постигаем страдания народа, через страдания народа — страдания человечества... Солженицын еще и в этом смысле писатель международный как раз потому, что он всегда национален, но никогда не националистичен и не подражателен. Какой уж тут национализм, если речь идет о страдании?!»[15]

И совсем иное раздавалось из уст неофита В. Бондаренко. В начале 80-х он поставил на «сорокалетних», надеясь сорвать большой куш в литературном тотализаторе. Но они в своей наиболее талантливой части оставались на позициях гуманизма — и В. Маканин, и А. Ким, и А. Курчаткин. Тогда В. Бондаренко сделал ставку на более резвого, как ему показалось, скакуна — «патриотическое» направление. Кроме него да, кажется, В. Крупина и А. Проханова, никто из «сорокалетних» в эту команду не пошел. И вот как неофит В. Бондаренко совсем по-иному, чем С. Залыгин, трактовал А. Солженицына: «Иван Денисович, Матрена — личности соборные»: в отличие от гордого и вспыльчивого кавторанга Буйновского они чувствуют не личное унижение, не личностную ответственность, «а ответственность соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неимоверно многое, в том числе и личные унижения — не унижаясь душой при этом».

Зато во «Все течет» В. Гроссмана он усмотрел клевету на русский народ, русофобию, особенно в словах «русская душа — тысячелетняя раба». Эти слова, конечно же, не совмещаются с тем сюсюкающим умилением, с которым В. Бондаренко распространяется насчет придуманной им готовности русского народа преодолевать личные унижения ради... сохранения нации (?!) И снова выскакивает всенепременная соборность — уже как чувство даже не национальное, а лишь простонародное в укор интеллигентам с их строптивостью и — о, ужас — «повышенной личной гордостью»!

И это еще не самые хлесткие, хотя и достаточно показательные завихрения В. Бондаренко из его статей последних двух лет.

[15] Одна из статей А. И. Солженицына так и называлась «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни».

Подобно ему и неофит В. Крупин уверяет: «Понять историю России без истории православия невозможно... А откуда наше бесстрашие? Кто боится Бога, тот не боится никого, говорит православие (этим, выходит, объясняется наше мужество в борьбе с фашизмом? — А. Б.) ...Для коммуниста за гробом нет ничего, для верующего смерть — соединение с Богом... А если за гробом ничего нет, то от такого сознания легко прийти к вседозволенности». Вот как запросто, посвойски интерпретирует Крупин Достоевского: оказывается, вседозволенность — это только у меченных копытом Сатаны атеистов, не верящих в загробное соединение с Богом. И, стало быть, надо как можно скорее крикнуть всем миром: «Изыди, нечистая сила!..»

Так, к великому сожалению, статьи В. Бондаренко и В. Крупина показали, что не всем хватает и профессионального такта, и христианского (гуманистического!) опыта, и патриотического достоинства, чтобы удержаться от националистического чванства и фанатизма, выдаваемых за «истинный патриотизм» и веру в Бога.

А из этого националистического — не патриотического — упоения уже закономерно последовали такие устрашающие фразы в предвыборном «Обращении Блока общественно-патриотических движений России», к числу фундаторов которого принадлежали и В. Бондаренко и В. Крупин: «В случае выхода какой-либо союзной республики из состава Союза ССР Россия будет добиваться того, чтобы суверенитет республики распространялся на все исконно принадлежащие ее многочисленным народам земли». Сказано неуклюже: «в случае выхода» имеется в виду союзная республика, однако «суверенитет республики» — уже относится к республике под названием Россия, Российская Федерация. Но главное — что кроется за словесной казенщиной? Мы знаем, сколько кровавых споров между народами возникало — да и возникает! — при попытках выяснить право на «исконно принадлежащие земли». Зачем же россиянам с их «всемирной отзывчивостью» нагнетать такие страсти? А как быть с союзными республиками, не имевшими в царской России государственности,— Латвией, Эстонией, Молдавией, единым Туркестанским краем? Что здесь числить исконными землями России? Так высокая и сберегающая идея национальной самобытности может, как видим, в известных условиях провоцировать воинствующие притязания и угрозы.

И в этом заключается, может быть, главная тревога, которой продиктована эта статья: при всей близости гуманистических, национальных и религиозных идей в их лучших проявлениях гуманизм изначально и неизменно стоит на страже суверенитета личности и взаимного уважения людей, а национальная идея то и дело оборачивается на наших глазах националистической, ослепляющей, готовой допустить неравенство людей по национальному или религиозному признаку, ведет к иллюзиям мессианской исключительности и попыткам утверждать свою исключительность силой.

В этом отношении, несомненно, поучительна полемика А. Сахарова с некоторыми положениями письма А. Солженицына «Вождям Советского Союза» 1974 года. Признавая, что А. Солженицын «является гигантом борьбы за человеческое достоинство в современном трагическом мире», А. Сахаров именно с гуманистических позиций предупреждает: даже допуская, что «национализм Солженицына не агрессивен, что он носит мягкий оборонительный характер и преследует цели спасения и восстановления одной из наиболее многострадальных наций», он может объективно таить в себе угрозу, поскольку «в значительной части русского народа и части руководителей страны существуют настроения великорусского национализма, сочетающиеся с боязнью попасть в зависимость от Запада и с боязнью демократических преобразований. Попав на подобную благодатную почву, ошибки Солженицына могут стать опасными». Поразительно, насколько точно провидел он взором гуманиста, как, прикрываясь именем Солженицына, полыхнет на исходе 80-х годов пожар великодержавного шовинизма приверженцев пресловутой «Памяти».

Столь же твердо говорил в том же своем письме А. Сахаров, перекликаясь с Н. Бердяевым и Г. Федотовым, о необходимости демократического пути для развития любой страны: «Существующий в России веками рабский, холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам и иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не национальным здоровьем. Лишь в демократических условиях может выработаться народный характер, способный к разумному существованию во все усложняющемся мире». И опять-таки насколько поразительно звучит сегодня его призыв к разумному существованию и его предвидение опасного раздувания ненависти к инородцам и иноверцам — Малому народу в прозрачной упаковке И. Шафаревича.

К этой полуторадесятилетней давности полемике двух духовных лидеров последней трети XX века мы, вероятно, после публикации солженицынских статей «На возврате дыхания и сознания» и «Сахаров и его критика «Письма вождям» будем снова и снова обращаться, ибо она и поныне звучит необычайно актуально, с полным основанием вторгается в наши сегодняшние тревоги, иллюзии, споры, в наши надежды на свет в конце туннеля.

Полагаю, что отсылка к этой полемике наилучшим образом заключит мою статью.

●

Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов

ТВАРДОВСКИЙ, СОЛЖЕНИЦЫН, «НОВЫЙ МИР» ПО ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 1967—1970

От составителя.

Среди документов Союза писателей СССР, относящихся к периоду предыдущей нашей «перестройки» (а затем и «контрперестройки») — 60-м годам, может быть, особой исторической содержательностью обладают те, что имеют отношение к судьбе «Нового мира», единственного за многие десятилетия независимого советского журнала, и к двум центральным фигурам литературно-общественного движения этого времени — Александру Трифоновичу Твардовскому и Александру Исаевичу Солженицыну. Первый редактировал этот журнал, второй только в нем и мог печататься и, даже лишенный такой возможности, находил в нем для себя опору и поддержку. К сожалению, предлагаемая подборка, основанная главным образом на материалах секретариата правления СП СССР, способна дать лишь частичное представление о том, как много пришлось руководству Союза заниматься и непокорным журналом, и названными лицами. Прежде всего многое решалось в совсем уже узком кругу из двух-трех человек (К. А. Федин, Г. М. Марков, К. В. Воронков) и не оформлялось никакими протоколами или вовсе не на Воровского, 52, а в здании на Старой площади, за еще более плотно закрытыми дверьми того или иного начальственного кабинета, хотя бы и при почтительном участии руководителей «творческого союза». Да и из протоколов секретариата и его бюро кое-что либо, по-видимому, вовсе не поступало в архив правления Союза писателей СССР, либо даже изымалось оттуда обратно в секретариат. Возможно, будущие историки найдут эти припрятанные документы, а пока, как говорится, спасибо и на этом. Спасибо в первую очередь заведующей архивом Наталье Константиновне Покровской. В 70-е годы, когда была найдена большая часть публикуемых документов, Союзом писателей продолжали руководить те же самые люди, которые выкручивали руки Солженицыну и сживали со свету журнал Твардовского. В таких обстоятельствах с ее стороны требовалось немалое мужество, чтобы, рискуя своим скромным заработком, выдавать рядовому литератору да еще бывшему «новомировцу» бумаги, в которых эти деятели зачастую представали в весьма невыигрышном виде. Второй этап поисковой работы (она была произведена А. Воздвиженской уже специально для предлагаемой публикации) вышел за рамки указанного архива.

Большую часть текста составляют неправленые стенограммы заседаний руководящих органов Союза писателей, однако качество записи, как правило, хорошее. Хотя суть дела нередко созидательно и не без искусства затемняется многоопытными ораторами, внимательный читатель, вероятно, уловит ее без предваряющего комментария, который мог бы повредить непосредственности восприятия. Поэтому в большинстве случаев комментарий сводится в основном к предуведомлениям и пояснениям сугубо справочного порядка. Пусть сначала говорят документы, а затем уже и комментатор может позволить себе кое-что досказать (см. послесловие).

Чтобы не повторять при каждом приводимом или цитируемом документе общую часть их архивного «адреса» — «Правление Союза писателей СССР. Архив»,— указывается только номер описи («оп.») и порядковый номер дела («пор.») — обозначения, принятые в данном архиве. Порядок ссылок на другие архивохранилища будет оговорен особо.

I. ОБСУЖДЕНИЕ «НОВОГО МИРА» (март 1967 г.).

От составителя. Обсуждение «Нового мира» на заседании секретариата правления Союза писателей СССР состоялось в то время, когда за журналом уже прочно закрепилась репутация единственного в стране оппозиционного издания[1]. Так (хотя и в другой терминологии) его

[1] Подробнее об этом в моей статье «Вам, из другого поколенья...» («Октябрь», 1987, № 8).

характеризует официальная критика; так же, только откровеннее и резче, высказываются в своем кругу руководящие деятели Союза писателей. Документы архива свидетельствуют, что такую репутацию журнал Твардовского начал приобретать еще в последние годы «эпохи Хрущева». Так, в конце марта 1963 г. на пленуме правления СП СССР, посвященном итогам «встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства», можно было услышать, например, такие вопросы к Твардовскому: «Почему он как редактор позволяет себе на страницах «Нового мира» то одно, то другое, то третье произведение печатать, читая которые в лучшем случае читатели пожимают плечами? Вы печатаете, а партийные, колхозные, государственные работники спрашивают: в чем дело? ...Очевидно, не все на месте с партийным руководством в журналах, газетах да и в самом Союзе» (М. Д. Соколов; оп. 36, пор. 27, л. 72)[2]; «Просим тов. Твардовского, редактора «Нового мира», ответить здесь, на пленуме Союза писателей, почему в течение известного времени он печатал Эренбурга, Яшина[3] и других авторов прочих (возможно, «порочных».— Ю. Б.) произведений, в которых дается неверное, неправильное, осужденное на совещании руководителей партии и правительства с писателями изображение нашей действительности» (критик В. Ф. Залесский; там же, л. 127)[4].

А вот выдержки из другого документа, тоже еще хрущевской поры,— стенограммы заседания секретариата от 25 февраля 1964 г. (протокол № 8), на котором разбирался инцидент с помещенным в журнале «Дружба народов» фальсифицированным «письмом читателя» против поэмы Твардовского «Теркин на том свете». В. А. Смирнов (главный редактор «Дружбы народов»): «Я не понимаю Твардовского как редактора и считаю, что он ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале» (л. 28). Н. М. Грибачев: «...Нам незачем затушевывать назревшие проблемы литературы. За рубежом Твардовского называют либералом (это было в зарубежных газетах). Но в нашем понимании либерализм — это бранное слово» (л. 92). А. Б. Чаковский: «Твардовский для заграницы и для всех, кто поднял вокруг этой истории шумиху,— лидер либерального направления. Сколько раз мы уже читали сообщения о том, что Твардовского сняли с журнала «Новый мир» и назначили Ермилова» (л. 58).

Однако характерно, что в то же самое время, когда произносились эти слова, «Один день Ивана Денисовича», несмотря на учащающиеся нападки на его автора со стороны консервативно охранительной критики, был выдвинут «Новым миром» на соискание Ленинской премии, поддержан в центральных газетах, прошел на второй тур обсуждения... Три года спустя, когда на секретариате состоялось обсуждение «Нового мира», политическая и идеологическая обстановка в стране была уже совершенно иная. В октябре 1964 г. состоялся дворцовый переворот — снятие Хрущева. Хотя прежние формулы (насчет «культа личности» и пр.) еще некоторое время оставались в употреблении, курс нового руководства на отказ от линии XX съезда, на удушение демократического движения стал обнаруживаться с возрастающей очевидностью. В сентябре 1965 г. были арестованы А. Синявский и Ю. Даниэль; суд над ними был первым после Сталина крупным политическим процессом, а суровость приговора двум писателям, вина которых состояла в том, что их взгляды противоречили официальной идеологии, преследовала явную цель показать, что с «либерализацией» намерены покончить. О том же свидетельствовало содержание XXIII съезда КПСС (март—апрель 1966 г.), на котором из уст ряда влиятельных лиц прозвучала резкая критика по адресу «Нового мира», не захотевшего отказаться от своей установки на полноту правды о прошлом и настоящем, а Твардовский «выпал» из состава ЦК. Параллельно с обострением критических оценок как отдельных публикаций журнала, так и его общественно-эстетической позиции вообще во все большем числе органов литературной и партийной печати «Новый мир» все сильнее испытывает на себе цензурный гнет.

Цензура и прежде портила Твардовскому и его соредакторам немало крови. Среди документов Союза писателей есть, например, протокол заседания секретариата, состоявшегося еще 27 апреля 1963 г. (оп. 36, пор. 8); его можно привести полностью

«**Присутствовали:** секретари правления СП СССР тт. Марков Г. М., Твардовский А. Т., Воронков К. В.

Вопрос согласован с К. А. Фединым.

Слушали: О № 4 журнала «Новый мир» за 1963 год.

Постановили:

1. Ознакомившись с материалами № 4 журнала «Новый мир» за 1963 год, вызвавшими некоторые возражения орга-

[2] В форме статьи «Партия учит требовательности» это выступление главного редактора журнала «Дон» было опубликовано «Литературной газетой» (1963, 2 апреля).

[3] Повесть А. Яшина «Вологодская свадьба» («НМ», 1962, № 12) официозная критика признала «очернительской».

[4] В выступлении Хрущева на упомянутой «встрече» (8 марта 1963 г.) повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» («НМ», 1962, № 11. Предисловие А. Твардовского) была отнесена к числу произведений, «в которых правдиво с партийных позиций освещается советская действительность» периода «культа личности Сталина». Одновременно в той же речи резко критиковались напечатанные в «Новом мире» мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1961—1965) и путевые очерки В. Некрасова «По обе стороны океана» (1962, №№ 11—12). К последним относилось возмущенное восклицание Хрущева: «И это пишет советский писатель в советском журнале!»

нов Главлита, секретариат правления Союза писателей СССР принимает к сведению сообщение главного редактора журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского о том, что:

в текст передовой статьи редакцией внесены необходимые изменения и уточнения в соответствии с высказанными пожеланиями;

печатание начала романа Альберта Камю «Чума» откладывается до следующих номеров журнала[5] и заменяется более актуальной на сегодня повестью Хуана Гойтисоло «Чанка» о современной франкистской Испании;

рассказ Е. Ржевской «Второй эшелон» и «Рассказы о том, что прошло» Евг. Габриловича снимаются с номера для доработки[6] и заменяются очерком Г. Троепольского «В камышах», посвященным современной сельской жизни Воронежской области».

Документ этот, между прочим, говорит о тесных связях, существовавших (до самого недавнего времени) между Главлитом и руководством Союза писателей, об их негласном сотрудничестве в осуществлении цензурных функций.

С течением времени бдительность литературных надзирателей усиливается; изнурительная борьба с ними — постоянный мотив в письмах Твардовского середины 60-х годов. Вот некоторые выдержки из его писем к В. Овечкину, притом из цензурных же купюр, сделанных в этих письмах при их публикации в 1983 г. в 6-м томе Собрания сочинений поэта. «О том, что переживает и терпит журнал как раз за то, что он доброго сделал, писать не буду — это до разговора, до встречи... бесчисленные придирки, подсиживания со стороны известного ведомства — все это я уже воспринимаю как должное» (17 декабря 1963 г.). «Живем трудно до крайности, ни одного номера журнала в год не вышло без... Словом, лучше не затевать объяснений на эту тему» (4 ноября 1964 г.). «Ты спрашиваешь об ответе Вучетичу, но разве я в силах описать, чего нам стоил этот ответ (с помощью бурного потока читательских писем), который должен был появиться в № 5 «Н. М.», но, конечно, не появится (на днях «сигнал»)[7], оставшись там, где каждый № оставляет что-нибудь уже года два подряд» (31 мая 1965 г.). «А начать бы нужно с того отчаянного положения, что мы уже привычным образом, подобно тому, как генералы обедают «на другой день», выходим в конце следующего за названным на обложке месяца. Тому причины большей частью объективные, но от этого не легче». (22 марта 1966 г.).

А осенью 1966 г. под нож пошел даже номер, подписанный Главлитом: был уничтожен тираж десятой книжки журнала, в значительной своей части уже отпечатанный; по требованию ЦК партии из него были изъяты дневники К. Симонова, относившиеся к начальному периоду Отечественной войны, и роман А. Бека «Новое назначение» (оба произведения увидели свет лишь много лет спустя).

В этих условиях и возникла идея обсудить работу «Нового мира» на заседании секретариата правления СП СССР. Издавна убежденный, что литература развивается не благодаря заседаниям, а главное, хорошо знавший тех, кто руководил Союзом писателей, Твардовский не мог не рассматривать это мероприятие как вынужденное. «Отношения с Союзным секретариатом у меня крайне натянутые, с республиканским — никакие, т. е. полное отчуждение»,— писал он тому же Овечкину 4 ноября 1964 г. (что также вычеркнул цензорский карандаш). Но иного способа укрепить позицию журнала по отношению к надзиравшим за ним инстанциям у Твардовского не было. С другой стороны, секретариату это нужно было как из чиновно-престижных соображений (показать, что он над журналом, что перед ним отчитываются, а он отчитывает), так и для того, чтобы, следуя установкам съезда партии, попытаться ввести «Новый мир» в общий идеологический ряд.

Судя по документам, предварительные переговоры с Твардовским состоялись в октябре—ноябре 1966 г., и он предложил, чтобы предметом обсуждения стала работа журнала за период между III (1959 г.) и IV съездами Союза писателей СССР (первоначально намечавшимся на 23 января 1967 г.), то есть практически за весь срок деятельности тогдашней редколлегии. Невыгода этого предложения для многих участников предполагаемого обсуждения состояла в том, что при характеристике произведений, опубликованных до октября 1964 г., им пришлось бы либо держаться своих прежних оценок, уже не соответствовавших новым установкам, либо слишком наглядно демонстрировать свою беспринципность. Отсюда, а также из стремления, избежав анализа сделанного журналом в целом, сосредоточиться на новейших его «ошибках»,— попытки сузить хронологические рамки обсуждаемого до двух последних лет, ставшие одним из основных мотивов на предварительном

[5] «Новый мир» так и не получил возможности напечатать антитоталитарный роман-притчу А. Камю, впервые появившийся на русском языке лишь в 1969 г.

[6] Рассказ Е. Ржевской «Второй эшелон» был напечатан в «Новом мире» через год с лишним (1964, № 6); «Рассказы о том, что прошло» Е. Габриловича в журнале не появились, см. в его книге «О том, что прошло» (1967).

[7] Статья скульптора Е. Вучетича «Внесем ясность» («Известия», 1965, 15 апреля) представляла собой официальную отповедь на программное выступление «Нового мира» — статью Твардовского «По случаю юбилея» (1965, № 1). Ответ редакции Вучетичу не попал ни в пятый, ни в последующие номера журнала, а статья Твардовского, как и другие его статьи, написанные в качестве редактора «Нового мира», не пропускалась затем цензурой даже в собраниях его сочинений.

заседании Секретариата, состоявшемся 22 ноября 1966 г.

Несколько выдержек из стенограммы этого заседания (оп. 37, пор. 166), проходившего под председательством К. А. Федина в весьма широком составе: двадцать два секретаря правления СП СССР, плюс четверо не входивших в Секретариат руководителей СП союзных республик, плюс Ю. С. Мелентьев (от ЦК КПСС),— но без участия как Твардовского, так и какого-либо другого представителя журнала.

«**Воронков К. В.** Обсудить в декабре работу журнала «Новый мир». <...>

Кожевников В. М. Нам нечего закрывать глаза на состояние Твардовского и ту атмосферу, которая сложилась. Мы сами на обсуждении должны выяснить свое отношение к ошибкам, чтобы разобраться в положении и нормализовать состояние главного редактора. Я готов согласиться, чтобы... мы обсудили состояние «Нового мира» в узком творческом кругу. Нужно выбрать самое острое. Охватить работу журнала за семь лет невозможно.

Марков Г. М. То, что говорит Вадим Михайлович,— это, безусловно, и есть главная цель обсуждения.

Салынский А. Д. Мы понимаем остроту и сложность положения, в котором находится журнал «Новый мир». <...> Ограничим обсуждение журнала сроком 1—2 года, мы себя обузим. Мы должны быть объективны, творчески честны.

Абдумомунов Т. А. «Новый мир» — очень популярный журнал. Деятельность этого журнала была подвергнута критике на XXIII съезде, и что скажет Секретариат по поводу деятельности журнала «Новый мир», ждут не только писатели, но и вся общественность. <...> Чтобы дать настоящую, партийную оценку деятельности этого журнала, секретари должны быть знакомы с некоторыми неопубликованными произведениями. <...> Мы должны ознакомиться с романами Симонова и Бек(а), потому что, если в этих вещах допускаются неправильные, непартийные тенденции, мы при всем уважении к Твардовскому будем говорить партийным языком, если мы хотим серьезно обсудить, сделать серьезный вывод, который ожидает вся наша общественность. По неопубликованным произведениям мы определим свою позицию, что сделал Твардовский после критики, которая прозвучала с трибуны XXIII съезда.

Председательствующий. Эту просьбу надо уважить.

Турсун-заде М. Т. <...> Мне кажется, что все мы заинтересованы. Договоримся о составе. Весь состав Секретариата с приглашением всех союзных республик...

Марков Г. М. Я с вами работаю много лет. Наш Секретариат как раз отличается тем, что он достаточно спокоен, трезв и вдумчив, чтобы давать оценку по самым сложным вопросам. Я думаю, что мы сумеем справиться с этими задачами. Но делать из этого обсуждения митинг? Провести в пределах Секретариата, редколлегии и узкого круга авторов. <...>

Кожевников В. М. <...> Обсуждение журнала за семь лет носит ненормальный характер. Если бы у нас было очередное обсуждение, это еще могло бы быть. Дело редактора и редколлегии поставить этот вопрос, но почему мы должны рассматривать за семь лет, не понимаю. <...>

Ибрагимов М. А. Если мы начнем строить наше обсуждение на произведениях, которые остановлены на полпути и не дошли еще до читателя, мы создадим нехороший инцидент. Другое дело: каким образом эти произведения дошли до печати? В работе «Нового мира» есть недостатки, которые к этому привели. О них мы и будем говорить. <...>

Сурков А. А. Для чего у нас на первых страницах наших журналов стоит надпись «Орган правления СП СССР»? Это уже не в первый раз. Получается, что журнал у нас вроде феодальных владений. Мы — первый ответчик за содержание и характер ведения печатных органов, которые имеют некое упоминание на своей обложке. <...> Все-таки это довольно экстраординарный случай за всю практику, когда под нож пошел целый номер журнала. И никакого криминала и залезания в душу Твардовского не будет, оттого что Секретариат узнает, что в его органе предполагалось напечатать такого, из-за чего этот номер пошел под нож. <...>

Воронков К. В. <...> Известно, что Симонов законченную вещь сдал в журнал. Она разрешена была Главлитом. Журнал напечатал. Поэтому Секретариат имеет полное право спросить редакцию, в чем дело, и сказать свое мнение. Мы обсуждаем готовую продукцию. 100 тыс.— это государственные денежки, за которые мы должны нести ответственность. <...>

Председательствующий. После сессии Верховного Совета будет Секретариат, и там будет стоять вопрос о журнале «Новый мир». Принято единогласно» (лл. 27—32).

Намеченное на 20 декабря обсуждение «Нового мира» состоялось, однако, лишь три месяца спустя. Дело в том, что накануне назначенного дня два ближайших сотрудника Твардовского — первый заместитель главного редактора А. Г. Дементьев и ответственный секретарь журнала Б. Г. Закс — были вызваны в ЦК КПСС, где им в категорической форме было предложено уйти с занимаемых постов. Несмотря на решительные возражения Твардовского, отказавшегося принять их отставку, оба они в порядке партийной дисциплины были вынуждены выполнить требование ЦК.

Устроители этой акции, разработанной, без сомнения, совместно с руководством Союза писателей, рассчитывали на то, что она позволит овладеть непокорным

журналом, чья демократическая направленность на быстро меняющемся общем фоне становилась все более нетерпимой. Вырисовывались два варианта дальнейшего развития событий, одинаково благоприятных для начальства: либо взбешенный демонстративным ущемлением его прав главного редактора Твардовский немедленно уходит сам, либо его «вытесняют» те, кого Секретариату удастся ему навязать на освободившиеся места: зажатый в тиски между ними и Главлитом, ЦК, секретариатом Союза писателей, он после какого-то периода изнурительной борьбы на два фронта все же вынужден будет покинуть свой пост. В любом варианте дело выглядело беспроигрышным: Твардовский (чей авторитет был слишком высок, чтобы можно было в тогдашней обстановке просто снять его, как убрали бы любого другого) уходит «добровольно», а руководству Союза писателей остается только развести руками: дескать, что ж, такова воля поэта...

И действительно, как показывают дневниковые записи Твардовского, первым движением его души было немедленно швырнуть «печать» — желание, не раз возвращавшееся к нему и в дальнейшем. Однако поддержка друзей и литературной общественности, а главное — сознание своего долга перед народом удержали его от этого шага.

8 января 1967 г. Твардовский писал И. С. Соколову-Микитову: «Ах, дорогой мой Иван Сергеевич! Не сетуйте на меня, что не поздравил Вас нынче с Новым годом: как раз а канун этого года закружилась над журналом и над моей головой такая метелица (и до сих пор порошит), что я, вопреки своему обычаю, никого уж и не поздравлял,— ей-богу, не до того было» (Соч., т. 6, с. 416).

На протяжении нескольких недель судьба журнала висела на волоске. 27 января 1967 г. в «Правде» появилась большая редакционная статья «Когда отстают от времени», где «Новый мир» был подвергнут весьма жесткой критике. Признавая, что «журнал опубликовал ряд высокохудожественных произведений», орган ЦК вместе с тем категорически осуждал его общественные позиции. Вот некоторые выдержки. «К сожалению, из нашей многообразной действительности внимание «Нового мира» привлекают не факты и явления, показывающие, что из всех испытаний наша партия и народ выходили еще более закаленными и сильными, с непоколебимым революционным оптимизмом, а в большинстве случаев лишь явления одного ряда, связанные с теневыми сторонами, с разного рода ненормальностями, с болезнями бурного роста». В этой связи резкой критике были подвергнуты повести «Мертвым не больно» В. Быкова и «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева. «Не проявляя заботы об отборе для публикации в журнале лучших произведений широкого жизнеутверждающего плана, отображающих то новое, что создано и повседневно создается трудом, борьбой нашего народа, журнал впадает в удручающее однообразие, искажение правды. Впрочем, путешествуя по дорогам, которые пройдены, и замечая на них почти исключительно следы ошибок, а не свидетельства беспримерных подвигов народа, «Новый мир» и не может преподнести своим читателям ничего иного, кроме горестных, а порою и устрашающих назиданий. <...> Редакция «Нового мира» проходит мимо героики и романтики. Более того, журнал не упускает возможности едко поиронизировать, а то и поиздеваться над произведениями, опубликованными в других органах печати, если там делается попытка — пусть и не всегда удачная — утвердить героическую тему, показать героический характер. Сотрудничающие в «Новом мире» литературные критики нередко поднимают на пьедестал произведения, однобоко изображающие тяжелые ситуации в нашем прошлом, разного рода «узкие места», а то и «задний двор». Взамен революционера и борца такие критики на первый план выдвигают персонажей, обиженных судьбой, людей с ущербной психологией и моралью, общественно пассивных, этаких откровенных «антигероев». Защите этих позиций посвятил многие страницы в журнале критик В. Лакшин». И вывод: «Чрезмерное акцентирование на отрицательных фактах, настороженность в изображении положительных явлений, упорство в отстаивании ошибочных позиций — именно это сейчас наиболее характерно для журнала «Новый мир».

По тогдашним нормам все это звучало весьма угрожающе. Но поскольку во второй половине статьи для поддержания впечатления, что Центральный Комитет занимает именно позицию центра, одинаково далекого от любых «крайностей», критиковался и постоянный противник «Нового мира» — кочетовский «Октябрь» (за «упрощенство», художественную невзыскательность, антиинтеллигентские мотивы, «заушательские приемы» в критике и т. д.), то сведущие люди восприняли это как знак, что погрома еще не будет. «Новый мир» вышел на край гибели, но на этот раз удержался. Более того, в итоге длительного «перетягивания каната» Твардовскому удалось принудить Секретариат согласиться с тем, чтобы места Дементьева и Закса заняли люди, выбранные им самим.

Вот в такой обстановке, когда уже заранее было известно, что игра покамест окончилась вничью, и состоялось заседание Секретариата с обсуждением «Нового мира». Отсюда — содержание и тональность этого обсуждения, большинство участников которого, держась за статью «Правды», как за невидимую нить, в общем, не переходят и тех границ агрессивности, которые ею установлены. Тем не менее предлагаемый документ дает гораздо более полное представление как о литературно-общественной позиции «Нового мира», так и в особенности о его взаимоотношениях с официальной идеологией и «эстетикой социалистического реализма».

Заседание секретариата правления Союза писателей СССР 15 марта 1967 г. (оп. 37, дор., 107; стенограмма, в сокращении)[8]

Г. М. Марков. Товарищи! Я должен с сожалением сообщить, что К. А. Федин, который очень хотел участвовать в работе нашего Секретариата, к сожалению, вчера заболел и приносит свои извинения. <...> На повестке у нас сегодня два вопроса: вопрос о работе «Нового мира» — сообщение А. Т. Твардовского и второй вопрос — некоторые наши предсъездовские дела, о сроках встреч и т. д.

Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, готовился уже давно. Однако были разного рода причины, которые привели к тому, что он откладывался. В частности, зима была тяжелая, ряд секретарей Союза болели[9]. <...>

Разрешите мне предоставить слово А. Т. Твардовскому.

А. Т. Твардовский. Товарищи! Я думаю, у меня нет необходимости особенно оговаривать то, что я не буду делать отчетный доклад. Это просто излишне. Журнал — это и есть отчет о работе редакции.

Кроме того, если я не ошибаюсь, участникам этого заседания была представлена справка о работе журнала, которая содержит в себе всякие цифровые и статистические показатели. Эта справка дает возможность получить необходимые сведения.

Следовательно, мое слово (я не буду долго задерживать вашего внимания) — оно относится к некоторым общим вопросам работы литературно-художественного и общественно-политического журнала «Новый мир».

Конечно, каждое обсуждение предполагает выяснение одного, двух или трех вопросов. Я думаю, что дело покажет, каковы эти вопросы, потому что мне они не поставлены и я не могу отнести все, что связано с деятельностью журнала, к каким-то трем или четырем точкам.

Я хочу начать с одного признания, которое основано на многолетней редакторской практике. Дело в том, что у этой работы есть своего рода соблазн: постепенно то, что печатается в журнале, осаждается в твоем сознании и создается ощущение, что ты вроде автор всего того, что напечатано в журнале, или по крайней мере соавтор, и с очевидной остротой воспринимаешь и то, когда бранят, и то, когда слушаешь похвалу журналу и относишь это как бы к самому себе.

Понятно, что здесь огромная возможность самообольщения, как бывает у автора произведения, который болезненно реагирует на критику, всячески оказывает ей сопротивление, всячески пытается укрыться в тень, хотя бы и были скромные похвалы[10].

Но, по правде говоря, умный автор, хотя ему и неприятна бывает критика,— он понимает, что ее нужно пустить в дело. Точно так же и журнал, если он не совсем глупый журнал, он, хотя и бывает неприятна разумная критика, учитывает ее в интересах дальнейшей работы и в интересах его возможного успеха.

Точно так же бывает и в практике редакционной работы. Автор принес вещь. Ему предъявили претензии. Он негодует: «Вы хотите меня изуродовать! Я забираю рукопись». Забирает. Переходит через дорогу, идет в другую редакцию. Печатает там. Посмотришь, а все, что мы ему говорили,— учтено.

Словом, я стремлюсь к тому, чтобы приблизиться к возможной степени объективности, когда речь идет о журнале, к которому имеешь и такое чувство соавторства.

Я далек от того, чтобы считать роль, выпавшую на долю «Нового мира», такую несколько своеобычную, результатом какой-то особой доблести его нынешней редакции. Но так сложилось, что «Новый мир» в последние годы приобрел значительное общественное мнение и никакой другой журнал не слышал о себе столько безоговорочно добрых и безоговорочно отрицательных отзывов, как этот журнал.

Я хочу сказать, что журнал — это не только плохой или хороший редактор, не только редколлегия и небольшой редакционный коллектив, но это и большой авторский коллектив и не менее широкий круг авторов рецензий, статей, обзоров, посвященных журналу в различных органах печати. И, наконец, читательский актив, адресующий свои оценки из всех городов и поселков страны. Это существенная часть, трудно поддающаяся учету, но вполне реально показывающая то, что принято называть общественным мнением.

Поэтому при обсуждении журнала, я надеюсь, будет учитываться весь этот комплекс, потому что та небольшая группа людей, которая лепит этот журнал, не представляет этот журнал в его целом.

Я подтверждаю нашу готовность по-деловому принять критику всех наших ошибок. Только бы речь шла о действительных ошибках и заблуждениях, вытекающих из анализа того, что было напе-

---

[8] Публикация Ю. Буртина.

[9] О том, что за это время чуть было не умер и сам обсуждаемый журнал, Г. М. Марков не упоминает.

[10] Возможно, конец фразы записан неточно.

чатано на наших страницах, а не из того, как это напечатанное интерпретировано иными нашими критиками.

В самом деле, что же мы такое — «Новый мир»? Что это за журнал? С одной стороны, очевиден факт, что по крайней мере две трети художественных произведений, привлекавших в последнее время самый широкий читательский интерес и составляющих неотъемлемую часть того, чем в нашей литературе вправе гордиться общество, появилось на страницах «Нового мира». (Я точен)[11].

Казалось бы, что же, хорошо. Передовой советский журнал, заслуживающий всяческого одобрения.

С другой стороны, деятельность этого журнала как в печати, так и в устных публичных высказываниях характеризуется как порочная, очернительская (такие факты есть, такие выступления в печати). И выходит, что послушать одних, послушать читателей, писателей, посмотреть редакционную почту,— хороший журнал, вызывающий широкий интерес не только художественной своей частью, но и публицистикой (что куда бóльшая редкость); а если послушать других, то журнал публикует как на подбор вещи сомнительные, принижающие нашу действительность, ориентирует на Запад, отбирает произведения, способные вызвать у советских людей настроения безысходности (почему-то нехорошо авторы таких писаний о советских людях думают).

Я подхожу к основному вопросу: о деятельности журнала в целом.

Часто говорят: «Линия «Нового мира»». И чаще всего под этим имеется в виду линия дурная, порочная, противопоставляющая себя линии нашей партии в литературе. Подразумевается вообще, что само по себе наличие линии — это уже что-то греховное, противопоказанное советскому журналу.

Здесь, на мой взгляд, сказывается смешение понятий. Линия партии в литературе у нас одна, обязательная для всех журналов и газет. Но линия журнала — это частное, конкретное выражение линии партии, это лицо журнала, более или менее определившееся в единстве его идейно-эстетических пристрастий и принципов. Журнал, не имеющий такой линии,— это издание безликое, неразборчивое относительно формы и содержания публикуемых произведений, то есть серый журнал, каких у нас, к сожалению, достаточно.

«Новый мир» открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он «гнет свою линию». «Гнуть свою линию» — значит быть принципиальным, держаться того, в чем убежден и что усвоено из того учения, которое всесильно, потому что верно.

Для меня лично всегда было ясно, что в области эстетики марксизм-ленинизм отдает предпочтение реализму, жизненной правде, проникновению в сложность явлений подлинной действительности, какая она есть, а не какой она может быть представлена, ибо воздействовать на действительность можно, именно видя ее, а не заменяющую ее схему. Все это элементарно. И меньше всего является открытием «Нового мира». «Новый мир» лишь в меру своих возможностей старался давать на своих страницах произведения реалистического толка, правдиво свидетельствующие о подлинной сложности и противоречивости жизненных явлений. Разумеется, такая тенденция не имеет ничего общего с пошлым критиканством, с нарочитым выискиванием темных закоулков и не только не избегает жизнеутверждающих мотивов, но стремится к жизнеутверждению, основанному на самой жизни, а не на беллетристических построениях облегченного типа, которые у сознательного читателя способны вызвать лишь отталкивающие впечатления.

Духом правды, духом взыскательного реализма, суровым отвержением самообольщения проникнуты все важнейшие решения и указания партии и XXIII съезда. И недаром нынче, в преддверии 50-й годовщины нашей великой революции, мы повторяем слова Ленина, сказанные им еще в пятую годовщину Октября, о том, что лучший способ отметить годовщину — это сосредоточить внимание на нерешенных задачах. И неверно, что журнал «Новый мир» делал дурное дело, когда с большим или меньшим успехом,

[11] «За отчетный период» в «Новом мире» были опубликованы, наряду со многими другими прозаические произведения Ч. Айтматова, В. Аксенова, И. Андроникова, С. Антонова, М. Ауэзова, Б. Бабочкина, Г. Бакланова, А. Бека, В. Богомолова, Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Ваншенкина (и его же стихи), Г. Владимова, В. Войновича, Л. Волынского, К. Воробьева, Н. Воронова, М. Галлая, Е. Герасимова, А. Гладкова, А. В. Горбатова, И. Грековой, В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Е. Дороша, Е. Драбкиной, И. Друцэ, Н. Дубова, В. Дудинцева, Вс. Иванова, Л. Иванова, И. Исакова, Ф. Искандера (и его же стихи), С. Залыгина, В. Каверина, В. Катаева, Р. Киреева, А. Крона, А. Кузнецова, Ю. Куранова, В. Липатова, В. Лихоносова, А. Макарова, И. Меттера, Б. Можаева, В. Некрасова, Е. Носова, В. Овечкина, В. Пановой, Л. Пантелеева, К. Паустовского, А. Побожего, Е. Ржевской, В. Розова, А. Рыбакова, В. Семина, И. Соколова-Микитова, А. Солженицына, В. Тендрякова, Ю. Трифонова, Т. Троепольского, К. Федина, В. Фоменко, А. Цветаевой, Ю. Черниченко, К. Чуковского, А. Шарова, В. Шукшина, А. Эйснера, И. Эренбурга, А. Яшина (и его же стихи), стихотворные произведения М. Алигер, П. Антокольского, А. Ахматовой, О. Берггольц, Е. Винокурова, Р. Гамзатова, И. Драча, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, В. Инбер, С. Капутикян, Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Кулешова, К. Кулиева, А. Кушнера, С. Липкина, М. Луконина, Н. Матвеевой, С. Маршака (и его же проза), Э. Межелайтиса, Л. Первомайского, А. Передреева, А. Прасолова, А. Прокофьева, Н. Рыленкова, М. Рыльского, Д. Самойлова, М. Светлова, К. Симонова, Я. Смелякова, Вл. Соколова, В. Сосюры, А. Твардовского, В. Тушновой, Б. Чичибабина, В. Шефнера, С. Щипачева, значительные публикации из литературного наследия М. Булгакова, А. Воронского, И. Ильфа, Д. Кедрина, В. Кина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, И. Шмелева, М. Щеглова, ряд выдающихся произведений зарубежной поэзии и прозы.

насколько позволяли наличествующие литературные силы, привлекаемые им, старался показывать нашу действительность в плане реалистическом, считая, что она не нуждается в приукрашивании и приподнимании, поскольку сама по себе достаточно высока и богата красками.

Да, мы держимся линии реализма, правдивого отображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы, являющей миру непревзойденные образцы реалистического искусства.

Наконец, мы придерживаемся принципа повышенной требовательности к мастерству, нетерпимости к фальши и серости во всех ее видах и модификациях. Мы против ухищрений модернизма и тлетворного эстетического влияния Запада, того самого Запада, приверженностью к которому нас понаслышке попрекают. И мы знаем, что именно по этой причине нашей повышенной требовательности мы не можем не снискать обид и нареканий у известной части литераторов, чьи рукописи редакция вынуждена была отвергнуть и чьи вышедшие из печати произведения подверглись суровой критике на страницах журнала.

Что делать! Зато мы знаем, что именно своей требовательностью, непримиримостью к халтуре и пустозвонству мы снискиваем одобрение и симпатии читателей нашего журнала. И если говорить о том, с чего практика «Нового мира» берет начало, если говорить о его линии, то можно указать на очерк Овечкина «Районные будни», опубликованный в 1952 году и впервые в советской литературе коснувшийся неблагополучия в сельском хозяйстве и несовершенств тогдашнего руководства колхозами.

Этот исходный для «линии» «Нового мира» материал породил, как известно, новую полосу в нашей очерковой литературе и породил целую плеяду мастеров, таких, как Дорош, Л. Иванов, Можаев, Ю. Черниченко и др.

Кажется, что это заявление очень самонадеянное, может быть, но вот, понимаете, я не могу без чувства признательности не процитировать место из статьи Феликса Кузнецова, опубликованной в «Правде», в известной мере это статья редакционная. Он пишет: «Ведь это удивительно, что деревенские очерки В. Овечкина появились еще в трудном 1952 году. А если вдуматься, так ничего удивительного нет: честный русский писатель всегда оставался гражданином. В. Овечкин первый в полный голос сказал о том, что более углубленно, конкретно и практически думают и сегодня партия и народ. Им начался, по существу, новый период в истории нашего очерка. Г. Троепольский, В. Тендряков, С. Залыгин и ряд других писателей-«деревенщиков» вышли тогда на передний край борьбы»[12].

Но я бы не ограничил значение очерков Овечкина рамками только очеркового жанра. В истории советской литературы это значение представляется настолько бесспорно положительным, что «Литературная газета», не задумываясь, приписала заслугу опубликования этого очерка «Правде»[13]. Это высшая похвала. Именно с опубликования этого очерка журнал приобретает все более определенный облик по всем своим разделам. Он выступил с критикой неправомерно расхваленных произведений деревенской темы, таких, как «Кавалер Золотой Звезды», вскрывая их фальшь и неправдоподобность[14].

Журнал опубликовал на своих страницах произведения прозы, посвященные тому же жизненному материалу, но иного подхода к действительности. В этом ряду стоят «Не ко двору» В. Тендрякова, «Записки агронома» Троепольского, повести Айтматова (кстати, дебютировавшего у нас и напечатавшего все, что он написал на страницах «Нового мира»), «Память земли» В. Фоменко, «На Иртыше» С. Залыгина и «Вологодская свадьба» Яшина.

Необходимо отметить, что все эти писатели дебютировали или выступали на страницах «Нового мира» со своими наиболее значительными вещами. По-разному были встречены эти произведения. Одни — разносной критикой, другие — похвалой. Но для нас, редакции журнала, может быть, в силу чувства соавторства, которое питаем мы к страницам своего журнала, они предстают в единстве своей направленности, и при всем разнообразии письма и различном уровне они являют собой то, что называют «линией» «Нового мира». Пусть нам не всегда удавалось быть последовательными до конца, пусть мы имели промахи и ошибки, но журнал в целом уже не оставляет сомнений относительно своей «линии».

Можно было бы посвятить несколько слов мемуарному жанру, который получил заметное развитие на страницах нашего журнала. Здесь также были вещи, которые встретили безоговорочное одобрение,— как «Записки» Героя Советского Союза М. Галлая, как «Черные сухари» Е. Драбкиной, как «невыдуманные рассказы» адмирала флота И. Исакова, и другие. И были вещи, которые вызва-

[12] Ф. Кузнецов. Трудная любовь. Раздумья о деревенской литературе.— «Правда». 1967, 3 марта.

[13] И. Винниченко. Трудный жанр.— «Литературная газета», 1966, 15 марта. 22 марта Твардовский писал В. Овечкину по поводу этой статьи: «Ты думаешь, что Винниченко просто ошибся, запамятовал, где впервые были напечатаны «Райбудни»? Как бы не так! Он отлично это знает, даже, пожалуй, знает, что очерк этот, предложенный тобой «Правде», был там отвергнут... Но он не преминул, конечно, переадресовать общеизвестную заслугу и честь «Нового мира» другому, более достойному органу печати» (Собр. соч., т. 6. М., 1983, с. 453).

[14] Впервые — в статье Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» (1954, № 4), послужившей одной из причин снятия Твардовского с поста главного редактора «Нового мира» в 1951 г.

ли критику разных оттенков,— тут и Эренбург, и главы воспоминаний Горбатова [15], и т. д.

Точно так же и по разделу критики в библиографии — разноречивость большая, противоположные мнения, иногда диаметрально противоположные, мы все время выслушивали.

Вот я вскользь сказал относительно того Запада, которому журнал будто бы привержен. Или иногда нам говорят, что вот вас на Западе любят и это нехорошо.

Тут мне хочется сказать, что, во-первых, нас никогда так не хвалили на Западе, как представителей нашего музыкального искусства, как Шостаковича или ансамбль Моисеева. Но значит ли это, что раз Запад хвалит, значит, надо их ущемлять?

Наконец, Запад признает наших классиков, признает многое из современной нашей литературы. Запад признает Шолохова, которому присуждена Нобелевская премия. Должно ли сделать вывод, что это нехорошо, что это повод для нападок? Вроде бы нет. А между тем для журнала «Новый мир» на практике это именно так.

Кроме того, Запад тоже разный. Одной из слабостей нашего журнала является то, что мы не нашли тона. Мы умеем разговаривать с нашими недругами, но с друзьями мы еще не нашли тона. Это — дело очень деликатное и тонкое. С теми друзьями, которые иногда чрезвычайно апологетически относятся к нашему журналу, мы не сумели еще поговорить по душам, разъяснить кое-что, отвести некоторые предположения относительно направленности журнала, относительно существенных сторон и качеств.

Но Запад действительно разный. Здесь присутствует Алексей Александрович. (Сурков.— **Ю. Б.**). Он видел «листочки». Если привести самый враждебный, самый неоэмигрантский западный журнал «Грани», то он писал по поводу «Нового мира» в виде листочков «Письмо к другу»: «Твардовский не оправдал наших ожиданий. На поверку это человек, всецело преданный коммунизму. Критика журналом отдельных недостатков советской действительности направлена на укрепление советского строя».

Действительно, ему нельзя отказать в некоторой проницательности. Но это «Грани», это Западная Германия, это враг. А чтобы охарактеризовать обстановку и бодрость духа, которую мы не теряем, я приведу еще кое-что.

В Уфе на конференции библиотекарей один из работников «Октября», т. Стариков [16], говорил (они, между прочим, ездят, делают вечера и говорят больше о «Новом мире», чем об «Октябре», и их даже поправляют: «Если приехали, рассказывайте о своем журнале»), что «Новый мир» закрывать не следует, это журнал «для некоторой части нашей интеллигенции, в том числе писателей, которые, не будь «Нового мира», посылали бы свои творения подобно Синявскому за границу».

Я не считаю нужным это опровергать. Это вещи недопустимые, и жаль, что это слышишь из уст представителя сопредельной державы, которая по смыслу и назначению должна быть дружественной. Но бог с ними, это все для характеристики той атмосферы, которая есть.

Но вот сейчас я, товарищи, приближаюсь к одному очень деликатному пункту моего изложения. Я и промолчать о нем не могу, потому что недоговоренность и неясность не ведут к пользе для дела.

Обдумывая всю в целом практику журнала за последние годы, мы не можем не заметить, что по странности нас критикуют с какой-то недоговоренностью, скрывая куда более тяжкие прегрешения журнала, чем те, которые высказываются вслух. Мы не можем не догадаться, что имеется в виду из того неназываемого, несказуемого. Речь идет о Солженицыне.

Я не хочу быть в положении матери чеховского архиерея, которая рассказывала, что сын был архиерей, но она видит, что никто не верит, она корову гонит на поле, бедная старушка. А архиерей был, и в данном случае он даже есть. Я считаю странным, непонятным то положение, которое сложилось. Оно нездоровое и неправильное. И я хочу сказать, что, как бы мои личные отношения ни складывались с Солженицыным, ни я, ни наша редакция не могут изменить оценки его творчества, оценку тех вещей, которые получили место на страницах нашего журнала.

Вот вопрос, который я здесь, в своем кругу, могу поставить, и хотелось бы, чтобы мне также сказали об этом. Было ли ошибкой напечатание в 1962 году повести «Иван Денисович», или, наоборот, это было заслугой журнала? (Насколько может считаться заслугой напечатание с ведома и одобрения ЦК КПСС готовой рукописи, не требующей особых усилий по ее редактированию.) [17]. Хотя теперь можно услышать из устных сообщений, что якобы Твардовский подсунул эту рукопись Хрущеву, как будто я имел такую фантастическую возможность [18].

Обходить этот вопрос нельзя. Если ответ будет у большинства товарищей такой, что напечатание «Ивана Денисовича» было ошибкой, то разговор упрощается. А ежели нет, тогда можно и поговорить. И даже с толком.

Замечу кстати, что ни мое предисловие, с которым была опубликована повесть Солженицына, ни статья моя по случаю юбилея журнала не содержали в себе тех крайне завышенных похвал «Ивану Денисовичу», какие раздавались из других органов нашей печати, в первую очередь со страниц «Правды», посвятившей этой вещи три статьи, из которых только одна, последняя, содержит некоторые критические замечания [19].

Известно также, что повесть Солженицына получила чрезвычайно высокую оценку почти во всей коммунистической печати мира (за исключением Китая и Албании).

Для меня лично было и остается очевидным, что значение этой небольшой по объему повести в нашем литературном развитии огромно, что она оказала и оказывает влияние на целый ряд других, причем наиболее талантливых художников. Например, ее влияние сказалось на повестях Чингиза Айтматова, в частности, на повести «Прощай, Гюльсары!» (спросите Айтматова, он скажет), на повести Можаева «Из жизни Федора Кузькина», отчасти замолчанной, отчасти обруганной, чрезвычайно ценной повести, по крайней мере по заявлению читателей.

Вот на этот вопрос, товарищи, нужно ответить. Хуже нет молчания. Хуже нет обстоятельств, когда появляются табуированные имена.

У меня в интервью, данном «Литературной газете», было имя Солженицына (кстати, никаких претензий у меня нет к Александру Борисовичу — все напечатано в точности) [20], но я не мог не внять просьбе сотрудника, который говорил: давайте Солженицына опустим. И я понял так: мы не знаем [21].

Не знаю, может быть, среди присутствующих никто не читал его «Раковый корпус». Тут, может быть, есть отклонения от прямой, доброй дороги, но нехорошо, когда в таком собеседовании мы будем избегать правды, и я бы хотел услышать прямые, откровенные суждения. Это было бы ценно. Я хочу услышать: что, это было ошибкой писателя бездарного и ничего не дало, кроме вреда? Я и это могу услышать и не умру на месте.

От постановки <проблемы> «Одного дня Ивана Денисовича» я обязан перейти к поэме «Теркин на том свете». Здесь есть люди, которые знают историю этой вещи. Они знают, что у меня была попытка опубликовать эту вещь в первом, гораздо более несовершенном варианте. Слава богу, что она не была опубликована в том варианте. В свое время поэма была осуждена, и меня первый раз снимали из «Нового мира» за «Теркина на том свете» и за «линию». «Линия» уже намечалась в течение ряда лет, когда я писал «За далью — даль». Я продолжал работу над поэмой, и в 1963 году я получил возможность напечатать ее в «Известиях» и «Новом мире». К этому времени я снова был редактором.

Поначалу поэму встретили приветливо, но были выступления резко отрицательные. Я не жалуюсь, я считаю это нормальной литературной жизнью. Но потом наступило и длится доныне молчание вокруг этой поэмы, изредка прерываемое немногословными изустными характеристиками ее, как «пасквиля» на советскую действительность.

Известно, что Театр сатиры поставил эту поэму, не инсценировку, не переделку. Как получилось у них? Не знаю, я не компетентен, но спектакль был отличный, билеты невозможно было достать. Спектакль сейчас снят [22], тоже в полном молчании. Газета «Труд», журнал «Театр» по поводу этого спектакля дали по два абзаца, и говорилось там, что поэма-то хорошая, но спектакль вынул душу и превратил в нечто отрицательное. Я по этому поводу воспользовался страницами «Литературной газеты», чтобы сделать разъяснение: топите вместе, если поэма дурна, с этого начинайте [23].

---

16 Центральное место в записках генерала армии А. В. Горбатова «Годы и войны» (1964, №№ 3—5) заняли главы, относящиеся к периоду ежовщины.

16 Д. В. Стариков — заместитель главного редактора журнала.

17 Для нынешнего читателя, читающего, например, в том же «Новом мире» произведения Солженицына и других ранее запрещенных писателей, публикация которых также состоялась «с ведома и одобрения ЦК КПСС»: в 1962 г. сама мысль о возможности публикации «Одного дня Ивана Денисовича» никому, кроме Твардовского, просто не могла прийти в голову. Передавая повесть Солженицына Хрущеву, он рисковал немедленным закрытием журнала. Появление повести в «Новом мире» произвело в умах переворот, сопоставимый с тем, какой в 1956 г. вызвало разоблачение преступлений Сталина на XX съезде партии. Почти столь же революционным, опрокидывающим многие, казалось бы, нерушимые каноны и традиции советской прозы, было и собственно литературное значение этого произведения.

18 Твардовский спорит здесь не с общеизвестным тогда фактом передачи повести Солженицына Хрущеву (состоявшейся в августе 1962 г. при участии А. Г. Дементьева и активном посредничестве помощника Хрущева В. С. Лебедева.— см. А. Т. Твардовский. Собр. соч., т. 6, с. 202), а с намеком на то, что появление повести явилось результатом некоего сговора редактора с главой государства и проявлением хрущевского «волюнтаризма». Между тем вслед за Хрущевым повесть прочли тогда и другие члены Президиума ЦК КПСС (большинство которых в 1967 г. оставалось у власти), и их согласие на публикацию было вполне «коллегиальным».

19 Первой была рецензия В. Ермилова «Во имя правды» («Правда», 1962, 23 ноября); второй — С. Маршака «Правдивая повесть» («Правда», 1964, 30 января) — в поддержку выдвижения повести на соискание Ленинской премии; третьей — «Высокая требовательность» («Правда», 1964, 11 апреля) — обзор писем в редакцию по тому же поводу.

20 «Новый мир». Рассказывает главный редактор журнала А. Т. Твардовский.— «Литературная газета», 1967, 8 марта.

21 То есть «мы не знаем», разрешено ли сейчас упоминать это имя в положительном контексте.

22 Первая постановка спектакля «Теркин на том свете» состоялась 22 февраля 1966 г. Запрещен осенью того же года.

23 В «Реплике автора» («Литературная газета», 1966, 30 июля), отвечая на попытки Ю. Рыбакова («К итогам сезона» — «Театр», 1966, № 6) и Даля Орлова («Оглянись во гневе...» — «Труд», 1966, 26 июня) противопоставить спектакль поэме, Твардовский отмечал: «...До появления на сцене «Теркина на том свете» мне приходилось слышать по поводу этой поэмы те самые упреки в «пессимизме» и общей идейно-художественной несостоятельности ее, какие

Я делаю такой доклад и не имею в виду опубликовать в печати, но скажу, что мне очень больно слышать публично произносимые вещи, что Твардовский «подсунул Хрущеву». Как будто я чай пил и походя взял да и подсунул. Алексей Александрович, Константин Васильевич и Леонид[24] знают, что это было на приеме у Хрущева в Пицунде, среди участников Европейского симпозиума. Поэма на этот раз Хрущеву понравилась (на тот раз он меня снимал). На этом приеме был весь цвет советской литературы, включая Шолохова. От всех товарищей я слышал слова поздравления, но, очевидно, этому можно не придавать значения, это настроение минуты или воздействие настроения.

Никита Сергеевич не высказывался об этой вещи. Думаю, ему это было даже не с руки. А товарищи, которые были, они высказались.

Мне не представляется завидной роль главного <редактора> крупнейшего в стране журнала в сочетании с репутацией автора полузапрещенной поэмы. Здесь нужна ясность. Давайте скажем свое мнение. Опять повторяю: я не умру, если Секретариат скажет, что поэма неудачная, бездарная и даже враждебная. Я вряд ли этому поверю, но скажите, не молчите в то время, когда об этой вещи говорят какие-то слова ужасные, а я хожу и думаю: как же это так? Скажем, ко мне придет автор, я с ним беседую и высказываю критические замечания по поводу его произведения, а он мне скажет: знаете ли, у вас у самого рыльце в пушку...

Поверьте мне, что это очень осложняет жизнь.

Если бы настоящее обсуждение случилось раньше того заседания, которое было в кабинете товарища Демичева, я бы посвятил целый раздел своего выступления взаимоотношениям с цензурой, но товарищи помнят, что я там все, что наболело, уже высказал. И хотя мне порядочно попало от товарища Демичева, однако я не жалею, что я это сказал. Так или иначе эти слова были услышаны. И я думаю, что с вопросом об этом пережиточном органе нашей литературной жизни мы с неизбежностью будем еще сталкиваться. Нам придется о нем говорить, потому что это нас ставит в очень тяжелое положение. И не только нас.

Я хочу обратить внимание на одно печальное обстоятельство, которое складывается сейчас.

Сейчас есть такие данные, что в Италии вышла книга Гинзбург-Аксеновой. Записки. Они мне не понравились — не потому, что это лагерная тема. Они мне не понравились по журналистскому своему стилю. Это совсем другое дело. Но эта книга там гремит. Вся печать заполнена отрывками из этой книги и рецензиями на нее.

В Англии вышли записки Лидии Чуковской. Эта работа была у нас отклонена. И мы не об этом печалимся.

У меня неспокойно на сердце относительно «Ракового корпуса» — что он не выскочит там[25]. «Раковый корпус» в печати все время упоминается; там пишут, что вряд ли он будет опубликован в Советском Союзе, а о Солженицыне пишут в очень показательном тоне: «Нельзя представить себе,— пишет шведская газета,— чтобы Солженицын подобно Синявскому и Даниэлю передал в зарубежное издательство свою рукопись. На это нам надеяться нечего, он этого не сделает».

Он этого не сделает... Но говорят, между прочим, что рукопись Аксеновой в одной только Москве ходит в количестве тысячи экземпляров. Бог знает, сколько есть экземпляров «Ракового корпуса», но я встречаю иногда своих знакомых, которые мне задают этот вопрос — будет ли напечатан «Раковый корпус»? — причем это люди, которые его уже прочли. «Вы читали?» — «Да, я читал».— «Где?» — «Читал».

Накануне опубликования «Ивана Денисовича» мне принесли рукопись эту в фотокопиях. Это имело огромный объем. И это успевают делать!

К чему это ведет? Потихоньку складывается такое положение, что образуется вольная русская пресса за рубежом. Можно ли это допускать? Каким способом бороться? Потихоньку изымать рукописи, складывать в несгораемые шкафы? Я не уверен, боюсь, что это будет подливать масла в огонь.

Нужно больше смелости. Это можно изживать только опубликованием у себя дома с соответствующими купюрами, с соответствующей редактурой.

И чтобы покончить с этим, хочу поделиться еще одним горестным наблюдением.

Раскрываешь «Новый мир», «Москву», «Литературную Россию» — и какие-то листочки, варианты, фрагменты Зощенко, Платонова, Булгакова, Анны Ахматовой двустишие. На нашей памяти все эти имена, давайте откровенно говорить. Хорошо, что Анне Ахматовой удалось на закате выслушать добрые слова на родине и умереть с сознанием, что она русская поэтесса, а тех мы заколотили в гроб, а теперь подбираем листочки совершенно несложные. А прошло не сто лет, а полтора десятилетия. Это же можно сказать о Пастернаке, и еще что-то на память приходит, тот же Булгаков. Зачем в нашей практике такая печальная цепочка писательских судеб, в отличие от тех писательских судеб, которые принадлежат к 1937 году — явлению общему? Почему нужно сперва заколотить в гроб, а потом подбирать листочки?

теперь обращены к спектаклю» (см. Собр. соч., т. 5, с. 146).

[24] Сурков, Воронков и Соболев.

[25] По неписаному закону, действовавшему с 20-х годов до самого недавнего времени, опубликование произведения за рубежом исключало его печатание в СССР, а самого автора ставило в ряд чуть ли не изменников Родины.

С Солженицыным именно так: мы будем подбирать потом листочки, а теперь делаем все, чтобы заколотить в гроб. Для этого не нужно очень много усилий, человек он очень больной.

Это наполняет мою душу горестными чувствами. И опять молчок.

Я кончаю. Я мог бы ограничиться тем, чтобы рассказать о планах журнала на 1967 год. Это освещено в названном мною интервью. Этот год, как ни трудно по разным обстоятельствам начинался, сверх всяких ожиданий обещает быть — только бы не сглазить — весьма урожайным, и нам очень радостно, нам приятно сознавать, что генеральная тема этого года — тема революции, тема 50-летия имеет очень представительные, очень серьезные работы (лл. 2—20 или по др. пагинации 4—24).

А. Д. Салынский. Во-первых, хочу сказать, что мне просто по-человечески понравились интонации, в которых излагал свои мысли Александр Трифонович, а главное — задушевность, ясность, откровенность перед товарищами в том, что действительно составляет смысл жизни журнала и его жизнь как редактора журнала. <...> И нам нужно искренне и серьезно поговорить о судьбе журнала, о его будущем с позиций, которые будут, безусловно, партийными. <...> Безусловно, у каждого должна быть своя линия, иначе журнал не журнал... Это бесспорная вещь, и я думаю, что было бы странно, если бы мы поставили вопрос так, что журнал должен развиваться в направлении, которое мы ему совместно во всех звеньях взвесили и подсказали. Журнал вырабатывается так, как вырабатывает сама жизнь, сама литература, и те течения, которые объединяются в своих эстетических категориях вокруг органов советской печати, партийной печати, не исключают руководства, в данном случае руководства Союза писателей журналом. Ошибка длительного времени в том, что не занимался Секретариат журналом «Новый мир». <...> По существу некоторых вопросов.

Во-первых, было бы странно, если бы мы сейчас, люди не такие молодые и искушенные политическим опытом, понадеялись бы, что Запад не использует в дальнейшем наши ошибки и наши достижения в своих пропагандистских целях. Любой наш шаг. <...> И бояться, что Запад так или иначе обращает свои пропагандистские, злостные, провокаторские усилия для того, чтобы охватить журнал «Новый мир»,— бояться этого нечего. <...> Нужно просто это понимать, давать этому оценку и заниматься этим как одной из сторон нашей жизни, в том числе пропагандистской работы. <...>

Кстати, о Солженицыне. Было бы странно, если бы мы сегодня, после того как мы всерьез поняли, что это действительно интересное, сложное и очень неожиданное явление в литературе, вдруг сказали, что нет, повесть Солженицына — плохая повесть. Конечно, это отличная повесть. Но вопрос в том, что в то время эта повесть по причинам, не зависящим от литературы и от «Нового мира», была подхвачена и вокруг нее была создана атмосфера шумихи. «Новый мир» здесь ни при чем, он напечатал повесть, как повесть. А потом статьи в «Правде», статья Вадима Кожевникова в «Коммунисте» подняли эту повесть на невероятную высоту. Мы, литераторы, должны думать о том, что есть самое главное — правда жизни, правда литературы, рассчитанная на долгие годы, а не на тот момент, когда пропагандистские силы подхватывают ту или иную повесть и сделают ее великой или, наоборот, уронят в наших глазах.

О «Василии Теркине на том свете». Я смотрел спектакль в Театре сатиры. <...> Это был очень интересный спектакль, прекрасный спектакль. И там не было ничего такого, что претило бы вкусу, что было бы противно поэмы. Это была поставленная поэма, причем я отметил такие детали, что те актеры, которые комментировали спектакль, одетые в военную форму, они это делали с такой силой, это были красивые люди, одетые в военную форму, мужчины и женщины, которые вступили в строй спектакля и говорили мужественные, патриотические слова. Они давали спектаклю очень хороший, оптимистический тон. Вдруг кому-то не понравилось, начали шуметь, вокруг спектакля нездоровая атмосфера создалась. Недавно в горкоме партии обсуждался репертуар юбилейного года, и товарищ Егорычев[26] обращался к Плучеку: «Если спектакль может идти — так катите его». А спектакль закрыли. Полное изумление, непонимание, что происходит. <...> Меня удивило, что возникает поворот в судьбе крупных явлений театрального искусства от цензуры. Совсем недавно цензура, продержав три месяца пьесу Розова «Традиционный сбор», разрешила ее ставить. Это хорошая пьеса, талантливо написана, политически выверена душой автора. Там нет того, что может быть воспринято чересчур мрачно... Пьесу три месяца держали и только вмешательство ЦК заставило разрешить пьесу. Цензура уже не по существу идеологии вмешивается, а в художественную ткань. Была такая простая вещь. В пьесе «Варшавская мелодия» Леонида Зорина есть такая фраза в последнем монологе: «Я завтра утром должен позвонить Акопову». Зорин с огорчением рассказывал, что цензура через редактора передала, что эту фразу вычеркивает, так как эта фраза делает будничным героя. Какое дело цензуре, делает будничным или не делает! Это железная фраза: «Я завтра утром должен позвонить Акопову». До чего дошло, Акопову нельзя позвонить! В пьесе даже Акопова нет, но выбрасывается цензурой, ей это кажется будничной фразой. Тоже пьеса держалась

[26] Первый секретарь МГК КПСС.

долгое время, с огромным скрипом выпустили. Театр поставил спектакль, и с распространением разрешили, сильно измотав автору нервы ожиданием. Он полжизни болеет туберкулезом, и его заставляли столько ждать разрешения. Я понимаю слова Александра Трифоновича, что за границей возникают такие вещи, когда берут наши прозаические произведения и печатают там. Это губит нас, и необходимо силами Секретариата и высших инстанций оздоровить атмосферу. В Московском секретариате, посвященном драматургии, говорили, что невозможно больше так работать. Были Симонов, Розов, Штейн. Я написал новую пьесу на конкурс. В центре крупный партийный работник, святой человек. Многим нравится... но она пойдет в цензуру, и как быть, как работать?

Так вот, товарищи, во-первых, оздоровление атмосферы должно проходить по таким звеньям. Прежде всего должны выдвигаться какие-то положительные вещи, в том числе в журнале «Новый мир». Нужно почаще (правда, это есть в журнале), больше обращать внимание на эту сторону жизни. Как-то более полифонически чтобы выглядело изображение жизни. И это соответствует жизненной правде. И, с другой стороны, ни в коем случае не запрещать то, что реально показывает нашу жизнь.

Вопрос о «Федоре Кузькине»[27]. Это очень талантливая повесть. Но упрек в чем? «Эта проблема снята жизнью, потому что в сельском хозяйстве все хорошо». До каких пор мы будем это исповедовать? Ведь бывает так, что проходит какой-то период времени и оказывается, что нет, не снято. <...> У Федора Кузькина очень сложная, но оптимистическая судьба. И говорить, что это снято жизнью, неправильно. Нет, не сняты жизнью эти проблемы. <...>

Я сделал бы упрек отделу критики журнала «Новый мир». Это интересно поставленный отдел, публицистика очень интересно поставлена, но бывают такие срывы, как статья Кардина[28]. Эта статья написана с какой-то болезненной силой, а интонация этой статьи шаржированная. Мы все это выстрадали. Поэтому нужно очень серьезно к этим вещам подходить. <...> Я думаю, что такие вещи, как эти, заставляют серьезного редактора журнала посмотреть на отдел критики и нас заставляют посмотреть более пристально и задуматься, чтобы поточнее строить работу этого отдела. В целом — надо разобраться, что еще плохо в журнале. Надо помочь журналу. Думаю, что журнал по праву считается умным, интересным, популярным не только у интеллигенции. Это вообще популярный журнал, и пускай редакция работает уверенно и так же честно.

А. Б. Чаковский. <...> Прежде всего хочу сказать, что у меня есть серьезное несогласие со многим, что опубликовано в «Новом мире». Скажем, между прочим, у меня есть несогласие с многим, что печатается в журнале «Октябрь». Мне кажется, что в «Новом мире» сотрудничает целый ряд очень одаренных, очень талантливых людей. Я считаю, если можно оторвать вопросы художественного качества от вопросов содержания, что, конечно, можно только условно сделать,— я считаю, что критический отдел «Нового мира» с этой точки зрения ведется на высоком литературном уровне. Я должен сказать, Александр Трифонович, мне также в ряде случаев симпатична нетерпимость определенных материалов «Нового мира» к недостаткам нашей жизни. Потому что действительно недостатков у нас очень много и кто-то должен о них говорить. <...> Так что мне бы хотелось говорить о «Новом мире» со всей доброжелательностью, что не исключает кардинальных несогласий в ряде случаев с линией этого журнала. <...>

Мы пережили довольно сложное и противоречивое десятилетие. Другой вопрос, называть ли его великим или не называть. Я думаю, мы часто злоупотребляли этим в наших характеристиках тех или иных периодов. Бесспорно, что это было сложное, противоречивое десятилетие, в котором было немало хорошего, но было немало вещей, которые приносили большой вред. С этой точки зрения я не брошу в вас камень по поводу опубликования повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»... Конечно, все, кто знает историю опубликования этой повести в «Новом мире», понимают, что это была не акция Твардовского, эта публикация была одним из этапов того противоречивого времени, когда с одной стороны публиковался «Иван Денисович», а с другой стороны устраивались небезызвестные встречи. <...> Так вот, я не за то, чтобы критиковать вас за публикацию повести Солженицына, но я за то, чтобы критиковать вас за статью Лакшина «Друзья и враги Ивана Денисовича», потому что это уже акция «Нового мира»[29], и вообще свойственное «Новому миру» (и вообще какому-либо журналу) проведение демаркационной линии, основанной на отношении к какому-то литературному факту, представляется мне глубоко неправильным.

Теперь относительно других, несколько более сложных вопросов. <...> Я думаю, что главный недостаток журнала даже не в том, публикует ли «Новый мир» произведения, описывающие теневые стороны нашей жизни, или не публикует. Это мне кажется лишь следствием реализации определенных принципов, результатов суммы взглядов редакции, не просто литературных, но выходящих за пределы литературного характера. <...>

Давайте возьмем трактовку в вашем <журнале> вопроса о правде. Вообще говоря, согласитесь, что было бы очень наивно для людей, которые чему-то учились в политике, в общественной жизни, считать, что неоднократное возвращение к этому понятию редакционных работников и авторов статей преследует только творческие, только литературные цели. Я думаю, что речь идет о другом... «Новый мир» этим самым вольно или невольно создает психологию ситуации, в которой писатель — слуга факта, поборник правды, безотносительно каких-либо привходящих обстоятельств, как бы автоматически не противопоставляли писателя конформисту, человеку, отбирающему из реальной действительности то, что выгодно власти[30]. <...> Вы же понимаете, что это противопоставление делается не в вакууме, оно предлагается народу, который, в общем, пережил не только радости, но и много разочарований, то есть оно делается опять-таки на фоне определенного исторического периода, оно неизбежно — хочет этого редакция или не хочет — рассчитывается на домысливание. <...> Это рассчитывается объективно на человека, скептика, или неопытного юношу, или регулярного слушателя каких-то передач. <...> Он все это слушает и думает, что было и так, когда разговоры о большой социальной правде служили прикрытием неблаговидных иной раз вещей. Говорили — процветающее колхозное крестьянство. А последующие пленумы ЦК показали, что оно не такое процветающее. Говорили — великий вождь, вождь всех народов. А оказалось — не такой великий. Говорили, что при Хрущеве исключена возможность культа и т. д., а оказалось, что она не исключена. Кто же прав? Правы ли газеты сегодняшние, которые в очередной раз утверждают, что сегодня все правильно делается? Или прав «Новый мир», который каждый раз противопоставляет какую-то большую правду правде каких-то фактов?[31] <...>

Возьмем вопрос о положительном герое. Казалось бы, это чисто теоретический вопрос. Сколько мы об этом писали? Образ положительного героя — это вошло в набор обязательных условий в нашей литературе. Но я думаю, что «Новый мир» поступает неправильно, когда он касается этой проблемы. Неправильность заключается в том, что объективно вы противопоставляете правду, пропагандируемую «Новым миром», некоей официальной правде, которая выражается в наших статьях, в газетах, в партийных выступлениях, в речах руководителей и т. д. <...>

Вот вы говорите, что правда едина и нечего говорить о правде факта, правде больших обобщений и т. д. Есть настоящая, подлинная правда. Разрешите мне привести пример, наиболее близкий «Новому миру». Возьмите вопрос о культе личности. Допустим, кто-то написал бы статью, что у нас были злоупотребления, преступления, лагеря и т. д., и на этом поставили бы точку. Это была бы правда? Да, правда. Но это была бы правда факта. Причем вредная, потому что могли бы найтись люди, которые бы доказывали, что это происходит потому, что плохие начальники лагерей и т. д. Когда же партия вскрыла причины культа личности и назвала условия, при которых он не может повториться, это уже была бы большая правда. <...> Как же можно все время говорить, что не нужно противопоставлять, что есть правда одна и понимать ее нужно каждый раз в практическом ее выражении: вижу недостаток — пишу недостаток. А я считаю так: вижу недостаток... (**С места:** Пишу — достоинство.) Не нужно реплик. <...> Я вижу недостаток, пишу об этом недостатке как есть и говорю о причинах, говорю, как ликвидировать. <...> (**А. Т. Твардовский:** Какие произведения «Нового мира» стоят на такой позиции?) Нет смысла наш разговор превращать в вопросы и ответы...

Забота советской литературы о советском герое, герое, достойном подражания... Это небезразличный вопрос. А вы в статьях «Нового мира» не раз отстаиваете мысль, что теория подражания герою рассчитана на легкую переметчивость, рассчитана на пассивного читателя, и требование в литературе дать образец для подражания на практике сводится к условной фигуре идеального героя. <...> Понятно, что в этих случаях само понятие «социалистический реализм», то есть реализм, предполагающий воинствующее отношение к действительности на научной марксистской базе, выпадает совершенно из терминологии «Нового мира». Я не занимался специально этим вопросом, но чрезвычайно редко можно увидеть на страницах «Нового мира» слова «социалистический реализм». Это не злоумышленное явление, но так

---

[27] Повесть Б. Можаева «Из жизни Федора Кузькина» («Живой») — «НМ», 1966, № 7.

[28] Статья В. Кардина «Легенды и факты» («НМ», 1966, № 2), встреченная печатью с особенной, долго не утихавшей яростью, на ряде примеров демонстрировала мифологический характер официальной истории советского общества.

[29] Статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги» («НМ», 1964, № 1) действительно являлась акцией журнала (как и публикация самой повести Солженицына, разумеется), выражением принципиальной позиции, занятой им в коренных эстетических вопросах (проблема жизненной правды в искусстве, внимание к обыкновенному человеку, неприятие «положительного героя», конструируемого в соответствии с «принципами социалистического реализма»). С этой позиции в статье аргументированно опровергались попытки определенной части критики (Ф. Чапчахов в журнале «Дон», Н. Сергованцев в «Октябре», Л. Фоменко в «Литературной России») «попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым... поставить под сомнение истолкование писателем явлений жизни», равно как и художественную ценность произведения.

[30] Запись явно дефектна, но мысль оратора все же улавливается: судя по контексту, А. Чаковский осуждает противопоставление писателя как «поборника правды» «конформисту».

[31] Оратор явно оговорился: противопоставление «большой правды» «правде каких-то фактов» было характерно как раз для противников «Нового мира». Уже в следующих абзацах это недоразумение устраняется.

получается, что если не нужен герой, достойный подражания, то, в общем, и формулировка «социалистический реализм» не нужна, потому что безразличное, незаинтересованное отношение к герою, оно, если говорить о политических обобщениях, оно адекватно буржуазному парламентскому строю, который внешне не заинтересован в активном воздействии литературы на жизнь. <...>

Мне кажется, «Теркин на том свете», к которому у меня нет никаких политических претензий, гораздо слабее остальных ваших вещей. И мне кажется лицемерным, когда в газете пишется, что спектакль плох потому, что он не воплотил в себе блестящих черт первоисточника. Я считаю, что вы, автор столь многих произведений, стоящих вне дискуссии с точки зрения их литературного качества, должны выслушать и это. <...>

Теперь относительно еще одного вопроса: с точки зрения цензуры и темы, связанной с культом. Я могу понять писателей, для которых это не так просто, что два года тому назад мы живописали это дело «на большую катушку», открывая истину будущим поколениям, а потом вдруг — «перестаньте писать и переходите к очередным делам». Я понимаю, что это может психологически некоторых писателей травмировать. Но, очевидно, долг наш заключается в том, чтобы объяснить им, что дело тут очень сложное, что нам необходимо утвердить какие-то вещи прошедшего десятилетия и исправить какие-то вещи и что этот вопрос очень сложен, поскольку он связан не только с нашим внутренним положением, но и с международным положением, с отношениями с Китаем и т. д. <...>

Я, кстати, думаю, Александр Трифонович, — может быть, это домысел, — что Василий Теркин на том свете — это уже использованный образ[32]. Я был в числе людей, которые были у Хрущева. На меня произвело тягостное впечатление, когда в течение часа вы читали поэму. Присутствовали иностранцы, которые ничего не понимали. Это относится к числу тех явлений, которые мы теперь называем волюнтаризмом. Думаю, что вы должны с высоты сегодняшнего дня взглянуть на этот образ. Дело не в том, оправдываю ли я, запрещаю ли. <...>

Вы призывали к откровенности, правде, и я попытался это сделать и сказал, что «Новый мир» возбуждает такое критическое отношение со стороны партийной общественности, ряда писателей.

Н. С. Тихонов. <...> Александр Трифонович выступил с большой искренностью. Мне показалось, что он всю душу кладет. <...> И мне кажется, что перед ним как прообраз стоят журналы, ведомые писателями прошлого века, которые вкладывали в свой журнал борьбу за передовые идеи своего времени, борьбу со всем реакционным. Ничего плохого в этом нет, потому что он берет хороший пример. Но ввиду того, что получается журнал воинствующий, он невольно является журналом разоблачительного характера. <...> Но к этому воинствующему пессимизму нужно обязательно добавить воинствующий оптимизм, потому что журнал должен стать проводником наступательных идей, а не только разоблачающим. Получается так, что по линии художественной читатель имеет хорошее чтение, что он имеет замечательных авторов, журнал заботится о том, чтобы подтянуть бывших провинциальных авторов и т. д. Но этот разоблачительный подбор, который там был, он слишком велик, он преобладает.

Вот пример с Солженицыным. Кто говорит, что нельзя было печатать? Но журнал довел Солженицына до высшей точки. Он выставил его на Ленинскую премию. «Иван Денисович» был провозглашен единственным произведением советской литературы, достойным этой премии. Комитет состоял из ста человек, совершенно разных людей, но с этим никто не мог согласиться[33]. Мне кажется, с этого момента пошло многое другое. Потому что некоторые авторы, которые там есть, тоже легко могли быть зачислены в такой возврат к критическому реализму. <...> Что же касается социалистического реализма, — там его не найдешь. <...>

Вы говорите, что вот какую-то книгу выпустил в Италии. Я думаю, не так высока литературная цена этой книги, а политически ее там поднимают. Вы говорите: давайте все здесь выпускать. Зачем

[32] Характерная для «охранительной» критики «Теркина на том свете» попытка, сделав вид, что не понимают очевидного, «уличить» автора в том, что было для него сознательно использованным художественным приемом. Отвечая таким «непонятливым», Твардовский в 1966 г. писал: «...История литературы знает примеры «использования готовых образов»... это оправдывалось особыми задачами сатирико-публицистического жанра, не столь озабоченного, так сказать, вторичной полнокровной жизнью этих образов как таковых, а использующего их характеристические, привычные для читателя черты в применении к иному материалу и в иных целях... Примерно так и можно теперь объяснить появление «Теркина на том свете»...» (Собр. соч., т. 5, с. 135).

[33] Заведомая неправда. Выдвижение было поддержано Центральным государственным архивом литературы и искусства (см «Литературная газета», 1963 28 декабря), статьями в «Известиях» (1964. 15 января), «Правде» (1964 30 января) и других органах печати. В опубликованном 19 февраля списке произведений, отобранных Комитетом по Ленинским премиям для участия во втором туре обсуждения, значился и «Один день Ивана Денисовича». Консервативным силам потребовалось употребить большие усилия, чтобы предотвратить присуждение премии, представлявшей прямую угрозу господствовавшей идеологии и их собственным интересам. В ход была пущена клевета (1-й секретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов) о том, что Солженицын был якобы репрессирован за измену Родине. И хотя Твардовский на основании официальных документов полностью опроверг ее на заседании Комитета, перевес сил оказался на стороне его противников. Состоявшееся полгода спустя смещение Хрущева придает этому эпизоду дополнительный исторический смысл.

это? Есть вещи, которые у нас нельзя выпускать! <...>

Журнал имеет такие большие силы. И Кардин, и Лакшин. Но получилось так, что для каких-то людей показалось чрезвычайно соблазнительным «все долой». Ни «Авроры», ни «28-ми»[34]. Зачем это журналу? Это тот путь, когда этот перегиб разоблачительский переходит в другие вещи.

Что касается Теркина — я предпочитаю живого, а не мертвого. Там главная ошибка — перенос в новые обстоятельства не того героя. <...>

Я смотрел «Справку». Написано, что уничтожена часть тиража — 8 печатных листов и годовая прибыль несколько снижается. И написано, что «в связи с задержанием работы Симонова и романа Бека создалось тяжелое положение с прозой. Фактически задержан более чем полугодовой загон журнала, и сейчас перекрыть этот урон полноценным материалом очень трудно». Надо, чтобы таких фактов не было в такой момент, когда мы вступаем в год юбилейный; материал бесспорный должен быть, а не такой, который задерживается на полгода и выводит журнал из строя.

Л. Н. Новиченко. Чтобы немножко облегчить себе подход к теме, я должен сразу сказать, что выступление «Правды» я разделяю, разделяю во всем главном, но не говорю, что буквально все замечания «Правды» в адрес «Нового мира» я полностью принимаю. Скажем, Можаева «Из жизни Федора Кузькина» — меня не убедили, что это вредное произведение. Оно касается сложного периода жизни нашей деревни, но назвать это произведение вредным — мне кажется это неправдой. <...>

Я бы вовсе не назвал коммунистической позицией авторскую позицию повести Солженицына. И если Александр Трифонович будет настаивать на своих прежних оценках повести Солженицына как какого-то сверхобычного явления, мерой которого нужно измерять явления нашей литературы, если вы будете и сейчас настаивать на этом, вы очень усложните и свою, и нашу позицию. <...>

Я посмотрел эту справку и увидел, что в журнале напечатан ряд блестящих произведений, которыми по праву может гордиться наша литература, и если мы говорим о движении социалистического реализма за последние 10—12 лет, мы обращаемся к Айтматову, Фоменко, Дорошу, Владимову и к Антонову. Это несомненная заслуга журнала. Я читаю журнал с огромным интересом. <...> Но наряду с этим я прочитал неизвестного автора небольшой рассказ (как указывают, молодого автора) Макарова «Дома»[35]. Действие происходит где-то в глубине России. Но до того беспросветно в смысле бедности, экономического положения и даже одичавшей семьи в отношениях друг с другом. Сын замахивается кулаками на отца, мать пьяница. Это какое-то вырождение, и картина вырождения не только физическая, но и нравственная. <...> Я не хочу автору приписать враждебные тенденции, но объективно получается очень тягостно.

Пусть бы это было отдельной случайностью, но я вспоминаю и другие вещи. Конечно, Семин[36] — это не Макаров, это честное произведение, но нет там тех обобщений, которые хотелось бы видеть. Я думаю, не лишены оснований некоторые серьезные претензии и к повести Быкова[37], писателя, которого я очень уважаю, но писателя, который в данном произведении проявил в значительной степени односторонний взгляд на события. Наряду с большим звучанием настоящей советской литературы создается некий «обертон» — дополнительный тон, который я лично не могу принять.

Я считаю, кстати, что самым интересным разделом в «Новом мире» является раздел мемуаров и публицистики. Я здесь вижу личные симпатии и эстетические пристрастия главного редактора. Ему претит, очевидно, всякая сочиненность, и он предпочитает этой сочиненности, которая бывает фальшивой, настоящие документы из жизни, и эти документы из жизни «Новый мир» умеет подбирать, умеет делать и выпускает их прекрасно. В частности, я говорю о последней незаконченной публикации Емельянова[38]. Действительно, это написано без претензий, но вы видите за этой фигурой судьбы народные.

В «Новом мире» есть целый ряд критиков по-настоящему талантливых, в некоторых выступлениях просто блестящих. Я с огромным чувством эстетического удовольствия прочитал статью И. Виноградова об Овечкине. Я не могу этого же сказать о его статье по поводу романа Лермонтова[39], в которой есть неоправданные сопоставления с современностью. Мне это кажется довольно легковесным.

Дальше: Светов, Лакшин — все это фигуры талантливых критиков. Но если товарищ Лакшин пытается сформулировать свою собственную, а в значительной мере общую программу «Нового мира» в своей статье «Критик, читатель, писатель», то у меня здесь есть целый ряд чисто теоретических возражений[40]. <...>

[34] Имеется в виду упоминавшаяся статья В. Кардина, в которой, однако, вовсе не ставились под сомнение ни выстрел «Авроры», ни подвиг защитников Москвы.

[35] А. Макаров Дома («НМ», 1966 № 8).

[36] Виталий Семин Семеро в одном доме Повесть («НМ» 1965 № 6) Вслед за этим в 1965—1966 гг в журнале печатались его рассказы (1965 № 11; 1966, № 9).

[37] Василь Быков. Мертвым не больно («НМ», 1966, №№ 1, 2).

[38] В. Емельянов О времени, о товарищах, о себе. Записки инженера («НМ», 1967, №№ 1, 2).

[39] И. Виноградов. Деревенские очерки Валентина Овечкина («НМ», 1964 № 6); Философский роман Лермонтова («НМ», 1964 № 10).

[40] В. Лакшин Писатель читатель критик. Статьи первая и вторая («НМ», 1965, № 4; 1966, № 8).

Еще Добролюбов об этом писал, что в конце концов правда — это тоже не главный критерий... Важна и субъективная направленность в сочетании с правдой [41]. И важно не только «как», но и «зачем». В эстетике социалистического реализма вопрос «зачем, с какой целью» — немаловажный вопрос. Эту сторону Лакшин довольно систематически обходит в своих статьях. <...>

Общая линия журнала представлена многими блистательными произведениями, но снова прихрамывание на одну ножку чувствуется в «Новом мире»... Мне приходится сталкиваться с критической средой, и идут разговоры, которые кажутся мне несостоятельными, что «Новый мир» восстанавливает течение критического реализма. В целом это неосновательно, но некоторый повод журнал отдельными художественными публикациями и отдельными критическими выступлениями дает. <...>

И если подытожить то, что я говорил, то я бы сказал, что, может быть, журналу необходимо точнее как-то выбирать в любой публикации свою художественную позицию, быть движимым какими-то политическими требованиями. Вопрос о соотношении художественного творчества и политики не праздный вопрос.

М. Т. Турсун-заде. Журнал «Новый мир» — это один из любимейших журналов наших читателей. Вот мы, писатели, чувствуем (я говорю без преувеличения), что это любимый журнал. И когда во главе журнала стоит такой поэт, как Александр Трифонович, мы этим гордимся. Имя Александра Твардовского — это знамя нашей современной поэзии. Очевидно, ваши друзья рады, что вы возглавляете этот журнал, что у вас такое имя. И очевидно, в нашей литературе есть люди, которые хотят воспользоваться вашим именем,— что под этим именем происходят все эти срывы, неудачные произведения, я бы сказал, вредные,— они пользуются этим именем. В прошлом году журнал праздновал свое сорокалетие. Там была ваша передовица, в которой вы даете оценку произведениям, напечатанным на страницах журнала. На следующий день мы слушали Би-би си. И вот как много говорили вокруг этого 1-го номера! Нам это было просто больно. Неужели наш любимый журнал дает такую пищу?! <...>

Когда иногда читаешь отдельные такие произведения, думаешь, что происходит по критической пословице: враг иногда ищет грязь из-под ногтя. Мы не отвергаем критику, но и мы знаем, что критика должна служить высоким нашим идеалам. Мы не стремимся нашими произведениями обновлять общество. <...>

Когда я читал «Один день Ивана Денисовича», я пришел к мысли, что автор недоволен нашей системой, он не является другом моего народа. <...> Александр Трифонович создал поэму «Василий Теркин» в период Отечественной войны. И вдруг мы читаем «Теркин на том свете». Это вызвало большое чувство огорчения, неужели он этого же своего героя довел до такого положения смешного. Я не могу быть ценителем поэзии, но есть длинноты, поэт увлекся, и это мешает общему нашему впечатлению и восприятию. <...>

Особенно молодые писатели в республиках читают этот журнал, как своего учителя. Поэтому мы и обращаемся к вам, чтобы вы подумали об этом. Очевидно, журнал еще будет пересматривать свою линию, чтобы поднять нашу литературу на высшую ступень.

В. М. Озеров. <...> По-моему, острый интерес к журналу объясняется не только тем, что здесь печатаются очень сильные, превосходно написанные литературные произведения. Интерес объясняется тем, что журнал остро ставит актуальные проблемы времени, что он к ним возвращается постоянно, что это нередко те проблемы, которые волнуют широкие круги общественности у нас и за рубежом. Это нередко нерешенные проблемы, а иногда те проблемы, которые поразному решаются в разное время. <...>

Один из ораторов сегодня сказал, что вся сила журнала в том, что он отражает определенные этапы развития общества. Но вот здесь возникает вопрос, который я по-товарищески хочу выдвинуть на раздумье Секретариата и коллектива «Нового мира». Отражает общий настрой? Да. Воздействует на него? Безусловно. И вот о воздействии на эти процессы стоит подумать, потому что, может быть, эти процессы не однородны, может быть, развиваются более сложно, чем порой происходит в художественной продукции и главном программном заявлении «Нового мира». <...>

Я бы противопоставил два произведения. У Макарова не то что люди плохо живут, а отношения нехорошие, нет любви к человеку. Не заставлять возвышать, ставить на ходули человека, но чтобы можно было говорить с волнением и радостью как о человеке. Если говорить о беде, то не в этом дело, а нет человека, который способен с этими недостатками бороться. Можаев. Его зря обвинили в тех грехах, которых у него нет. Можаев интересен тем, что он кончает с галереей людей деревни, которые предвещают перелом деревни.

Поэзия крестьянского труда появилась сейчас у Белова. Это не новый (новомирский? — **Ю. Б.**) роман, но это произведение, которое могло быть напечатано в «Новом мире» [42]. Очень тяжелая судьба.

[41] Взгляды Добролюбова представлены здесь (согласно с постулатами ждановской эстетики) «с точностью до наоборот».

[42] Речь идет о повести В. Белова «Привычное дело» («Север», 1966, № 1). В «Новом мире», где она была отмечена положительной рецензией Е. Дороша (1966, № 8), одно время даже обсуждался вопрос о перепечатке этого произведения. На 1966 г. журналом было объявлено второе из двух наиболее значительных произведений этого

Трагическая судьба. Все есть. И вместе с тем есть характер человека, которому мы верим. И рядом с ним — рассказ Макарова.

Вопрос я ставлю заостренно. И мне хочется не самому на него ответить. Может быть, ответят товарищи из «Нового мира»: верно ли, что линия показа правды нашей жизни ограничена показом тех явлений, о которых порой нервозно, порой подчеркнуто мы говорили 10 лет тому назад? <...> Не стоит ли «Новому миру» подумать, что их программа должна быть шире? Жизнь богаче, полнокровнее, и сегодня требуются не только указания на недостатки. <...>

И еще один совет. Мне кажется, что редакция «Нового мира» должна вести и контрпропаганду. Почему вы принимаете (на страницах журнала не видно, что не принимаете) гнусные заявления буржуазной печати о «Новом мире»? Многие произведения берут. Может быть, это дает основание для таких выводов, а другие, может быть, не дают. Где вы опровергаете? Вы стыдитесь уточнить свою линию? <...> Мы говорили с Александром Трифоновичем. Он говорил, что в эстетическом плане не совпадают наши взгляды. Но может ли «Новый мир» соглашаться с такими оценками классового врага? Я бы давал ответ. Дело ваше.

Настал момент, когда сама жизнь, ее сегодняшнее развитие и тональность, то, что навеяно последними пленумами и изменениями в жизни политической, хозяйственной, психологической, диктует необходимость поговорить вам в своей редакции очень остро, критично. <...>

Н. М. Грибачев. Начну с предисловия, которое похоже на анекдот. После статьи Шарова я встретил Твардовского, и мы беседовали. И пошли разговоры: «Как, «Новый мир» дает ему в морду, а он здоровается с редактором «Нового мира»?» [43] <...> Я хочу сказать, что у меня на «Новый мир» никаких обид нет. Твардовского я всю жизнь очень уважал и уважаю его как превосходного поэта и признаю его волевым человеком вдобавок. (Этим предисловием я хотел снять возможные подозрения по поводу сведения счетов.) Более того. Статью Наталии Ильиной я прочитал с удовольствием, потому что она очень здорово написана [44]. Очень талантливый автор.

На этой базе я хочу высказать несколько мыслей, предварительно ответив на некоторые вопросы, которые поставил Александр Трифонович. Было ли ошибкой опубликование «Ивана Денисовича»? Я уже высказывался на Ленинском комитете. Я считаю, что это хорошее художественное произведение, за исключением частностей бранного характера. Но я считал и считаю, что ему в критике придали не то значение, которое оно имело для нашей литературы. То, что поднята лагерная тема, меня не смущает. Кто-то уже сказал, что об этом там или тут говорить нужно,— от истории не уйти. Но само отношение к Солженицыну у меня сложное, в результате того, что я читал другие его произведения — «Первый круг» и «Пир победителей» [45]. <...>

Относительно «Теркина на том свете». Я уже высказывался по этому поводу у Поспелова, когда шел разговор по первому варианту [46]. Мне вот что кажется. В связи с созданием «Теркина на том свете» произошло расщепление образа Теркина, которого я очень люблю. Я считаю, что в поэзии это самое лучшее произведение. Но для меня, по моему личному восприятию, произошло расщепление Теркина. Он здесь не находит работы для своего характера, загруженного интеллектуальной деятельностью. <...> Все время двоится Теркин в разных ситуациях. Я говорил это когда-то и повторяю сейчас, и ничего для меня в связи с этим не изменилось.

Относительно заграницы и реакции на то, что говорится за рубежом о «Новом мире». «О «Новом мире» говорится много. Пишет не только журнал «Грани», но и газета «Посев», занимаются им и в Калифорнии, и Мюнхенском институте по изучению СССР. Были солидные статьи по выступлениям «Нового мира». <...> Такие вещи журналу надо изучать и анализировать, а в отношении некоторых вещей и насторожиться. <...> Использование наших материалов должно нас всерьез интересовать.

По журналу. Здесь упоминались произведения Можаева, Макарова и других применительно к колхозной теме. Меня лично эти произведения в «Новом мире» глубоко огорчали, но не потому, что я считаю плохим произведением «Из жизни Федора Кузькина» или что эти факты выдуманы и т. д. Нет. Ситуация там вполне реалистическая, против этого возразить ничего нельзя. Написано это живо, интересно. Хорошо читается. Но тут возникает вот какая мысль. А где в журнале произведения другого плана, показывающие поступательное развитие жизни, с широким общественным дыханием, не замкнутое? Таких ярких произведений нет. И получается однобокость. <...>

В «Новом мире», повторяю, плохо с точки зрения критической. И тут, может

писателя — повесть «Плотницкие рассказы», опубликованная, однако, позднее («НМ», 1968, № 7).

[43] В статье А. Шарова «Януш Корчак и наши дети» («НМ», 1966, № 10) выявлялся, в частности, антигуманный смысл рассказа Н. Грибачева «Расстрел на рассвете».

[44] Критический фельетон Наталии Ильиной «Сказки Брянского леса» («НМ», 1966, № 1), посвященный «Повести о моих друзьях-непоседах» М. Алексеева, задевал Н. Грибачева как одного из персонажей этого произведения.

[45] О том, каким образом вопреки воле автора в руках Н. Грибачева оказалась эта пьеса, см. ниже.

[46] В начале мая 1954 г. на совещании у секретаря ЦК КПСС П. Н. Поспелова, ведавшего вопросами идеологии, первый (неопубликованный) вариант поэмы «Теркин на том свете» был охарактеризован им как «пасквиль на советскую действительность».

быть, имеет смысл перейти к литературе как правде, полной правде, о которой говорил Леонид Николаевич (Новиченко.— **Ю. Б.**). Этот лозунг «полной правды», лозунг «правды жизни» довольно всеобъемлющий, и нуждается в серьезном уточнении, и вряд ли может быть основой программы. <...> Жизненная правда, или правда времени, заключается не в правде фактов и не в постановке полной правды, так как любая критика к любому произведению может предъявить претензии, что это неполная правда. <...>

Бросаются они во всякие нравственно-этические категории. А к чему это приводит — игра в нравственно-этические категории,— показывает вот что. В 12-м номере помещена рецензия на книгу Чуковской о Герцене. Начинается она так: «Основной национальной особенностью русской литературы является ее исповедальный характер». Вот такая весомая фраза. А посмотреть на нее — просто баловство [47]. Почему не сказать «демократический», «народный» характер? <...>

Нельзя делать такую вещь, которую сделал Светов в статье «О ремесленной литературе». Ссылается на Пушкина, на Гончарова... Две страницы крупных имен, а потом появляется Асанов. Что делать Асанову при таком упоминании имен? Ему надо прямо ложиться. Это не литературный подход. Берите произведения Асанова и по-хорошему поправляйте, высказывайте. А тут выставили мощный артиллерийский залп. Речь идет об Асанове, Собко и др.[48]. Мне кажется, что часть артиллерии «Нового мира» установлена с наводкой постоянной на одни и те же позиции. Я не буду уточнять, вы знаете, о чем идет речь. Между прочим, не всегда критика «Нового мира» звучит хорошо, она иногда имеет полуфельетонный характер, а по отношению к Чивилихину зря взят фельетонный тон [49]. Его можно критиковать, и есть за что, но нужно делать серьезно. А во-вторых, если Алексеев, то он будет взят только в критическом аспекте.

Наконец, есть такие поэты, как Евтушенко и Вознесенский. Это литературные явления. На разных этапах эти литературные явления были в разных аспектах. Это явления живые, развивающиеся, поэты интересные. Но «Новый мир» не сказал по поводу этих крупных, волнующих всю общественность явлений, не сказал своего слова об этом [50].

Александр Трифонович и члены редколлегии! Я считаю, что когда пришел в журнал Твардовский, человек с большим вкусом, печать его вкуса и личных достоинств стала видна на всем журнале, и я считаю, что Твардовский может позволить себе объективную и доброжелательную позицию к самым различным явлениям литературы, ставя задачу: берите общелитературное дело наше. Сейчас уже ряд выступлений «Нового мира» по определенным адресам приводит к накаливанию групповой борьбы, возни. <...> Нам пора сплотить наши литературные силы на более широкой основе, и в первую очередь этим мог бы заняться журнал «Новый мир». <...>

К. В. Воронков (единственная правленая стенограмма). <...> Все мы очень любим наш журнал «Новый мир», понимаем, что он занимает очень важное место и имеет очень большое значение в жизни нашей литературы. Это товарищи лучше меня сто раз говорили, говорили, как много замечательного и ценного журнал опубликовал, как много блестящих произведений дал «Новый мир» и как это хорошо и широко отмечалось читателями, критикой и т. д. Здесь говорилось о том, что журнал помещает много интересных и важных очерков, публицистических материалов. Журнал ведет очень серьезную линию за высокохудожественные качества произведений и т. д. Мы всегда радуемся успехам «Нового мира» и очень огорчаемся его недостатками, порой просчетами и даже ошибками. <...>

Журнал за последнее время много раз подвергался критике. Правда, я не помню больших, обстоятельных статей в нашей печати, которые бы подробно разбирали деятельность «Нового мира». Журнал «Новый мир» критиковался делегатами XXIII съезда партии, журнал критиковался участниками Идеологического совещания при ЦК КПСС, журнал критиковался в армейских кругах (даже сделали довольно глупые организационные вы-

[47] Положительная рецензия А. Белкина на книгу Лидии Чуковской «Былое и думы» Герцена» начиналась в действительности совсем иначе: «Неоднократно говорилось в связи с национальным своеобразием русской литературы, что она всегда отличалась проповедническим и исповедальным характером. Я не убежден, что это относится только к русской литературе, во всяком случае, что касается ее исповедального характера. Величайшая *исповедь* нового времени была написана французом Руссо. Но несомненно, что в определенные периоды русской литературы и у некоторых писателей мы обнаруживаем более отчетливо, чем в других литературах, черты проповеди и исповеди одновременно — проповеди своих идей (общественных, нравственных, революционных, религиозных) и исповеди в своих исканиях, заблуждениях» (1966, № 12, с. 246).

[48] Имя Гончарова в статье Ф. Светова (1966, № 7) не упоминалось. Точно так же в ней не было и намека на сопоставление сочинений Н. Асанова, В. Собко Ю. Грачевского с произведениями русских классиков. Имена Пушкина, Гоголя, Писарева и Добролюбова упоминались лишь в связи с их суждениями о «ремесленной литературе» прошлого века.

[49] Имеется в виду рецензия А. Берзер («НМ», 1965, № 7) на повесть В. Чивилихина «Елки-моталки» вслед за журнальным вариантом тут же выпущенную двухмиллионным тиражом «Роман-газетой» с предисловием Н. Грибачева.

[50] Это не совсем так: обширная статья А. Меньшутина и А. Синявского «За поэтическую активность» (1961, № 1) была в значительной степени посвящена творчеству А. Вознесенского (а также Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы). Что касается Е. Евтушенко, то на протяжении 60-х годов он неоднократно печатался в «Новом мире», в том числе в 1964, 1965, 1966 гг.

воды в некоторых местах) [51], журнал критиковался в печати и совсем недавно в «Правде». Во многом эта критика была справедлива, о чем здесь говорилось. Говорилось и о том, что журнал в особом поле зрения у буржуазной прессы. Об этом нет необходимости подробно рассказывать. Я хочу зачитать несколько строк из того, что мы получили несколько дней назад,— это сообщение Би-би-си, переданное 4 марта в 17 ч. 45 мин. Там сказано: «Мы косимся главной, передовой статьи еженедельного литературного добавления в газете «Таймс». Статья посвящена последним тенденциям советских литературных кругов и начинается словами: «В ноябре исполнится 50 лет установления советского строя. Возникает вопрос, как этот юбилейный год будет отмечен в русской литературе? Последние номера «Нового мира» — этого мощного оплота русской либеральной мысли — создают не вполне ясное, но в общем успокоительное впечатление». Статья подчеркивает, что, «несмотря на критику в газете «Правда», либералы в «Новом мире», по-видимому, не приведены к молчанию путем запугивания». Таких выступлений буржуазных брехунов немало. А коллектив редакции молчит, не реагирует. Это неправильно. Это не свойственно нашей боевой советской печати. Нам, к сожалению, неизвестен ни один документ редакции, который дал бы оценку критике и намечал практические меры к исправлению недостатков. Скажем, собралось бы заседание коллектива редколлегии, чтобы поговорить о том, что журнал критиковали на XXIII съезде партии, какие мы сделаем выводы. Нам, Секретариату, об этом неизвестно. Журнал не докладывал об этом Секретариату. Журнал не выступал по этому вопросу в печати.

Я полностью согласен с Виталием Михайловичем (Озеровым.— **Ю. Б.**), который говорил о том, что журнал несправедливо молчит по поводу брехни буржуазной прессы, не подает своего голоса. В свою очередь, и Секретариат ни разу за последние два-три года не встречался с коллективом редакции, с редакционной коллегией, ни разу не поговорил по-настоящему с коллективом редакции и в первую очередь с редколлегией по всем этим вопросам. Я уверен, что у себя вы говорили, но нам это неизвестно. Так как же общественность узнает, как реагирует журнал на критику? А между тем, если вы посмотрите почту, вы увидите вопросы читателей: что вы молчите? Почему молчит «Новый мир»? Интересуется народ. Ведь народ следит за литературой. Поэтому мне хотелось бы, когда мы обсуждаем этот вопрос, подчеркнуть, что в Секретариате, к величайшему сожалению, слабым, совершенно недостаточным, а может быть, и неудовлетворительным было руководство журнала «Новый мир», а также некоторыми другими печатными органами. <...>

Л. С. Соболев. Я взял слово потому, что некоторые товарищи, которые здесь выступали, меня очень сильно задели, и, Александр Трифонович, я буду говорить не о мелочах, не о том, что такое «Новый мир» и «Октябрь» и что идет удельно-княжеская война в течение нескольких лет. Это все пустяки, но вы, Александр Трифонович, меня подбили на это выступление и К. В. Воронков.

Недавно я был в Японии. Есть вещи более серьезные, чем вся эта удельная война между двумя журналами, есть вещи более серьезные, которые имеют политическое значение...

Хочу сказать тебе, Александр Трифонович, ты должен знать об этом не только как один из лучших советских поэтов, человек, создавший образ Теркина, Теркина, который для десятков миллионов людей, и молодых и старых, является непреазойденным типом советского воина,— ты должен знать об этом как редактор одного из самых популярных журналов. <...> Происходило интервью в большой японской газете. Показали фотографию каких-то молодых людей, которые стояли у памятника Пушкину и кричали «Свободу Синявскому и Даниэлю!», и меня спросили: «Как вы объясняете, что у вас разделяются на консерваторов и либералов?» Я отшутился.

Но потом задали другой вопрос: «Как вы можете объяснить, что Александр Твардовский, который является редактором самого прогрессивного, самого либерального журнала, выведен из состава членов ЦК Коммунистической партии Советского Союза?» Я занял юмористическую позу и сказал, что я, человек глубоко беспартийный, не знаю, как делается в Центральном Комитете, и мне помог Ю. Барабаш [52], который сказал, что все время обновляется состав, что у нас нет впечатления, что Твардовского вывели за либерализм, что он единственный редактор, что он ведет линию, которая может победить,— линию партии, линию нашей литературы. Это первый факт. Второй факт. Осака. Там было совещание с людьми. И там ко мне подошел один пожилой человек. Разговор шел такой. «Мы же все знаем, что у вас есть две литературы. Есть одна литература, подчиненная партии, а есть литература свободная, которую мы называем «Новым миром». И тут я должен сказать, что, несмотря на все мои споры, несмотря на мое категорическое утверждение, что таких вещей у нас не бы-

[51] Армейским библиотекам запрещалось выписывать «Новый мир». Запрет исходил из Главного политуправления армии и флота, начальник которого генерал армии А. А. Епишев был в числе тех, кто осуждал «Новый мир» с трибуны XXIII съезда КПСС.

[52] Ю. А. Барабаш, первый заместитель главного редактора «Литературной газеты», один из наиболее активных противников «Нового мира».

вает, но такие суждения бытуют на разных континентах.

Я об этом решил сказать потому, что мы этого не можем допускать. Мы не можем допускать, чтобы славное имя журнала похабилось различными людьми, которые такие вещи говорят. Здесь Тихонов сказал удивительную вещь, которую я себе записал. Он сказал, что если есть воинствующий пессимизм, то должен быть и воинствующий оптимизм, которого в журнале нет.

И, наконец, личный упрек тебе, Александр Трифонович. Ведь ты же человек, признанный во многих странах нашей планеты как человек, которого встречают на разных концах нашей планеты как лучшего поэта. Я не знаю, как ты относишься к тому, что там говорят. Действительно, нужно, чтобы журнал дал отпор всем этим гадостям. А этого отпора нет. Неужели ты думаешь, что мне, старому человеку, было приятно слушать где-нибудь за границей, когда мне говорили, что Синявский — это ставленник «Нового мира»? Что я должен был на это ответить? Это трудно все... Так почему же об этом молчит журнал! А я это слышал. Так что я должен был ответить? Но что я мог ответить, когда «Новый мир» об этом ничего не отвечает? Я говорил, что это, вероятно, недоразумение... (**А. Т. Твардовский:** Ты мне хочешь почему-то приписать Синявского. Это нехорошо.) Я больше не буду говорить. Я тебя хотел спасти, а ты мне говоришь гадости.

А. А. Сурков. Зачем спасать человека, который очень твердо стоит на своих ногах?

А. Д. Салынский. Мы говорим о журнале спокойно.

Л. С. Соболев. Я ухожу.

Г. М. Марков. Идет разговор в Секретариате.

Л. С. Соболев. Он меня оскорбил. Я сообщил Твардовскому то, что мне сказали. Почему он говорит, что я ему приписываю то, что он думает?

А. А. Сурков. Ты сказал: почему он не сделал того-то и того-то.

Л. С. Соболев. Меня спросили, почему он это сделал. Я ухожу.

Г. М. Марков. Я как председатель прошу вас остаться.

Л. С. Соболев. Я закончу свое выступление. Я почему сказал об этом? Потому, что вопрос о Синявском мне задавали несколько раз не только за границей, но и здесь. Я говорил, что паршивая овца всегда есть. Но когда меня спросили, почему не мог ответить «Новый мир» на все, что говорится, мне ответить было нечего[53].

И довоенный старый разговор, который относится к финской войне 1939 года. Это моя самая больная тема. Я примерил на себе все, что было написано в журнале «Новый мир» относительно войны, и подумал, что если бы я был в возрасте 17—19 лет (в этом возрасте меня застала революция), то вряд ли мне захотелось бы воевать и провести жизнь так, как провел ее я как военный человек. Александр Трифонович призывал к откровенному разговору. Не могу вспомнить даты. Это было в блиндаже под одной из деревень в финскую войну, когда мы впервые встретились. Это были Вишневский, ты и я и кто-то еще. Мы сидели в блиндаже. Там находился один дурак комкор, не то Старцев, не то Струков или Старков. Он нас всех возмущал. Была очень плохая артиллерийская подготовка. Прошла пехота на линию Маннергейма, легло огромное количество людей. Этот комкор, находившийся в нашем блиндаже, все время кричал: «Вперед! Вперед! Вперед! За Родину! За Сталина!» Люди шли и гибли. Если помнишь, потом был разговор втроем: Вишневский, я и ты. Мы говорили, как относиться к этому. Мы ни о чем не договорились. Но когда я потом вспоминал этот эпизод, то, если бы я написал повесть, как было это дело, то, вероятно, это совпало бы с той линией отношения к войне, доблести, героизму, которую я вижу во всех напечатанных военных произведениях в «Новом мире».

Единственный упрек, который я могу сделать, это упрек вот в чем. Я не могу понять, почему сейчас, когда мы живем в таком состоянии, что бог знает, что может случиться на планете,— как можно воспитывать молодежь, как можно из них делать людей, которые будут защищать Родину, идеи коммунизма, идеи человечества,— как можно делать это так, как делает это очень неправильная, на мой взгляд, линия военной темы «Нового мира»[54]. Это один из серьезных ус-

---

[53] Помимо упомянутой выше статьи, А. Д. Синявский напечатал в «Новом мире» статьи о творчестве О. Берггольц (1960, № 5), Б. Пастернака (1962, № 3), Р. Фроста (1964, № 1), А. Ахматовой (1964, № 6), критические фельетоны о романе И. Шевцова «Тля» (1964, № 12) и поэзии Е. Долматовского (1965, № 3). Расходясь с критиком в некоторых его поэтических пристрастиях Твардовский относил его к числу наиболее ценных постоянных сотрудников критического отдела журнала (см. «НМ», 1961, № 12, с. 254; 1965, № 1, с. 17). Узнав после ареста Синявского о его зарубежных публикациях и не одобряя их, Твардовский, однако же, не позволил изъять его имя из «Содержания журнала «Новый мир» за 1965 год». Журнал действительно ни в какой форме не отмежевался от своего бывшего автора, что вплоть до разгрома «Нового мира» оставалось одной из козырных карт его противников. «Именно на страницах «Нового мира» печатал свои «критические» статьи А. Синявский, чередуя эти выступления с зарубежными публикациями антисоветских пасквилей»,— напоминали например, авторы известного письма в «Огоньке» (1969, № 30, с. 27) «Против чего выступает «Новый мир»?»

[54] В «Новом мире» был напечатан ряд наиболее значительных произведений той новой волны «военной прозы», которая в конце 50-х и первой половине 60-х годов заняла едва ли не ведущее место в тогдашней литературе. К ним, в частности, относились повести «Пядь земли» Г. Бакланова (1959), «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова» А. Бека (1960), «Семь пар нечистых» В. Каверина (1962), «Убиты под Мо-

пехов (упреков? — **Ю. Б.**). Хотя вещи написаны очень хорошо и интересно, художественно они хорошо написаны, однако самого главного, желания отдать свою жизнь, я не вижу... (**А. Т. Твардовский:** Такого желания у нормального человека не может быть. Но может быть необходимость.) Правильно. Согласен. Решения отдать свою жизнь. Тихонов правильно сказал, что должен быть воинствующий оптимизм. <...>

Я не собирался выступать, так как чувствую себя больным. Меня заставила боязнь того, что один из лучших наших журналов превращается по своей политической программе в нежелательное для нас оружие. И пора ответить тем негодяям, которые грязь из-под ногтей выбирают. Надо сказать им, что такое «Новый мир». И прекратить наконец эту отвратительную для нас позорную клевету на один из лучших наших журналов, который кто-то хочет превратить во врага нашего коммунистического дела. И это не мы, не Секретариат должен это делать. Для начала это должен сделать сам журнал.

А. А. Сурков. Я не собирался выступать, потому что буквально накануне узнал, что журнал будет обсуждаться за 9—10 лет своей работы. <...> Но мне хочется выступить вот по какому поводу. У нас есть странное противоречие во всем, что мы говорим. Особенно оно выразилось в выступлении ушедшего только что товарища Соболева. Это, мол, наш лучший журнал, а вот враги такие-сякие... Какая-то здесь есть неувязка. Либо он лучший журнал, либо — нет. А из выступления Соболева создается впечатление, что это не лучший журнал, если он военной тематикой разоружает и т. д. Дорогие товарищи! Мы собрались здесь, немолодые литераторы, у которых должно быть повышенное чувство ответственности за судьбы нашей литературы, а следовательно, за один из популярнейших наших журналов. Поэтому надо как-то логично говорить. Нельзя с истерикой приходить на серьезное обсуждение впервые в практике нашего Секретариата за последние годы, притом одного из самых сложных организмов в духовной жизни нашей литературы. <...>

Что же касается до самого «Нового мира», то тут у меня есть всякое. Когда идет вопрос о том, является ли столбовой дорогой нашей литературы «Один день Ивана Денисовича», то я нахожусь в некоторой оппозиции к точке зрения редакции «Нового мира». Но это ни в малой мере не ставит вопрос, надо или не надо было напечатать эту повесть в журнале «Новый мир». Мне кажется, не просто по произволению такого экстравагантного политического деятеля, как Хрущев, а в силу исторических обстоятельств эта или другие вещи на эту тему должны были появиться в нашей литературе, так как после XX съезда была атмосфера большой и серьезной переоценки многих серьезных вещей и не могли не появиться произведения подобного рода в нашей литературе. И тут появился «Теркин на том свете». Я согласен с Николаем Семеновичем, что, может быть, надо было тот круг сатирических наблюдений за нашей действительностью не связывать с традициями и вошедшим в духовную жизнь всего народа образом Василия Теркина, солдата той большой войны. Но в принципе эта вещь тоже должна была закономерно появиться в нашей литературе.

<...> Мне бы очень хотелось сказать на Секретариате, что, кроме действительной вины редакции «Нового мира», нагнеталась такая обстановка, что надо обязательно через четвертное увеличительное стекло рассматривать каждую строку. А в таких условиях работать трудно. (**Н. М. Грибачев:** Это результат отсутствия нормальной критики.) Вот ты, Николай Матвеевич, говорил о групповщине. Есть же эта групповщина. Написал Алексеев уникальную в русской прозе вещь о том, как вы в приятной компании ловили рыбу в Десне. Наталия Ильина справедливо проехалась по этому поводу в фельетоне. И что же? Разверзлись хляби небесные, и Ильиной уже стали шить, что она была белогвардейкой. Это, товарищи, самое худшее проявление групповщины и ненормального кровообращения в литературной среде. И в результате получается, что в течение шести-семи лет два наших журнала, наиболее шумно живущих, грызлись между собой, а мы наблюдали, чем это все кончится. Мы могли все это раньше обсудить, а не тогда, когда нам сказали, что вам это полезно обсудить.

Мне кажется, что «Новому миру» надо не столько отвечать на все, что в его адрес говорится за границей (собака лает — ветер носит), сколько помнить, что «Новый мир» выступал за последние годы с несколькими принципиальными статьями, в которых он определял свою пози-

---

сквой» К. Воробьева (1963), «Мертвым не больно» В. Быкова (1966), рассказы «Вторая ночь» (1960) и «Новичок» (1963) В. Некрасова, «Случай на станции Кречетовка» А. Солженицына (1963), «Рассказы радиста» В. Тендрякова (1963), «Второй эшелон» Е. Ржевской (1964), маленькие рассказы В. Богомолова. В отличие от литературы военных лет, подчиненной естественной в тот момент задаче «Все для победы!», эта проза высвечивала преимущественно те грани войны, реалистическое изображение которых было созвучно главной задаче нового этапа общественного развития — «преодолению последствий» культа Сталина, утверждению достоинства и гражданских прав каждого человека. «Великая война памятна советскому народу не только нашими победами на Волге, под Курском и Киевом, но и нашими поражениями под Ржевом, Харьковом, на Дону...— писал в то время Василь Быков.— Как бы велики ни были наши победы.., нельзя забывать и о тех, кто отдал жизнь в кровавых оборонительных боях, кто не по своей вине оказался за колючей проволокой концлагерей. А кроме того, разве не заслуживает внимания литературы человек на войне как личность, личность со всем комплексом переживаний любого порядка?» («Вопросы литературы», 1965, № 5, с. 25—26). Для «военного человека» Л. Соболева и подобных ему ревнителей «героического» в литературе всего этого как бы не существовало.

цию, и эстетическую, и литературную, и политическую, и надо сравнивать то, что он говорил, или оспаривать то, что он говорил, своевременно, а не после дождичка в четверг

<...> Здесь были излишества и субъективные оценки, но у всех, даже у тех, кто наиболее резко выступил, было ощущение того, что редактор, которого мы знаем как одного из самых крупных ныне живущих советских поэтов, высоко будет нести знамя передового журнала нашей советской литературы, и обязанность нашего Секретариата сделать все, чтобы помочь этой редакции освободиться от недостатков и развить ее несомненные достоинства. Редко какой журнал может похвастаться таким большим количеством находок литературных, которые есть у «Нового мира» за последние семь-восемь лет. От этого не надо отстраняться и говорить: «Ты так описываешь войну». А горбатовские мемуары? Нельзя так, это запрещенный прием. И еще ряд вещей можно противопоставить. Да, было напечатано «Мертвым не больно» В. Быкова. Но печатали (и) Конева мемуары[55]. В нашем возрасте, когда седая башка и мы много ходили по литературным подмосткам, не надо так бросаться словами, как это сделал зря ушедший после своей речи Соболев. <...>

У меня нет сомнений в том, что при такой активной, деятельной помощи, какую наш руководящий коллектив может журналу оказать, журнал может многое и замечательное сделать.

Г. М. Марков. Во-первых, мне кажется, нам всем ясно, что это обсуждение — важное и полезное. Мы можем сослаться даже на высокий авторитет нашего Генерального секретаря (Л. И. Брежнева.— **Ю. Б.**), который на днях в своей речи перед избирателями, говоря об огромных достижениях нашей литературы, сказал, что, конечно, у нас есть недостатки в работе литературных журналов, мы этого не скрываем, но все мы, критикуя эти недостатки, исходим из одного чувства — из желания их преодолеть. Мне кажется, что эти самые чувства здесь господствовали. Наше самочувствие хорошо выразил Алексей Александрович (Сурков.— **Ю. Б.**), что есть желание работать лучше, есть желание справиться с задачами, есть желание избежать тех недостатков и промахов, которые есть.

Я хотел бы защитить или, во всяком случае, открыть редакционной коллегии и главному редактору журнала одно очень крупное достижение журнала «Новый мир», о котором здесь почему-то не было сказано. Это единственный литературно-художественный журнал, который из года в год ведет очень серьезную работу, связанную с развитием производительных сил в стране. <...> Считаю, что этот раздел «Нового мира» находится на очень высоком уровне. <...> Заметки Козлова и Румера о хозяйствовании. Первушина о направлении главного удара[56], статья Лагунова — молодого тюменского автора[57]. Дело в том, что в этих статьях поставлено очень много существенных практических вопросов, которые имеют решающее значение для образования новых экономических районов. Я не говорю уже о такой интересной вещи, как публикация очерка Верховского[58] <...>

Но дальше я должен сделать одно очень резкое критическое замечание в адрес редакции журнала «Новый мир». <...> Не мне учить, что в нашей стране сложилось определенное понятие об общественном такте. Общественный такт состоит в том, что, если тебя критикуют, если к тебе обращаются не с плохими чувствами, а с добрыми — надо на это реагировать, тем более когда это делает широкая партийная общественность. Что же произошло? Восемь делегатов XXIII съезда так или иначе упоминали о «Новом мире», упоминали в общем контексте, что наша литература растет, но огорчительно то-то и то-то. Надо было предполагать, что если не в апреле, то в мае, июне последует какое-то более широкое, более развернутое выступление редакции по этому поводу. Этого не произошло. Создалось нехорошее впечатление, которое я пытался развеять. <...> Второй раз это произошло после того, как прошла серия идеологических совещаний. Иногда они шли очень остро, иногда с ненужными обобщениями, иногда с нужными и отражали всю сложность не только литературных проблем, но и идеологии, в которую литература втягивается очень просто и неразрывно. Вы знаете, что очень многие, начиная от секретаря ЦК и кончая рядовыми коммунистами, на партийных собраниях говорили по поводу выступлений, связанных с залпом «Авроры», с двадцатью восемью панфиловцами[59] и т. д., то есть то, что вы сами признали. Нужно на это тоже отвечать. На Всесоюзном идеологическом совещании, где я выступал и где бы очень сложно было какие-то моменты объяснять, потом подошла целая группа людей, которые хотели больше понять, чем было сказано с трибуны. <...>

Я считал для себя обязательным это замечание высказать. И думаю, что время еще не ушло высказаться по этому вопросу. Сейчас народ образованный. Всё

[55] И. Конев. Сорок пятый год. Страницы воспоминаний («Н. М.», 1965, №№ 5—7). Любопытно, что в заслугу «Новому миру» поставлена одна из наименее значительных его публикаций. То же можно сказать и о публикациях, поддержанных Г. Марковым (см. ниже).

[56] Г. Козлов, М. Румер. Только начало (Заметки о хозяйственной реформе) («НМ», 1966, № 11); С. Первушин. Направление главного удара (Заметки экономиста) («НМ», 1966, № 6).

[57] К. Лагунов. Нефть и люди («НМ», 1966, № 7).

[58] Н. Верховский. Влага и урожай («НМ», 1966, № 4).

[59] Имеется в виду упоминавшаяся статья В. Кардина.

замечают. Когда говоришь: «Очевидно, в следующем номере ответят»,— они говорят: «Нет, не ответят, в поддержку себе уже письмо напечатали...» Может быть, можно к этому присовокупить мысль, которую выдвигали товарищи, о большей оперативности, когда дело касается наших идеологических позиций. Я не хочу допустить такой мысли, что у «Нового мира» может быть какая-то другая идеологическая позиция, кроме позиции нашей партии. Но, очевидно, настало такое время, когда действительно нужно реагировать. <...>

О Солженицыне. Я считаю, что здесь дан ответ исчерпывающий. Да, эта вещь появилась в тех условиях, когда это было целесообразно, важно и нужно. Можно ли на этом основании солженицынскую вещь поднять и как с хоругвью идти с ней в будущие времена? Очевидно, нет. Новые времена, новые критерии и новые события в самой литературе, которые выдвигают более зрелые вещи. Но должен вас упредить: положение с Солженицыным сложное... Пусть это останется между нами, но его вещи печатают за границей, и «Раковый корпус» в том числе. И он ведет себя нехорошо. Был бы правильный вывод, если бы в ближайшее время собралась небольшая группа с ним, поскольку он член союза. А член союза имеет не только права, но и обязанности. Позовем его и поговорим. Надо иметь в виду, что, какая бы биография ни сложилась у Солженицына, ему общество советское и литература выразили большое доверие. Мы понимаем, что у этого человека жесточайшие обиды были в прошлом пережиты, но в нем должно проснуться новое начало. Я считаю этого человека талантливым, но, очевидно, эти свойства, это начало пока мы в нем не пробудили, и давайте сделаем попытку, поборемся. Настало время, когда не надо по первому поводу списывать с корабля, надо бороться за людей, воспитывать и разъяснять, как ни казенно звучат эти слова.

Я не скрою, что и вокруг Синявского мы разошлись с рядом людей... Это вопрос немалый, и над ним предстоит поработать.

Мне не нравится, что в свете последних публичных выступлений — у меня к этому есть данные — товарищ Солженицын машет и так и этак, не щадя никого, в том числе и тех, кто на его плечо положил дружескую руку и помогал. Это не годится. Значит, надо человеком заняться всерьез.

<...> Я несколько по-иному по сравнению с другими отношусь к Можаеву. Я его знаю еще по первым строкам, еще со времен Сибири. Ценю «Полюшко-поле». Вообще это очень интересный человек, но, несмотря на всю талантливость, я вижу у него серьезные просчеты в Фомиче[60]. Если подойти так, а было ли это? Да, было. Но дело не в этом, дело в том, что сам процесс выхода крестьянина из колхозного движения здесь. <...> ...Может быть, журнал вдохновит на новые произведения этого талантливого писателя, но, мне кажется, эта вещь не удалась, и я в ней вижу серьезные просчеты, которые идут против действительности и против той фактической расстановки сил, которая есть сейчас в сельской действительности.

Мы с Александром Трифоновичем посоветовались и пришли к такому выводу, что, поскольку заседание было интересным, много было высказано существенных мыслей, все-таки нам надо было бы создать комиссию, которая бы все это подытожила и вычленила главное. Нам нужно все это оценить. <...> Так вот, может быть, был бы смысл выделить такую комиссию, в составе товарищей Новиченко, Кондратовича, Воронкова (созыв), Дорофеева и Озерова, с тем, чтобы комиссия, когда будет готова стенограмма, составила нечто вроде «коммюнике» Секретариата.

Если нет возражений, на этом и остановимся.

А. А. Сурков. Тут ставился вопрос об отношении Твардовского к делу Синявского и Даниэля. В ноябре 1965 года в отеле «Лютеция» в Париже Твардовский и я впервые задолго до процесса на пресс-конференции отвечали по этому вопросу. Я не помню текстуально, как отвечал Твардовский, но ни один реакционный журналист не посмел воспользоваться его ответом, чтобы что-то напечатать на страницах своих газет, потому что это были ответы, которые мог дать только настоящий писатель-коммунист[61].

А. Т. Твардовский. Я выслушал здесь многие высказывания, многие суждения о журнале. Право, и мог бы сейчас отнять у вас еще час на объяснения, частичные возражения, но вряд ли это будет продуктивно.

Я приношу самую искреннюю признательность всем принявшим участие в обсуждении, особенно тем товарищам, которые высказались. И я заявляю, что у меня и у моих соредакторов нет основания предполагать какую бы то ни бы-

[60] То есть в повести «Из жизни Федора Кузькина». Повесть «Полюшко-поле» опубликована в 1965 г.

[61] Вскоре, 7 апреля 1967 г., выступая на заседании Секретариата с отчетом о командировке на заседание Исполкома Европейского сообщества писателей, Твардовский, отметив, что он «не сторонник суда и приговора», предложил руководству Союза писателей поставить «в верхах» вопрос о досрочном освобождении Синявского и Даниэля: «Я думаю, что если бы совершилось чудесное превращение, стало бы известно, что они подлежат освобождению, амнистии, то это облегчило бы жернова, висящие на наших отношениях с нашими зарубежными друзьями, со всеми без исключения. Я считаю своим долгом сказать об этом». Его поддержал Сурков, но их предложение принято не было, в частности, из-за позиции К. А. Федина, который в заключительном выступлении сказал: «Весь вопрос в том, какой у нас суд. Хороший или нет? Нам, может быть, иногда тоже не нравится, но мы подчиняемся законам нашего государства» (оп. 37, пор. 189, лл. 70—94).

ло неискреиность или какие-нибудь косвенные соображения, которые былн бы в основе высказаниых суждений.

Я хочу заверить Секретарнат, что иичто из существенного, высказанного здесь, не будет упущено из внимания редакцией в ее дальнейшей работе. А если что-то было сказано и ие совсем так, чтобы полностью соответствовало действительности, то и от этого нас не убудет.

Спасибо, товарищи (л. 110, по другой пагинации — 124).

От составителя. По итогам заседания было опубликовано сообщение «В секретариате правления Союза писателей СССР», в «критической» части которого, между прочим, говорилось, что «участники обсуждения единодушио указывали иа существенные идейно-художественные просчеты, упущения и недостатки в деятельности журнала. Многим опубликованным на его страницах произведениям недостает качеств высокого искусства социалистического реализма, нстинно правдивого, оптимистического отображения многогранной жизни и героического созидательиого труда советского народа. В ряде произведений одностороиие освещается иаша действительиость, обедняется образ советского человека. В этой связи острому критическому разбору были подвергнуты рассказ А. Макарова, повести В. Семина, Б. Можаева и некоторые другие произведения... Всеобщее резкое осуждеиие получила статья В. Кардина «Легенды и факты», проникнутая ложной тенденцией к необоснованному пересмотру и принижению революционных и героическнх традиций советского народа... В ходе обсуждения критиковались отдельные статьи В. Лакшина, А. Шарова и др. Отмечалось, что редколлегия «Нового мира» слабо реагировала на критику недостатков в работе журнала со стороны общественности» («Правда», 1967, 29 марта).

Но так или иначе разгром журнала отодвинулся на никому пока ие известиое будущее. 16 марта 1967 г. Твардовский уведомлял Б. Шинкубу: «Только вчера, кажется, закончилась длинная серия мытарств с журналом: прошло обсуждение журнала на Секретариате Союза, утверждены представленные мной члены редколлегии (Ч. Айтматов, Е. Дорош, М. Хитров — из «Известий»)[62]. Авось, еще потянем, поработаем» (Соч., т. 6, с. 251).

(Продолжение следует.)

---

[62] Е. Я. Дорош возглавил отдел прозы журнала, сменив И. И. Виноградова, перешедшего на заведование отделом критики, а руководивший этим отделом В. Я. Лакшин стал фактически (без официального утверждения) заместителем главного редактора; М. Н. Хитров занял должность ответственного секретаря. Другие члены редколлегии остались на своих местах.

Публикация Ю. БУРТИНА и А. ВОЗДВИЖЕНСКОЙ.
Составление, примечания и послесловие Ю. БУРТИНА.

•

Не поддадимся на провокацию!

•

Виктор Ерофеев. Тело Анны, или Конец русского авангарда. М., Московский рабочий. 1989.

•

Это как в сказке: направо пойдешь — коня потеряешь, налево — жизни лишишься, прямо пойдешь —...

Идем прямо.

Итак, в статье «Розанов против Гоголя» Ерофеев пишет о «небезызвестном литераторе, философе и публицисте конца XIX — начала XX аека, фигуре в достаточной мере спорной»: «Розановское пнсьмо — это эона высокой провокационной активности, и вход в нее должен быть сопровожден мерами известной интеллектуальной предосторожности. Розанов, особенно поэдний Розанов.., предоставляет читателю широкие возможности остаться в дураках».

Чтобы не остаться в дураках, надлежит предпринять меры известной интеллектуальной предосторожности и иам. Нам, однако, легче входить в зону ерофеевского письма. Нам дан ключ.

«Если читатель вообразнт себе, что перед ним автопортрет Розанова, то он в очередной раз ошибается. Розанов вовсе не мазохист и не раскаявшийся грешник. Он снисходит до интимных признаний не с целью исповедального самораскрытия, а с тем, чтобы подорвать доверие к самой сути печатного слова. В конечном счете ему важны не изъяны писателя, а изъяиы писательства... Преображение розановского слова совершается, как правило, в явной или тайной полемике» (Вик. Ерофеев. В лабиринте проклятых вопросов.— М.: Советский писатель, 1990). Это все, конечно, о Розанове. Это все — Розанов против Гоголя.

Но это — и Ерофеев против Розанова. В том же смысле.

Теперь о мерах интеллектуальной предосторожности. Ерофеевская проза — сплошная эстетическая и этическая провокация. Здесь — не только тайная и явная полемика, не только раскрытие изъинов писательства, подрыв доверия не только к самой сутн печатного слова, но шире — всего того, что стоит эа словом, эа письмом. Подрыв сложившейся психологии homo soveticus через опрокидывание сложившихся этических норм, дискредитацию метаявыка, через обнажение скрытых табуированных зон сознания, через эпатаж, через шок.

Причем, следует заметить, эта «война языков» здесь тотальная. Фронт ее, как мне представляется, много шире, чем, скажем, в соц-арте; концептуализм (от Е. Попова до Д. Пригова) проигрывает идеологемы, клише прошедшей (но такой еще живой) эпохи и таким образом разрушает «фундаментальный лексикон» нашего мышления; соц-арт не только лишает слово святости, не только переводит его в «модус банальности», но и разрушает иерархию языков — основу тоталитарной ментальности.

Все это, несомненно, есть у Ерофеева. «Цитаты», клнше — иекие обломки монолита, как, например, в «Пнсьме к матери»: «Здесь, на малой родине... я напишу беэ обиняков и трескучих прикрас всю художественную правду о мерзости нашей жизни. Моя книга, мама, будет нужна народу», «Много думаю о роли литературы в переходный период. Следует предельно мобнлизоваться», «А возьмет ли сельскнй труженик нынче землю? — усомнился старнк», «...прибыл муж, внезапно выброшенный на свалку историн». На обыгрывании «языковых единиц» «фундаментального лексикона» иногда в значительной мере держится сюжет. Вот рассказ «Русский календарь». «Все врут календари» — так ли это?

«В январе у нас ласковый Ленин.

В феврале любовь неожиданно постучалась мне в дверь.

Март — розы! Март — Сталина! Март — Танюшка ты моя доколготочная!!!» и т. д.

Здесь перед нами в качестве одного из ключей (у Ерофеева всегда о д и н и з!) — настоящий календарь прошедшей эпохи. О, этн настольные календари! В 30—50-е годы они выглядели так: январь (смерть Ленина) — на картинке нескончаемая очередь к Мавзолею; февраль (день Советской Армии) — танки, корабли; март (женскнй день) — женщины в национальных костюмах; апрель — техника на полях; май (День международной солидарности) — демонстрации, знамена, весенние счастливые лица; июнь (пионерские лагеря — пионеры, горны, авиамоделисты, палатки, галстуки); июль — колосящиеся поля, комбайны, трактора; август — самолеты, авиаторы; сентябрь (международный юношеский день) — дети, демонстрации, знамена, спортивные праздники; октябрь — рабочие, металлурги, домны, шахты; ноябрь — Смольный; декабрь (Сталинская конституция) — герб в обрамлении знамен республик сво-бо-одных! Перед на-

ми — годовой цикл сталинской мифологии, фундаментальный лексикон во времени.

Ерофеев переворачивает его, и в этом Зазеркалье вот что:

«В апреле приснился Илюшенька с хлыстом. Возник вдруг передо мной. Обжигающе больно по лицу, промеж глаз... От души.

В июле мы вместе ходили, бродили. Я мучил их песика.

В августе я мучил их песика и ждал сентября...

В ноябре, Танюш, коммунизм неизбежен. Как всегда плохая погода способствовала...»

Сакральное время рушится на глазах. Страна живет в поисках утраченного времени. В поисках времени и слова. В поисках утраченных лексем. На этом построен рассказ «Девушка и смерть», где во дворике невзрачного морга института Склифософского герой «постигал всепроникающий организационный дар смерти», где он научился, «подняв воротник, ценить высокую чистоту жанра», где оценил «недосягаемый образец сталинского чувства юмора», где опрокидывается «нудительно-серьезная» формула любви, что сильнее смерти:

«Жена, конечно, решила, что я изменяю. Не сплю с ней. И как все они говорят в таких случаях:

— У тебя кто-то есть?

Я ответил ей странно, вопросом на вопрос:

— Ты думаешь, любовь побеждает смерть?

Ни слова не говоря, она разрыдалась. Решила, видимо, что издеваюсь».

Но уже в финале рассказа снимается и этот пародийный «гул языков». Он улетучивается: скорость велика. «Мы несемся по окружной дороге. Шумят леса. Все хорошо. Сталин прав. Горький прав. Все мы правы. Человек звучит гордо. Любовь побеждает смерть».

Ерофеев продолжается или «начинается» там, где заканчивается соц-арт. В его прозе разрушаются не только слова, мысли, чувства, но все это происходит много глубже — на уровне подсознания. Отсюда — эпатаж Почтенное дело — смеясь, расставаться со своим прошлым. А с издевательским хохотом? А так, чтобы дрожь по телу?

«Лицо у нее было сильно изуродовано — даже я отшатнулся: глаз, видно, вытек, висок разбит, лицо синее, с порезами, кровоподтеками...» («Девушка и смерть»). Или вполне в духе де Сада сцены в «Трех свиданиях», где в подробностях о том, как на машине «мы давили их» — теток, дядек, детей, возлюбленных, беременных женщин, старичков и старушек: «И эту обязательно! И вон ту не пропусти!» А в «Попугайчике» — о том, как мальчика — субтильного, с диковинными манерами («уж не с прожидью ли он?»), красавца — мы пытали способами «веселящими душу». И — с подробностями. И — наотмашь. От души — до внутреннего содрогания.

«За что нам это? — думает читатель. — Нам-то за что? Ведь не за что.» Это ему, ребенку, мученику, не за что. А нам — за первородный грех. Здесь, кстати, различие: соц-арт вызывает смех. Ерофеев — дрожь. Они делают одно, но на разных глубинах сознания. У Ерофеева — «привет из подкорки». Вся эта ерофеевская жуть как бы для острастки. И еще, я думаю, от бессилия. Чтобы пробрать. А как иначе?

Это, однако, плоскостное чтение Ерофеева. Я намеренно заостряю.

«Три свидания» начинаются с письма: «Русское слово сдало и устало. Оно до такой степени устало, что мне совестно прибегать к его услугам... Кнут! Нужен кнут! Единственный кнут — это смех. Смейтесь, суки, над муками падшего слова. Подробности при встрече. Целую перышки. Перехожу на английский». Это публицистика. Ерофеев начинается дальше. Это мы, как та Анна, что покончила с русским авангардом, «сожрав любимого человека», «кутаемся в эвфемизмы, как в комиссионные меха». Ох, жарко. Мочи нет. А вы скиньте, говорят нам. А потом — на морозец, да снежком, да в ледяную воду. Отличное лечение! Снимает как рукой.

Если же не снимает, рассказчик сам освободит вас от ваших мехов. Он вообще, рассказчик этот, добрый малый, не без способностей. Одновременно циничный и непосредственный: «Кормят сносно, меня почти что совсем не поносит» («Письмо к матери»), «С театром вышло еще того хуже. На постановке какой-то детской дряни по Достоевскому меня просто-напросто вырвало... Мы сидели во втором ряду. Спектакль остановился... Блевотина была свекольного цвета, с белыми макаронами. Я что-то бормотал, кланялся, извинялся» («Девушка и смерть»). И — опять подробности и всякие интимные и пикантные вещи и об ощущениях, и о состояниях. «Какой натурализм! Какая гадость!» — скажет советский читатель. И будет прав. Потому что он — советский читатель. Ему невдомек, что «русское слово подыхает» (а с ним вместе целая ментальность). Он не готов к этим рискованным метафорам — «невесты в черном целовали взасос мужские трупы», «воспоминания, как кишки из распоротого живота, повылезали наружу» («Девушка и смерть») и прочее. А рассказчик предлагает ему отхлебнуть из той чаши, из которой пригубил на пиру — «на поминках советской литературы».

Подобно Розанову Ерофеев расплевывается с читателем сразу. Любопытная перед нами форма диалога. Вообще-то, честно говоря, ерофеевский рассказчик — жуткий тип. Садист и извращенец. Это ясно. Он шокирует читателя одним своим присутствием. Советский читатель не привык иметь дело с подобными сомнительными личностями (вот, кстати, тема — проследить генеалогию рассказчиков в советской литературе — от зощенковского до ерофеевского).

И происходит все рассказанное Ерофеевым — как в сказке, то есть неизвестно когда. Тогда, когда «дух беспокойства и перемен охватил природу», когда «землетрясения погнали вспять воды», когда «реки устремились к своим истокам, круша леса»... Апокалипсис! Читатель, конечно, все понял. Но это сакральное время было, оказывается, недавно — «с тех пор прошло неполных двадцать лет, и Сталин был объявлен врагом народа, а его улыбчивый приспешник Калинин переименован из всесоюзного старосты во всесоюзного козла» («Три свидания»). Но оно «было» и сейчас, сегодня — «Дорогая мама, ура! Да здравствует демократия!» И — вдруг «вбежал ко мне Зотов, запыхавшись от счастья: — Герцен! Герцен! — кричит, — возвращается. «Колокол» с завтрашнего дня поступает в свободную продажу!!!!» («Письмо к матери»). В «Попугайчике» перед нами то времена купца Калашникова с каким-то боярским лекарем, то вдруг с колокольни паровозы и университет виднеются. Где сон, где явь? Реальное становится ирреальным, а потом вдруг весь этот кошмар обретает черты поразительной психологической достоверности.

Ерофеевская проза многоуровнева и потому сопротивляется однолинейному сознанию читателя, воспитанного на писательской готовности соответствовать его, читателя, запросам и вкусам. Эта проза в самой своей органике (при явной «чернухе» и всем буйстве естества) восстает против прелюбодеяния и разврата мысли! Многоуровневость ерофеевской прозы — не только в признании самоценности игры, но в бесконечном усложнении ее правил: здесь пародирование первичных метатекстов — лишь видимая часть айсберга. На глубине — бесконечное прорастание смыслов. И отсюда — ходов для интерпретации. Здесь — воистину вавилонское столпотворение языков и ментальностей. Их даже не назвать. Чтение ерофеевских текстов — от «Письма к матери» до «Тела Анны» и «Жизни с идиотом», от «Девушки и смерти» до «Как мы зарезали француза» и «Русского календаря» — требует известной изощренности в прочтении культурных кодов.

В том же «Попугайчике» даже на поверхности — удивительный эксперимент: этакое перетекание речей Порфирия Петровича в речи Смердякова, необузданная шигалевщина, откровенный садизм подпольного парадоксалиста, и скрытый мазохизм Ивана Карамазова, чудовищным образом прорастающий в лексику современного фашизма с его болезненным интересом к «символам» и «философам», и лукавое мудрствование сатаны, и адская насмешка над Алешей. И это — только один слой текста.

Проза Ерофеева обладает зарядом большой разрушительной силы, но искусство не может быть деструктивным. Апеллируя к различным культурным кодам, включая нас в игру ими, уходя в подсознание и тем самым отрицая абсурд реальности, эта проза несет в себе еще и свой культурогенный потенциал. Рождая из бессмыслицы и ужаса жизни суперсмысл, она служит делу культурного охранительства и лечит шоковой терапией, вырабатывая противоядие от «фундаментального лексикона» и псевдоморали.

Что ж, время сейчас такое. «Время объективации. Тебе выносят тебя самого: с головы до ног — и кладут на стол, как на прилавок. Можно пощупать, потрогать, только выбирать нельзя и обменивать. Ты равен самому себе: ни меньше, ни больше. Тождество» («Три свидания»).

Мы не готовы к этому? Но готовы, как герой «Девушки и смерти», заходить в «запретную зону каких-то нечеловеческих завихрений», что, несомненно, «опасно для жизни»? Нас провоцируют. Что ж, вспомним лексикон — «проявим бдительность», «предельно мобилизуемся», «сплотимся вокруг» и «все как один» скажем: не поддадимся на провокацию!

Евгений ДОБРЕНКО

г. Загреб

Взыскующее сердце

•

Вера Маркова. Туманный день. Стихи. «Новый мир», 1987 г, № 12; **«Пошли меня хранить детей!»** Стихи. «Семья», 1988, № 25; сборник **«Чистые пруды»**. М., Московский рабочий, 1989; **«Час истины»**. Стихи. Огонек. 1990. № 3.

•

Долгое время Арсений Тарковский, Мария Петровых, Семен Липкин были известны широкому кругу читателей только как переводчики — так уж «исторически сложилось». Веру Маркову знают тоже прежде всего по переводам произведений японской классики (поэзия, проза, поэтические драмы старинных японских театров Но и Дзёрури); ей же принадлежат переводы из Эмили Дикинсон, великой американской поэтессы. Но теперь мы получили возможность, я бы сказала, счастливую возможность, познакомиться со стихами самой Веры Марковой. Всего несколько публикаций, но уже есть повод для разговора, ибо к этому случаю как нельзя более подходят слова: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь».

Я по дорогам памяти сквозной
Люблю скитаться, щурясь близоруко,
И вереницу тех, что были мной,

По росту расставляю, словно кукол.
Займи у самой маленькой, займи
Щепотку зоркости и удивленья,
Спроси у той, бегуньи лет семи,
Как ей жилось — до светопреставленья...

Память, мне кажется,— главная тема Веры Марковой. И не только потому, что прожита большая жизнь и есть что помнить, но потому, что это вообще главная опора личности, стержень жизни, «единственный пророк».

Невероятная! Подходишь вплоть,
Растешь со вкусом крови и расплаты.

. . . .

Левиафан не смог бы побороть
И уронил бы то, что донесла ты.

Как выразительно «детский» глагол передает предназначение памяти, перед которой слаб даже Левиафан, символ мощи... «*Уронил бы* то, что донесла ты».

У памяти, однако, «противоречивый» характер: она беспощадна и целительна, предостерегает и обнадеживает, утешает и жалит, но главное — *держит* человека. С провалов памяти начинается деградация личности, равно как и одичание общества.

Зримая весомость времени выражается в том, что ничто не проходит. «На плечи давит вековая кладь: оливы Галилеи, камни Рима...» — говорит поэтесса («Туманный день»). Но все-таки «кладь» нашего века, несомненно, тяжелей:

Зачем наша жизнь изувечена,
Наш век других солоней,
Не знаю. Но тучная вечность
Питается болью моей.

Мысли об эпохе, о времени, в котором выпало жить, «общий воздух, общий стыд» — неотступны, хотя никогда не декларируются. И ракурс взят непривычный, неожиданный:

На одном возу одной рогожей.
Чья-то пятка голая видна..

«Простой», «будничный» образ, но в том-то и дело, что смерть «на одном возу» стала в XX веке обыденностью, умирать оптом («вместе канем») сделалось зловещей нормой. Жестокое время. Расчеловечиться легко, легко отказаться от человека в себе. «Надо лишь думать шумом, шумом, спрессованным, утрамбованным шумом». Думать хором, как сверчки в сумерках. Тогда индивидуальное сознание истаивает, подменяемое только стадным инстинктом, действующим согласно либо «волчьим законам», либо «нраву овечьему».

Туман, шум — метафоры непокоя, внутренней смуты, разлада, оттого «тяжело дышать», «душно, словно в душевой». Это удушье бездуховности, богооставленности: «В тумане люди непричастны к тайне».

Как побуждение к душевной и духовной жизни, словно музыка бытия, утраченная, к счастью, не всеми, возникают а лирике В. Марковой христианские мотивы.

Но вдруг становятся люди людьми
Без ритуальной маски злодея,
Когда мы идем в неделеный мир,
Где несть ни эллина, ни иудея.

Я горнего воздуха выпью глоток,
Я взгляд окуну в мореходные дали —
И, может быть, отыщу исток,
Который люди не разверстали.

Поэтесса предпочитает проповеди исповедь, однако подлинная исповедь невольно звучит наставлением для чуткого сердца. Но не чувство превосходства живет в ее стихах, а сопричастность — и аду, и раю, но аду все-таки больше, ибо так диктует чувство вины: «Среди созидателей и разрушителей живала — разом правша и левша». Покаяние — «сокрытый двигатель» ее внутреннего мира, именно оно позволяет ей ощутить богатство и нищету жизни, многогранность судьбы и собственное несовершенство:

Перебирая в пальцах горстку пепла,
Я ничего не назову тщетой.
Мы все прошли по всем ступеням
спектра,
Богатство поверяя нищетой.

И оттого бесцветное блаженство
Мы ищем там, где не нужна шкала.
О жизнь моя, мое несовершенство,
Как низвергалась ты — и как цвела.

Форма, ритм, интонация стихов Веры Марковой разнообразны, адекватны содержанию, рождаются вместе с ним. Она любит точное, предметное слово, предпочитая его даже для выражения сложных, отвлеченных ассоциаций:

Прощупаю невидимую связь
Со всем, что было явлено впервые.
Как сладкий ужас — в сердце вкоренясь
Дразнилки света, игры снеговые...

Стихи В. Марковой интеллектуальны, духовны, тяготеют к философской лирике, хотя ей не чужд и сарказм, свист Ювеналова бича даже (стихотворение «В набор», например). Вообще чувствуется характер сильный, отчетливый, человек не сентиментальный, но душевно щедрый. Однако если «стиль — это человек», то и человек — это стиль. От лирики Веры Марковой идут токи энергии, но прежде всего ее стихи сердечны, ибо все думы глубоко прочувствованы, прошли через сердце. Темы вечные и актуальные постоянно меняют «статус», взаимообогащаются. Такова вечная тема детства, ставшая вдруг трагически современной. «И нет тому и не будет прощенья. Кто дитя или душу его умертвит»,— говорит поэтесса. Нынешний размах сиротства при живых родителях придает этим стихам особую печаль и силу, но едва ли они дойдут непосредственно

до «адресата». Главное — чтобы дошли они до общественного сознания, которое во многом и ответственно за столь горестное положение дела.

Уже земле я неподсудна.
Дозволь из всех Твоих путей
Один мне выбрать, самый трудный,
Пошли меня хранить детей!

Когда дрожит небесный круг
От нестихающего крика,
Но мать не пробудит испуг,—
Пошли меня, пошли, Владыко,
Принять дитя из спящих рук...

Сегодня защита детства становится защитой главного, что есть на земле. Странные, конечно, времена, если приходится объяснять и отстаивать исконные и очевидные вещи. Но отстаивать надо — и делом, и словом, в том числе и поэтическим. «Отчаяться грех!»

Давно было замечено и подтверждено жизнью, что поэту в России отведена особая роль и особая миссия возложена на поэзию как таковую в силу причин, о которых можно рассуждать долго и с историческими примерами, но не об этом сейчас речь. Важно, что суть ее особой роли, ее миссии — прежде всего в том, чтобы говорить правду, самую болезненную, мучительную правду, которую другим либо страшно, либо стыдно сказать. Дело поэзии в России — не проповедовать и воспитывать, а быть бесстрашной. Даже когда боится вся страна.

И Вера Маркова помнит, какой ценой заплачено за это бесстрашие. «Земля скупая камень дала»,— пишет она о Хлебникове, осмысливая его трагическую судьбу через метафоры камня и хлеба, имеющие в русской и мировой поэзии глубинные традиции, обогащенные множеством ассоциативных смыслов. «Тебя, как сноп, сожгло живое пламя» — это о Пастернаке. Пламя — живое, то есть уничтожающее и жизнь творящее одновременно, сложный символ, чертами своими восходящий к образу неопалимой купины.

Другой образ — образ дудочки, все еще продолжающей петь после смерти певца,— в стихотворении, посвященном памяти Льва Квитко, погибшего в годы сталинского террора, передает атмосферу ужаса жизни и непобедимости искусства. Поэзия бессмертна. «А Овидий все шлет свои «Tristia».— Две тысячи лет по спине холодок...»

Примечательно, что еще в 1949 году Вера Маркова написала стихи к юбилею Пушкина, в которых отчетливо звучит протест против помпезных речей, плакатов, пустого славословия, против суеты «дозволенных менестрелей», суеты отнюдь не бескорыстной и безобидной, ибо — «мы барабаном заглушаем ропот и славим тех, кто счастлив, что не жив». «Барабаном славить» — за этим образом угадывается пышная шумиха ритуальных псевдоторжеств... В то время когда именем Пушкина «пинали» (а тогда это значило: распинали) других поэтов, она высказывается против показной, бесплодной — поскольку несуществующей — любви к Пушкину. Стихотворение заканчивается вопросом-вздохом:

Что ж ты стоишь, главы не поднимая?
Стыдишься ль нас? Или скорбишь о нас?

При всей условности этого обращения к великому поэту нельзя сказать, что оно сегодня менее насущно, чем тогда...

Безусловно, Вера Маркова — поэт, наследующий и сберегающий классическую традицию русского стиха, в силу своего переводческого дара причастный также к иным, в основном дальневосточной, поэтическим школам, что во многом обогащает ее собственное мировосприятие и стилистику письма. В предисловии к «Лирике» Басё поэтесса цитирует слова буддийского проповедника, поэта и ученого Кобо-дайси: «Не иди по следам древних, но ищи то, что искали они». Думается, что в своем творчестве она руководствуется именно этой мудрой заповедью.

Александра ИСТОГИНА

Возвращение Синявского и Даниэля

•

Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., Книга, 1989.

•

Когда нам, только что поступившим на факультет журналистики Московского университета, старшекурсники рассказывали о его достопримечательностях и легендах, то возле одной из аудиторий они заметили, понизив голос,— вот здесь читал лекции Синявский. О том, кто такой Синявский, большинство из нас, вчерашних школьников, знало только, что он когда-то и как-то стал «диссидентом», эмигрантом и изредка выступает на зарубежном радио. Поразили тогда какая-то близость и зримость происшедшего: был человек, ходил по этим сводчатым коридорам, принимал зачеты — и нет его, даже имя произносится шепотом, с оглядкой. Впрочем, за время нашего студенчества такое случалось потом не раз. Был, к примеру, писатель Аксенов, еще в школе «В поисках жанра» проходили — и нет такого писателя, ни в магазине, ни в специальной статье. Ходили, правдами и неправдами пробираясь, на спектакли Юрия Любимова — и нет уже Любимова, во всей Театральной библиотеке ни строчки не сыскать о нем. Был музыкант Ростропович. История культуры окорачивалась, «редактировалась» на глазах, из нее исчезали целые пласты и, подобно тому как в оруэл-

ловском «министерстве правды» «редактировались» газеты прошлых лет, неустанно корректировались усилиями чиновников от культуры и народного образования тексты учебников, сборников, монографий. В результате не только значительные произведения как бы были признаны «несуществующими», но и те, которым было позволено остаться в истории советского искусства, вырванные из контекста времени, художественных и идеологических споров, вне диалога с другими произведениями, выглядели странно, приобретали искаженное звучание. Получалось, например, что «военная проза» не имеет никакого отношения ни к повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», ни к творчеству В. Гроссмана, что «деревенщики» никогда не читали «Матренина двора» и не ведали о другом праведнике из крестьян — Иване Шухове, что «исповедальная» проза вообще неизвестно с кого и как начиналась... И даже сейчас, когда широким потоком двинулись к нашему читателю «задержанные» и «возвращенные» произведения, далеко не всегда удается восстановить множество оборванных нитей, связей, разобраться в причинах и следствиях литературных споров, творческой и идеологической полемики — иными словами, восстановить подлинные опущенные страницы отечественной литературы. Книга «Цена метафоры» (составитель Е. Великанова) представляется мне серьезным вкладом — безо всяких преувеличений — в создание этой, не написанной еще, истории.

Размышляя над ее страницами, убеждаешься в том, насколько необходимы сегодня подобные сборники, воскрешающие с документальной точностью драматические, искаженные в недавнем прошлом эпизоды литературной жизни, где названы жертвы и палачи, герои и трусы и звучит голос каждого из действующих лиц драмы — сборники, доносящие подлинный воздух эпохи, стилистику времени. И, быть может, более всего они нужны не столько современникам событий, сохранившим в памяти атмосферу вокруг «дела» Синявского и Даниэля, сколько тем, для кого это «дело» — уже история. Беда в том, что ни Синявский, ни Даниэль по-настоящему так и не пришли к современному читателю; среди многих «возвращенных» и «возвращающихся» авторов им повезло меньше других. И, действительно, в пылу полемики о смысле тех или иных высказываний литераторов очень часто забывают о том, что, не будь раскованных, ироничных, презирающих литературную догму, смеющихся над штампом произведений Синявского-Терца и Даниэля-Аржака, не было бы создано многого из того, что сегодня возвращается к нам, и не только возвращается — растет и развивается на отечественной почве.

Проза Синявского-Терца и Даниэля-Аржака не была вовремя прочитана. Увидевшая свет за рубежом, она состоялась как явление искусства прежде в глазах западного читателя. За рубежом о ней говорили, писали, спорили, в то время как на родине лишь единицы имели возможность познакомиться с творчеством опальных литераторов, которые в глазах большинства представали в первую очередь как борцы против духовной несвободы. Мы знали граждан Синявского и Даниэля, но не знали писателей Терца и Аржака. И знаменитая «Белая книга», которая с благодарностью поминается создателями «Цены метафоры», посвящена была явлению в общественной, а не в литературной жизни.

Сейчас, оглядываясь на первые опыты прозаиков, датированные концом 50-х — началом 60-х,— отчетливо осознаешь, что Терц и Аржак (воспользуемся здесь подсказанными авторами псевдонимами) положили начало новому направлению в русской послевоенной прозе. Безусловно, оно рождалось в будоражащем души и умы воздухе «оттепели» и насквозь пронизано аллюзиями той поры — будь то «Суд идет» Абрама Терца или «Искупление» Николая Аржака. Но осмыслить трагическое прошлое тогда пытались многие. Терц и Аржак возглавили направление прежде всего потому, что сформулировали новые эстетические принципы, свергнув с пьедестала господствовавшие нормативы (как это блистательно сделано в статье «Что такое социалистический реализм») и утвердив в собственных произведениях новые константы. Это — отсутствие подчеркнутой серьезности «социалистического классицизма», дидактики в авторском слове, самого авторитарного слова, господствовавшего в литературе тех лет, и, конечно же, традиционного «положительного» героя и пресловутого розового «романтизма». Повести и рассказы их искрятся смехом, игрой смыслов, в которой слово поворачивается неожиданными сторонами, обнаруживает скрытые резервы значений. Здесь широко представлены гротеск и фантастика, и непонятно, всерьез ли воспринимает автор происходящее с персонажами или дурачится с ними заодно. То, что сегодня еще приводит в недоумение критиков в прозе Т. Толстой, В. Попова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха — отсутствие явной авторской оценки героев,— в полную силу заявило себя уже в первых произведениях Синявского и Даниэля. Продуктивной в последующем — вплоть до сегодняшнего дня — оказалась и уничтожающая ирония их рассказов и повестей, ирония, сокрушающая лицемерные литературные и нравственные установки, навязываемые обществу. Подчеркнутое внимание к жизни подсознания, к страхам, живущим в душах, тайным устремлениям, интерес к эротике — все эти черты прозы Аржака и Терца как бы напоминали о том, что плакатно-розовощекий образ героя популярных в пятидесятые годы романов — далеко не исчерпывающая

истина о сути человека, что художникам предстоит долгая и многотрудная работа по сотворению образа человека реального — страдающего, любящего, смеющегося и жаждущего совершенства.

«Цена метафоры» включает два неоднородных пласта — собственно прозу и документалистику. Причем только ту прозу, которая увидела свет до судебного процесса и явила, как известно, состав преступления двух литераторов. Это повесть Аржака «Говорит Москва», его же рассказы «Руки», «Человек из МИНАПа», «Искупление», произведения Терца — «Любимов», «Пхенц», «Суд идет», «В цирке», «Квартиранты», «Ты и я», «Гололедица», «Графоманы» и статья «Что такое социалистический реализм». Прочитанные сегодня, эти «революционные» произведения кажутся куда спокойнее и мягче многого из того, что публикуется миллионными тиражами в современной периодике. И куда более жизнеутверждающими.

Но не забудем о времени, в которое они создавались. Книга «Цена метафоры» напоминает о нем. Документальный пласт сборника повествует о «наказании» авторам за свободомыслие в творчестве — о процессе Синявского и Даниэля, закончившемся заключением в исправительно-трудовые лагеря. Время говорит здесь устами З. Кедриной (общественного обвинителя, автора статьи «Наследники Смердякова»), устами «рядовых» читателей и читателей «профессиональных» — Ю. Феофанова, Б. Крымова, Д. Еремина, требующих жестокого приговора. Среди этих голосов — увы, и голос Михаила Шолохова. Но звучат и совсем иные речи. Среди выступивших в защиту — Лидия Чуковская и Виктор Шкловский, Владимир Корнилов и Вяч. Иванов, Л. Копелев и Луи Арагон, Арт Бухвальд и И. Роднянская, писатели, ученые, деятели культуры многих стран... Люди известные и никому не ведомые, вставшие на защиту гонимых литераторов.

Время возникает во всем своем драматизме, в остроте противостояния интеллектуальных сил общества надвигавшемуся застою, в переломный период, каковым и был конец шестидесятых. «Арест обоих,— пишет в предисловии к книге Г. А. Белая,— был неожиданностью для людей моего поколения, пережившего как личную трагедию открывшуюся правду о сталинских временах. Идеалы наши были романтичны, мы были деятельны и верили в необратимость истории. Процесс Синявского и Даниэля ударил прежде всего по этим представлениям».

Другой свидетель событий — Варлам Шаламов — в «Письме старому другу» характеризует происшедшее с еще большей определенностью: «Первый открытый политический процесс при советской власти, когда обвиняемые от начала до конца — от предварительного следствия до последнего слова подсудимых — не признавали себя виновными и приняли приговор как настоящие люди <...> Нужно помнить, что Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен».

Два пласта — собственно литературный и строго документальный — в книге неразрывны, дополняют друг друга. И это не прихоть составителя, но насущное требование времени — как в 1966 году литература и жизнь были неразрывны (творчество влекло на скамью подсудимых, а позиция многих людей, не связанных профессионально с литературой, влияла на развитие искусства), так неразрывны они и сегодня. Не потому ли мы внимательно прислушиваемся к словам и приглядываемся к поступкам писателей-депутатов, возмущаемся их слабодушием, неразумием и поддерживаем благородные порывы? Не потому ли литературные произведения в свою очередь, вторгаются в нашу жизнь? Видно, с традицией этой нам нескоро суждено расстаться, писательское слово надолго еще останется камертоном нравственности общества. И сегодня, когда история освобождается от вымысла и мифологии, догмы и нормативности, нам очень важно знать, каков он был, этот камертон. Необходимо знать не только тех, кто потворствовал гонениям на литературу и литераторов, но и (быть может, это всего важнее) тех, кто отстаивал свободу творчества, свободу личности, не страшась гонений и несправедливого наказания. Их немало, таких примеров, в истории советской литературы — и в двадцатые, и в тридцатые, и в годы пятидесятые, и совсем недавние. «Дело» Синявского и Даниэля — из таких примеров, показавших мужество не только двоих писателей, но и десятков других, а это уже много. Ведь несвобода заканчивается в тот момент, когда появляется хоть кто-нибудь, кто ей неподвластен. Страх обречен с той минуты, когда подымает голову хоть один небоящийся...

Синявский и Даниэль возвращаются к нам. Возвращаются трудно и поздно — очень поздно, как написал, предваряя книгу, В. Каверин (это была одна из последних его работ). Умер Юлий Даниэль. Синявский уже почти два десятка лет живет в эмиграции... И все-таки они возвращаются. Синявский вернулся в стены старого университетского здания на Моховой — и студенты видели фильм с его участием, фильм о советской и «эмигрантской» литературе, показанный в той самой аудитории, где он сам когда-то читал лекции. Возвращаются произведения, возвращается правда об их создателях, такая горькая и такая знакомая русской литературе...

Н. АЖГИХИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ «ОКТЯБРЯ»

Позади у редакции трудный год. Раздраженные независимым курсом «Октября» известные силы пытались превратить журнал в свой плацдарм, сделать его орудием борьбы в литературе, и не только в ней. Но коллектив «Октября» и его авторы выстояли — в огромной мере благодаря поддержке читателей, верности тех, кому дороги идеалы гуманизма и свободы творчества. Поток ваших писем, телеграмм, в том числе коллективных, вдохновлял редакцию, был нам поддержкой и ориентиром, мы чувствовали, что идем верным путем.

Сегодня Закон о печати вступил в силу, искусственно нагнетавшаяся вокруг журнала атмосфера «охоты на ведьм» уходит в прошлое. Коллектив «Октября» решил взять на себя ответственность учредителя и подал в Министерство печати и массовой информации РСФСР соответствующую заявку. Мы надеемся, что это решение коллектива будет поддержано, «Октябрь» станет первым независимым, свободным литературно-художественным и публицистическим журналом России. Но и при независимости, и при свободе мы остаемся зависимыми от традиций отечественной литературы, нашего духовного богатства и от состояния жизни, в которой столько еще проблем надо поднять и решить, чтобы сделать наше общество наконец удобным для жизни и счастливым. Мы также надеемся, что в этом нашем начинании вновь обретем вашу поддержку.

В МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОССИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации журнала «ОКТЯБРЬ»

Трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь» в соответствии со статьями 7, 8 Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» просит зарегистрировать российский независимый литературно-художественный и публицистический журнал «Октябрь».

В соответствии со ст. 9 Закона СССР «О печати и других средствах массовой информации» сообщаем следующие данные:

1. Учредитель: трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
2. Название: «Октябрь», независимый литературно-художественный и публицистический журнал России.
3. Язык: русский.
4. Местонахождение средства массовой информации: Москва, ул. «Правды», 11/13.
5. Предполагаемая аудитория: читатели, проживающие преимущественно на территории РСФСР.
6. Программные цели и задачи:

Цель журнала «Октябрь» — содействие свободному развитию многонациональной литературы Российской Федерации, преумножение духовных ценностей общества, укрепление нравственных связей поколений, утверждение гуманизма и других общечеловеческих ценностей; приобщение широких слоев общества к культурному богатству России, народов СССР и мира — как прошлого, так и настоящего, освещение насущных проблем политической, экономической, социальной жизни страны.

В задачи журнала «Октябрь» входит публикация произведений художественной прозы и поэзии, литературной критики, публицистики, материалов других жанров.

Журнал является независимым от политических партий, общественных объединений, частных лиц и организаций. Журнал отражает плюрализм мнений по обсуждаемым проблемам, оставляя за собой право на собственную точку зрения.

Журнал рассчитан на широкий круг читателей.

Журнал выпускает литературные приложения, публикует рекламу и объявления.

7. Предполагаемая периодичность выпуска: один раз в месяц.
8. Предполагаемый максимальный объем средства массовой информации: 25 учетно-издательских листов.
9. Предполагаемые источники финансирования: доходы от реализации тиража журнала и приложений, от публикации рекламы и объявлений, кредиты банков и иных кредиторов, добровольные взносы юридических и физических лиц, иные источники, не запрещенные законодательством СССР и РСФСР.

Заявление принято на собрании трудового коллектива редакции журнала «Октябрь» 16 июля 1990 года.

Когда верстался номер

14 августа Министерство печати и массовой информации РСФСР выдало журналу «Октябрь» свидетельство о регистрации № 1. «Октябрь» стал первым независимым журналом России.

Редакционный коллектив «Октября» еще раз благодарит всех друзей журнала, вместе с которыми вступает в новый период своей истории...

Планы журнала на будущий год большие и интересные. Узнать о них вы сможете из рекламы в этой же книжке «Октября».

1991 ГОД — С ЖУРНАЛОМ «ОКТЯБРЬ»

Для удобства наших читателей мы решили приложить бланк подписной квитанции на журнал «Октябрь». Подписка в нынешнем году будет намного отличаться от предыдущего — тем, что, во-первых, ограничиваются сроки подписной кампании и, во-вторых, увеличиваются цены на издания. В определенной мере можно считать, что это наступление на демократическую печать и гласность, и потому мы надеемся, что читатели «Октября» останутся верными своему журналу; но можно и посмотреть по-другому: страна готовится перейти к рыночным отношениям.

Редакция принимает меры к тому, чтобы подписная цена журнала не была неоправданно завышенной. При этом мы хотели бы еще раз заверить всех приверженцев «Октября» в том, что его курс останется неизменным. Все лучшее, что будет появляться в нашей литературе и общественной мысли, мы предложим вашему вниманию.

В литературе, политике и жизни «Октябрь» — ваш союзник.

Вы — союзник «Октября».

1991 год — с журналом «Октябрь».

Ф. СП

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ на газету / журнал **73293**
(индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов:

на 19____ год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда ______
(почтовый индекс) (адрес)

Кому ______
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ | место | литер — на газету / журнал **73293**
(индекс издания)

(наименование издания)

Стоимость	подписки	____руб. ____коп.	Количество комплектов:
	переадресовки	____руб. ____коп.	

на 19____ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда ______
(почтовый индекс) (адрес)

Кому ______
(фамилия, инициалы)

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

- -

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.

г. Брест Об тип. Зак. 4189—10000000. 18.VI.90 г.

«ОКТЯБРЬ» до конца года и в 1991 году предполагает опубликовать:

А. АВТОРХАНОВ. **От Андропова к Горбачеву. Происхождение партократии.** (Главы из книг).
Марк АЛДАНОВ. **Самоубийство.** Роман.
Нина БЕРБЕРОВА. **Курсив мой.** Часть вторая.
Александр БОРЩАГОВСКИЙ. **Единожды солгав.** Роман. (Жизнь Мартемьяна Рютина — подвиг и трагедия).
Борис ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил дед.** Роман.
Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах.** Кн. 2-я. Роман-исследование.
М. ВОСЛЕНСКИЙ. **Номенклатура.** Главы из книги.
Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. **Лев Троцкий.** Политический портрет.
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. **Псалом.** Роман.
Антон ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты** (тт. 1—5).
Александр ЗИНОВЬЕВ. **Зияющие высоты.** Роман.
Розмари и Виктор ЗОРЗА. **Я умираю счастливой.** Документальное повествование. (Бестселлер США 1980 года).
Георгий ИВАНОВ. **Книга о последнем царствовании.** Роман.
Руслан КИРЕЕВ. **Посланник.** Роман.
Анатолий КУРЧАТКИН. **Курочка Ряба, или Золотые яйца для перестройки.** Повесть.
Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус неизвестный.** Роман-эссе.
Виктор НЕКРАСОВ. **Саперлипопет.** Повесть.
Еремей ПАРНОВ. **Хозяин антимира.** Роман.
Саша СОКОЛОВ. **Палисандрия.** Роман.
Владимир ТЕНДРЯКОВ. **Революция! Революция! Революция!**
У. ФОЛКНЕР. **Старик.** Повесть.

Рассказы И. ГОФФ, С. ДОВЛАТОВА, Н. ИЛЬИНОЙ, С. КРЖИЖАНОВСКОГО, А. ЛЬВОВА, Т. НАБАТНИКОВОЙ, Ю. НАГИБИНА, Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ, В. ПОПОВА, Е. ПОПОВА, В. ПЬЕЦУХА, Г. СЕМЕНОВА, Б. ЯМПОЛЬСКОГО и др.

Для «Октября» работают: В. БЫКОВ, Ф. ИСКАНДЕР, Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ, В. КОНДРАТЬЕВ, В. МАКАНИН, Б. МОЖАЕВ, М. РОЩИН, В. ТОКАРЕВА, Т. ТОЛСТАЯ.

Стихи известных поэтов: Б. АХМАДУЛИНОЙ, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, А. КУШНЕРА, Ю. МОРИЦ и др.— и молодых — самых разных направлений, включая новейший «андеграунд».

«Самиздат 70-х» — «неофициальная» поэзия прошлого двадцатилетия.

«Из литературного наследия» — поэты, незаслуженно забытые или насильственно вычеркнутые из истории нашей литературы.

Современная поэзия русского зарубежья.